

АНАТОЛИЙ
ТКАЧЕНКО

Вой-
тель

АНАТОЛИЙ
ТКАЧЕНКО

ВОИТЕЛЬ

РОМАН И ПОВЕСТИ

Москва
«Современник»
1991

ББК 84Р7
Т48

Художник *Е. М. Ульянова*

Ткаченко А. С.

Т48 **Воитель: Роман и повести/Худож. Е. М. Ульянова.— М.: Современник, 1991.— с.:447 ил.
ISBN 5—270—00761—4**

Основу новой книги известного прозаика, лауреата Государственной премии РСФСР имени М. Горького Анатолия Ткаченко составил роман «Воитель», повествующий о человеке редкого характера, сельском подвижнике. Действие романа происходит на Дальнем Востоке, в одном из амурских сел. Главный врач сельской больницы Яропольцев избирается председателем сельсовета и начинает борьбу с директором рыбозавода за сокращение вылова лососевых, запасы которых сильно подорваны завышенными планами. Немало неприятностей пришлось пережить Яропольцеву, вплоть до «организованного» исключения из партии. Время действия в романе подводится к 1986 году, то есть к начавшейся перестройке всей жизни страны.

В повестях рассматриваются вопросы нравственности, отношения героев к труду — как мерилу ценности человеческой личности:

Т 4702010201 — 027 137-90
М106(03) — 91

ББК 84Р7

ISBN 5-270-00761-4

© Издательство «Современник», 1991 г.



ВОЙДИТЕ, СТРАЖДУЩИЕ!

Повесть

ОПАЛЕННЫЕ СТЕПЬЮ

Рыжего петуха они ощипали, выпотрошили и поджарили на углях от перегоревшего саксаульника.

Поджарили кое-как, съели голодно и поспешно, без шуток и остроумия, так подходящих к случаю: смотрите, несоленое, с кровью, горькое — желчь-то, неумехи, раздавили, — а пошло петушиное жилистое мясо, в животах приятно затеплело! Лишь Авенир, самый волосатый и молчаливый из них, обгрызая птичью шею, проговорил мрачно:

— До чего дойти...

— До степи глухой, — отозвался вяло, но заметно ожившим голосом (престарелый петух все-таки пища!) лысоватый, зато в бороде и усах Гелий Стерин. — В которой, помнится, погиб ямщик... Как, Иветта, споем грустную народную песню и поплачем, пока народ не явился с дубьем?

Иветта выкатила прутиком из золы картофелинку, принялась перекидывать ее на ладошках, остужая и все ближе поднося к потрескавшимся, иссушенным зноем губам, напоминавшим картофельную кожуцу; прямые, соломенного цвета волосы Иветты упали с плеч, прикрыли двумя прядями лицо. Она не ответила. Она словно бы все более немела от бескрайности степного пространства, пустоты, своей неодолимой усталости, их общей растерянности, да чего там — жалкой гибельности! Это она, Иветта, сказала Авениру и Гелию: «Пойдите к этим злым аборигенам и украдите что-нибудь. Вспомните: ваши предки были мужчинами». Гелий свернул голову петуху, Авенир накопал молодой картошки.

Они доедали жидковатые июльские клубеньки, когда над каменистым, в пятнах лишайников увалом показалась голова человека, какая-то огромная среди пустынного и резкого степного рассвета — седовласая, белобородая, темнолицая; минуту-две голова точно сама собой двигалась по четкой кромке увала, затем опустилась на широкие, туго обтянутые овечьим кожухом плечи, а вот и весь человек вместе с черно-белой голенастой собакой

взгромоздился над увалом. Оглядев с горбатой вершины бивак неожиданных гостей — желтую двускатную палатку, тонко курящийся костерок, разбросанные пустые рюкзаки и их, тощих, неумытых, вдруг жестко насторожившихся, — он скоренько, словно едва касаясь легкими ичигами-сапогами твердой земли, заспешил под гору: так ему, вероятно, привычнее было одолевать несчетные степные увалы; но подошел человек к гостям неспешно и присел у костра по-хозяйски удобно, пусть и без приглашения, коротко, малопонятно поприветствовал:

— Откуда-т идём? Куда-т пришли?

На кварцевом песке у речки некой яркой растительностью рыжели петушиные перья, возле палатки разбросаны бело обглоданные кости, точно на диком становище, и все они — старик, ковыльно-седой, одетый в мягкие кожи, с лицом, дубленным как кожа, одичавшие путники — девушка, зло посверкивавшая выпуклыми зеленоватыми глазами сквозь солому волос, парни, до отчаянности отощавшие, запущенно бородатые, будто случайно взвешивающие в ладонях увесистые камни, — напоминали или проигрывали немую враждебную сцену из фильма о светлолицых путешественниках и дикарях.

Но никто не захотел улыбнуться, пошутить: житель степи и пришедшие в степь были и в самом деле враждебны, хотя старик не пугал, не настораживался, тяжелые руки его мирно лежали на коленях, сильная поджарая степная гончая сонно жмурилась от солнечного сверкания речной воды, хозяин и собака откровенно отдыхали, пользуясь затишьем перед знакомством: неизвестно, каким еще окажется разговор с этими туристами!

— А ты это... дед, драться не будешь? — наконец выговорил Гелий Стерин осторожно и нарочито пренебрежительно ему, философу по натуре, полагалось «завязывать контакты», вступать в переговоры.

Старик, слегка подавшись к нему, покачал головой, вроде бы улыбнулся под белыми усами, глянули светло его надежно прикрытые надбровьями глаза, и Гелий бодрее спросил

— Тогда скажи, где мы?

— Считайте так-т в гостях у меня-т.

— Вы здесь не один, — решил вмешаться Авенир, ибо ему не понравилось нагловатое «ты» друга и как-то по-особенному доверительно настраивало придыхательное «т» в конце медлительно произносимых слов старика. — В ущелье, мы видели, несколько домов, белая деревенька.

— Правильно: белим-т. А я старший, значит.

— Старейшина племени ням-ням? — хохотнул Гелий Стерин, показав желтые, мелкие, давно не чищенные зубы.

Старик внимательно присмотрелся к нему, грязно-закопченному, с припеченной круглой лысинкой на темени и помятой черной бородкой, серьезно ответил:

— Пусть так-т. А только петуха драть не следовало. Петух тоже старейшина-т. Бери уж курицу, когда не можешь не взять.

— Мы не хотели... мы заблудились, голодные... — это заговорила Иветта — часто и горячо, будто ожили ее иссохшие голосовые связки, обрел подвижность язык (нет, со своими она бы молчала — все и надолго было сказано, — ее растревожил старик). — Мы набрали на вас, хотели попросить ночлега, еды. А вы... вы закрыли двери и ворота, выпустили во дворах собак. Что же нам было делать?

— Не пустили, да-т. Имеем причину не пускать. Раньше пускали. Хотя мало кто забредат: далеко живем, не видно. Думали: отдыхающие туристы — пусть себе идут дальше-т. А вы оголодали. Совсем плохи-т. Я вот вас, — старик указал на Гелия, — вполне-т мог собакой стравить, да с привязи не спустил: увидел, как боретесь с петухом-т — вы его палкой, он наскочит, валит вас, крыльями бьет... Думаю: пусть уж, все одно петуха искалечил. Жалким-т вы мне показались.

— Но-но! Не пользуйся особенно положением! — Гелий вынул из нашивного курточного кармана бумажник, бросил к ногам старика десятку. — Держи за петуха. Купили бы курицу, так вы попрятались, как аборигены неизвестной планеты.

— Говорю-т: причина...

— Какая причина может помешать человеку сытому помочь человеку, погибающему от голода? Ты смыслишь, о чем толкуешь, дед? И вообще, кто ты такой, почему живешь в этой глухомани, где состоишь на учете?

— Мы тут старые да больные. Зачем нам учет?

— Смотрите-ка, создал особое государство. Надо будет разобраться...

— Подожди, — оттеснил Гелия раздосадованный нервным криком друга Авенир. — Пусть нам помогут разобраться: где мы, как отсюда выйти.

Аккуратно, двумя заскоружлыми пальцами подняв десятирублевую бумажку, старик бережно переложил ее к

ногам Гелия Стерина, спросил, повернувшись к Авениру:

— Куда шли-т?

— Мы биологи. Из Москвы.

— Вон как-т! Тот, который жил у нас, тоже-т был оттуда. — Старик старейшина медленно отпрянул, положил руку на ошейник собаки, будто собираясь уходить, и собака привстала, подогнув передние лапы, но с видимым усилием хозяин переборол себя, опять сторбился. — Так-т это как, биологи: по животным или по растениям? — И сам себе пробормотал, покачивая густо-седой и тяжелой головой: — Непоседный народ.

— Понимаете, — начал объяснять длинно и научно Авенир, — биология — комплекс наук о жизни, о живой природе, она подразделяется на две основные науки — зоологию и ботанику, которые сами разделились на более узкие, самостоятельные направления...

— Ты ему лекцию про ДНК толкни. Видишь: дед кончается от твоей образованности. Нам он живой нужен. — Гелий тихонечко и устало рассмеялся, а Иветта, пристально оглядев его, сочувственно вздохнула (вид у него, пожалуй, был самый жалкий — старик прав) и попросила Гелия или не перебивать, или говорить самому по праву «философа» группы, на что он досадливо хмыкнул и отвернулся. Авениру же расхотелось «толкать» лекцию — впрямь, зачем это старому человеку? — и он, указывая поочередно на спутников, представил коротко:

— Гелий Стерин — биофизик, Иветта Зяблова — геоботаник, я, Авенир Авдеев, — эколог, занимаюсь изучением среды обитания человека. Узкая тема: человек и город. Если интересуют подробности, каждый сам о себе расскажет.

— Очень даже интересно-т, — промолвил откровенно повеселевший старик. Но не успел Авенир обрадоваться его понятливости, как старик, придержав его поднятой рукой, пояснил: — Интересно звать вас. По фамилиям вроде понятно, а по именам-т... нет, не упомянул. Заграничные, поди?

— Заграница, дед, у тебя, — не утерпел Гелий от легко давшейся иронии. — Вернее, иной свет, за гранью доступности. Как тебя-то величают?

— Меня обыкновенно. Я крещеный. Матвей Гуртов.

— Крещеный! А креста на тебе нет! Мы же голодные, оборванные, затрави нас собаками или побойся бога — пожалей ближнего, помощи. Христос твой, пойми, этому учит!

Срыв был болезненный, горький, и ненужный, и справедливый, и все-таки слишком поспешный и оттого жалкий, стыдный для всех. Гелий Стерин тут же понял это, однако не смог перебороть своего удушающего гнева, вскочил, покачнулся, как слепой, раскинув руки, и зашагал в степь. Авенир и Иветта понурились, не найдя, как оправдать или обвинить товарища. в самом деле, о чем они так долго говорят?

Матвей Гуртов, старейшина, даже крикнул о неожиданности и удивления, но без заметного сожаления, а так, словно попрекнув отечески: ай, какие вы нервные, малоуважительные к старшим! — и, осведомившись, не уйдет ли парень совсем («Степ дурманит, заманивает»), начал говорить неспешно, обстоятельно, водя палочкой по разметанной золе у костра.

Авенир и Иветта узнали, что зашла их троица «в самую глыбь пустую». В любой край до больших поселений почти неделя пешего пути; на заход солнца будет река Иргиз, на восход — река Ишим, на полдень — голый песок Каракумов, куда они как раз и тянулись: заблудившиеся часто на полдень идут, вроде бы к теплу, жизни, а здесь тепло превращается в гиблый горячий песок. Им, конечно, посчастливилось, что увидели четыре хаты у речушки в ущелье. Седьмой Гурт называется это место. И великим оно никогда не было: гут останавливались перегонщики овечьих гуртов на седьмой ночлег по пути к городу Орску. Потом колхозная отара стояла. Потом, после укрупнения колхозов, Седьмой Гурт стал теперешним — для желающих «тихости и покоя». Но и сюда приходят люди. Три лета назад пришел один молодой человек, тот не заблудился, правда, — сайгачьи стада искал, да нехорошо кончилось. Теперь они, биологи... Шумно делается. Да раз уж несчастье такое, «оголодали, хоть кожи дуби», надо п мочь. Он, как старейшина, пришлет кое-какой еды, а пустить в Седьмой Гурт самолично не может: надо обсудить с другими, у них тут все общее.

Окончив говорить, Матвей Гуртов не стал ждать расспросов и сам ни о чем не спросил, легко поднялся, кивнул белоковыльной головой и зашагал рядом с собакой той же невидимой тропой через увал. Сначала он рос в небо, уже густо желтеющее от зноя, взгромоздился на каменистый горб, как на огромный пьедестал, затем начал укорачиваться, но еще минуту-две его белая голова будто сама по себе двигалась по четкой кромке увала.

ГОРЬКАЯ НЕЖНОСТЬ ПОЛЫНИ

Гелий вернулся, до серой устали в лице надышавшись степью. Удивительно: степь у палатки, костра — иная, как бы обжита уже и не так гибельна. Степь открытая иссушает, дурманит человека, особенно одинокого. И Гелий, упав боком на рюкзак в тень палатки, какое-то время, смежив глаза, дремал или прислушивался к своему исхудалому телу: что в нем, какова жизнь? И пожалуй, ничего не ощущал, кроме знойной полынной горечи. Июльская степь выгорела, стала бурой пустыней. Только седая полынь во впадинах между увалами чем-то питалась, как-то существовала. Но и она — сорви, помни пальцами — рассыплется трухой с едва уловимой живой ошутимостью.

А ведь они пришли за полынью. Горькой пушистой полынью.

Иветта Зяблова сонно поднялась, сняла мятый батник «а-ля паж», безнадежно потерявший алый цвет, джинсовые брюки, до белой ткани протертые на коленях, исшорканные кеды, бросила, не глядя, куда что, и маленькими шажками, чуть вскидывая вялые руки, пошла к речке. Авенир отвернулся: вдоль узкой спины у нее четко проступали косточки позвоночника, трусики едва держались на мальчишеских бедрах, бретельки лифчика спадали с плеч. Она не стеснялась, не стыдилась, как тяжелобольная, которой уже малопонятен этот свет, отягощенный условностями. Авенир глянул в сторону речки, когда слышался чистый, звонко-кристаллический плеск воды: голая Иветта, присев на корточки, полоскала трусики и лифчик. И он тоже без смущения смотрел на нее, дивясь бумажной белизне бедер, белой полоске от лифчика — точно из иного времени, будто на киноэкране. Она выпрямилась, вошла в речку по колена, и только тут, словно очнувшись, Авенир крикнул:

— Вета! Не забредай глубоко!

— Не-ет! — тоненько донеслось вместе с дзиньканьем падающих капель.

Приподнялся, сел на рюкзак Гелий Стерин, кандидат наук, известный, талантливый человек в научно-исследовательском институте... но там, в невероятно далекой, почти недосыгаемой столице. Авенир прикрыл его круглую зарозовевшую лысину парусиновой туристской панамкой.

Они молча смотрели, как плескалась в степной, сча-

стливой, спасительной воде Иветта Зяблова — их спутница, теперь просто женщина; что они могли думать о ней, если чувств сейчас никаких не испытывали? Лишь одно: женщина Иветта Зяблова легче вынесла жажду, голод, жуткую дорогу в никуда; она женщина, она более природна и умерла бы последней, ибо, пока жива женщина, живо продолжение гомо сапиенса.

Нет, они пришли не за полынью горькой — они пришли за Иветтой Зябловой. Это ей нужна полынь горькая, полынь цитварная, все другие виды полыней, из эфирных масел которых выделены уже сотни ценных веществ, нужных медицине, парфюмерной и химической промышленности; это она хочет выделить триста тридцать первое биологически активное вещество, пригодное для лечения сердечно-сосудистых болезней, и вылечить гипертоника отца, и защитить диссертацию. Иветта позвала — Гелий и Авенир пошли, решив, что биофизику и экологу полезно побывать в степи. Правильно: полезно. Но суть в ином: они пошли за Иветтой, не желая уступить ёе друг другу, — как ходили в институтское кафе обедать, как сопровождали ее в кино, на концерты, в турпоходах... Иветта выбирала, Иветта капризничала, Иветта была товарищем, «своим парнем», Иветта нестерпимо нравилась Гелию, волевому тридцатилетнему кандидату, и Авениру, просто научному сотруднику, но перспективному, с редкостной «спортивно-интеллектуальной внешностью», как она любила говорить. И когда на четвертый день пути, тупея от зноя, бесконечных раскаленных увалов, непролазных саксауловых буераков, горючих солончаков, Гелий и Авенир поняли, что теряют невидимую нить обратной тропы, они промолчали, более всякого страха утрашась трусости в себе. Они пошли к песчано-желтому, огнистому в мареве и миражах нагорью, куда указала Иветта Зяблова: только там, среди сияющих холмов и густо-зеленых впадин, под небом безмерной голубизны, может расти единственная, неоткрытая, ее полынь... Шли, вернее, плелись еще два дня.

Женщина могла простудиться в родниковой воде речки, им хотелось предостеречь ее, и они не сделали этого. Не смогли. Женщина стала малопонятна им: она вела их к гибели. И чтобы не думать о женщине — а о ней впервые думалось как о женщине вообще, — Гелий Стерин лег на спину и заговорил, глядя в белое, с сиротливыми фиолетовыми облачками небо:

— Есть теория перцепциального времени, основанная

на чувстве кровообращения и способности нашего разума сознать не только вещественный мир, но и собственную сущность, что дает возможность соединить прошлое, уже уложенное в наше существо, с будущим, которое можно накапливать. Прямая связь через чувственное восприятие. В философии принято считать перцепцию низшей, бессознательной духовностью. Не знаю, так ли это. Но сейчас, когда я брел по степи, вдруг ощутил полную соединенность с воздухом, землей, небом: моя кровь наполнилась внешним теплом, мой разум соединился с окружающей средой — и не стало времени между прошлым и будущим, ощутилось одно бесконечное настоящее. И я успокоился, совершенно, глубоко: голод, усталость, боли — все заглохло во мне. А вернулся, увидел тебя, Иветту, палатку, наш скарб и... сам понимаешь...

— Вернулся в наше бытие, — подсказал Авенир Авдеев. — Я тоже впадал в перцепцию, раза два было, на последнем переходе.

— Тебе проще. Ты горожанин во втором поколении. Я — с незапамятных времен. Позабыл природу. И вот что... вот что интересно: когда я писал свою диссертацию «О механизме действия физических факторов на организм человека», ну, ты знаешь — света, звука, электромагнитных колебаний, радиоактивности, я немного сказал о перцепциальном времени, по догадке, конечно, по ощущению: человека может лечить чувственное восприятие природы. А ты развей в своей экологической теме.

— Уже подумал. И предположил: перцепция может быть городской.

— То, что тебе надо. Дарю эврику!

Авенир промолчал из-за мгновенной обиды, прилива крови к горячей и без того голове: вот, он дарит! Дарит уже найденное! Нарочито не услышал! О его подарке будет знать весь институт!.. Ясно: он большего достиг, острее мыслит, утвердился в своей особой манере поведения — первенствовать во что бы то ни стало, даже в спорте, даже в питии водки («Умей красиво пить и не пьянеть!»), он тренирован, он свое хилое тело («Мало ли что тебе подарят родители — ты переделай себя на свой лад!») превратил в жилистый, послушно-выносливый организм. Он скоро станет доктором. Но он же старше его, Авенира Авдеева, на пять лет, и у него первого расслабились нервы в этом жутком походе. О, за свою слабость он еще как-то взыщет с них, очевидцев!

Вот, уже подарил эврику. А что подарит Иветте?..

Пожалуй, Авенир сейчас не совсем справедлив: обижен другом. Это так. И учиться ему у друга надо многому. Тоже так. Но чего больше в Гелии Стерине — таланта или воли? Много ли души? И кто из них надрывнее, несчастнее выпал из урбанистической среды?..

— Мальчики! — окликнула Иветта. — Вы не поссо-рились? — Она стояла у палатки в мокрых трусиках и лифчике, расчесывала мокрые волосы на два соломенно поблескивающих пласта; хрусталинки воды искрились на ее впалом, мальчишеском животе, а со спины и рук соскользнули и затерялись в буром песке под ногами; и глаза ее, от худобы ставшие более резкими (вероятно, глаза умирают последними), сияли влажной речной зеленью. — Искувайтесь, мальчики! Смойте пыль дорог и неприятностей. Мы же спасены. Будем жить!

— Втроем? — спросил Гелий.

— Пока не выберу одного.

— Ты самоуверенна, девушка. И красива сейчас. Женщине голодание на пользу: естество проявляется.

— И мужчине. Зачем старейшину обидел?

— О, вы начинаете мыслить... после краденой петушатины. Отвечу: не наори я, он бы нас еще часа полтора изучал. А потом прогнал бы вон туда, в сторону Каракумов.

— Не верю. Он просто боится нас. Слышал: кто-то сюда приходил из таких вот столичных, что-то случилось...

— Что-то, кто-то... — Гелий беззвучно, словно бы лично для себя, рассмеялся. — Вот это самое — что-то, где-то, кто-то — и внесли женщины в мировую науку. Мы и полынь горькую искали где-то, почему-то, как-то... Авен! — так звал Гелий по-дружески Авенира, когда был в нежном настроении. — Если удастся тебе жениться на этой прекрасной особи, уговори ее просто рожать детишек, быть доброй мамой, любящей женой. А то ведь скоро мы только диссертациями будем размножаться...

— Одной ты уже размножился, второй затяжелел. А если бы, — извини, опять женская гадательность! — если бы старик Матвей Гуртов не жил здесь? Мои дети, твои труды, Авенирова душа...

— Правильно: всё бы пожрали пески.

— Тише! Потом доспорите, — сказал Авенир, глядя в томительно-голубое, мечущееся, слепящее марево над

буро-седыми, колеблющимися увалами из песка и камня: там, на пологом скате к речке, забелело, затрепетало живое пятнышко; оно приближалось, и было видно уже, что это человеческая фигурка. — К нам идут. Давайте немного приберемся. Вета, оденься, пожалуйста.

Собрали в потухший костер и присыпали золой кости, картофельную шелуху, уложили в рюкзаки разбросанные, ставшие ненужными вещи: дорожные несессеры с электробритвами, пустые коньячные фляжки, пижамы, туалетные лосьоны, маски и трубки для ныряния — готовились охотиться в степных озерах! — записные книжки с привязанными шариковыми карандашами — никто ничего не записал! — и прочую мятую никчемучину, вместо которой набрать бы простых ржаных сухарей... Сели на туго затянутые рюкзаки, молча уставились в сторону исчезающей под раскаленными увалами речки, удивительно свежей, неким живым лезвием распластавшей степь на два огромных, пережженных, бурых каравая.

Белая фигурка, почти невидимая средь мерцания текущей воды, вдруг четко обозначилась, повернув от берега к их биваку. Теперь они увидели: это была девочка, вернее, девчушка лет пятнадцати, чисто принаряженная в полотняный, расписанный вышивкой сарафан, подеревенски повязанная белым платочком клинышком. Она без видимой робости подошла к ним, чуть поклонилась, сказала свежо и звонко:

— Здравствуйте вам!

Они ответили, она выслушала, словно вдумываясь, достаточно ли приветливо встречена, и только после этого опустила к ногам Гелия Стерина глиняный кувшин, оплетенный рогожкой, и дерюжную, сотканную из цветных тряпиц сумку, посчитав, вероятно, что лысоватый и хмурый Стерин — начальник заблудившейся троицы. В Седьмом Гурте конечно же почитался устаревший в цивилизованном мире патриархат.

— Прошу заметить, — поднялся и пожал руку девчушке Гелий. — Вождями рождаются... Итак, милая фрау, — он наклонился, не выпуская ее крепенькой, до черноты загорелой руки, — ваше имя?

— Маруся, — прозвучал чисто, с двойным булькающим «р» голос девчушки.

— Прозаично, но из твоих уст звучит. Ну-ка дай пожать свою ладошку этим интеллигентным тете и дяде,

пусть прикоснутся к жизни. Я жесткий от спорта, ты, наверное, от работы?

Кареглазая, скуластенькая, с русыми косицами, на удивление крепко сбитая, она была резкой, наглядной противоположностью городским акселераткам, которых мамы подпитывают поливитаминами; она росла как бы в себя, а не наружу, и ответила просто, не подыгрывая нарочитой шутливости Гелия:

— Всё приходится работать.

— Прислушайтесь: всё работать. Именно!

Иветта глянула в кувшин, сумку, рассмеялась, почти безумно закатив глаза, пробормотала: «Хлеб, молоко...» — и, притянув к себе Марусю, поцеловала ее в обе щеки.

— Миленькая, спасибо тебе вот такое, — Иветта раскинула руки, — величиной во всю степь!

— Минуточку, надо представиться хозяйке Марусе.

— Кончай выработать волю, вспомни, где ты, дистрофик. Тебе до полного истощения не больше одного дня осталось. — Всерьез рассердилась Иветта.

Гелий все-таки назвал каждого по имени и фамилии, отчего Маруся без малейшего стеснения рассмеялась; ей, конечно, рассказал о диковинных именах дед Матвей, а теперь она сама услышала. Но если деда озадачили своей непонятностью имена москвичей, то ей, Марусе, они скорее понравились, потому что она принялась пробовать их на звук и язык, повторяя: «Иветта... Гелий... Авенир...» И наконец решила:

— Иветта — очень красиво.

Биологи промолчали. Биологи ели разодранную на три части пшеничную лепешку, запивая молоком по очереди прямо из кувшина. Биофизик, эколог, геоботаник (их профессии тоже понравились Марусе) были озабочены одним: как бы заставить себя жевать, а не глотать лепешку, как бы не чавкать громко, как бы не показаться внимательной и смешливой степной девчужке очень уж жалкими, свински голодными. Биологии позабыли сейчас, что они ученые-биологи. Были они просто отошавшими, очень утомленными, ненасытно жующими, несчастными людьми, едва не загубленными пустыней.

Подобрали с ладоней крошки, поймали губами последние капли молока и какое-то время сидели недвижно, с мутью в глазах, ленью и безразличием к себе и ко всему вокруг, лишь ощущая тяжесть пищи, бурно наполнявшей соками их иссохшие организмы. Гелий и Авенир

разлеглись, положив головы на рюкзаки, а Иветта, покачиваясь в полудреме, сказала:

— Молоко густое-густое и горчит, удивительно вкусно горчит... Отчего, Маруся?

— От полыни. Все-то выгорело, козы полынь щиплют.

— Ой, так это полезно!

— Полезно. Наша бабка Верунья говорит — от всех болезней помогает.

— Да ты садись, садись, Маруся! И посадить позабыли, совсем, видишь, отупели. — Она освободила свой рюкзак, Маруся охотно уселась на него, не скрывая, что ей интересно посидеть на таком красивом рюкзаке, чинно расправила подол сарафана. — Полынь! Ах, полынь!.. А Верунья кто такая?

— Погоду нам предсказывает, травками лечит. Да мы мало бодем.

— Сколько же вас всего в Седьмом Гурте?

— Еще Леня-пастух. Овец пасет, на баяне играет, стихи может про все сочинить.

— Четверо, значит. Невелик Гурт, но живой, живет среди пустыни... Почему же вы не хотите пригласить нас к себе?

— Они решают там, — Маруся махнула короткой рукой в сторону увалов, остро разрезанных речкой. — Собрание проводят. Боятся. Один пришел к нам и помер. Комиссии боятся.

— Как думаешь, пустят?

— Верунья очень строгая. Гадала на воск — плохо вы получились.

Резко привстав, Гелий Стерин едва одолел горячее головокружение, растер ладонями виски и оттого, что Иветта с Марусей заметили его полуобморочность, громко и зло выкрикнул:

— Чепуха какая-то! В конце двадцатого века на воске гадают: спасти людей или загубить? Я сам пойду к вашей Верунье! Небось иконкам молится?

— Нельзя. У нас собаки злые, — прямо и сочувственно ответила Маруся.

— Так что прикажешь делать, дорогая фрау?

— Ждите. Я упрошу ее. И деда Мотю. И Леню-пастуха.

— Что за дичь! Что за пещерная бездушность!

— Хватит! — Иветта толкнула в плечо Гелия, и он неожиданно легко повалился на рюкзак. — Не шевелись, а то свяжем.

— Вы тоже отдохните, — сказала Маруся сгорбленно сидящей Иветте, поднялась, взяла оплетенный рогожкой кувшин, сунула его в дерюжную сумку, но Иветта придержала ее, ухватив за тяжелую жесткую ладошку.

— Подожди, милая! Возьми вот подарочек.

Маруся осторожно повертела в руках кожаный несесер, открыла замок-молнию и улыбнулась с детским изумлением: внутри были карандашики для бровей, ресниц, губная помада, зеркальце, ножницы, щипчики — выщипывать брови, пудреница... Маруся поднесла к лицу раскрытый несесер, подышала его дорогими, сладкими — так и сказала: «сладкими» — запахами и решительно вернула Иветте.

— Мы не берем. Нам здесь не надо. — И прибавила, чтобы конечно же не обидеть такую нежную, красивую, всю элегантно-городскую женщину: — Вот если будете жить в Гурте, возьму вот эту помадку для губ, а то жиром мажу — очень шершавые от жары.

Она пошла к речке, четко отстукивая шаги по каменисто-песчаной земле, и Авенир Авдеев, молча выслушавший весь разговор, поднялся посмотреть ей вслед. Она шла не подпрыгивая, не размахивая сумкой, как непременно вела бы себя городская девочка, получившая столько внимания; она просто шла, даже спешила домой, где наверняка ждут ее многие заботы, и ей все равно, кто и как смотрит вслед: ведь она сделала здесь свое дело и пока не нужна, а значит, и нечего надоедать утомленным людям. И еще с радостью открытия заметил Авенир: она была от этой степи, от этого неба, от этой речки — вся в среде и из среды, которая — несчастный теперь случай! — определила ее рост, оттенок кожи, движения, и карий цвет глаз, и жесткость коротких косиц, — и — да, да! — скуластость лица: чтобы меньше света попадало на глаза из распростерто-открытой, знойно-солнечной среды ее обитания.

ВОЙДИТЕ, СТРАЖДУЩИЕ!

Угрюмые увалы, стиснувшие речку каменистым ущельем, внезапно раздались и открыли маленькую долинку с рощицей осокорей, четырьмя белеными домиками и низенькими, тоже беленькими, хозяйственными строениями. Все четыре домика были огорожены прочной кладкой из камня-плитняка, точно крепостной стеной, и

имели внутри отдельные дворики, за которыми свежо зеленели огороды в подсолнухах, высокой кукурузе. По ту сторону речки паслось, отчетливо пятная бурый склон, стадо овец, а дальше, чуть правее, золотилось в утреннем, еще спокойном солнце аккуратное пшеничное поле.

Маруся остановилась, сказала:

— Посмотрите наш Гурт. Красиво, правда?

Они согласились: красиво, и лубочно, и неправдоподобно. После пустыни, одиночества, отчаяния зеленая долина жизни, с водой, пищей, прохладой. Впервые они увидели таким Седьмой Гурт, ибо наткнулись на него поздним вечером, а грабить ходили мгlistым рассветом — до любований ли было?

— Это не мираж? — осторожно спросила Иветта Зяблова и сама себе ответила: — Нет, отсюда принесли хлеб и молоко.

— Надежно спрятались, — кратко выразил свои чувства Гелий Стерин.

— Такой оазис! — вздохнул Авенир Авдеев. — Здесь нельзя не жить.

Их рано сегодня подняла Маруся, сообщила, что жители Гурта приглашают войти к ним, и поторапливала, помогала снимать палатку, укладывая вещи, словно боялась, как бы не перерешили строгие гуртовики на новом совете, созванном по настоянию передумавшей бабки Веруны. И теперь, сгорбившись под рюкзаками, они стояли неумытые, иззябшие: степная ночь не менее холодна, чем росная лесная ночь Подмосковья.

— Веди, Марья Посадница, — подтолкнул девчущку в теплый козушок худолицый Гелий. — Хорош твой Посад, да глазами сыт не будешь.

— Ага. Я немножко подождала, пока наши все соберутся. Вон они, выходят вместе с дедом Мотей.

Зашагали уже приметной тропой вдоль берега речки, поднялись на взгорок, уперлись в стену беленого плитняка, обогнули ее и остановились у главных ворот поселения. Здесь жители Седьмого Гурта ожидали гостей. С угловатого камня, служившего скамейкой, поднялся ковыльно-белый старейшина, чуть подалась вперед рослая пожилая женщина в надвинутом на глаза платке и платье до пят, и откуда-то сбоку юрко выскочил навстречу сухощавый буйночубый парень с баяном, звякавшим крупными колокольцами, как гармошка; растянув мехи, дав полный перебор басам и голосам, он пропел частушечной скороговоркой:

Заблудилися ребята,
Умные, научные.
Мы накормим и поселим
Вас в хоромы лучшие!

Улыбнулся Матвей Гуртов, вроде повеселели темные глаза у мрачноватой Веруни, а Маруся воскликнула:

— Это Леня-пастух, я вам говорила, уже сочинил! Еще, Леня!

Ощипали петуха —
Славу нашей улицы,
А теперь зашиплют вас
Гуртовские курицы!

Леня-пастух вознамерился пропеть еще что-то, но его отстранил Матвей Гуртов, ласково потянув за рукав новенькой солдатской гимнастерки. Леня с готовностью затих, посерьезнел, будто услышал безоговорочное слово команды, и гости вслед за старейшиной вошли в распахнутые ворота Седьмого Гурта.

Посреди чистого двора, бывшего как бы главной площадью поселения, старейшина предложил гостям снять рюкзаки, подождал, пока они выпрямятся, немного отдохнут, осмотрятся. Затем, попросив внимания, заговорил:

— Так получилось-т, уважаемые, вы попали в нехорошее положение, опасное для жизни, можно сказать. Значит, раз мы тоже люди и можем понимать вас-т, мы решили оказать вам помощь, какую можем: накормить, дать пропитание на дорогу, вывести вас-т из степи. Но, как нам видно, уважаемые, вам необходимо-т отдохнуть сколько-то дней. Мы согласны, значит, потому вас-т и привели. Отдыхайте, приводите себя в хороший вид. Однако есть у нас к вам просьба: не ломать нашей здешней жизни, вернее-т, порядка. Поясню, уважаемые, так: мы тут все добровольные, двое-т пенсионеров, один лечится... можно сказать, двое-т лечатся, хотя они молодые. Лечатся нашей особой степной обстановкой-т. Если они пожелают, пусть вам расскажут сами. Я это к тому, что мы существуем на законном основании, про нас знают, потому как мы приносим возможно посильную пользу: сдаем-т кожи, шерсть, мясо. Значит, уважаемые, нас тоже надо уважать. Мы тут много работаем, всегда-т работаем. Будет ваше желание — помогите по силе-возможности, а нет — нам ничего от вас-т не требуется... Чего еще-то хотел сказать?.. Да, это. Был у нас тут один,

схожий с вами, нехорошо кончилось, погиб человек, очень нам досадила... Ну, наши молодые расскажут, если захотят, у нас без приказов. Мы живем-т, как вы, может, заметили, каждый своей хатой, самостоятельно, чтоб не мешать друг дружке, хотя хозяйствуем сообща. Вот мы и порешили: распределить вас на постой по одному. Беру я-т, Маруся, Леонид. Если не согласны, располагайте прямо вот здесь, где стоим, свою палатку Думайте-т, решайте.

Думали и решали биологи недолго, всего лишь мельком переглянулись — и были вполне единодушны. Палатку, в которой днем адский «парниковый эффект», а ночью «эффект морозильный», они не забудут до конца своих дней. За всех высказался Гелий Стерин:

— Согласны. И спасибо вам: доходчиво речь произнесли.

— Хорошо-т. И вам спасибо. — Матвей Гуртов сощуренно-зорко пригляделся к Гелию, каким-то своим особым чутьем понял, что этот, с черной бородкой, лысоватый, слегка подшучивает над ним, проговорил, коротко указав на Гелия пальцем: — Вот вы ко мне старший к старшему. Девушка к Марусе. Третьего-т возьмет Леонид. Разносите вещи, умывайтесь, закусите чем найдется, и прошу на это место: праздник барана устроим.

Разошлись по домам, попили молока из кринок, приготовленных для них, переоделись — у всех что-то более чистое нашлось в рюкзаках, — отдохнули немного, слушая оглушительную тишину дали дальней (их привели и оставили наедине по деревенской ненавязчивости, уважительности), а когда вышли во двор, то застали всех жителей Седьмого Гурта оживленно работающими: старейшина растапливал сухими кригами кизяка печку-мазанку, Маруся в белом тазу мыла посуду, угрюмая Верунья, чуть сдвинув со лба платок, скоблила деревянный стол на крестовинах, вероятно оставшийся от когда-то шумного большого Гурта, Леня-пастух ловил в загоне барана, общительно возвещая: «Не тот Феоктист, больно костист!» Или: «Попался Кирилл, да шибко жиром заплыл!» Ему отвечал неторопливо, словно обдумывая важные слова, старейшина: «Ты того, с пятнами-т на боках, с поломанным рогом, какой ярок вымучивает»

Того и выволоч-наконец с загона Леня-пастух — однорогого, бодливого, кровавоглазого приставалу к молодым овечкам. Баран упирался, норовил вырвать из рук

Лени свой крепкий лощеный рог и им же пырнуть пастуха, но как-то сразу затих, очутившись посередине двора: сгорбился, опустил голову, глаза померкли, засизо-вели.

— Во, уразумел! — сказал Леня гостям, мирно усевшимся на деревянной скамейке. — Они такие, понятливые, хоть и бараны: знают, для чего их нагуляли... Матвей Илларионович, принимайте, пока опять не вздумал брыкаться! — И, повернувшись к молча наблюдающим гостям-горожанам, объяснил: — Пасу их, а резать не могу. Жалею.

От печи, уже знойно нагретой, пришел старейшина, держа в руке остроконечный, длинный, тяжелый нож, посверкивавший голубой начищенной сталью. Леня передал ему рог, старейшина ухватил его левой рукой, перекинул ногу через барана и сел, вроде бы мягко, но крупный баран безвольно рухнул, положив наземь голову с закровенившимися вновь глазами. Старейшина потянул к себе рог, примерил нож поперек напряженно выгнутой шеи и как бы слегка, словно продолжая примериваться, повел ножом вправо... И хрупнула баранья гортань, разверзлась едва ли не до позвонков шея, ударил из нее красно-фиолетовый шипящий выплеск крови на белую, утоптанную глину двора... Первый выплеск был подарен земле, жадно впитавшей его, под второй, густо всхлипывающий, спокойная Верунья подставила синюю эмалированную кастрюлю. И долгую минуту можно было видеть склоненную женщину в темном одеянии, седоголового старика на баране, нежно прижимающего к своей груди баранью голову с меркнувшими, по-голубиному сизыми глазами, и тяжелеющую струю крови — вязко-красное в холодно-синем...

Картина резко запомнилась и переменялась. Старейшина уже стоял над бараном, осматривая его и что-то говоря Лене-пастуху, Верунья несла под кухонный навес кастрюлю. А они, ученые молодые люди, сидели на скамейке с поджатыми ногами — чтобы не касаться подошвами капель крови, — и каждый по-своему переживал убиение животного. Кто из них это видел? Никто. Кто из них не ел баранины, иного мяса? Все ели. И было такое ощущение, точно они когда-то видели, знали это, вонзали ножи под лопатки, перерезали гортани животным, но позабыли, почти намертво позабыли, а увидев, оторопели, смутились: ведь казалось, думалось, что мясо, которое они едят, добывается как-то иначе, благороднее,

безболезненное для обреченных на убиение живых существ, да и вообще — многие ли в городах об этом думают? Можно прожить сто лет, не ведая ничего подобного. В книгах не прочтешь, в кинофильмах не показывают: неэстетично. Зачем волновать стрессовых горожан? Без мяса им все равно не обойтись.

«Нет, нет! — говорила себе Иветта Зяблова. — Я не смогу есть этого барана, у него еще подергиваются ноги, сочится из горла кровь, он еще видит прищуренным блеклым глазом... Я стану есть его — и он захрипит, застонет... Он был такой живой, так жутко притих перед смертью, будто прощался со степью и солнцем... Меня чуть не стошнило, я едва не убежала куда-нибудь в степь. И почему-то смотрела, смотрела, чувствуя: не убегу, досмотрю, надо досмотреть. А есть — нет, не смогу!..»

«Когда я ударил палкой петуха, — рассуждал сам с собой Гелий Стерин, — а потом свернул ему шею — про шею где-то вычитал, что ее надо сворачивать, — было, конечно, неприятно, но в сумерках, да со страха и еще при чертовском голоде, как-то сошло, быстро и без эмоций. А вот увидел эту натуру... Ах, кончилась цветная пленка, заснять бы!.. В век атома и космических полетов так вот, барану ножом по горлу. Контрастик!.. Да, увидел это заклятие — неприятно стало, даже вспотел, словно меня оскорбили. Ослаб в дурацком походе. Буду следить за собой, одолевать нежности...»

«Ничего, ничего, — убеждал себя Авенир Авдеев. — Ничего, жизнь большая, надо все увидеть. Жутковато? Конечно. Но ведь посади ковыльно-белого Матвея Гуртова в реактивный сверхзвуковой самолет — тоже не обрадуется. Каждому свое. Хотя когда-нибудь так не будет всем все — и убиение барана на мясо, и полеты в космос... А пока смотри: чистый двор, пятнистый однорогий баран посередине, белые глиняные дома, острая зелень огородов, блескучая река за ними, а вокруг бурые, мощные степные увалы, уже пригретые вздымающимся огромным оранжевым солнцем... Переведи взгляд от крови на земле сразу к зелени, степи, солнцу — и забудешь страх от убиения животного. Ведь это все природа, жизнь природы, мы еще так мало выделились из нее, просто отошли, отстранились в городах...»

К ним приблизилась степная жительница Маруся, неся на деревянной доске три фарфоровые пиалы; остановилась, слегка припустила свой до желтизны выскоблен-

ный поднос, и они увидели: каждая пиала до краешков наполнена бараньей кровью. Маруся улыбалась, как добрая хозяйка, подносящая дорогим гостям вино, сказала:

— Пейте, пока теплая.

Иветта отшатнулась, прикрыла ладошкой глаза. Авенир пробормотал: «Спасибо... Я, пожалуй, не буду... — И прибавил, извиняясь: — С непривычки как бы...» — он указал на живот. Гелий упрямо воззрился на пиалы, помедлил, хмурясь, нервно пощипывая бородку, и протянул вздрагивающие пальцы к крайней пиале. Нес он ее к губам осторожно, будто опасаясь обжечься, и выпил в несколько глотков, зажмурив глаза; затем крикнул, точно после стопки, вытер тыльной стороной ладони губы, увидел на руке размазанную кровь, принялся оттирать ее мягким потным платком; и только от этого смутился: нехорошо, проявил смешную интеллигентность!

— Правильно-т, — поддержал его Матвей Гуртов, вернувшийся к бараньей туше с широким топором; одним коротким взмахом он отсек баранью голову, воткнул в чурку топор и, взяв нож, начал подрезать и снимать с туши шкуру. — Лучший наш напиток, ото всех болезней. А вам-т очень даже советую после такого ослабления.

Шкура была вспорота вдоль брюха, с внутренних сторон ног и, казалось, легко, как временно наброшенная одежда, покидала голое фиолетовое баранье тело, которое мелко подергивалось мышцами и белыми жилками; живым его распластали на куски, еще не умершим понесли к котлу... Скатанную ковриком шкуру окружили четыре голенастые степные овчарки — собаки-пастухи, — и приняховались, и разглядывали то, что недавно было бараном и стало мясом, а потом обратится в сочные кости для них. Маруся позвала от летней кухни:

— Пойдемте погуляем! Вы совсем запечалились!

Они послушно поднялись, пошли за нею. Тропкой через картофельный огород Маруся вывела их к речке, здесь, напротив Седьмого Гурта, привольно-широкой и тихой. Не успели они удивиться этому, как Маруся сама объяснила, показав рукой влево:

— Вон плотина и наш мост. А тут наше море. Глубокое, точно!

Берег песчано-серебристый от кварца и слюдинок, вода искристо-прозрачная, с водорослями, ракушками-мидиями. Море среди выжженной пустыни, и такое, в котором нестерпимо хочется искупаться — как причаститься

к чистоте и свежести. И очиститься, да, если возможно, освободиться от только что увиденного, пережитого.

— Искупаемся? — угадала Маруся и сбросила через голову свободное, ситцевым мешочком сшитое платье, удобное конечно же при здешнем зное.

Это заметила Иветта, ощутив грубость, тяжесть своего джинсового костюма, подумала: «Там у нас считают, что джинсы хороши для всех широт, от полюса до экватора». И чуткая Маруся спросила ее:

— А вы платья не захватили?

— Я отвечу тебе, Марья Посадница... — Гелий чуть загородил Иветту.

— Что такое Посадница? — быстро прервала его Маруся.

— Ну... была такая женщина, правда, Марфой звали... подняла восстание за новгородскую республику... вроде российской Жанны д'Арк. Словом, героическая, находчивая, почти как ты.

— Нет, у нас тут героичать не надо, просто работать, — не согласилась, немного смутившись, Маруся.

— Понимаю. Да вот такой человек — без шутки не могу. Так что прости. И давай я тебе объясню более интересное — насчет платья. Вот подумай: разве можно девушке отправляться в поход с двумя ухажерами в платье? Все время вместе, палатка одна...

Маруся засмеялась, покивала, отчего ее тугие косицы с новенькими алыми ленточками на концах (вчера их не было) как бы тоже удивленно закивали: не догадаться о такой ясности — это же надо быть совсем глупой! Она пошла к воде, а они, медленно раздеваясь, смотрели ей вслед. Маруся была в черных сатиновых трусиках и таком же лифчике, очень практичными здесь, загорелая до густого кофейного цвета, не рослая и не коротышка, как раз в меру для жизни и степной работы; и степь одарила ее мальчишескими мускулами, скупой изящной девчоночьей фигурой. Они, ученые биологи, понимали это, догадывались и о том, что Маруся — существо отличной от них породы: природной.

— Да-а, — в задумчивой меланхолии выговорил Авенир Авдеев, видя, как легко, четкими саженками уплывала от берега Маруся — коричневое в искристо-зеленом. — О натюрэль! Кажется, так говорят французы?

— Влюбился? — спросила Иветта.

— Можно.

— Не тебе, — сказал Гелий. — Надо было крови

откушать, чтобы иметь право... приобщиться... стать немножко бараном...

— Ты уже стал, скоро заблещешь. — Иветта подтолкнула его в спину. — Окунись, приобщенный, первым. И помолчи.

— Урра! — выкрикнул Авенир и слабой трусцой побежал к реке.

Купались они недолго, вода показалась ледяной их иссушенным телам, обратно шли молчаливые и голодные, похожие на больших ощипанных птиц. Так им и сказала Маруся, когда ее спросили, почему она посмеивается:

— Журавушки заблудшие!

Стол для обеда был готов — расставлены глубокие тарелки, положены ложки и вилки, посередине возвышалась горка белых лепешек. Они послушно уселись на лавку, и от печи старейшина Седьмого Гурта принес эмалированный таз с кусками парящего мяса. Большой медной двузубой вилкой, как навильником, он разбросал по тарелкам мясо, поварешкой налил в каждую бульона. Сел сам, кивнул всем сидящим за столом, сказал:

— Кушайте, уважаемые, нашу-т главную еду.

И биофизик Стерин, геоботаник Зяблова, эколог Авдеев позабыли о кроваво зарезанном животном. Они видели сочное горячее мясо, дышали его одуряющим ароматом и принялись есть это мясо, веселя, оживляясь, оживая. Они никогда не ели такого нежного, с чуть уловимым горьковатым полынным привкусом мяса, им никогда не доводилось съесть его так много. Биофизик, геоботаник, эколог впервые ели «живое» мясо, а не перемороженные отбивные, приобщаясь к древней еде степняков, радуясь чревоугодному празднику барана.

ДЕРЕВЯННОЕ КОЛЕСО ВРЕМЕНИ

Просыпались в Седьмом Гурте рано, на белом рассвете, ибо работать могли лишь до полудня, пока не отяжелеет падающая степная жара. Затем расходились по своим глинобитным прохладным домам, убирались, отдыхали. Вновь выходили во двор часов в шесть, на вечернюю прохладу. Впрочем, в Гурте жили не по часам, а по времени: негде было сверять их, да и были они только у Маруси — маленькие, наручные. Леня-пастух разбил свои, когда пришел сюда, сказав, что здесь мерило всему — солнце.

Два утра Гелий Стерин не слышал ухода хозяина, на

третье проснулся, досыта отоспавшись. Несколько минут он наблюдал, как ловко, почти бесшумно облачается старейшина в свои удобные одежды — просторные шаровары, рубаху-косоворотку, кожаную куртку, легкие ичиги-сапоги, а потом, вдруг ощутив тоску пустого, звенящего тихого дома, сказал:

— Матвей Илларионович, можно с вами?

Старик вздрогнул, по-видимому начисто позабыв о квартиранте, затих вновь зашевелился и ответил, не поднимая головы:

— Если есть ваше желание...

Гелий вскочил с железной проржавелой кровати, принесенной для него из чулана, — хозяин спал на дубовой, фигурно-резной, вечной, — и не стал делать зарядку, чистить зубы, умываться — здесь это не имело смысла, пользы, — быстро оделся, подсел к столу, как и кровать, дубовому, времен перегона овечьих гуртов через эту степь на город Орск.

Что еще имелось в доме старейшины Матвея Гуртова? Беленая, дебело-роскошная печь с лежанкой и плитой, этак на треть дома, хозяйка хозяйкой, которой, переступив порог, хотелось поклониться, кое-как я кухонная утварь и окованный медью тяжелый сундук с висячим аккуратным замочком (было жутковато г желания заглянуть в этот сундук — там ведь может оказаться человеческий череп-кубок, окованный серебром!). Матвей едва ли в чем-то еще нуждается, живя во дворе, в поле.

Холодное козье молоко из погреба, теплая белая лепешка две кружки, два ломтя весь завтрак, все утреннее питание. Надо съесть молча, до капли, до крошки. Так и поступил Гелий Стерин, подражая хозяину, и поднялся вслед за ним, а уж сказал «спасибо» по чисто интеллигентской привычке, усвоенной с дошкольного возраста.

Ответа он не услышал и немного обиделся, не зная, что утром здесь не говорят, берегут себя для работы. Так же молча ему была предложена кожаная куртка штыковая лопата.

Матвей вывел из стойла гладкотелого, седошерстного, глазастого ослика, надел на его милую и глупую морду уздечку, бросил на шею хомут, круп облачил в сыромятную, с латунными бляхами шлею, взял ослика под уздцы, повел через огороды к речной запруде.

Шел следом Гелий, оглядывал рассветную степь, блекло-синюю, зябкую, четко видимую, будто отмытую

за ночь неслышно пролившимися ливнями, и остановился, удивленный неведомым зрелищем: резкая кромка горизонта вдруг надломилась, вспухла белым облачком, которое стало вытягиваться, стелиться, точно там пошел по степи бело-огненный пал.

— Посмотрите! — придержал он старейшину, надеясь, что сейчас имеет право заговорить. — Что это?

Тот лишь мельком глянул, буркнул:

— Сайгаки-т. На водопой-т.

— А почему белое?

— Солончак вскопытили-т.

— Соль?

Матвей кивнул, и Гелий устыдился: солончак, такыр, соль — ведь читал, слышал, а увидел — и давай, как первоклашка, расспрашивать. Но увиденное так мало похоже на читанное, слышанное. Столько, оказывается, соли в степи! Зной, соль. За что этому пространству столько горечи? За то... да, за то, что здесь миллион лет плескались прохладные морские воды. И белая соль поднялась длинным шлейфом, словно по горизонту бурого моря промчался внезапный смерч, оставив позади белую пену вскипевших волн.

Гелий догнал Матвея, свернувшего к плотине, и сначала увидел замшелые керамические желоба, а затем деревянное колесо с ковшами, краем погруженное в запруду. Другое колесо, вернее, круг был укреплен на земле, и между ними протянуты широкие брезентовые ремни. Можно было догадаться, что это механизация для полива огорода, и Гелий удержал себя от расспросов. Матвей впряг ослика в деревянное дышло, торчащее из круга, пригладил ему челку, хлопнул ладонью по упругому крупу, сказал негромко, по-приятельски:

— Пошел, Федя.

Да, и удивляться не надо, осел — Федя, иначе его и не назовешь, и зашагал он, мотнув подстриженной гривкой, как сделал бы любой деревенский Федя, и глазом, большим лиловым, умно мигнул хозяину: мол, понимаю, эту работу за нас никто не сделает; и покосился на худого неуклюжего чужого человека, спросив: чего ему-то тут надо? — а пройдя круг, слегка толкнул крепким лбом этого человека, чтобы не стоял бестолково на пути; и вроде бы улыбнулся хозяину, ощерив широкие желтые зубы, когда задвигались ковши, набрав воду и гулко выплеснув ее в желоба.

Матвей ухмылкой похвалил Федю, понаблюдал за ко-

лесной машиной — одно колесо вращал осел, другое разумно черпало воду, — взял свою лопату и только сейчас, кажется, вспомнил о госте-помощнике; посмотрел на него ничуть не ласковее, чем на Федю, вежливо предложил:

— Желаете со мной? Канавки поделаем. С этим-т, — он указал в сторону колес, осла, — сам-т справится.

Едва приметной тропой продрались через высокий, жесткий, ядовито-запашистый бурьян, вышли к обширному картофельному огороду, по краю уже залитому бегущей из желобов водой.

— Значит, — пояснил старейшина Матвей, — будем проделывать канавки, чтоб в каждую борозду попала вода.

— И картошку приходится поливать? — сочувственно осведомился Гелий.

— Мы называем-т — заливать. Три раза в лето надо-т залить, чтоб ажно вода стояла, не то выгорит. Такой-т наш климат. Берите рядок и пропускайте, направляйте водицу до самого края.

Гелий заметил, что он, живший дома по часам и минутам, здесь как бы потерял время, да и часы шли очень приблизительно: их общий транзисторный приемник давно молчал, истратив батареи, определять время по солнцу биологи не умели. Потерявшим дни очень ли нужны часы? И все-таки Гелий глянул на золотой «Poljot» с гравировкой, подаренный ему к тридцатилетию отцом и матерью. «Любимому сыну... от счастливых родителей...» Прошло не более часа, как начал он проделывать лопатой канавки, но спина уже болела, руки отяжелели. Приходилось долбить, а не проделывать: комья окаменелой земли запруживали воду, медленно размокали; начнешь разбивать их — грязные брызги на одежду, в лицо. И старейшина Матвей все дальше уходит, рядков на десять обогнал; присмотришься — едва пошевеливает лопатой да кивает белой головой. Привычка, выносливость... Оказывается, спортивная тренировка не делает человека сильным — так, для формы, для бодрости только. Гелий почувствовал это, когда они заблудились, стали голодать. Теперь же осознал: физкультуру и спорт изобрела цивилизация взамен физического труда. Можешь кидать штангу, играть гантелями, а возьмешь в руки лопату, лом, кирку — и через час считай себя инвалидом.

Передохнуть бы, перекурить, хотя курить давно нечего, отойти на травку под осокорь — мелколистный степной тополь, полощущий в верховом ветерке сизые ветви. «Еще ряд — и самовольно устрой перерыв», — решает Гелий; не падать же истощенному гостю на картофельные кусты, одуряющие терпкой пылью своих фиолетовых, невероятно густых соцветий: в носу, во рту, в глазах сухая перечная горечь. Не думалось, что картошечка, из которой сотворяют хрустящее «фри», может так огорчить. Хотел уже Гелий отправиться к осокорю, но желоб в конце огорода вдруг затих, сочась тоненькой струйкой пересыхающей воды. Это немедленно уловил Матвей, распрямылся, соображая — что там с механизацией на запруде? — сказал, втыкая лопату:

— Надо проведать.

— Можно я схожу? — Гелий решительно, подражая хозяину, воткнул лопату, повернулся, пошел, услышав вслед неторопливо выговоренное:

— Если есть ваше желание...

Желание было, желание хотя бы выпрямить спину, проветрить голову. Той же тропой, через бурьян и дикую коноплю, он вышел к плотине, на площадку с колесной техникой доисторического времени. И тут ему увиделась потрясающей неповторимости сцена: осел Федя, скосив зарозовевшие белки глаз, всхрапывая, смотрел себе под ноги, а перед ним, свернувшись тугими кольцами, вскинув шипящий клинышек головы, возлежала крупная змея Федя делал осторожный шаг — змея выше взметывала голову, ядовито сверкая раздвоенным языком, Федя отступал — змея успокаивалась и даже опускала на плоский камень черно-зеленую голову.

Вполне конфликтная и вполне естественная ситуация: ослу нужно работать, а змее, пока нет солнца, захотелось полежать на сухой площадке: ей, змее, ни к чему сельское хозяйство, и о трудовом долге осла она ничего не знает. Ослу же не хочется быть укушенным, болеть, оставить хозяина без помощи.

Гелий решил понаблюдать, заодно отдохнуть. Присев в сторонке, он принялся рассматривать змею, очень красивый экземпляр пресмыкающегося, если, конечно, малодушно не брезговать, не страшиться: чистейшей лакировки, упругое метровое тело, темное, с зеленоватыми квадратиками поверху, желто-белое снизу, с точеной ромбической головкой, острыми иголками глаз; прекрасное и отвратительное существо, ибо враждебность к нему в

крови человека, когда-то, очевидно, часто отравляемой змеиными ядами. Однако смотреть хотелось, влекло смотреть на эту крупную степную гадюку — как на опасность неопасную и потому жутко сладостную, сравнимую лишь с бездной под ногами, всасывающей и отталкивающей. Возникали варианты поведения-познания: схватить змею за хвост, встряхнуть, превратить в вялую плеть... вцепиться пальцами в едва заметное утончение около головы — пусть обовьется вокруг руки, заохолдит кровь зябким скольжением... дать укусить ногу, руку, ощутить, что это такое — змеиный укус... попытаться вырвать ей ядовитый зуб или взять ее с собой, унести, увезти... Но осел Федя не был экспериментатором, он застучал копытами, жутко заорал, возмущаясь беспомощностью человека, из-за которого ему придется работать на жаре. Федя явно жаловался и призывал хозяина.

Гелий Стерин зашпешил.

«Убить или прогнать?.. Убить или прогнать?..»

Он выбрал камень потяжелее, ударил сверху в змеиный клубок. И не рассчитал: гадюка лежала на плотной, утоптанной щебенке, угловатый камень перешиб ее в нескольких местах, и, хоть она извивалась острым хвостом, взять было нечего: неловко показывать друзьям змеиные лохмотья. Гелий пинком отшвырнул гадюку с Фединового трудового круга, осел старательно зашагал, вода из ковшей плодородно заплескала в керамические желоба.

Жизнь, которая есть движение, наладилась. Не стало лишь змеи, да в душу Гелия будто впрыснулся яд сомнения: «Зачем?» Но воля победила, ответив ему: «Для порядка. Одним ползучим меньше!»

Он вернулся на огород, старейшина спросил:

— Что-то приключилось-т?

— Да это... — И Гелий не смог сказать о змее. — Это... запутался Федя...

— А-а. Я-т подумал, Ульяна, змея, балует. Выползет, пугает дурачка-т.

— Змея?

— Ну да. Тут, в крутояре, живет. Меня только и боится-т. Да сейчас и яду в ней нету, взял я уже. Осенью другой раз возьмут-т. Лекарства делаем.

— У вас и змея с именем?

— Рядом живем. Давно. Садитесь, передохнем, и так хорошо поработали, я тут и ваши рядки подогнал. Смотрите, как солнышко-т восходит.

Оно было не солнцем, а именно солнышком, таким

четко оранжевым, безобидным, и не поднималось, не возносилось — величественно восходило сквозь белую мглу в той стороне, где проскакало огромное стадо сайгаков. И этому солнышку хотелось сказать. что же ты притворяешься нежным и милым? А днем превратишься в дракона, развернешь пасть и будешь опалять эту несчастную землю своим адским дыханием.

Гелий Стерин страшился здешнего светила, не понимал, как Матвей Гуртов может ласково называть его, да и сам Матвей все более неприятным делался Гелию: ведь было совершенно ясно, что он сожалеючи относится к своему непрошеному гостю — пришел, уйдет, где-то там, в непонятной Москве, чем-то занимается, даже, вполне вероятно, нужный человек; здесь же цена ему большой ноль, камень-плитняк полезнее, на нем вот сидишь, в строительстве можно применить... Да еще эта змея Ульяна... Змея не забывалась, отравляла настроение и, он знал уже, никогда не забудется, — это все угнетало в нем его суть, характер, и потому изнутри, из какой-то второй, более стойкой половины натуры, поднималась досада, раздражение, упрямство — оберегающая его воля, которая корила, совестила: «Ракис» потерял себя. Перед кем?.. Твоей одной извилины в мозгу хватит на весь Седьмой Гурт до конца существования. Ну попал в беду из-за строптивой бабенки, ну не погиб. Так будь Гелием Стериним, кандидатом наук, сыном своих родителей, докторов наук. Спасли дикие гуртовики — заплатить можно, одарить, в гости пригласить. Но пусть уважают, знают, по крайней мере, с кем общаются...» Гелий вообразил важного старейшину у себя в квартире на Котельнической набережной: югославская мебель, финская стенка, травяно-зеленый палас во весь пол, бар с напитками — виски, ром, ликеры. По стенам картины, маски, гобелены из разных стран. Он делает коктейль со льдом, подает Матвею, показывает, как пить через соломинку. Ставит на полупортысячный проигрыватель «Джи-ви-си» рок-пластинку спрашивает утонувшего по плечи в кресле модерн гостя «Удобно ли вам, дорогой Матвей Илларионович?» И конечно, видит, гибнет от стеснения, детской растерянности степной абориген. Так-то! Каждому свое, каждый хо-рош на своем месте! А раз это аксиома, не требующая доказательства, то следует немедленно определиться каждому по заслугам, достоинству, и Гелий Стерин, упрямо, хмуровато обзрев старейшину, строго спросил

- Давно здесь обитаешь?
- С рождения.
- Оттого и Гуртов?
- Потому-т.
- И не отлучался?
- На войну Отечественную.
- С Наполеоном, что ли?
- Нет, с Гитлером.

Поразительно: ни обиды, ни смущения в этом человеке, словно бы и не заметил перемены в настроении, голосе гостя, унижительного «ты»! Одичал, окаменел, сросся с этими увалами, горячей землей, животными, временем? Вот у кого истинно перцепциальное восприятие времени, вещей, пространства — через органы чувств, что есть низшая, бессознательная форма духовности. Такими были наши предки, в перцепцию, словно в прострацию, может впасть современный человек, как случилось, когда они заблудились, — и это даже полезно, — но чтобы так вот уберечься от мыслительных отвлеченностей человека конца двадцатого столетия — поразительно, феноменально, достойно научного изучения и познания!

- А почему вернулся сюда?
- Потянуло.
- И доволен?

Матвей хмыкнул, точно захлебнулся поспешным словом, и закивал охотно белоковьяльной головой: мол, не могу даже выразить, как доволен. Нет, только на голодный желудок, после недожаренного жилистого петуха, при паническом истощении этот дедун мог показаться величественным, мудрейшим старейшиной загадочного Седьмого Гурта.

— А новости? Что делается в мире? Как живут люди?

— Знаем. По осени автолавка приезжает, газеты привозит, кое-что продаем, покупаем-т. Беседуем-т. То же, однако, люди.

— Да ты смеешься, старикан? Какие же вы люди? Надо еще спросить Марусю и Леню-пастуха — не держишь ли ты их насильно? Бирюк бирюком!

Матвей Гуртов пристально, кажется, впервые с любопытством оглядел своего квартиранта, сказал:

- Ваш товарищ — другой, тот кричать не станет.
- Почему?

— Мягкий характером-т. А вы на норов все, очень-т себялюбивый. Однако надо-т еще поработать. Если не желаете, идите отдыхать.

Желаю. Я обязан свой хлеб отработать.

— Правильно-т, — согласился Матвей и пошел к своим рядкам, да и пора было: скопившаяся вода топила ближние картофельные кусты, дальние же оставались сухими

И вновь они работали молча, в отдалении друг от друга Гелий стремился догнать Матвея, набил кровавые мозоли, до потемнения в глазах наломал спину, зло швыряя и разбивая спеченные зноем комья земли. Он почти приблизился к старику, когда тот пошел навстречу, и вместе они прокопали последнюю борозду. Огород, как рисовое поле, посверкивал гладкой водой, лишь кое-где она текла, пожурчивала, выравниваясь, затихая, чтобы уже постепенно, капля за каплей, напитать черноземную, сильную почву древней степной поймы.

Солнце уже ярилось, пора было прятаться от него. Они, молчаливые, теперь от усталости, пришли к запруде, и, пока Матвей распрягал залоснившегося от пота Федю, Гелий поднял за хвост змею Ульяну — холодную, скользкую, — зашвырнул ее подальше в непролазный бурьян

Истово наработавшись, они немо шагали к белой стене Гурта, чтобы напиться квасу, отдохнуть в прохладе строения — разумно толстостенного, надежного при жаре и морозах. Труд усмиряет, примиряет. Гелий Стерин осознавал себя почти равным старейшине, но даже это неизмеримо разделяло их: «Хорошо, я втянусь, почернею, привыкну к козьему молоку и баранине, тупой работе а ты — сможешь ли ты что-то сделать за меня? Вот так-то И давай, дедунь, твердо знай свое место. .» Дедунь же, Матвей Гуртов, шел, понуря отяжелевшие плечи, опустив голову, ибо от земли еще веяло ночной свежестью, за ним так же понуро вышагивал четырьмя широкими копытцами осел Федя, и ни о чем они, пожалуй, не думали, ни с кем не спорили, никого не корили. хотели заработанного отдыха, своей привычной пищи.

И Гелий стал успокаиваться, глядя на эти невозмутимые существа, давно вымершие в цивилизованном мире, и не очень рассердился, когда Федя бросил ему под ноги пахучие комья своего зеленого травяного помета. Ближе было завершение сегодняшнего утра, но послышался говор, смех явно не гуртовского происхождения, и по тропе слева пробежали Иветта с Авениром, она в купальнике, он в плавках; пробежали, держась за руки, свежие, жаждущие движения, жизни после хорошего, долгого сна.

Они промелькнули сквозь редкую заросль ивняка, длинноногие, розоватые в теплом красном солнце, этакie Адам и Ева, и кристаллически звонко разбилась под их телами дремотная вода.

Так, надо остановиться, подумать. Пусть осел и человек шагают к прохладе и еде. А у нас имеется голова, которая даже во сне не забывает о своих извилинах. Значит, пока мы «заливаем» картофельный огород, трудимся на благо Седьмого Гурта (в какой-то степени и всего человечества, ибо Гурт поставляет раз в году шкуры, мясо, овощи), пока мы набиваем кровавые мозоли и уничтожаем змей, они, он и она, превращаются в библейских Адама и Еву и отпившаяся козьим молоком, отъевшаяся агнцами Ева готова угостить Адама-Авенира запретным плодом. Но, во-первых, таковой плод он, Геллий Стерин, пребывая в роли Адама, уже откусал из рук Евы-Иветты, то есть, по-современному выражаясь, имел с нею один спальный мешок; во-вторых, он не хочет уступать ее никакому новому невинному Адаму потому, что она нравится ему, он, может быть, даже любит ее (хотя технократическая эпоха очень упростила этот не поддающийся точному математическому выражению термин) и просто хочет, решил жениться на Иветте.

Все шло к разумному бракосочетанию (Иветта понравилась его родителям, была обласкана, принята в строгий семейный клан Стериных), шло к счастливой супружеской жизни — один-два ребенка, докторская диссертация мужа, кандидатская жены, — но появился Авенир Авдеев, этакий белокурый, синеглазый Аполлон из Медведкова, с чуть усталым баритончиком и свежими губами, спрятанными в завитушках молодежных усов; один из последних, вероятно, ибо на асфальте подобные экземпляры уже выродились; способен, остер, может, и талантлив, кандидатскую сработает быстро. Ну и что произошло в этом, как теперь очевидно, не лучшем из миров? Надо бросаться на породистого росса, улучшать с ним породу (да в генах его намешано столько, что дитя от него может родиться желтокожим инком!), забыть первого, истинного Адама, пусть внешне менее совершенного — слишком коротконогого, слишком плечистого? Однако каждый век имеет свои стандарты красоты, исключительности. Двадцатый четко определил — интеллект и спорт. В этом мы и померяемся, юный Адам-Авенир, по отцу, доктору наук, Авдеев. А Ева, наша милая Иветта, просто не наигралась еще — забили бабам головы книга-

ми, науками, музицированием, увидела тебя — вернулась в свои шестнадцать лет, позабыв из классической литературы, что некоторые мужчины не отдают своих возлюбленных, что женщина — существо особое физиологически, духовно... Итак, сделаем разумный вывод из вышеобдуманного. Он не может быть иным: я ее беру, увожу отсюда. Как? Это дообдумую.

Авенир и Иветта вышли из воды, принялись бегать, стуча пятками, по твердому песку. Они были красивы, юны, дики. Человек с художественным видением оценил бы, пожалуй, эту сцену в глухой степи, у прохладного водоема, такую естественную, откровенно любовную, и помечтал бы о скрытой камере. Но Гелий решил прервать ее, крикнул:

— Эй, кончай резвиться! Пошли лепешки кушать!

ЧЕЛОВЕК-САЙГАК

Кто сказал ему о Седьмом Гурте, как он отыскал дологу в степи, гуртовики так и не узнали. Вероятнее всего, бродя по рынку города Атбасара, он разговорился со стариками, торговцами шерстью и кошмами, подпоил их и выведал о дальнем степном оазисе, огромных табунах сайгаков, ради которых он решил забраться в глухую степь.

Он шел четыре дня самым коротким путем, шел утром и вечером, полдневную жару пережидая в буераках, и застучал створками ворот Гурта на сумеречном закате, когда притихла отпылавшая зноем степь, вяло шелестя цикадами. Он назвал себя не то фамилией, не то кличкой Ходок и попросился, как сам выразился, «стать на постой». Его не расспрашивали, здесь это не принято (пожелает — сам все расскажет), предложили поселиться в домике Маруси, тогда пустовавшем. Ходок очень обрадовался: он, оказывается, мечтал о таком одиночестве, его, видите ли, интересуют не люди, а животные, в частности степные антилопы — сайгаки.

Во время позднего ужина Ходок серьезно поведал, что он был дельфином, сибирским медведем, зубром в Белоужской пуще, теперь хочет стать сайгаком. Так и сказал: сайгаком. На вопрос Матвея Гуртова, как он мыслит осуществить это, Ходок ответил:

— Найду табун.

— Табун тут есть, большой-т.

— Начну знакомиться, подходить ближе, ближе. Постараюсь понравиться вожаку. Научусь скакать на четвереньках...

— Да вы что? — не поверил Матвей.

— Вполне серьезно. Я плавал по-дельфиньи и ел сырую рыбу, я ночевал с зубрами на их лежбищах, меня так любили медведи, что из лап своих кормили ягодами, я породнюсь с сайгаками.

— А зачем?

— Чтобы знать животных. Все изучают, а я буду знать. У вас нет сайгачьей шкуры?

— Запрет. Не охотимся-т.

— У меня есть лицензия. Убейте одного. Сам не могу. Мне нельзя: животные узнают убийцу.

— Раз надо-т для науки-т...

Ходок покупал у них молоко и овощи, всегда точно рассчитываясь, не ел мяса, пшеничные зерна размачивал в воде, жевал сырыми, говоря, что лишь самая естественная пища приблизит его к «степной сфере», выветрит из него человеческий дух. В отведенном ему доме он переночевал два-три раза, «для общей акклиматизации», а затем устроил себе во дворе лежанку из саксауловых веток и бурьяна. Не брился, не стригся. Седоватой дикой волосней заросло его сухое горбоносое лицо с маленькими глазами, зыркавшими остро, недобро. Ходок еще больше высох, ссутулился, и, когда становился на четвереньки, показывая, как он будет скакать в сайгачьем табуне, даже гуртовикам делалось жутковато: такого существа в степи еще не водилось.

Леня-пастух показал Ходоку сайгачьи лежбища, водопой на речке Гурт, километрах в пяти ниже по течению, тропы утренних и вечерних пробежек табуна. Сидя в засаде, наблюдая за сайгаками, отдыхающими или проворно щиплющими буерачный скудный кустарник, верблюжью колючку — джантак, полынь, Ходок говорил:

— Знаешь, почему нос у них горбатый, трубой?

— Ветер рассекает, когда бегут, — наугад отвечал Леня.

— И для этого. Но главное — летом увлажнять сухой воздух, зимой — согревать, чтобы легкие уберечь. Им нужны мощные легкие. Для чего?

— Бегают шибко.

— Догадливый. Правильно. Случается, сайгак развивает скорость до восьмидесяти километров в час. И все равно едва не истребили степную антилопу: восковые ро-

га продавали на лекарство, заменявшее пантокрин, из шкуры выделывали отличную кожу, мясо считалось целебным, дорого ценилось... Вот и бегают прытко сайгак.

— Видел. На автомобиле тут одни гонялись, вроде тоже с научной целью. Нескольких, послабее, загнали, другие ушли. — Леня-пастух засмеялся. — Понимаешь, — с Ходокон они были на «ты», легко и сразу подружившись, — хитрые звери, пошли по солончаку, вздыбили тучу пыли — не только люди, машина задохнулась от соли.

— Наблюдательный. Молодец. Я об этом уже думал: трудно мне будет на солончаках. Надо тренироваться.

— Да брось ты, Ходок, дурить. Понаблюдай, напиши свой труд. Диссертацию, так? И живи себе в столице ученым-сайгаком.

Леня смеялся, радуясь своей шутке, а Ходок ворчал:

— Таких сайгаков тысячи. Смотрят, наблюдают... В основном друг за другом...

— И за соседями.

— За соседками.

Тут они засмеялись вместе: Леня прямо-таки хохотал, Ходок часто покрывал, будто поперхнувшись едой, и скоро затихал, морщил выпуклый лоб — единственное открытое место на его волосатом лице, — говорил, жестко хватая Леню за локоть:

— А мне надо в шкуре сайгачьей побывать. Кстати, почему до сих пор нету шкуры? Матвей не умеет стрелять?

— Матвей Илларионович умеет любую здешнюю работу. Так ведь твой табун пугать нельзя. Ищет где подальше.

— Правильно. Какие вы здесь все умные!

— Обыкновенные.

— Да, на природе других не бывает. Вот побуду сайгаком — и поехали ко мне в гости, Леня. Я живу на Чистопрудной, у меня комната большая. Неделю пьянствовать будем.

— Ты пьешь?

— Нет. Был алкоголиком для интереса: узнать, что это такое. Интересно, с чертями общался. Один, старый, щербатый, желтоглазый, вонючий, другом стал. С вечера придет, в углу на корточки присядет и хихикает. Швырну ботинком — исчезнет. А лягу спать — к ногам на краешек кровати присядет и давай рассказывать про чертячью жизнь. У них, оказывается, Леня, все по-другому.

живут вечно, но никаких удовольствий, кроме пляски на человеческих душах. Котлы со смолой, сковороды — вранье, он мне поклялся. За твою душу, говорит, повышение получу, так что командуй — бутылочку, женщину? И доставал, приводил. Интересно. Но надо уметь остановиться. Без лечения, самому, собственной волей. Я смог.

— Если интересно, зачем трезветь?

— Имеется причина. Важная. Он не сказал мне, куда денется моя душа. Что с ней будет, когда они отпляшут на ней. Говорит — смертельный запрет. А я не люблю запретов. Решил вернуться к людям. Понял: надо самим все познать, даром нам никто ничего не дает. Мы — для познания мира.

После таких откровений Леня-пастух терялся, у него было всего восемь классов образования, ПТУ, два года службы в армии танкистом, где и случилась с ним беда: на учениях танк перевернулся на круче и загорелся, никто не погиб, а у Лени с того времени начала болеть голова, он стал бояться техники — тракторов, автомобилей, станков... И пришел в Седьмой Гурт, вспомнив, что здесь когда-то жили, померли его дед и бабка.

Ходок продолжал философствовать:

— Надо быть пьяным, Леня, работой, степью, тайгой, женщиной... Отвратительны, опасны трезвые. Злые они. У меня сосед смотрит передачи об алкоголизме и наслаждается: вот свиньи, до чего себя довели! А он за все свои семьдесят лет ни к рюмке, ни к делу истинному не притронулся. Его и на работе держали за то, что не пьет, для назидания другим. Великим себя чувствует!

Леня был опьянен степью, он вдохнул, выпитал ее в себя, ибо гуртовская жительница Верунья лечила его травмами, успокаивала наговорами: он боялся глухих стен, темноты, и Верунья сшила ему белый просторный полог, за которым днем было прохладно, а ночью светло. Леня вылечился, но не хотел уходить из Гурта, боялся потерять простор, воздух, степные травы. Боялся, наверное, там где-то, среди домов и людей, отрезветь.

Он все это говорил Ходоку, тот понимающе кивал и советовал обзавестись женой — найти тихую, работающую, способную рожать детей, чтобы не опустел Седьмой Гурт — живое, красивое, может, лучшее на планете место. Они тогда не знали, что невеста, Маруся, сама придет в «лучшее место».

Наконец Матвей Гуртов привез на осле Феде крупно-

го сайгака, желто-рыжего, с белым подгрудком, отменной породы, снял с него шкуру и хотел выделывать ее, но Ходок попросил лишь соскоблить жир и мездру, сам принялся помогать и надел сыромятную, пахнущую диким зверем шкуру на голое тело; попросил зашить ее вдоль живота, по разрезу. Глянули гуртовики — ужаснулись. Матвей горько помотал бородой, Верунья в страхе перекрестилась, Леня-пастух глупо расхохотался. И было отчего: из лохматой шкуры сайгака-самца торчала не менее лохматая человечья голова, конечности — в кожаных ичигах ступни, обтянутые кожаными рукавицами кисти рук. Ребристые витые рога Ходок прикрепил к шкуре на затылке. «Ничего, — сказал, — что будут не на лбу — важен символ». И еще попросил пришить к животу сумочку для еды. «Стану немножко сумчатым», — пошутил.

Уже вечерело, Верунья собрала ужин, Ходок наскоро поел, попил чаю, вымолвив, что теперь придется перейти на воду из речки Гурт, положил в сумочку сухарей, пшеничного зерна, пожал каждому руку (Верунья до сих пор говорит: «Рука холодная, колченогая, копытцем...») и заспешил в степь, позволив Лене проводить себя лишь до плотины. Едва не заплакал Леня, увидев, как Ходок, принаравливаясь к шкуре, то пробовал бежать, то падал на четвереньки, то отдыхал, сидя столбиком, напоминая издали большого сурка у норы.

Несколько дней его никто не видел, а потом Леня погнал свою отару к сайгачьему водою. В саксауловом буераке, где он пережидал полдневную жару, уже не надеясь встретить Ходока, тот сам подошел к нему, да так неслышно, что Леня вздрогнул: всякая чудь, миражи, видения мечутся в горячей степи. Не поздоровался Ходок, не подал руки, чуть поодаль упал на бок головой в тень, сказал хрипло и прерывисто:

— Прости... духом твоим боюсь заразиться.

Он похудел и еще больше ссутулился, шкура на нем заскоружла, стиснула его панцирем, но он к ней, видимо, вполне приспособился, только сидеть по-человечьи не мог, да это его мало печалило: ведь сайгаки сидеть не умеют. Ранее свежие, зорко-внимательные глаза его потускнели, дико закровавились, утонули в набухших веках. Костистые ноги и руки на зное и ветре начали обрастать рыжими волосами. Ходок показал свое жилище — саксауловые ветки в саксауловом низеньком шалашике, больше напоминавшем лежку зверя.

Но был он все-таки человеком, и Леня-пастух сказал:
— Брось, а? Помрешь от истощения.

— От жира тоже помирают, — спокойно прохрипел Ходок и, выкатив глаза, почти как раньше, возбужденно заговорил: — Леня, они меня уже принимают. В степь не берут, а на водопое не гонят. Особенно самочки. Я ближе к ним держусь. Беда — вожак очень умный и злой. Чует во мне человека, присматривается, следит. Я заигрался с одной самочкой, такой ласковой, волоокой, по имени Катюша — это я назвал ее, — и вдруг от удара перевернулся, хотел подняться на четвереньки, но вожак опять сшиб меня рогами и покатил к реке, а течение знаешь какое — расшибет о камни. И тут, Леня, стадо сгрудилось вокруг меня (старые самки, правда, стояли поодаль, сердито и любопытно наблюдали), оттеснило вожака, он ударил одного-другого, вспрыгнул на бугор — свой обычный пост, — и зеленая травяная пена свесилась с его морды бородой. Я спрятался в саксаульник, отлежался. Это было позавчера. А сегодня уже свободно прыгал в стаде, терся носом о сайгачьи морды, потом вот что придумал: в буераке есть маленькая лужайка зеленого овсяга, я нарвал пучок этой лакомой травы и незаметно подсунул вожаку; получилось так: вроде и не я его угостил, но это как-то связано со мной. Вожак обнюхал меня, потерся горбатым рылом о мое ухо, намекая: нельзя ли еще сотворить такое чудо? Я сотворил, незаметно сбегав на лужайку. И вожак разрешил мне держаться около него, отогнал даже двух молодых самцов, возревновавших меня к хозяину стада. Я играл с Катей, нарочно припадая на нее, — вожак терпел, умно и вроде со смешком поглядывая: ты все-таки не сайгак, твоя шкура не пахнет живым сайгаком; ты кормишь меня сладкой травой, но тебе чего-то нужно от сайгаков; буду следить; возьму тебя в степь... Понимаешь, Леня, — Ходок выпучил глаза, они у него засинели от возбуждения, — вожак пригласил меня в степь! Напились стадо воды, начало подниматься на увал, и он давай меня слегка подталкивать носом: мол, давай, пошли. Я запрыгал впереди, километра четыре шел со стадом, до солончаков, а потом оно сгрудилось, загудело копытами по твердой земле и в несколько минут исчезло, будто вознеслось вместе с соленым облаком. Я вернулся к речке.

— Как дальше будешь? — спросил Леня.

— Ты еды принес?

— Есть тут сухари, зерно, лук. Может, яиц вареных возьмешь?

— Давай, подкреплюсь немного. Но больше яиц не носи. Деньги отсчитай сам, в куртке, знаешь где.

— А не помрешь?

— Помру. И ты помрешь. Все помрут! — И Ходок смеялся, обнажая мелкие желтые зубы. — Чудак, они меня приняли, я скоро буду понимать их бляение, хорканье, игры. Для этого шел сюда, надевал шкуру. — Он постучал пальцем по барабанно-сухой шкуре, приподнялся, прислушался. — Чуешь, степь гудит — стадо идет на водопой. Сайгаки бегут, нацелив рога, как копья, и головы у них будто вращаются, чтобы видеть опасность со всех сторон. Уходи, Леня, угоняй своих барашков, сайгаки испыряют их — хлебом же, человеком пахнут.

Несколько дней Леня-пастух не гонял свою отару к буераку, а когда пригнал — не нашел в шалаше Ходока; и шалаш выглядел давно покинутым: верхние ветки обвисли, подстилка пересохла, оголилась. Было раннее утро, еще держалась ночная прохлада. Леня решил подождать. Вскоре над солончаками вспухло белое облако, послышался отдаленный, вроде бы подземный рокот, затем желтовато-рыжая рябщая лавина сайгачьего табуна потекла по зеленой припойменной степи к реке.

Сайгаки вздыбили песок и водяные брызги, послышался яростный шум — рев, хорканье, бляение малышей, — задние сталкивали в реку тех, кто раньше припал к воде, их подхватывало течение, кувырало, несло, и, мокрые, выбирались они на пологую песчаную косу. От стада повалило густой вонью пота, прелой шерсти, Ленина отара перестала пастись, плотно сбившись, козел-вожак в страхе мотал головой, раздувал ноздри, будто чуя волков. Старые чабаны рассказывали: бывали случаи, сайгаки, проносясь по степи, разгоняли, топтали овечьи отары.

Опала мгла, поутих гомон, животные утолили первую жажду, понемногу начали рассеиваться, а Леня все вглядывался в табун. И вот он заметил, да и как было не заметить, некое несуразное существо: оно держалось у края табуна и то вскидывалось, поводя маленькой головкой, то низко падало, неуклюже выставляя зад, — очень похожее на уродливого кенгуру. Не сразу Леня узнал в нем Ходока, а узнав, от растерянности, смущения несколько минут не мог набраться решимости позвать его: не обезумел ли Ходок, не набросится ли на него и

отару вместе со своим диким табуном?.. Но раз-другой Ходок быстро, настороженно глянул в сторону буерака, словно бы желая увидеть там что-то, и Леня, привстав из-за куста, несмело помахал рукой. Ходок заметил, вскинулся, резко махнул рукой — приказал Лене спрятаться. Затем понемногу начал отпрыгивать, отбиваться, поглядывая на тяжелорогого вожака, около крайних кустов припал к земле, ползком пробрался в низину буерака и минуту лежал, хрипло дыша, отдыхая. Поднимался медленно, косо усаживался, покачиваясь, но, когда Леня протянул руки, чтобы помочь ему, он зло хоркнул, зашипел, невнятно выговаривая слова, и наконец произнес неразборчиво:

— Н-не пр-рикасайся!

Ходок отощал еще больше, голова, лоб, нос были в струпьях и ссадинах — его били или, играя, бодали сайгаки, — шкура местами протерлась до залысин, руки и ноги гуще заросли волосами; он стал почти зверем, лишь глаза, выныривая из опухших слезящихся век, разумно видели, по-человечьи мыслили.

Леня-пастух молчал. Леня страшился что-либо сказать, спросить человека-сайгака. Тот сам заговорил.

— Хорр-хорр! — гортанно выжал из себя Ходок. — Это значит: волак требует внимания. Табун затихает, обращает в его сторону слух. «Хорр-хорр» — звуки, слова вожака, только он имеет право ими пользоваться. Если опасность учуял другой сайгак, он должен часто, одышливо икать: «Ирр-га, ирр-га!» Сигнал к бегу, перегону подает опять же волак длинным выкриком, похожим на ишачье «и-а-а!..». Самочки ластятся тоненьким бляением, ссорятся носовым фырканием. Самцы дерутся, гортанно храпя, и побеждает тот, у кого мощнее, грознее храп. Есть звук, которым можно пожаловаться вожаку, я научился издавать его, и теперь меня не трогают сайгаки-самцы, жаждущие власти над табуном. Понимаешь, я указал вожаку его главного соперника (это он так избодал меня), объяснил, что тот готовится отбить табун, и был бой: часа полтора сходились лбами, бились рога — молодой, сильный, и тяжелый, седошкурый. И думаешь, кто победил?

— Не знаю, — растерянно ответил Леня.

— Волак. Я помог. Ударил молодого камнем по задней ноге — сила вся в задних ногах, — когда он начал одолевать вожака. Вмешался. Нехорошо. Но выжил бы меня молодой из табуна или убил: нюх, чутье у него ос-

трые. Знает, кто я. Потому-то раньше времени поднялся на вожака. Чтобы очистить стадо. От меня.

— Куда делся молодой?

— Ушел в степь. Прибьется к другому стаду, если волки не задерут.

— Значит, нарушил экологию?

— Нарушил, Леня. Но... со зверями жить, по-звериному...

— Ты по-человечьи.

— Да, не удержался. И еще два раза волков отогнал: просто заорал на них — струсили, отстали.

Леня решил воспользоваться этой ошибкой Ходока — ведь он так упрямо ратовал за нетронутость природы — и попробовать увести его с собой, спасти от сумасшествия, гибели.

— Значит, не имеешь права оставаться с сайгаками, — сказал напористо Леня. — По твоей же науке получается: нарушилось равновесие в табуне. Ты уйдешь — молодой самец вернется. Экология восстановится.

Ходок помолчал, что-то обдумывая, а затем тихонько, с одышливым хорканьем рассмеялся.

— Ты прав. Да только я уже не совсем человек. Мои руки скоро не сумеют поднять и маленького камешка. Смотри. — Он показал: под истертыми рукавицами темнели костистые кулачки с ногтями, вьевшимися в ладони, с ороговевшими мозолями на суставах; попытался разжать кулачки — пальцы лишь наполовину выпрямились. — Я же на них бегаю.

— Ты рехнулся.

— Возможно. Но на тебя пока не бросаюсь.

— Тогда скажи: когда закончишь свой эксперимент?

— Когда стану сайгаком.

— Выходит...

— Выходит: положи в шалаш зерна и сухарей — и уходи. Придешь — еще положи. Но меня не подзывай. — Из опухших, кровавых век выкатились бешеные, злые пузыри глаз, рот Ходока ощерился почернелыми зубами. — Ты мешаешь. Видишь, меня ищет вожак. Они убьют меня, если узнают, что встречаюсь с тобой. — И он, прячась в кустах саксаульника, запрыгал к табуну.

Через несколько дней Леня снова навестил буерак и увидел нечто, потрясшее его до озноба. Табун, утоливший жажду, отдыхал у воды, а на бугре, где обычно озирался буйнорогий вожак, восседал по-кенгуриному Хо-

док. Он строго и важно поводил маленькой головкой, около него толпились сайгаки-самцы, одна молоденькая самочка лежала рядом с ним, и Ходок поглаживал ее скрюченной рукой. Вожак стоял ниже, на уступе бугра, кося глазом вверх, вроде бы ожидая сигнала, повеления от нового главы табуна. Лене стало жутковато, он даже постучал себя по лбу кулаком, чтобы прояснить сознание: не мерещится ли все ему?.. И тут услышал, как Ходок негромко хоркнул, его хорканье повторил, усилил вожак. Рассеянные у воды сайгаки мгновенно сгрудились вокруг бугра, вздымая головы, прядая ушами. Ходок сгорбленно поднялся, издал протяжный, с подвыванием звук и начал медленно кружиться, вытянув правую руку. Табун немо пошел вокруг холма, затем, повинувшись Ходоку, изменил направление; по гортанному краткому звуку, громко повторенному вожаком, послушно залег. Ходок, уперев руку в бок, довольно и важно озирался; буд-то зная, что за ним наблюдают из буерака, капризно и зло приказал лечь вожаку. И вдруг, хоркнув изо всей силы, поднял табун, сбежал с бугра, повел сайгаков в степь. Повел неспешно, приспособливая к своему прерывистому кенгуриному бегу.

Дважды после этого Леня приносил еду в шалаш. На третий она осталась нетронутой. Леня вернулся сюда через сутки: лук завял, морковь одрябла, зерно растащили мыши.

Вечером жители Седьмого Гурта совещались: идти на поиски странного гостя или выждать немного, чтобы не обидеть излишней заботой человека, занятого наукой? Гуртовики очень ценили свободу любого и каждого. Верунья, вздыхая и печалась, высказалась за поиски, Леня примкнул к ней, старейшина Матвей похмурился, посомневался и тоже решил: «Если живой-т, посмотрим да уйдем-т».

Утром, оставив отару на Верунью и собак-пастухов, Матвей и Леня запрягли осла Федю в двухколесную арбу, поехали в степь. Сначала обыскали буерак возле водопоя, потом направились по широкой сайгачьей тропе к солончакам. Еще светила огромная льдисто-прозрачная луна, и такыр сверкал голубоватой порошей соли — белая пустыня во все стороны, с кочками, бугорками самых разных цветов: густо-синих, фиолетовых, розоватых. Невообразимый, лунный или марсианский пейзаж. Такое может лишь присниться.

Они ехали, осматриваясь, а глаза немели от острой

белизны, слезились, затхло-соляной воздух дурманил головы. Так бы и ехали в бесконечность неизвестно сколько времени, но осел Федя зафыркал пугливо и остановился. Справа, чуть впереди, они заметили коричневатый бугорок, присыпанный солью. Соскочили с арбы, приблизились... Это был Ходок — измятый, истоптанный сотнями сайгачьих копыт. По нему пронесся табун.

Подняли, положили в арбу. Удивились тяжести исхудалого мертвого тела Ходока: сильный был человек мускулами, костяком. Под голову сунули кошму. Федя возбужденно зашагал, арбу затрясло, и глаза Ходока открылись; их коснулся, словно бы оживил, лунный свет. Матвей хотел пригасить мертво-зрячие глаза, но Леня попросил не трогать их: они хоть отдаленно напоминали прежнего Ходока, погибшего в косматом, диком существе.

Долго рядились, как хоронить гостя. Шкуру снять не удалось: заскорузла, скипелась, точно приросла к телу. В шкуре класть в гроб было кощунственно, противно человеческому обычаю. Поступили так: завернули Ходока в его же оранжевую палаточную ткань, похоронили за рекой на холме. Вместо памятника выложили пирамидку из дикого камня.

По паспорту он оказался Ходоковым Валерием Яковлевичем, тридцати трех лет от роду, неженатым, бездетным. Кое-какие вещи, семьдесят рублей, документы отдали под расписку шоферу автолавки, чтобы сдал в городе куда надо, попросили сделать запрос о покойнике. Через год шофер сообщил: родственников у Ходока не обнаружилось, вещи и деньги оприходованы казной до восстановления.

КТО КОГО ПОНИМАЕТ?

— Во-он его могила, — указала Маруся на рыжий холм, до половины размытый синим туманцем, поднимающимся от ранней утренней реки. — Я-то его не видела. Смирный, говорят, был. А все равно с того года наши стали бояться туристов. Всех, кто приходит сюда, туристами называют. Непонятный человек, правда?

— Да, — отозвалась Иветта Зяблова, — странный. Какой-то такой: и понятный — хотел максимально приблизиться к животным, и ненормальный — вздумал превратиться в сайгака. В психушку надо было его поместить.

— Про вас тоже сказал дед Мотя: в психичку бы всех сдать.

Иветта рассмеялась, оперлась на черенок тяпки, вздыхая от ломоты в спине.

— Нас не примут, Маруся. Мы слишком нормальные.

— Зачем тогда заблудились, чуть не загибли?

— Ну, это я виновата... Такая история... Ты читала романы про рыцарей?

— Два: «Айвенго», «Квентин Дорвард».

— Молодец. Помнишь, как рыцари выбирали даму сердца и в честь ее совершали подвиги, гибли на турнирах?.. Вот я такая дама, только у меня два рыцаря, и современные. Поняла что-нибудь?

— Они любят вас?

— Да зови ты меня на «ты», я же не учительница твоя!

— Ладно... если не забуду. — Маруся тоже привалилась плечом к тяпке, но не от усталости вовсе — от любопытства, влажными искорками замерцавшего в ее темных, обычно медлительных глазах.

— Любят, Маруся. И это я их завела в пустыню. Вернее, шла за полынью, искала редкую разновидность горькой пушистой, а потом что-то со мной случилось — жара, миражи, страшная бескрайность, — какая-то злая стала. Иду — они идут. Думаю: кто первый струсит? Вот и зашли.

— Ой, интересно как! И вправду, так только в романах бывает!

— Видишь, мы, женщины, все одинаковы: когда нет никого — рады любому, когда двое сразу — ищем третьего. Мне и чудилось: найду в пустыне третьего.

— Что вы... что ты... они оба хорошие.

— А тебе кто больше нравится?

— Н-не знаю...

— Авенир, конечно, признайся?

— Да.

— И мне тоже, Маруся... Но... жизнь — не то чтобы только нравился. Тебе не понять... Там у нас, в большом городе, свои законы... У тебя все просто: выйдешь замуж за Леню, да? Если не убежишь отсюда.

— Не убегу.

— Ты обещала рассказать, почему бросила интернат, пришла сюда.

— Потом, ладно? Нам еще вон сколько работы. — И Маруся показала на ровные помидорные грядки с невысокими крепкими кустами, сплошь отягощенными зеле-

ными помидоринами. — Норму-то выполнить надо. А ты еще хотела посмотреть, как Верунья жнет пшеницу.

Они принялись пропалывать грядки, поднимать полегшие кусты, подвязывать их к тальниковым, воткнутым в землю палкам. Работа простая, но однообразная, и главное — гни, гни спину. Маленькая Маруся гнулась и распрямлялась легко, точно имея особый — да так оно и было, — приспособленный для крестьянской работы склад тела; рослая Иветта — со скрипом и болью в суставах, злясь и думая, что она как немазаная телега здесь и пригодна лишь для «вертикальной» городской жизни.

...С первого дня она стала ходить следом за Марусей, помогать ей в хозяйственных делах, поняв: иначе нельзя, иначе одуреешь от лени, духоты, степного безвременья. Сегодня утром она училась доить козу. Их две, молочных козы, на всех гуртовиков — молодая Светочка и старая Груня с надломленным рогом, белой бородой. Маруся подвела к Иветте серую глазастую Светочку, сказала: «Давайте знакомьтесь». Иветта потрогала пальцами жесткий лобик, почесала за ушами (рога трогать, она знала, нельзя), скормила, отщипывая, кусок лепешки, а потом Маруся усадила ее на низкий деревянный стульчик, поставила ведро. «Ты ногами придержи, не то брыкнет — и молоко на земле будет». Показала, как всей ладошкой брать сосцы, стискивать, оттягивать вниз, засмеялась: «Небось в кино-то видела!» И принялась доить Груню, жестко ударяя струями молока в цинковое ведро; руки ее, едва касаясь сосцов, словно сучили длинную белую нить, и сосцы, промытые теплой водой, нежно розовели, вымя набухло синими жилами.

Старой Груне было приятно доение — ее освобождали от назревшей тяжести молока, — она изогнула шею, шершаво лизнула Марусю в щеку. «Ладно-ладно, знаю, что умница, — похвалила ее Маруся и скосилась на Иветту. — Да дои же ты Светку, а то вымя у нее лопнет!» Иветта схватила сосец, упругий, теплый, стиснула, потянула вниз, он вроде бы пискнул, струйка молока согрела ладошку, потекла по руке до самого локтя. Коза Светочка глянула на нее черным заслезившимся шаром глаза, жалобно, растерянно бекнула. И тут же Иветта получила крепкий удар в бок, упала вместе с ведром и стульчиком. Еще раз хотела поддеть ее старая возмущенная Груня, но Маруся успела вывернуть рога «принципиальной» козе, оттащить ее в сторону, наговаривая Ивет-

те: «Простите, пожалуйста, я даже не подумала... Вот дикая скотинка, защитница дурная!.. Идите в дом, я сейчас, быстро управлюсь». Маруся подоила обеих коз, принесла гуртовикам парное молоко на завтрак, и вдвоем они, уже смеясь, выпили тоже по большой кружке. «Я тебе Грунькиного налила, у нее гуще, вкуснее, назло ей... А Светочку ты будешь доить, она ласковая, только чтобы старуха не видела: жалеет, защищает свою дочку».

Иветта полола траву, подвязывала кусты, дышала резкими запахами помидорных листьев, такими радующими (ей даже вспомнилось: ведь ее отец давным-давно, в молодости, работал сельским агрономом!), и все равно не отпускала, мягко стискивала горло, слезила глаза обида: боже мой, ее ударила однорогая бородатая коза! За что? Она не хотела чем-либо досадить этим лохматым скотинкам, кормящим вкусным молоком людей. Пусть кормят, но пусть знают: они всего лишь животные! А Маруся не наказала, не побила нахальную Груню, хоть готова была в ноги поклониться, попросить за нее прощения. Здесь и ободранная курица-несушка в почете. Уравнялись животные и люди, рай для четвероногих и крылатых. Потому-то и свихнулся Ходок — захотел превратиться в сайгака.

Маруся прополола, подвязала кусты своего ряда, пошла навстречу Иветте; когда они сошлись, сказала, таинственно осмотревшись кругом:

— Знаешь, Верунья говорила — сайгаки на могилу Ходока приходят. Обязательно в лунную ночь. Придут и всем табуном кружатся вокруг камней, которые вместо памятника. И еще говорила, будто сайгачонок появился, похожий на человечка.

— Ты же в школе восемь лет училась! — от изумления выкрикнула Иветта. — И веришь глупым наговорам своей Веруньи-вруньи!

— Нет, она не глупая. Может, ей померещилось, старая... А так она очень памятливая: тысячу трав знает, деда Мотю прошлой зимой вылечила ядом змеи Ульяны — очень радикулитом страдал.

— Лучше бы она показала мне свои травы, чем издали зыркать да прятаться. Ты обещала сводить к ней.

— Вот сейчас закончим, пойдем на пшеницу, там она, может, с тобой познакомится. — Маруся вздохнула протяжно, по-старушечьи, наверное повторяя один из озабоченных вздохов Веруньи. — Понимаешь... она боится вас... говорит, беда от вас будет.

— Еще новость! Разбудили вашу спячку, живые голоса услышали, да?

— Мы мало спим...

— Я не о том. Уединились вы тут, одичали. Неужели к людям не тянет?

— Мы тоже люди...

— Нет, это вас нужно в психбольницу, всех сразу, на «скорой помощи». Ужас! Вернусь, буду рассказывать — никто же не поверит.

Маруся наклонилась, дергая руками траву, и засмеялась отчужденно каким-то своим мыслям: так смеются, когда знают, что рядом никого нет.

До злости обиделась Иветта Зяблова, едва не крикнула: «Почему ты нахально изображаешь из себя старшую?» И не смогла, конечно, ибо юная гуртовичка не ведала нарочитости, была старшей по естественному праву хозяйки. Ее мало интересовали рассказы Иветты о московской жизни: слушала, кивала: мол, верю, есть такая жизнь, да нам-то что — не наша ведь. Иветта напевала ей модные шлягеры, говорила о популярных во всем мире ансамблях «АББА», «Бони М», о музыкальных стилях рок-н-ролл, поп, диско; показывала, как танцуют в дискотеках — современных танцзалах, где музыка и светомузыка льются отовсюду: звучат, светятся стены, потолок, пол; человек забывает себя и все на свете, существует в ритмах и полыхании света, избавляется от суеты быта, несчастий, забот — и лечит ритмом свою стрессовую психику. Спрашивала, неужели Маруся может обходиться без телевизора — в интернате же смотрела телевизор? — без подруг, кинофильмов — одна среди стариков, если не считать Леню-пастуха, который слегка «с приветом»; пусть Леня хороший, нравится ей, но не заменит он всего человечества: человек потому и стал человеком, что стремился к общению.

Вот Иветта и ее родители правильно решили: в век НТР, защиты окружающей среды нельзя лишаться природы, и она стала геоботаником — жить будет в городе, работать на природе, временами, конечно. Ей ведь всего двадцать два года, она недавно окончила институт, а уже много повидала, перенесла такой страшный поход по пустыне, скоро будет кандидатом наук. Понимает ли это Маруся? Обычно Маруся отвечала: «Какая ты молодец!», хваля Иветту за ее знание деревьев, трав, цветов — словом, за дело и считая, очевидно, что лишь дело, работа достойны в человеке похвалы. Но как только Ивет-

та вспоминала зеленую «Волгу» отца, которой она лихо правит, плавательный бассейн «Москва», куда по субботам в любую погоду, и зимой тоже, ходит их троица — Гелий, она, Авенир, — или круиз на океанском лайнере «Шота Руставели» вокруг Европы («Представляешь, с одним писателем от Барселоны до Марселя в ресторане просидела!»), Маруся переставала ее понимать, точно иностранку, глохла, невпопад отвечала. Возмутительно: девушка школьного возраста — и такая невозможно характерная! И сейчас вот, не ответив на слова Иветты о психбольнице, посмеялась каким-то своим мыслям, притихла, выпалывая траву, не видя, конечно, как Иветта срезала тяпкой два помидорных стебля.

— Маруся, ты не сердисься?

— Нет-нет, Веточка, я не умею сердиться, мы тут никогда не сердимся. Один раз рассердилась на Леню: драчливому петушку перья из хвоста выдернул. Без хвоста петушок не мог драться — равновесие потерял, некрасивый, несчастный сделался.

Иветта рассмеялась, сказала:

— У нас в институте электрик есть, всегда подвыпивший, так у него для любого поговорка: «С тобой не соскучишься!» Вот и с тобой, Маруся, не соскучишься.

— Правда. Мы нескучные. Когда бывает свободное время, просим Леню сыграть, спеть под гармошку или домбру, стихи свои почитать. Концерт получается. А гармошку-побубаян смастерил ему дед Мотя, домбру один казак старый подарил, еще когда Леня в школе учился. И Верунья хорошо поет деревенские песни. Все вместе ей подпеваем.

— Дали бы для гостей концерт.

— Я говорила. Стесняются. — Маруся наклонилась, быстро выпрямилась, и на смуглой ладони ее, будто из ничего, возник розоватый помидор. — Смотри: почти красный. Скушаем! Работу как раз закончили.

— Искупаемся сначала.

— Ага.

Они бросили тяпки, побежали вниз, к запруде, сверкающе-синей посередине, белой справа от плотной стаи домашних уток и гусей среди кувшинок, осоки, рогоза. Солнце вроде бы неохотно разогревало остывшую степь (каждый день одно и то же: раскаливай увалы и барханы, а за ночь степь снова остынет; не надоест ли?), но сразу почувствовалось его сухое тепло, лишь только они сбросили платья. Спины, руки, ноги как паутиной обволокло колкими лучами.

Плавали, брызгались, перебрасывали друг другу помидор, а потом, гусинокожие, выбежали на песок, разломали первый степной плод. Зелено-красный, сахаристый внутри, он был теплым и духовитым — едва не задохнулись от его густого сока.

— Вот это синьор-помидор! — сказала Иветта.

— Первые всегда вкусные, — подтвердила Маруся. — Теперь пошли пшеничку смотреть, может, еще застанем нашу Верунью.

По плотине, затем вдоль речки свернули в широкую низкую долинку и увидели желтое, ровное, мерцающее золотистыми искрами пшеничное поле. Сначала поле, ибо во всей огромной степи оно было особого цвета, особого хлебного запаха: радостью, успокоением, нежностью повеяло от него, и еще древностью, и небесной нескончаемостью. Потом уже заметили в левой, более возвышенной стороне женщину в темном длинном платье и платке, напоминавшем капюшон монахини. Она по-мужски сильно взмахивала косой, укладывая ровным рядом срезанную пшеницу, а позади нее высился суслончик из восьми снопов. Остановились, глядя, запоминая видение, перехватывающее дыхание: желто светящееся поле, женщина в резко-темном, снопы колосьями вверх.

— Вот и мы, Вера-Верунья! — выкрикнула излишне громко Маруся, предупреждая, вероятно, что она не одна.

— Доброе утро, Вера Степановна, — сказала Иветта, почтительно не дойдя несколько шагов до нее.

Женщина сделала полный взмах, поправила валок захватом — грабельками, приделанными к косе, и тогда повернула голову, только голову. Четко проступил на желтизне поля ее профиль: прямой нос, черные брови, стиснутые губы и глаз — среди синеватого белка острый коричневый зрачок. «Чего вам?» — спросил глаз, тогда как тело, напряженное работой, словно бы не пожелало отвлечься. Но голос прозвучал кротко, с напевностью:

— До-оброе.

— Помогать будем! — сказала Маруся.

— Берите снопы, несите во двор, — медленно выговорила Верунья, отвернувшись, взмахнула косой. И погрузилась в работу. Взмах, шаг вперед, полуоборот головы... Плечи прямые, руки и ноги молодо округлы. Ни согбенности, ни полноты излишней. Какая-то нестареющая пожилая женщина, решившая не быть старухой. А голос и вовсе, став строгим, зазвучал молодо: — Слышала, что я сказала, Ма-аня?

Они взяли по два снопика, аккуратных, туго повязанных жгутами из соломы, и Иветта даже охнула от удивления: снопики были увесистые, налитые живой плотью, держать их, нести было приятно, как здоровеньких, крепких детишек. Чувствовалось: тяжесть твоя сливается с притяжением земли.

Когда отошли немного, Маруся виновато проговорила:

— Не хочет с тобой знаться. Ты погоди еще, она привыкнет.

— Сколько ждать? Месяц, год? Нам же уходить надо, я уже не могу...

— Вот поправитесь...

— Отчего она такая злая?

— Не злая — неудачливая. Жизнь не получилась, любила одного человека...

— Расскажи.

— Ладно. Только ты никому: обидится на меня Верунья. Любила она деда Мотю, еще до войны, молодые они были... Тогда в Седьмом Гурте много народу жило. Ушел Мотя воевать — она и сейчас Мотей зовет его, — ждать стала. Три года ждала, а он вернулся с женой, на фронте она вроде жизнь ему спасла. Верунья уехала и как пропала. Много лет прошло, дети у деда Моти выросли, поразъехались. А когда бригаду отсюда снимали, жена тоже уехала — внучат нянчить, Мотя остался один: «прикипел», говорит, к Гурту. Сколько лет так жил — не знаю, потом пришла Верунья, где-то узнала, что он совсем одинокий. А жить с ним не стала, заняла родительский дом.

— Семья, муж где у нее?

— Не было, говорит. По разным городам скиталась, не нашла места.

— Какие вы все...

— Обыкновенные. Сердце у нее закаменело — не могла простить. А теперь уж состарились.

Иветта шла, молчала, с непонятной обидой для себя удивляясь: в таком забытом, малолюдном обиталище и столько человеческого! Прямо-таки загадочное микрообщество! Это еще Маруся о себе помалкивает. Вот и идиллия оазисная — тишь, гладь да божья благодать... Выходит: «Все мое ношу с собой», где человек — там все нажитые им страсти. Почему же они отгораживаются? Чтобы не прибавить чужой боли? Но спрашивать больше Иветта не стала, ибо нарушилось ее представление о благодатном Седьмом Гурте вдали от НТР. Кого и чем

теперь удивишь, вернувшись в столицу? Гелий Стерин первый вышутит их странствие за полынью горькой: «Хлебнули горького до слез!» Посмеется над гуртовиками: «И всюду страсти роковые... Седьмой Гурт — не седьмое небо!»

Снопки составили в суслон посреди высокого, огороженного таловым тыном дворика. Маруся обошла вокруг, поправила суслон, чтобы не развалился, сказала:

— Подсохнут колосики — обмолотим.

— Вы и хлеб себе сами выращиваете?

— Нет, муку нам привозят, это птицам корм. Мелем немного на блины, сдобу. Вкусное наше жито! Может, вас успеем угостить.

— Ты говоришь: жито, жать. А Верунья косит.

— Жнут рожь. Серпом. Она высокая, под косой спускается. Привыкли: жать — красивей. Косят ведь и траву.

Солнце начинало работать — поднялось настолько, что видело весь Гурт, до слезной белизны высветив саманные дома, резко очертив терн, и быстро укорачивало их, съедая затаившуюся в буераках, таловых зарослях у речки прохладу, пережигая синюю утреннюю дымку, чистую и свежую, в мутный пепел нестерпимо знойного дня; степь, ожившая ночью скудной растительностью, сусликами и насекомыми, вновь замирала, лишь змеи, шурша и сверкая чешуей, выползали на каменные лбы увалов пропекать холодную кровь.

Маруся повела гостью к своему дому, но, глянув за речку, на пшеничное поле, где виднелась темная фигурка Веруньи, придержала Иветту, спросила:

— Хочешь посмотреть, как она живет?

— Очень! И травы сушеные.

— Быстро тогда. — Маруся схватила руку Иветты, и они побежали вдоль каменной гуртовской стены.

У Веруньи был собственный маленький двор с колодецем, летней печкой, пирамидками кизяка, сараем. Ступеньки крыльца из камня-плитняка подметены, дверь в сени прикрыта, но ни замка, ни задвижки — здесь не принято замыкать, запирать. От кого? Маруся опустила в колодець ведро на бело начищенной цепи, быстро выкрутила ворот, схватила плещущее водой ведро, перевалила его через край сруба, приказала:

— Пей, самая вкусная вода. Святая.

— Ты же говорила — вы все неверующие.

— А вода святая. Верунья бросает в колодець серебряные монеты. Мы только ее воду пьем сырую.

Напились ледяной, легкой воды, будто проглотили по большой порции мороженого, и вошли в дом Веруны — небольшой, ухоженный снаружи, по-монашески скудный и чистый внутри. Кровать, столик, занавесочки, войлочный коврик на полу... Пахло полынью. На подоконнике сушились веточки полыни горькой. Иветта осторожно перешла комнату, стала рассматривать привядшую, до блеклой матовости выбеленную солнцем степную траву, как откуда-то сбоку подступил, обволок ее густой, дурманящий запах множества растений, словно повеял ветер с огромной цветущей поляны. Она обернулась. Маруся стояла у открытой двери в слабо освещенную кладовую, кивками звала к себе.

Какое-то время Иветта, онемев от удивления и восторга, не решалась перешагнуть порог кладовой, да и не просто было сделать это: на полках, скамейках, прямо на полу лежали связки сушеных трав, цветов, корней; пучки, связки висели по стенам, свисали с потолка. Ботанический музей, гомеопатическая аптека! Иветта начала вслух перечислять, чуть трогая, вороша связки:

— Самбул, сафетид, гальбам... ит-сийгек — он ядовитый, им отравляются овцы... софора, сурана... Это степные растения, все лечебные, полезные, даже ит-сийгек: отваром из него опрыскивают сады...

— У нас есть пять яблонь и семь груш, — сказала Маруся.

— Для них, наверно... Дальше луговые ромашки, молочай, чистотел... А вот, вот лесные... Откуда? Медуница... Посмотри, цветки синеватые... Луковицы сараны, калгановый корень...

— Она сама выращивает. У нее около речки отгорожено, сеет, ухаживает.

— Полыни-то сколько! А вот, ой, чудо! «Даре мона», или, по-простому, дармина, или цитварная полынь. Она растет южнее, в вашей степи ее не должно быть.

— Верунья далеко ходит.

— Потрясающая старуха! Послушай, наизусть помню: «Изящество и красота дармины идеальны, форма и цвет лаконичны и просты. Среди сонма полыней цитварная полынь — как породистый конь среди разномастных сивок. Стебелек дармины имеет форму кипариса. Все веточки густо усеяны мелкими, как бусинки, цветочными бутонами четко вылепленной яйцевидной формы с черепитчато-выпуклой поверхностью. Ничего лишнего. Никаких обычных для полыней волосков.

Опушения нет». Вот оно какое, «цитварное семя».

— Красиво. Как стихи!

— Из дармины добывали кристаллическое вещество сантонин, лечили глистные заболевания. — Иветта двумя пальцами держала, рассматривала ломкий стебелек полыни. — Раньше ее заготавливали до ста тысяч пудов в год. Казахи получали за пуд шесть — восемь копеек, а в Германии он стоил девятнадцать рублей, их фирмы миллионы зарабатывали. Потом все заросли дармины арендовал оренбургский купец Савинков, построил завод в Чимкенте, обогатился на дармине. Вот она какая, «Даре мона». Дарит себя, даром бери.

— Интересно, спасибо! — Маруся взяла несколько веточек полыни, похожих на изящные деревца. — Для тебя, Верунья не заметит... Она вообще не жадная и разговорчивая бывает, только про свои травы молчит. И не показывает. Говорит: лишний глаз силу лекарственную убивает.

— А горькой пушистой нет. Все осмотрела.

— Может, такой вовсе не бывает?

— Находили. Правда, давно. — Иветта примолкла обиженно, точно ее нехорошо обманули, часто заморгала ресницами, словно собираясь заплакать. — Я надеялась, думала, у вашей гомеопатки найду.

Маруся, все это время поглядывавшая в окна, заметила, как от речки, по огородам медленно поднимается Верунья с двумя снопами и косой на плече. Хмуро и пристально она озидала свой дом, будто чуяла в нем непорядок, и заспешила, одолевая огороды наискось.

— Глянь! — вскрикнула Маруся по-ребячьи испуганно и смешливо. — Побежали!

В ее доме они отдышались, попили холодного кваса, легли на широкую деревянную кровать: наступила полуденная мертвая пора отдыха. Спали они вместе, ибо кровать, некогда служившая Марусиным деду и бабке, а затем ее родителям, была настолько велика, что они могли укладываться «валетиком», делить ее подушками на две половины; укрывались отдельными одеялами и ничуть не мешали друг другу.

Несколько минут молчали, остывая в прохладных простынях, прислушиваясь к своему дыханию, к шорохам, неясным звукам за тяжелыми глинобитными стенами сумеречного дома: окна прикрыты ставнями, лишь в узенькие щели пробивались острые длинные лучики. Настоялась огромная, во всю степь тишина. Все оглохло,

притихло. Попрытались куры, где-то на запруде, сунув под крылья головы, дремлют среди рогоза утки и гуси, полегли овцы, осел Федя прикрыл желтыми ресницами темные глаза, сонно поскрипывает жвачкой в своем пахучем прохладном стойле. Чудится, само небо, отяжелев от непосильного зноя, прилегло на степные каменные увалы, чтобы к вечеру, проводив на покой солнце, вознестись сине и высоко.

— Жуть какая, — прошептала Иветта.

— Это без привычки, — тоже шепотом ответила Маруся.

— Как ты здесь можешь?

— Везде должны жить люди.

— И правда: не будь вас здесь, мы бы погибли.

— Спи. Вечером нам гусей щипать, дед Мотя двух зарубит.

И Иветта легко, покорно уснула.

Слушая ее сонное дыхание, детские жалобные всхлипы, Маруся так размышляла о ней. Хорошая Иветта, хоть и капризная. Да в городах все такие — жизнь неспокойная. Попробуй проучись десять классов, потом в институте пять лет и думай еще, как стать кандидатом наук. Много читать, писать надо. Она настойчивая, Иветта, ее учили добиваться цели ученые родители: одна в семье, должна оправдать их надежды. Оправдает. Найдет полынь горькую пушистую, выделит вещество для лечения гипертонии, спасет своего отца. А что здешней жизни не понимает, уговаривает ее, Марусю, уйти отсюда — за это на нее обижаться нельзя: привыкла к удобствам, богатым магазинам, танцам в чудных дискотеках. Даже после интерната Марусе первое время все противным тут казалось...

И красива Иветта. Заленоглазая, светловолосая, нос прямой, губы точно нарисованы, ресницы длинные — прямо-таки русская лада! Маруся думала, что такие бывают лишь в деревнях, да и то в каких-нибудь рязанских, смоленских, а не в степных, где все маленькие и коричневые. Видно, родичи ее недавно стали москвичами... Иветте, конечно, больше подходит Гелий Стерин — очень умный, очень волевой, очень столичный. Он черный, она белая — детишки чудо какие будут! Авениром она станет командовать, Авенира жалко... А так она очень, очень хорошая...

Маруся тоже уснула. Нигде так глухо, обморочно не спится, как в полдневной знойной степи.

Вчера Авенир Авдеев и Леня-пастух месили кизяк на тырле — овечьем загоне возле речки; месили, раздевшись до трусов, поливая тырло водой. Сегодня вечером пришли с лопатами резать огромную серую лепешку подсохшего кизяка.

— Красиво? — спросил, смеясь, Леня. — Кто как: одни лес рубят, торф, уголь, нефть добывают... Мы овечий навоз месим на топливо.

— Да. Консервированная энергия, — ответил Авенир.

— Можно сказать: гуртовская энергетика.

— Точнее не определишь. Именно так. Да еще с замкнутым экологическим циклом: овечки поедают траву, овечьим навозом люди обогревают свои жилища, золой удобряют землю, чтобы лучше росла трава.

— Никакого загрязнения!

— Но и... — Авенир тоже рассмеялся, — никакой НТР.

Леня повертел сокрушенно головой: мол, это так, ничего не скажешь — отсталость, первобытность, однако проговорил с простенькой доверчивой улыбкой:

— А мне нравится здесь. Я, наверно, пастухом родился. Не выдержал цивилизации.

— Отдохнешь — заскучаешь...

— Нет. Я нашел свое место. Правда ведь, каждый человек должен найти свое место? Не найдет — плохо человеку.

— Истина.

— Ну, вот и давай работать. Твое место тоже пока здесь.

Взяв штыковую лопату, Леня ровно отсек край кизячной лепешки, порубил его на аккуратные криги, совковой лопатой подрезал их снизу, сказал:

— Носи к бугорку, там складывать будем.

Криги кизяка, сыроватые от земли, были плотны, увесисты, пахли душно залежалыми травами, овечьим потом. И удивительно: дышать спекшимся на солнце навозом, носить его голыми руками было даже приятно, словно когда-то давным-давно Авенир месил и сушил кизяк, а теперь вернулся к привычному делу. Он сам начал выстраивать пирамидку из кусков кизяка, кладя их сыроватой стороной кверху и так, чтобы свободно продувало ветром.

— Красиво получается, — похвалил Леня, — только шибко высоко не надо: беркут сядет, повалит.

Он сух, жилист, в пожелтелой солдатской гимнастерке и таких же брюках — донашивает крепкую армейскую одежду, — в удобных ичигах-сапогах, как у старейшины Матвея; вместо головного убора шапка густых, выющихся русых волос. Безунывно голубоглаз, щедро белозуб. Свой род он ведет от первых приаральских казаков, сосланных на окраину империи за бунтарство, и этим объясняет привязанность к степи, пастушеству, вольной жизни. Он поэт, музыкант, философ, но все по настроению, веселой или доброй охоте, не терпит и малого принуждения. Болен ли он еще? Нет. Степь вылечила. Странен — да. Этой пустынной страной, странствиями по ней.

Наедине Леня-пастух всегда поет или рифмует стихотворные строчки. Он и сейчас не замолкает, ибо привык к Авениру.

— Слушай, — говорит.

Вот кизяк —
Простой продукт,
А спечет не всяк,
Не вдруг!

Авенир полуулыбнулся, полусосщурился: мол, звучит, да ведь и лучше можешь.

— Понимаю: «спечет» не нравится. Так это я для ритма. «Испечет», «сделает», «сотворит» не подходят. Бывает так в поэзии. Зато насчет аромата точно:

Аромат — ну просто чудо,
Не кизяк — «Шанель» духи!
Спросишь ты меня: «Откуда?»
Из овечьей требухи!
Да и вся овца, мой брат, —
Польза, пища, аромат!

— Классика, — похвалил Авенир. — Правда, немного под Козьму Пруткова.

— А я под всех. Степь широкая, времени много... Когда уехал из Седьмого Гурта — забыл, как рифмуются строчки; вернулся — сами рифмоваться стали... Давай вместе: я одну, ты одну? Начинаю:

Заведу себе верблюда...

Авенир неожиданно для себя быстро прибавил:

И уеду я отсюда...

Леня-пастух, предовольно тряхнув чубом:

Пусть везет меня верблюд...

Авенир:

В новый свет и новый люд...

Леня-пастух:

И за это я верблюду...

Авенир погрустил с куском кизяка в руках и по-мальчишески восторженно выкрикнул:

Щекотать за ухом буду!

— Ну, что я тебе говорил? У нас стихи сами сочиняются.

Леня отсек очередной пласт кизячного каравая, к середине более тучного и сырого, порубил его на криги, помог Авениру перетаскать для укладки, сел передохнуть.

— Здесь человек себя слышит... Вы удивляетесь: как они могут в такой глуши, отсталости? Но я тебя не буду спрашивать, как ты можешь дышать гарью и пылью, толкаться в метро, автобусах, психовать в магазинных очередях; как ты можешь быть одной миллионной частичкой толпы. Понимаю: цивилизация, прогресс, НТР. Человечество не может остановиться, оно выйдет за пределы Земли... Я не против, все так и должно быть. Но человечество ведь из отдельных людей: один летает, другой шоферит, третий — Гелий Стерин или Авенир Авдеев — делает науку. А четвертый, десятый, пусть тысячный хочет жить в Седьмом Гурте. Такой он ненормальный — весь для своей души. Жива моя душа, и я чувствую: нужен на земле. Такая душа тоже полезна людям. Вообрази, где-то в африканских джунглях обитает неизвестное племя. Вообразил? Хорошо. А теперь спроси себя: хотел бы ты, чтобы не было этого племени? Вымерло или пожрали его хищные звери? Правильно, нет. И я не хочу. Значит, понимаешь меня: пусть один метро строит, другой кизяк месит. Лишь бы по воле, по

желанию. Потому мы и люди: я люблю шагающего по Луне, он любит пасущего овец. Заочно опять же, как могут только люди. — Леня-пастух засмеялся по-своему, доверительно, во всю белизну зубов, опустил сухую, птичьих цепкую ладонь на плечо Авенира. — Умно я философствую?

— Вполне. Особенно это, как просветление: человек, чувствующий людей, не одинок. Нигде. Все мы — в чувстве, любви. В обратной связи.

— Правильно, обратной. Чем дальше вперед, тем глубже назад.

— В историю?

— И природу. За это погиб Ходок.

Они вместе посмотрели туда, где над горбом рыжего увала розовато высвечивался закатным солнцем черный конус из дикого камня, а вершина — камень-шар — вроде бы горела красным огоньком, точно маяк в бескрайней пустыне, напоминающий... О чем? О гибели смелых, о невсесилии человека?.. О грусти? И все-таки о человеческой одержимости — постигнуть, познать, ибо только глазами человека природа может увидеть себя, его разумом осознать свою суть.

— Ты что-нибудь сочинил про Ходока? — спросил Авенир.

— Не смог. Две строчки всего:

Вспомню, вздрогну: «Жил Ходок!» —
И сквозь сердце — холодок.

— Очень точно, Леня. Даже я подумаю — и зябко делается...

Принялись за работу. Рубили, складывали на просушку кизяк. Сняли рубашки. Кизячная пыль недвижимым, нежно-опаловым пластом лежала над тырлом, едко щеко-тала потную кожу. Хотелось ветерка. Но предзакатная степь была нема: она перемогла знойный день и еще не поверила в ночную отдохновенную прохладу. И было до перехвата дыхания желанно думать, что скоро, едва лишь солнце падет за увалы, можно будет окунуться в чистейшую воду родниковой речки Гурт.

Они уже зачищали тырло, когда появился Гелий Стерин. Шел он от запруды по тропе в темно-серых брюках и зеленой рубашке, очень опрятный и праздничный после заношенной джинсовой робы, волосы, лысина влажно

поблескивали, в руке — красные отжатые плавки (только что искупался), и шел он так, будто хотел пройти мимо, щурясь на провально-светлое небо у кромки почерневшей степи; по виду, походке, по чисто выбритым щекам и укороченной бородке он был нездешним, достепным Гелием Стериним, и этот его неожиданно резкий возврат к своему истинному состоянию означал, что он, исхудавший больше друзей, окреп телом и, пошатнувшийся нервно, укрепился духом.

Ожидая серьезного разговора, Авенир сел, уперся спиной в прохладную стенку кизячной пирамиды и заговорил первым, чтобы сбить слишком уж решительный настрой друга:

— Гель, где тебя так отгладили? Ты слишком выделся из окружающей среды и нарушил экологию.

— А ты, Авен, слишком врос в данный регион. Долго будешь припахивать кизячком. Придется первое время на общественный транспорт не посягать.

— Пожалуй. Да надо помочь. Другой энергии тут нет. Впрочем, любую энергию — нефть, уголь — в белой рубашечке не добудешь.

Леня-пастух тоже сел, хлопнул ладонью по усохшей траве рядом с собой, как бы приглашая и Гелия тоже приземлиться, — тот лишь усмехнулся жесткими усиками, прочнее утвердился на коротких ногах, слегка выставив левую, — и Леня, оглядев его темные брюки с серым отливом, сказал:

— Маренго. У нас взводный был, лейтенант. К деушкам ходил только в гражданском. Наденет брюки, покажет нам: «Маренго!» Наденет рубашку: «Полиэстер!» Веселый такой парень. Уволили в запас за большую драку.

— Понятно, — проговорил Гелий, осматривая потных, чумазных кизячников и словно не услышав Леню. — Вижу, Авен, одобряю: будет чего тебе рассказать деткам и внукам. Набрался про мэмория¹. Но сапиэнти сат². Я пухну без сигарет, меня ждет работа, нас уже наверняка разыскивают. Завершим разумно глупо начатое.

— А как же перцепция? — попытался Авенир рассеять напористую серьезность друга (нет, он знал, что Гелий первый позовет в цивилизацию, будучи более цен-

¹ Для памяти (лат.).

² Мудрому достаточно (лат.).

ной частицей ее, но чтобы так, почти приказом...). — Я начинаю чувственно воспринимать время, оно течет сквозь меня из прошлого в будущее, вернее, остановилось — просто бьется моим сердцем...

— Низшая, бессознательная форма духовности. Надеюсь, помнишь?

— ...И хочу осмыслить Ходока.

— Осмысливай. Хотя в любом дурдоме богаче материал.

Гелий Стерин жестко иронизировал; Гелий запомнил, как после нервного припадка бродил по степи, а вернувшись, сказал, что ощутил полное единение с воздухом, землей, небом: кровь его наполнилась внешним теплом, разум — окружающей средой; Стерин напоминает о себе — кандидате, авторе талантливой работы «О механизме действия физических факторов на организм человека», старшем летами и положением, будущем докторе, крылато изрекшем: «Если к возрасту Христа не доктор, зря полез на голгофу науки».

Кое-что стало ясно даже Лене-пастуху, парню сообразительному и все-таки образованному, если восемь школьных классов, ПТУ и армию признавать за какое-то образование. Авенир же просто огорчился, а досадливо огорчившись, замолк по своей привычке и сдержанности, глядя в лицо Гелию, на котором темнели, словно проваливались, глаза, подергивались матовые крылышки хрящеватого носа. Хотелось Авениру дожидаться еще не сказанных, но приготовленных для него слов. И Гелий произнес их:

— Твое дело, дичай. А Зяблову не держи.

— Я-а?

— Ты. Мы, кажется, на «вы» не переходили.

Авенир вскочил, испачканной ладонью отмахнул длинные волосы на затылок.

— Брось ты, Гель...

— Бросить ее не могу, — нарочито не понял Гелий. — Ей пора уходить. Говорю как старший. С меня больше спросят.

— Разве я держу? Она хочет сходить к пескам за своей польнейю.

— А вы вдвоем, — Гелий кивнул на Леню-пастуха, — будете сопровождать? Потакаете или подстрекаете — все равно глупо. Заболеет, погибнет...

— Она крепкая девушка, зачем ей болеть, — сказал серьезно и простодушно Леня, без намека, конечно, на

то, как ослаб в степном переходе Гелий, но тот понял именно так слова пастуха, подумав, очевидно, что этому заранее подучил его Авенир, и, полувзмахом руки с красными плавками словно начисто сметя гуртовского аборигена, обратился к Авениру в упор и резко:

— Значит, завтра. Да или нет?

Всего на мгновение возмутилось сердце Авенира, и он успокоил его, застыдившись: нет, не кричать, не оскорбляться, не спорить — этим не убедишь, не одолеешь Гелия Стерина, — а спокойно, как прежде, если удастся, с дружеской улыбкой ответить ему. Он так и поступил, негромко сказав:

— Нет, Гель. Побуду еще.

Карие глаза старшего друга нервно блеснули розоватыми выпуклыми белками, щеточка усов медленно растянулась в иронической усмешке, он повернулся, стараясь не показать растерянности или негодования, неторопливо, будто отсчитывая каждый шаг, пошел по тропе к белым домам Седьмого Гурта.

Авенир смотрел ему вслед, думал, вновь досадливо огорчаясь: «Гелий вполне в себе, раз сумел так сдержаться. Значит, произойдет что-то решительное. Что?.. Один он не уйдет. С Иветтой — да. Но ведь она сама сказала: «Уходить будем только вместе». И попросила уговорить Леню-пастуха сводить ее к черным каракумским пескам. А как, о чем она говорила с Гелием? О чем?.. Не хочет ли столкнуть нас? Но зачем здесь, в этой идиллии, среди тихих людей и вселенской природы?.. Или Гелий уже уговорил Иветту, а сцену сейчас разыграл для очищения совести? Но когда, как успел это сделать? Днем они порознь — каждый со своим хозяином-домовладельцем, вечером — все вместе. Ночью?.. Едва ли Гелий способен на романтическое донжуанство, да и слишком разумно поместил их старейшина Седьмого Гурта: любой шаг, разговор, поступок будут известны всем; кто может с уверенностью сказать, спит ли ночью Верунья?.. Значит, произойдет что-то внезапное и, может быть, нехорошее... или бред это все? И намеки Гелия, иронические усмешечки: мол, тебе тут не светит, но разрешаю — пусть поиграет девочка, покапризничает, имею прямую выгоду, послушнее будет замужем, — просто уловки более опытного, однако не очень уверенного в себе соперника? А если так оно и есть, то кто же она, Иветта Зяблова? Милая, единственная Вета, за которую можно погибнуть в океане, тайге, степи?..»

— Необходимость новых фундаментальных идей особенно ощущается в наиболее молодой отрасли нашей науки — в физике биологических систем, изучающей, в частности, физическую природу и механизм сознания...

Авенир вздрогнул: ему показалось, что вернулся Гелий и вдруг заговорил языком одной из своих популярных статей. Он поднял голову. Перед ним стоял Леня-пастух, чуть отставив ногу, вскинув вдохновенно голову, одной рукой поглаживая подбородок, точно невидимую бороду.

— Ты? — удивился Авенир. — Что с тобой?

— Ничего. — Леня покашлял, настроил голос. — Биофизика откроет основы мироздания, объяснит все — атом, молекулы, мертвый камень, живую клетку, наш организм и, главное, мозг — разум Вселенной. Биофизика упорядочит путаные человеческие представления и знания, откроет истоки бытия.

— Bravo! — сказал Авенир. — Ты артист, Леня. Полное перевоплощение.

— Чтобы тебя разбередить, — белозубо разулыбался, голубоглазо сощурился Леня.

— А знаешь... дико как-то прозвучало это здесь. Там у нас — нормально, понятно, а здесь...

— Ну да, пришла бы к вам на ученый совет наша Верунья и что-нибудь такое выдала: «Погодка скукожилась. Небушко прохудилось». Или про кислое яблоко: «Укуси — глаз потечет!» Вот бы опешили: откуда эта бабка, может, инопланетянка?

Они рассмеялись и, подталкивая друг друга, побежали к запруде.

После купания сидели на теплом еще песке, слушали томный стрекот кузнечиков, острые посвисты сусликов, следили, как от воды восходит тоненький парок в холодеющее густой синью небо. Молчали, говорили. И Авенир рассказал Лене-пастуху о странном московском старике, всю долгую жизнь проведенном в одном доме, на одной улице, — человеке замкнутой городской среды.

СТАРИК НА СТАРОЙ УЛИЦЕ

Старик подошел к газетному киоску, бегло и внимательно осмотрел витрину, купил «Вечернюю Москву» с приложением, вежливо и улыбочиво расспросил о чем-то толстую киоскершу, разомлевшую в стеклянной парниковой будке; зашагал дальше, помахивая протертым до за-

лысин кожаным портфелем, остановился у будки чистильщика, поприветствовал усатого кавказского человека, неведомо зачем, по какому интересу переместившегося с благодатного юга на тесную столичную улицу; в одной низкой и глухой подворотне пожал руку красномордому, выпившему по случаю вечернего времени дворнику; зашел в молочную — взял сырок и бутылку молока, в булочной — сдобных сухариков; легко пересек улицу, не глядя по сторонам, чувствуя прохожих, машины словно бы вторым зрением, особым чутьем.

Авенир уже минут двадцать шел за стариком, и тот все больше интересовал его. Чем? Был он худ, седовлас, интеллигентно узколиц, с глазами, вероятно, некогда синими, а теперь цвета голубенькой, чуть замутненной воды; в легких холщовых брюках и таком же свободном пиджачке; ну еще брит, аккуратен, несуетлив. Вполне обычный старик. Сколько подобных ему можно увидеть на столичных улицах, в метро, троллейбусах? Несчетно. И видел Авенир, не особенно замечая, присматриваясь. Старость он мнил чем-то необязательным для человека, даже оскорбительным, говоря при случае, что люди в древности считали себя бессмертными, ибо не умирали от болезней — гибли на охоте, войнах. А этот старик привлек его внимание как раз своей старостью. Но редкостью — только городской, тонко интеллигентной. «Вот человек, многие годы проживший среди кирпича, бетона, асфальта, в условиях, по всеобщему убеждению, губительных; а он явно здоров, безунывен, даже в очках не нуждается».

Вечер был душный, синеватый от бензиновой гари, пропахший горячей резиной. Шуршали шинами, поскрипывали, жадно дышали кислородом машины, двигаясь впритык одна к другой. Старинная улица узка. Застроенная когда-то особнячками, доходными двухэтажными домами с меблированными комнатами, купеческими лавками, она давно переменила жильцов, но не потеряла изначального облика, если не замечать двух-трех сооружений из стекла и бетона, угловато-напористых, горячо и неуютно освещенных изнутри. Каменно-тесный, с захламленными подворотнями уголок прежней Москвы, все еще сохраняемый, музейный.

В скверике, оживленном четырьмя скудными липами и стойкой травкой мятликом, старик присел на краешек скамейки, развернул газету. Просматривал бегло, но привычно цепко, задержался в конце четвертой страницы,

усмехнулся: прочел, пожалуй, объявление с любовным описанием пропавшего пуделя. Легко поднявшись, не менее легко пересек улицу, не обратив и малого внимания на зверский взгляд притормозившего автовладельца. Пришел во двор тяжело осевшего, узкооконного дома с ложными балкончиками и лепным, замазанным, забеленным фронтоном.

Авенир подсмотрел, какую дверь открыл старик, вернулся к фасаду дома и тут же увидел, как два полуподвальных окна вспыхнули светом. Осторожно глянул: комната была неожиданно большой, а старик в ней, вынимающий из портфеля покупки на столике у двери, очень маленьким. Может, потому, что комната не напоминала обычное городское жилище: от пола до потолка была застроена стеллажами, и не по стенам — рядами, как в библиотеках. Еще больше удивился Авенир, не обнаружив ни единой книги. На стеллажах стояли папки — красные, синие, желтые, дешевые серые с черным тиснением «Дело №». Каждая пронумерована на белой бумажной наклейке.

Старик быстро подошел к окну. Авенир не успел отпрянуть, глаза глянули в глаза, губы старика скупно и без удивления усмехнулись, и он задернул бамбуковой палкой зеленые плотные шторы.

Перейдя улицу, Авенир сел в скверике; поглядывал на зелено освещенные окна, думал: «Экология — от двух греческих слов: экос — пребывание и логос — слово, понятие. Слово о пребывании. Шире — учение о бытии животных, растений. А человек, его среда обитания? Скажем, городская? Есть ли у кого-нибудь работа «Экология городского человека»? Бросились спасать реки, леса, мировой океан, все гуще заселяя города, ускоренно строя новые. Защитить, сохранить природу необходимо, с этим все согласны. А человека? Не вымрет ли, не видоизменится ли он в огромных городах?.. Один ученый муж заявил, что для нас углекислота чуть ли не важнее кислорода. Раньше, говорит, младенца прятали, кутали; теперь — на воздух, травят кислородом. Жизнь зародилась в углекислой среде и пребывала в ней миллионы лет... Если так, с ног на голову перевернется родная премудрая биология. Но это все-таки углекислота. Города задыхаются пока не от нее — от угарного газа, углеводородов, окислов азота, серы, иных токсических соединений. Одолевают ли их человек?.. И Авениру показалось совершенно простым, вполне пристойным пойти к стари-

ку за зелеными шторами, рассказать ему о своих раздумьях, попросить совета, как, откуда, с какой стороны легче, разумнее начать «Экологию городского человека». А что старик более многих других горожанин, в это Авенир уже уверовал.

Но надо успокоиться. Надо расслабиться (по «аутогенной тренировке»), сбавить пульс, почувствовать лоб прохладным. Авенир ссутулился, прикрыл глаза — и через несколько минут успокоился: студенческая тренировка еще помнилась. А успокоившись, с огорчением понял: нельзя так вот войти в чужую квартиру. Сельчанин к сельчанину может, горожанин к сельчанину тоже, пожалуй; горожанин к горожанину — нет. Почему? О, это никем не объяснено. Нельзя — и все. Такова особая «экология города».

Уныло вернулся домой Авенир на безуныльном метро. И хотел позабыть старика, его полуподвальное жилище — входил, вращал, «въедался», как подшучивал Геллий Стерин, в жизнь, работу научно-исследовательского института, готовился к первой полевой экспедиции, — но через несколько дней снова приехал на старую улицу. Выследил белоголового старика, побывал с ним в магазинчике канцелярских принадлежностей, купил по случаю две пачки отличной бумаги для машинки (только в столичных закоулках и залеживается ходовой товарец!), осмотрел три газетных киоска, обогатившись тремя ненужными газетами, побывал в булочной, молочной, а затем скромно сидел в скверике напротив старика, поглядывая на него из-за газеты. Старик вынул канцелярские покупки — несколько папок разного цвета, скрепки, острые булавки, тубик клея, — ощупал все длинными костяшками пальцев, оглядел сощуренно папки, даже понюхал, отчего крылышки тонкого носа как бы вспорхнули, губы довольно обмякли, и принялся за газеты. Встал он внезапно, когда Авенир откровенно рассматривал его, глянул на длинноволосого молодого верзилу, вроде недоуменно хмыкнул, напрямик, словно лунатик, пересек скрежещущую машинами улицу.

Неделю Авенир не вспоминал о старике и все-таки в субботу приехал сюда. На этот раз слежка не удалась: у лотка с мороженым старик резко повернулся, сказал громко:

— Доброе утро, — и протянул эскимо.

— Добр... — бормотнул Авенир, замотав головой. — Нет, нет... Извините...

— Для вас купил. Обидите. — Старик с веселым, почти восторженным вниманием оглядывал акселерата конца двадцатого века и вдруг цепко ухватил его ладонь, вставил в нее мороженое.— Прощу! — И указал рукой вдоль тротуара, чуть подмигнув на мороженщицу: видишь, как любопытствует, отойдем, пройдемся.

Они зашагали рядом — спортивный, тяжеловатый Авенир Авдеев и сухонький, легкий старик, — эскимо холодило ладонь Авенира, ему хотелось съесть его, остудить пересохшее горло или выбросить в бетонную, пыльную, еще более горячую урну.

— Вы следите за мной? — спросил старик.

— Как вам сказать...

— Прямо.

— Интересуюсь...

— На подозрении?

Тут наконец Авенир ожил, крупно откусил мороженое, проглотил, ощутив ободряющий холод внутри себя, и заговорил. Прерывисто, с пятого на десятое, но довольно толково, как ему показалось, изложил суть своего интереса к старому человеку на старой улице, добавив придуманное оправдание:

— Извините, не познакомился сразу. Боялся нарушить ваше привычное, естественное поведение.

— Считайте, не удалось. Я вас в первый вечер приметил: шли точно привязанный, потом в окно заглядывали.

— О, у вас чутье! — Авенир отступил на шаг, словно желая лучше рассмотреть старика. — А кажется, ничего вокруг не замечаете.

— Верное слово — чутье. Я нового человека за квартал угадываю на нашей улице.

Старик остановился, тоже всмотрелся в Авенира, но без веселья и восторженности, сказал:

— Что ж, давайте знакомиться. Поласов Андрей Михайлович. — Он не подал руки, лишь слегка поклонился. Отдернув зависшую ладонь и ругнув себя: «Чертова привычка — лапу совать!», Авенир назвал себя именем. Старик пожелал узнать и фамилию, повторил затем вполголоса: «Авдеев, Авдеев...», спросил:

— Не ваш ли отец пишет в защиту природы?

— И он тоже.

— Не мой профиль, так сказать. Но иногда читаю — доказательно, умно.

— Возможно. Из города виднее природа.

— Не одобряете, значит. А сами по его стопам.

— В другую сторону

— Ах, да! У вас ведь «экология города». Я первый подопытный. Хорошо, послужим науке. Назначаю встречу: среда, шесть вечера. Мой дом, квартиру знаете.

— Да.

— Всего доброго. — Усмехнулся жесткими коричневыми губами: — В среду поговорим о среде обитания.

Авенир постоял минуту и словно бы по привычке пошел следом. Старик Поласов догадливо оглянулся, погрозил ему пальцем. Пришлось повернуть к метро.

Дома Авенир доказывал отцу, что спасением природы вокруг городов не спасешь города. Пора заняться самими городами, средой обитания в них. Не так уж она страшна, если не пугаться ее. Может, как раз непрерывные перемещения из города в природу и обратно изнашивают человека: не зря же пожилым запрещают поездки на юг. Мать, многоопытная журналистка, но скромно одаренная и потому, вероятно, всегда единоклубная с отцом, ужаснулась: «Ты собираешься всю жизнь просидеть в квартире?» Авенир заверил ее в своей антипатии к крайностям, она, полууспокоенная, ушла «соображать» обед, а с отцом еще поспорил, будучи почти уверенным, что он, любящий зеленую и просторную периферию, желает сыну того же: жить в столице — путешествовать по стране. Тем и хороша, мол, профессия эколога.

В среду вечером Авенир сидел в квартире Андрея Михайловича Поласова, настороженно озираясь, пока хозяин готовил кофе на маленькой, в три шага, кухне справа от входа. Белые шкафчики, сушилка для посуды; чисто, опрятно, по-холостяцки пустовато. И все-таки лишь кухня напоминала здесь о привычном человеческом жилище. Большая высокая комната, как и запомнил ее Авенир, глянув с улицы в окно, была по-библиотечному застроена стеллажами. Хозяин довольствовался самым малым: кожаная кушетка у стены, письменный стол около окна, стул, кресло. Правда, все это старинной штучной работы, из темного дерева, неизносимого качества. Даже кресло, с высокой резной спинкой, кожаным сиденьем, не скрипело, не досаждало продавленными пружинами.

Поласов поставил на край стола лаковый поднос хохломской работы с двумя дорогими фарфоровыми чашками, серебряным молочником, хрустальной сахарницей,

горкой сухариков в плетеной мельхиоровой корзинке. Вещи были словно нарочито разностильны, но красивые, изящны, подобраны так, чтобы оживить казенную унылость квартиры. И еще можно было подумать: здесь живут небогато, оттого и умеют ценить дорогие вещи.

Кивком пригласив взять кофе, старик подсел к столу, рукой повел в сторону стеллажей, заставленных пронумерованными папками.

— Разного цвета стараюсь, глазам веселее. К тому же цветом определена тема материала.

— Что у вас там? — спросил негромко Авенир, не слишком надеясь выведать тайну.

— Вырезки. Из газет, журналов. История Москвы от возникновения до наших дней. Конечно, моя история. Собираю по своему вкусу и разумению.

— В красных, извините...

— Войны, убийства, перевороты.

— В зеленых?

— Бульвары, парки, пруды, реки...

— В желтых?

— Строительство. Все самое интересное: первый деревянный Кремль, архитектурные стили, последние параллелепипеды из стекла и бетона. Церкви, соборы. В серых — разное, вплоть до курьезного объявления о потере собаки.

— В серую и я могу попасть?

— Можете. Если покажетесь мне интересны для потомков. Но при одном условии: вы что-нибудь напечатаете, я вырежу, приложу кратенькие сведения о вас. Совершенно беспристрастные. Ведь я не пишу историю Москвы, собираю ее по написанному.

— Хобби?

— Как сказать. Вернее будет — архивариус Поласов не смог прожить без архива. Теперь личного. Хотя и сейчас подрабатываю, разбирая архивы, когда просят. А свой двадцать второй год коплю.

— Значит, вам восемьдесят второй?

— Шестой. В шестьдесят четыре ушел на пенсию. Да и то из-за этого увлечения.

— О, я не ошибся! У меня тоже чутье, телепатия! — Авенир вскочил, зашагал по узенькому жилому пространству, едва не тыкаясь лбом то в стену, то в крайний стеллаж. — Увидел вас — и щелкнул какой-то контактик внутри: «Стоп! Узнай этого человека!..» А это... это что? — Авенир остановился у черной до-

ски, к которой были приклеены газетные вырезки.

— Пропускной пункт.

— В историю?

— Да. Если за две недели эти вырезки не поскучнеют для меня, отправлю на вечное хранение.

— Как у вас строго. И вы такой...

— Бесстрастный.

— Ага, — по-мальчишески торопливо, будто уличенный в недоброй догадке, кивнул Авенир.

— Все оттого, что «мы истории не пишем».

Выдернув из тесного ряда серую папку, Авенир спросил:

— Можно?

— Нельзя. — Поласов приблизился, бережно взял папку. — Доступ к архиву запрещен: он не зарегистрирован. Рано еще. Но раз вы прикоснулись, прочтем что-нибудь наугад. — Он развязал тесемки, поднял верхнюю корку с надписью «Дело № 124»; под ней на чистые листы были наклеены, плотно сброшюрованы тусклые газетные и светлые журнальные вырезки. — Вот, почти для вас:

«В 1795 году в Петербурге вышла книга под длиннейшим, по тогдашнему обычаю, названием: «Новейшее повествовательное землеописание всех четырех частей света, с присовокуплением самого древнего учения о сфере, также и начального для малолетних детей учения о землеописании. Российская империя описана статистически, как никогда еще не бывало. Сочинено и почерпнуто из вернейших источников, новейших лучших писателей, учеными россианами. Иждивением книгопродавца Ивана Глазунова. Спб., при Императорской Академии наук».

Через несколько месяцев до сведения Екатерины II было доведено, что это сочинение содержит весьма вольные мысли. Императрица велела запретить его продажу и отобрать у книгопродавцев все выпущенные экземпляры.

В Москве полиция конфисковала 359 экземпляров «Новейшего повествовательного землеописания», и от всех книгопродавцев и держателей типографий отобрали подписки с обязательством не продавать эту книгу, «яко запрещенную», под угрозой строжайшего взыскания. Продано до этого было только 36 экземпляров. Конфискованные

были по приказу императрицы доставлены для хранения в Академию наук.

Этим дело не ограничилось: власти велели допросить цензора Князева, уже находившегося в отставке, «почему он сию книгу с таковыми выражениями пропустил для печатания...».

Он перелистнул страницу, блеснул голубенькой водичей глаз.

— Здесь веселее.

«Отец Николай, преподаватель духовной семинарии, на вопрос учеников, что такое «позорищная», ответил:

— Дети мои, бойтесь театра и искушений его: «позорищная» — это участница в цирковых играх, а также театральная актриса... Но только, — спохватился о. Николай, — отнюдь не артистка императорских театров. Они все непозорищные, так как состоят на государственной службе...»

Вместе рассмеялись, и старик смеялся с удовольствием, по-юношески забывчиво, даже впалые щеки его слегка порозовели; будто намеренно он показал свои зубы, желтоватые от долголетия, но почти полностью уцелевшие. На минуту в нем ожили все возрасты: он — пожилой, медлительный, осанистый мужчина, он — молодой, вихрастый, спортивный парень, он — широкоглазый, жаждущий всевозможных познаний подросток в гимназической форме, он — свежий, пухленький, русокудрый ребенок, умеющий до слез смеяться, веселить всех, кто рядом с ним... И вот он опять старый, усохший Андрей Михайлович Поласов.

Поместив папку в свой ряд, на свое порядковое место, он долил чашки остывшим кофе, спросил хрипловато, чуть ворчливо:

— Перейдем к основному вопросу, так?

— Да, да, — заторопился Авенир с легким страхом. — Хотел узнать... Очень важно... Вы родились?..

— Здесь, в этом доме.

— О, мне потрясающе везет! Если можно, немного биографии.

Поласов не удивился просьбе, однако с явной неохотой начал рассказывать, будучи, вероятно, одним из тех жадно живущих каждым днем людей, для которых личное прошлое интересно лишь в поучительно-деловом плане, да и то не каждому.

— Мой дед, крестьянин Тамбовской губернии, воевал солдатом в Крымскую кампанию, отличился, был замечен командиром полка Поласовым, взят в денщики. После войны Поласов откупил у помещика крепостного Данилу, своего сметливого на глаз, ловкого на руку денщика, привез в Москву. Вскоре приобрел этот дом и назначил Данилу старшим конюшим, «интендантом» двора и хозяйства. Тогда и записал его Поласовым: в деревне дед числился почти полным сиротой. Отец мой, по настоянию и протекции полковника, окончил кадетский корпус, служил потом в разных полках, штабс-капитаном погиб в первую мировую. Сам я тоже хватил той войны, был ранен, долго лечил простреленное легкое. Уже после революции закончил учительский институт, преподавал математику, затем переквалифицировался, «по историческому влечению», как говорю, в архивариусы. Старший мой сын погиб на Отечественной, дочь жива; внук — геолог, внучка — врач; все в новых квартирах у Химкинского водохранилища. Есть правнуки, изредка навещают прадеда. Коротко и неясно, так?

— Нет, почему...

— Правильно: не писать же вам повесть моей жизни... Я интересен как объект, точнее, субъект обитания в городской среде. Телефон знаете, звоните, приходите. А сейчас у меня вечернее бдение наедине: перед сном надо отрешиться, успокоиться.

— Гулять не ходите?

— Гуляю, когда по магазинам хожу.

Старик чуть поклонился, вновь не подав руки, и в метро Авенир думал об этой его особой тактичности, вежливости, сдержанности. Так и надо — всего лишь легкий поклон, которым можно выразить любые свои чувства — от нежности до ненависти. И откуда у нас лобызания, дикие выкрики, облапывания? Предположим, человек протягивал когда-то руку, показывая: не держу в ней оружия. Переменились времена, теперь стали бояться не руки, а того, что в мыслях, душе человека. Вот бы и кланялись да почаще заглядывали в глаза друг другу...

Следующую свою встречу Авенир начал напористо, с прямого вопроса, желая вызвать Поласова на спор, какое-либо несогласие, чтобы больше узнать о нем:

— Андрей Михайлович, как вы живете без воздуха, природы?

— Кто вам сказал? — Старик присмотрелся, без усилия угадав намерение процветающего (между городом

и природой) акселерата времени научно-технической революции. — Хлеб, молоко, овощи оттуда, из полей и лесов. И мясо иногда ем. Разве это не кислород, не природа?

— Да, но...

— Ни один город без природы не живет. Жаль, конечно, если город злой индивиденец у бедной деревни — природы. Тут каждому горожанину должно быть понятно: погибнет такой город.

— Спасибо, — промолвил Авенир, каясь за свой студенческий пыл. — Я так прямо об этом не думал. Разумел, но не думал. Просто и точно. Тема сужается: чем дышит человек, тишина или грохот вокруг него?

— Лучше, конечно, тишина. — Старик посмотрел в окно; там нескончаемо проносились, лоснясь лакированными крупами, легковые автомобили, тяжело взрывавали, сотрясая улицу, грузовики, откуда давил на стены, окна, стеллажи сумеречной квартиры плотный, несмолкаемый гул. — Но еще лучше — дело, покой в душе. К остальному привыкаешь.

— Вы бываете за городом?

— Очень редко. Когда внук на своей «Ладе» возит. У него дачка по Можайскому шоссе. Устаю, болею потом. Занятия интересного не нахожу — не грибник, не ягодник. Разговоры, музыка, застолья... Надолго хватает такого «отдыха». Санаториев тем более не терплю.

— Мне кажется, вы угадываете мои мысли и хотите мне угодить.

Поласов развел руками с длинными костяшками пальцев, чуть пожал сухими, некогда широкими и крепкими плечами: мол, ничего не могу поделать, говорю, как думаю, как оно есть на самом деле.

— И все-таки, Андрей Михайлович, решусь прочесть вам стихотворение одного поэта:

Городам старики не нужны —
Ни зеленой травы, ни рос, —
Умирать старики должны
Средь полей и берез.
Пусть вернутся они туда,
Где земля не бетон — парник:
Равнодушны к ним города,
Полуживы села без них.

— Недурно... — Поласов помолчал, подбирая слово. — Поэтически, должно быть, недурно. Но вот вам

вопрос: вы хотели бы, чтобы меня, старого, не было на этой улице?

Мгновенно вообразив старую улицу без легкой фигурки белоголового старика, хозяйски совершающего утренние и вечерние обходы ее торговых, бытовых заведений, а затем сидящего с газетой в скверике из четырех оскуделых лип, Авенир ответил:

— Нет.

— Значит, и городу нужны старики. Те, которые не мучаются, а живут здесь.

Авенир вскочил, зашагал от стены к стеллажу, держа чашку кофе в левой руке, размахивая правой; и, лишь уколотившись о пристальный, усмешливый взгляд Поласова, вновь опустил в прохладное кожаное кресло, сказал:

— Извините, привычка — противная. Но я еще ничего. У нас есть совсем буйные.

— Стрессовые?

Посмеялись для отдохновения, помолчали, наслаждаясь индийским кофе, особенно ароматичным здесь, в загроможденном жилище посреди огромного города, где пахнет клеем и бумагой.

— Андрей Михайлович, я займусь экологией горожанина. Уже решил. Прошу помочь мне. У вас есть, наверное, информация о московских долгожителях?

— Кое-что можно найти.

— Поговорю с врачами. Вы не будете против обследоваться? Беру все на себя, организую, размечу по дням и часам, подвезу.

— Спасибо скажу. А то ведь дорогу в поликлинику забыл.

И тут была скреплена дружба: восьмидесятипятилетний Андрей Михайлович Поласов пожал руку, вернее, утопил жесткую ладонку в тяжелой пятерне двадцатичетырехлетнего Авенира Авдеева, проговорив:

— Очень рад юному другу.

Простившись, Авенир долго бродил по вечерней старой улице, останавливался у дряхлых, огрузивших строевний, заглядывал в тесные каменные дворики с кошачьими запахами, минут двадцать ходил вокруг белокаменной, зеленокупольной церквухи — толстостенной, насупленной, с окнами-бойницами, очевидно княжеских времен. Не в ней ли, теперь приспособленной под архивное хранилище, крестился, венчался, потом работал старожил Поласов? А этот дом из стекла и бетона, вознесшийся к

низким московским сумеркам, он непременно увековечил в своей истории, если нашел о нем хоть мизерную информацию.

Авенир вышел на Садовое кольцо. Город сиял огнями, неон, витринами; шуршал, гудел и грохотал; был тесен от многолюдья. Родной и все-таки мало знаемый город. За одно лишь, и немалое, Авенир мог поручиться: всегда ему легко дышалось здесь, счастливо жилось.

Нет, город не выдуман какими-то плохими людьми. Город возник так же естественно, как колесо, водопровод, паровой двигатель, двухэтажное строение. Город — скопление людей. Но только скопление могло породить цивилизацию. Скопление мускульных и умственных усилий. Город еще молод, и потому в нем много несовершенного. Но городу надо помочь. Из древних камней, руин старины он поднимется чистый, бездымный, светящийся всеми земными красками. В городе всем найдется место.

Но городу нужно прислушаться к словам старого человека Поласова: город умрет, если забудет о природе, деревне, станет жить во имя себя, своего железобетонного величества.

САМУМ

Леня-пастух потрогал струны домбры, ударил сразу по всем, как бы попросив внимания, и начал петь протяжно, негромко:

Ветер горяч и угрюм,
Над степью буранит самум...

Резкий всхлип струн, четкий, хрипловатый выкрик:

Злой песок,
Солнце злое,
Прячься все,
Что живое!..

И дальше — то замирая до шепота, то вскидывая плечи и домбру вместе с голосом:

Это степная пурга,
Барханы ползут, как снега,
Злой песок,
Злая соль,
Всем живым —

Страх и боль!
Пронесись стороной, самум,
Не оставь нам печальных дум.
Злой песок,
Солнце злое...

А за стенами свистел, гудел горячий пыльный ураган, в окнах было желто, в доме полутемно. Закипел он где-то в Каракумах, в самом пекле, аде черных песков, и хлынул на север.

За час-полтора до него Седьмой Гурт вдруг осенила свежесть, будто, закипая в раскаленном песчаном котле, ураган потянул к себе прохладу. По двору, огороду пробежала Верунья, крикнула, чтобы прятали птицу, загоняли скот: Маруся бросилась в степь за Леней. И только управились — закрыли овчарню, птичник, наносили воды, плотно закупорили колодец, позвали в сени собак, — небо пожелтело, дымная мгла стала клочьями вздыматься над горизонтом, пожирая свет, накрывая увалы. Солнце округлилось, кроваво окрасилось. Один, другой горячий, разбойный наскок ветра, словно проверяющего: можно ли пожаловать самому хозяину Самуму? — а затем сгусток сыпучего соленого воздуха пронесся через Седьмой Гурт и поволок куда-то на север нескончаемый хвост взбесившегося каракумского песка.

Гуртовики и гости собрались в доме старейшины. Так здесь было заведено пережидать самум.

Все сидели за столом. По одну сторону — Гелий, Иветта, Авенир; по другую — Леня, Маруся, Верунья (впрочем, Верунья почти не сидела, уходила на кухню, поглядывая оттуда черным глазом из-под низко надвинутого платка); во главе стола, спиной к глухой стене, — Матвей Гуртов.

Пообедали вареной бараниной, лепешками, молоком. Теперь пили пузыристый, коричневый, холодный квас, резко бивший в нос, а при больщом глотке и слезивший глаза.

Иветта налила из кувшина, поднесла Лене полный стакан:

— За песню. Крепенький напиток!

— Мы-т раз бочку выпили, пока самум-т пережидали, — с угрюмоватой усмешкой проговорил старейшина.

— Песня у тебя, Леня, хорошая, особенно под домбру: такая природа в ней и тоска, — сказал Авенир. — Может, еще что-нибудь?

Гелий, пощипывая бородку, задумчиво хмурясь, попросил:

— Нельзя ли повеселее?

— Он умеет,— живо подхватила Маруся, одарив гостей заранее вспыхнувшей радостью.— Леня, частушки!

— Зажигайте свет, — поднялся старейшина. — Пойду ставни-т закрою. А то как бы окна не выдавило.

Верунья принесла большую керосиновую лампу со стеклом-колбой и белым эмалированным рефлектором, зажгла ее, подвесила к потолку. На стол, на комнату широко упал красноватый свет. Запахло горелым фитилем, теплым керосином.

— Светильник наших предков, — объяснил Гелий. — С ароматцем.

— А мне нравится. — Иветта запрокинула голову, предовольно сощурилась. — Будто жила когда-то под такой лампой, возле такой печки.

— Недельку самум погуляет, — вернешься снова. Запоешь что-нибудь поприводнее: «Догорай, гори, моя лучина...»

— Ой, давай спросим — есть у них лучины?

— Одурела, бедненькая?

Иветта припала плечом к Авениру, пожаловалась:

— Авен, слышишь? Он ругается.

— Он боится за тебя.

— А я что — малолетняя? Или моя мама меня ему поручила? Я не уйду, пока в Каракумах не побываю.

— Отпрашивайся у нашего старейшины.

— У него? — Иветта потянула Гелия за отросшие волосы, кудряшками падавшие от круглой лысины на воротник джинсовой рубахи. — Кто Геля назначал начальником нашей экспедиции? Я вас пригласила, привела сюда. Я — старейшая. У нас наступил матриархат.

Гелий мотнул головой, немного отстранился, карий глаз нервно блеснул, щеточка усов растянулась в иронической усмешке.

— Стихнет самум — сразу уйдем. Все. Обсуждать не собираюсь.

— Да-а?.. — поразила Иветта, и тонкие дуги бровей, которые она не забыла подкрасить, вспрыгнули к небрежно подрезанной челке, уменьшив до узенькой полоски лоб, словно Иветта решила думать, негодовать лишь своей чистой и беспечальной зеленью глаз. Она уже нашла какие-то слова для Гелия, но вошел Матвей Гуртов, крепко притворив дверь, сказал, полуслепо озирая мирную тишь своего дома (лицо, одежда были серыми от пыли):

— Если-т к утру не уймется-т, погорит огород.

Верунья подлила в рукомойник воды, вынесла ему свежее полотенце, проговорила негромко, для него же:

— Этот уймется. У этого силы мало.

— Хорошо, полить успели, — отозвался Леня.

— А мы помидоры подвязали, — сказала Маруся.

На минуту гуртовики отделились своими житейскими заботами от городских гостей, стало неловко тем и другим; это чутко уловил старейшина, прошел к столу, уселся неспешно, отпил кваса, приподнял разрешающе руку:

— Играйте. Гореваньем беде-т не поможешь.

Леня быстренько взял гармонь-полубаян, сияющий медными и серебряными бляшками, с колокольцами на правой верхней планке, не инструмент — лошадка разнаряженная, объявил скороговорочкой:

— Лирико-сатирические частушки, воспевающие и критикующие славных жителей Седьмого Гурта. Начну по старшинству.

Хозяин Матвей
Многих умных умней,
У него и осел
По имени Федя
Умом превзошел
Циркового медведя:
Без сладкой подачи
Не пробудишь от спячки.

О нашей дорогой, заботливой Верунье-врачунье, которая несмотря на нелюдимый характер, умеет слушать и ценить поэзию.

Наша Верунья
Вовсе не врунья,
Погоду предскажет —
Как сноп перевяжет.
Взгрустнулось ханум —
Значит, будет самум.

Разрешите также воспеть лично себя и, возможно, увековечить свой скромный образ в ваших сердцах.

Леня-пастух
Средь овечек протух.
Бойтся, чтоб волчья орава
Не съела его, как барана.
Потому и поет весь век:
«Я — человек, человек, человек!..»

Все. Спасибо за внимание. Про желающих могу сочинить. Исполню во время другого самума.

— А обо мне? — попросила Маруся.

— Несовершеннолетних жалею. Вот получишь паспорт...

— Так нечестно. На всех так на всех!

Леня-пастух присмотрелся к Марусе — щеки ее пылали, губы вздрагивали, в косицах новые ленты, брови подведены, губы подкрашены (наверняка карандашиком из кожаной сумочки-несессера, подаренной Иветтой!), — помотал удивленно головой с упавшим на глаз чубом, проследил за короткими, блестящими взглядами Маруси (Да, да! Она хочет нравиться Авениру!), сказал, прибавляя веселости:

— Ладно. Слушайте экспромт, сударыня.

Ах, Маруся,
Ведь боюсь я:
Ты не смотришь на меня!
Сочиню —
И удавлюсь я,
Не снеся лихого дня!

Захлопали в ладоши, дружно хваля Ленины частушки, его остроумие, прямо-таки актерские способности. Леня поднялся, звякнул колокольцами, низко, как певец публике, поклонился и нарочито по-актерски хотел удалиться за кулисы — в комнату-спальню старейшины.

— Леня, и я хочу. Сочини на меня! — удержала его Иветта.

Он отложил баян, расправил под ремнем гимнастерку, пристально оглядел гостью, наряженную сегодня в платье, будто прося ее подсказать точные о себе строчки, провел тыльной стороной ладони по влажному лбу, откинул чуб.

— Не могу отказать мадемуазель. Прошу минуту молчания. Вот.

Уедете вы, Иветта, —
И мы потеряем полсвета.

Еще поаплодировали. Гелий и Авенир тоже попробовали рифмовать строчки. Выходило не очень складно, и Гелий высказал мысль, что пора в школах ввести специальный предмет — стихосложение, по примеру старых лицеев; каждый образованный человек должен уметь при надобности зарифмовать несколько строчек, а то и написать стихотворение: чувство ритма, рифмы необходимо

каждому, как и чувство юмора; меньше станет бездарных версификаторов, числящихся поэтами... Гелий развивал бы и углублял свою мысль вплоть до математического обоснования, но Маруся вскочила, крикнула:

— Давайте танцевать! — И принялась растаскивать по углам табуретки.

Леня сказал Гелию, извинительно улыбаясь, желая, очевидно, смягчить восторженную грубоватость Маруси:

— В школах — хорошо. А еще лучше — практика, овечек, коров пасти. Не то что какие-то частушки — поэмы сочинять научишься. Один поэт образно выразился: «В пастухи мне пойти, в пастухи — там воистину отпуск творческий».

— Скотоводческий?

— Это так. Пастухи — стихи, овечки — словечки... — отшутился Леня и принялся помогать Марусе.

Побеспокоили Матвея Гуртова, отодвинули к стене стол, Верунья унесла посуду, села у раскрытой кухонной двери, задумалась.

Ее печалил самум, ей не нравилось веселье во время самума. Раньше они собирались в кружок, она гадала на картах под жуткие завывания ветра, потом напевали протяжные и негромкие песни, вроде бы заговаривая ураган, и ночевать оставались в доме Матвея — женщины занимали спальню, мужчины большую комнату. У него же они перемогали зимнее холодное время, чтобы зря не тратить ценное топливо, зато с какой радостью расходились по своим домам весной, просторно заселяя родной Гурт! И так мирно, складно жилось, пока не явился Ходок. От него успокоились — эти пожаловали... Тот тихий, эти шумные. Тот любил степь, живность разную, сайгаков, за что и погиб. Эти — каждый себя, какие-то одинаковые уж очень. Пожалуй, только чуточку отличаются друг от дружки. Смоляной Гелий как будто бы начальником уродился, все по-своему переиначить хочет; синеглазый Авенир («Ой, как смотрит на него Манька! Не влюбилась ли?..») поспокойнее своего товарища, да упрямый, самовольный тоже; и все равно обоими командует девка. Повела, чуть не загубила. Теперь куражится: то к одному льнет, то к другому. Скорее бы уходили. Какой ей полыни горькой еще надо, пушистой? Много полыней знаю — такой не видывала. Напридумывают там у себя, а людей мутить на природу выходят. Как бы всем горько не стало. Вот и самум взъярился не ко времени...

Пришел, сел рядом Матвей, чтобы не мешать молодым в комнате, сказал:

— Слышу, стиха-т.

Верунья глянула на него искоса, кивнула: пусть думает так, а то глазницы почернели, нос заострился — весь в хозяйстве, в заботах. Истинный мужик. При нем Седьмой Гурт не погибнет. А дальше так будет: подрастет Маня, окрепнет Ляня, сойдутся, детей нарожают... Она, Верунья, и акушерить умеет, и нянчить научится. Доживут с Матвеем возле молодых. Это ж такое счастье — пришли к ним парень и девчушка!.. Она вновь глянула на своего старика. Да, он ее, Матвей, теперь навсегда, хоть и жить им семейно не придется: застарели. Прожили свои годы каждый по-своему: она одинокой, он с женой и детьми, но тоже невесело. «Не заметил, как сохся, побелел», — говорит. Состарили Матвея детишки, жинка — и ушли от Матвея. Нет, Верунья уже не сердится на него: это когда узнала, что он один в Седьмом Гурте, расхохоталась от злой радости. А потом пришла. И Матвей в ноги ей поклонился. Понемногу простила: беда больше роднит, чем счастье. Стал он для нее вроде брата, если еще не роднее...

— Пусть повеселятся-т, — сказал Матвей. — Наши-т заскучали.

— Пусть, — вздохнула Верунья, не желая беречь душу Матвея. — Ты бы рубаху-т свежую надел, две принесла. Кожушок твой спекся, просолонел.

— Вот стихнет-т...

— Тогда-т опять ломовым заделаешься.

— Глянь, глянь, Вера Степановна, Манька-т наша... Ну, разошлась, ну, раскрасавилась!..

В это время Авенир шел приглашать Марусю на вальс, шел, удивляясь ее упрямству, ее капризному желанию танцевать именно с ним: она так откровенно-жалобно взглядывала на него, так ломала пальцы и покусывала губы, что ему почудилось — вот-вот разрыдается. Подтолкнула и Иветта: «Осчастливь девочку!» И девочка Маруся не устояла у затемненного окошка, пошла Авениру навстречу, а когда он взял ее руку, прикоснулся к ее талии, она смежила глаза, покачнулась обморочно, но закружилась легко, невесомой былинкой. Авенир повел жестче, чтобы ощутить ее вес — ведь была Маруся и крепка, и даже тяжеловата, — она кивнула, как бы извиняясь за свою излишнюю старательность, шепнула ему в ухо: «Спасибо вам!» Он рассмеялся, впервые, кажется,

радуясь чужой радости, так просто подаренной и такой доверчивой. Оттого и не заметил, что Гелий и Иветта уже сидят, а Леня-пастух, ускоряя темп, наигрывает только им. Мгновенно поймав ироническую усмешку друга, Авенир смутился, потерял ритм и, чтобы свести все на шутку, словно заранее придуманную, начал игриво покачиваться, приподнимать и кружить Марусю над полом. Она поняла все, вырвалась, убежала к окну. -

Иветта стала вышучивать его, да как-то незнакомо-едко, словно и впрямь ревновала. Авениру подумалось: «Что это с ней, невозмутимой, всегда уверенной, обаятельной Ветой? Или мы здесь понемногу дичаем?» Он придвинулся, чуть коснулся ее руки: ну, не теряй себя, милая, прекрасная! Иветта отшатнулась, глянула, точно сказала: «Он еще не понимает!» — и потянула Гелия танцевать блюз «Голубые воды Атлантики», с трудом выводимый Леней, вероятно, исключительно ради гостей.

Маруся стояла, потупив глаза, кончиками пальцев теребя тугой поясok на ситцевом, в синий горошек платье, но, когда Авенир подошел, она согласилась танцевать и теперь уже не смущалась, карие, влажно-горячие глаза ее выдерживали взгляд Авенира, а раз грустно сощурились: мол, что же ты, а еще такой большой!.. Смолк измученный заморским блюзом полубаян, Авенир отвел Марусю на ее место у окна, не стесняясь, поклонился ей.

Танцевали, пили квас, ужинали. В лампе начал выгорать керосин, запахло жженым фитилем. Старейшина предложил ночевать в его доме. Но вошла из сеней Верунья, сказала, ни на кого не глядя:

— Усмирятся.

Женщин уговорили остаться. Леня-пастух и Авенир поднялись. Проводить их вызвался Гелий. На крыльцо вышел и Матвей Гуртов — «понюхать самум».

А он пах, самум, горячим гнилым такыром, горько-стью перетертого в пыль песка. Черная ночь ревела среди увалов глотками всех когда-то вымерших четвероногих и пресмыкающихся, в ее необъятном нутре было зябко, сиротливо. Ветер не дул, не тек — кипел вихрями, всполохами, закручивался воронками: там, где-то на севере, им уже насытилась прохлада. Самум сжирал сам себя, отхаркиваясь, давясь своей гарью и гнилью.

Пригнув голову, Леня-пастух пошел первым: за ним, почти уткнувшись в его спину, Авенир; шагнул следом и Гелий. Зачем, Авенир спросить не успел: в рот, глаза

хлынул песок, — подумал лишь: «Испытать себя хочет!..» Под ногами скрипел, сквозил песок, подошвы кедр расползались, как намыленные, хотелось ухватиться за что-нибудь или перемахнуть двор одним рывком. Авенир пригнулся ниже, решив обогнать Леню, и тут его правая нога, наткнувшись на что-то, подвернулась, он присел, однако не удержался, грохнулся боком, завихрив над собой песок. Позади вроде бы прозвучал хохот, но было пусто; впереди, еле видимый, удалялся Леня. Авенир вскочил, глотая горячий затхлый воздух, бегом настиг Леню, ничего не заметившего, разом они ввалились в тихий и темный дом.

Разделись, улеглись, и Авенир сказал:

— Я упал, Леня. Как-то глупо... Будто ногу схватило что-то.

— Самум? — засмеялся Леня, но, помолчав, серьезно проговорил: — Двор чистый, мы никогда ничего не бросаем, а то бы калеками все ходили.

СТЕПНОЕ САМБО

Авенир проснулся и сразу понял, в доме никого нет. Щели ставен резали пол длинными лезвиями лучей. На столе, тоже рассеченном лучами, кружка молока, кусок белой лепешки, вчерашняя вареная баранина. Почему Леня не открыл ставни? Хотел, чтобы его гость больше поспал? Он как-то сказал: «Мы тут ранние-булгачные, для гостей малоудачные». Это так. Но всякий оказавшийся здесь, где работать — значит жить, вряд ли сможет, не потревожив своей совести, бездельничать: не то место, не та природа. «А потому встанем, пойдем к трудящимся».

Рывком выбросив себя на середину единственной комнаты в доме артистичного Лени-пастуха, Авенир Авдеев едва не присел от боли под правым коленом. Вспомнил ночное несуразное падение, начал понемногу разминаться; к концу зарядки он чувствовал лишь слабое потягивание в лодыжке; охотно съел мясо, лепешку, выпил молоко, привыкнув сперва завтракать, а потом, по пути на работу, купаться в запруде.

Вышел во двор и несколько минут стоял, оглушенный светом и прохладой. Солнце одолело уже треть неба, но сегодня оно было незлое, чистое и веселое, словно прикатившееся из дальних северных мест с нахлынувшей от-

туда же небесной голубизной. Пепельно-серая степь, припорошенная пылью и песком самума, лежала в бескрайней немоте, живым глазом синей запруды дивясь неожиданному отдохновению. Кое-где на склоны увалов вползли желтые заструги дюн, песчаные сугробики лежали у стен белых домов и хозяйственных построек, еще более отбеленных, казалось, шершавым ветром. Но двор был подметен, пуст: куры квохтали за высокой изгородью, утки и гуси плавали в камышах запруды, овцы угнаны на пастбище. Сочно зеленел свежеполитый огород. Выстояли и сейчас посверкивали, трепетали мелкой листвой осоки — деревья степных оазисов. Каракумы опажули адовым зноем Седьмой Гурт, напомнили о своей безжалостной близости и затихли у себя в преисподней.

Старейшина Матвей ходил с мотыгой вдоль борозд картофельного поля, осел Федя крутил деревянное колесо, заливая иссушенную землю; Маруся пошевеливала тяпкой, оживляла водой из лейки привядшие капустные кочаны; на увале за речкой Верунья косила пшеницу. Авенир искупался и пошел искать отару Лени-пастуха.

Он шел, рассуждая сам с собой. Он говорил себе: это хорошо, это прекрасно, что ты побывал здесь. Теперь яснее, контрастнее увидишь город, своего старика на старой улице и, конечно, обдумаешь «городскую перцепцию»: ведь Поласов так же естественно, чувственно-инстинктивно воспринимает урбанистическую среду, как Матвей Гуртов природную. Слияние до растворения. Растворение для выживания. Иностранное гибнет, истребляется. Гуртов живет степью, ее временем, Поласов — городом. Один одолевает увалы, не глядя себе под ноги, другой снует среди ревущих машин, не оглядываясь. И оба не мыслят себя в ином существовании, времени. Значит, природа не только стихия, но и то, что из этой стихии сотворил человек, — изначально запрограммированное. Сейчас напористо селятся в городах и не менее напористо ругают города. Ты скажешь: ругают их те, кому города не стали средой обитания. «Пусть вернуться они туда, где земля не бетон — парник...» Вернутся ли? Нет. Путь один: через страдания в «новую природу».

Поднялся на холм, начал спускаться в долинку, сизо припорошенную песком, и увидел: с противоположного холма навстречу ему сбегает Гелий Стерин и Ивета Зяблова; вспомнилось, что он не заметил их около старейшины и Маруси и тогда же мельком подумал: «Не меня ли пошли искать?» — а теперь уже

знал: да, они ищут его. Иветта крикнула одышливо:

— Авен, где ты бродишь?

Сошлись посреди долинки. Авенир оглядел друзей — они были одеты по-дорожному, в кеды, джинсы, парусиновые панамки, — сказал, нарочито удивившись:

— Уже? Решили проститься?

— Возможно, — ответил резко, не подав руки, Гелий. — Но пока по твою душу...

— Нет, нет! Мы должны вместе договориться! — перебила его Иветта, встала сбоку, развела руки, как бы желая спешно примирить их, но Авенир уловил в ее голосе, отведенном взгляде стыдливую растерянность, подумал, что, пожалуй, они о чем-то уже договорились, спросил Иветту:

— Значит, в Каракумы не пойдём?

— Мальчики! — отступила она, почти искренне обидевшись, и это помогло ей избавиться от неловкости, обрести всегдашнюю, чуть пренебрежительную уверенность, вяло опустить ресницы, расслабить накусанные только что губы. — Вы же мужчины, мальчики. Решите, в конце концов. Я могу отойти.

— Ну, — сказал Гелий, когда Иветта отошла и повернулась к ним спиной, — как говорится, устами женщины глаголет бог. Нам наконец дозволено решить. Я лично не против сделать это. И заявляю: или ты идешь с нами, или настаиваешь, чтобы она ушла со мной. Способ выбирай любой — хоть обложи ее матом.

— И ты промолчишь?

— Не знаю. Возможно, проучу слегка младшего мальчика.

— Так, дай подумать.

— Не больше минуты, — Гелий кивнул на солнце, и в его резких зрачках сверкнули нервные искорки. — Транспорт у нас — собственные ноги.

Авенир почувствовал, как сердце его, словно отзываясь на близкое, упрямое волнение друга, забилося чаще, и там же, в сердце, родилось возмущение, мгновенно осознанное отрывочными словами: «Он командует... Он приказывает... Подчинюсь — и всегда буду тряпкой перед ним, перед нею... Этого я не сделаю, не могу сделать... И она, что же она?.. Доверится сильному?.. Или хочет, чтобы я от нее отказался?.. Зачем так, таким способом?.. Нет, и этого не могу сделать... Разве упрекнуть ее, ведь вчера еще говорила... О, какую радость доставлю Гелию: мальчик обиделся, требует сатисфакции!..»

Авенир знал, что ничего умного ему сейчас не придумать, и тянул время (вдруг да все обернется шуткой?), но времени уже никакого не было, по крайней мере у Гелия — он резче, нетерпеливее сверкнул зрачками и темно, немигающе уставился в глаза Авениру: взгляд был презрителен и... да, злобен. Не отводя своих глаз, Авенир заставил себя улыбнуться, сказал:

— Ты шутишь, Гель. Плохо шутишь.

— Могу и похуже.

— Драться будем?

— А конечность не болит?

— Конечность?.. — и Авенира уколола мгновенная жуткая догадка: вчера, во дворе, в бурю его сбили... Он почти шепотом спросил: — Ты... сделал подножку?

— Стану я унижать любимчика Седьмого Гурта! Сам растянулся. — Гелий засмеялся частым неслышным смехом, спрятанным в усах и бороде, и вдруг, отшвырнув панаму, выкрикнул: — Хаджиме!

Авенир подчинился команде. Все пять лет в институте он занимался самбо, дзюдо. Самбистом, дзюдоистом и даже каратистом был Гелий. В шутку они иногда схватывались, до победы обычно не боролись, имея разные весовые категории. Авенир одолевал силой, Гелий держался опытностью. И сейчас, решил Авенир, будет дружеская схватка в степи, запорошенной мелким мягким песком: побросают друг друга, утомятся, разрядят напрягающую психику, посмеются. Есть и зрительница, Иветта, она же присудит кому-либо победу по очкам.

Но уже первый подход Гелия с боковой подсечкой и жестким броском через бедро поразил Авенира своей резкостью, неспортивностью. Упав на бок, глотнув соленой песчаной пыли, он вскочил, чуть наклонился, шагнул к Гелию, стараясь глянуть ему в глаза, увидеть в них дружескую улыбку, и тут же был брошен через спину нырнувшим под него Гелием. На этот раз Авенир лишь полуподнялся — пинок-подножка свалила его вновь. Но он успел захватить рукав джинсовой куртки Гелия, рванул его на себя и, когда левая нога Гелия оказалась у него под правым плечом, провел «ущемление ахиллесова сухожилия» — болевой прием, который должен признать противник словом «есть!». Гелий молчал, пытаясь вывернуться, Авенир сдавил стопу ущемленной ноги, и вместе с коротким стоном Гелия раздался крик Иветты:

— Мальчики! Ребята! Как не стыдно! Вы же деретесь!

Авенир отпустил ногу Гелия, начал, виновато озира-

ясь, подниматься, но с хриплым выкриком Гелия «Получай, мальчик!» был оглушен жестким ударом снизу в челюсть. Вроде бы он слышал плач Иветты, вроде ругался матерно Гелий... и все на какое-то время стихло.

Он лежал, глядя в непостижимо огромное небо, ощущая спиной твердое, неодолимое земное притяжение — тяжелы были даже глаза, даже ногти на кончиках пальцев, — во рту скапливалась соленая слюна, и он не знал, от соленой пыли она или от крови из разбитых десен. Земля была еще прохладна, но в степи уже зарождались знойные ветерки, всполохами прокатывались они по осыпанным песком увалам, сгорала небесная голубизна. Ему припомнилось «Хаджиме!» — приглашение к бою в японской борьбе каратэ. Он принял команду, не осознав ее: друг предлагал сразиться, а не бороться... Какой же это друг, если напал неожиданно, безжалостно?.. Но ведь и он сам согласился померяться силами — значит, хотел борьбы, пусть несерьезной... Ему стало стыдно: «Одичали, озверели среди природы... Или она сама нам показала, как немощна наша мораль?.. Так же, наверное, здесь бились когда-то самцы-динозавры...»

По тишине и пустоте вокруг он понял, что совсем один в степи: друг и подруга ушли, убежали, скрылись, спрятались. Обида, гнев удушливо подступили к горлу: «Догнать! Найти! Устыдить ее, наказать его — злого интеллектуала!» Он напрягся, чтобы подняться, но ощутил горячее кружение в голове, боль в челюсти, правой ноге, понял: уложен профессионально. Закрыв глаза, расслабившись, он решил отдать себя полному покою, почти уверовав: эта неодолимо притягивающая, нетронутая земля, это непостижимо огромное небо вернут ему силы.

Очнулся Авенир Авдеев от упавшей сверху росной прохлады. Над ним стояла Маруся. Она не заметила его полураскрытых глаз, набрала полный рот воды из белого бидона, еще раз сильно брызнула ему в лицо.

— Хватит, — сказал Авенир.

Маруся упала на колени, принялась платком утирать его лицо, приговаривая:

— Бедненький... Они тебя обидели, да? Ой, у тебя кровь на губах!.. Били, да?.. Я чувствовала — они нехорошие... Они не любят тебя...

— Где они? — спросил Авенир.

— Они ушли.

— Куда?

— Взяли рюкзаки, дед Мотя показал им дорогу, ушли на Кара-Тургай.

— И она?

— Она плакала, говорила: «Возьми воды, иди к Авену. Им нельзя здесь вместе. Мы уйдем».

— Ясно. И правильно: нельзя. А теперь, моя спасительница, вставай и помоги подняться мне — неудачливому рыцарю или гладиатору, как для тебя романтичнее.

Маруся взяла его за обе руки, осторожно и сильно потянула, понимая, что сначала ему надо сесть, а когда он, вяло покрутив головой, удержался сидя, она поднесла к его губам бидон с водой.

— Попей. Холодненькая.

Вода была чистойшая, из колодца Веруни, врачевальная, и Авенир сказал:

— Вот теперь хорошо вижу тебя.

Он ожидал, что смутит ее, она отступит, диковато притушив ресницами карие глаза — так, чтобы лишь чуточку видеть его и уберечься от волнения, неловкости, — но Маруся присела на корточки, смочила водой платок, начала легонько вытирать ему запекшийся подбородок, потную шею, прочесала пальцами волосы, вытряхнула из них пыль и песок; ухаживала, как за больным, обиженным ребенком, вздыхая, улыбаясь, ласково журуя, и это смутило его: он застыдился своей беспомощности.

— Задали вам работенки. Долго не забудете «ребят научных», как Леня выражается.

— Не забудем, — подтвердила Маруся. — Ага. А я и забывать не хочу.

— О чем ты, девочка?

— Да так...

— Мы дрались из-за женщины. Ты это понимаешь?

— Не ты.

— Кого же в чувство приводишь?..

— Ты ее не любишь.

— Вот как! Зачем же...

— Она тебя поманила.

Авенир глянул в глаза Марусе, и она не отвела своего взгляда, смотрела упрямо, нежно и отчаянно: да, говорю правду, можешь сердиться, можешь прогнать меня, но ведь я знаю: ты не любишь ее! Авениру сделалось неловко, еще более стыдно, шевельнулось остренькое сомнение: а не права ли эта степная девчушка, никому не привыкшая лгать, наверняка сохранившая особое природ-

ное чутье, особый разум, для которого главное — прямота, полезность, справедливость? Любит ли он? Знает ли, что такое истинная любовь? У него опять стала дурно кружиться голова, и он, борясь с желанием лечь на землю, попросил:

— Пойдем, Маруся.

Он поднялся, оперся о ее плечо — такое крепкое, худое и нежное, сказал себе: «В городах мы все-таки хилы», — и короткими шагами они заковыляли к поселку. Правая нога остро болела от ступни до колена: подбив ночью, друг Гелий докалечил ее пинком-подножкой днем. Ничего страшного, конечно, растяжение, ушиб, но несколько дней придется полежать, а это новая обуза гуртовикам: не хватало им еще немощных. Или он слишком мнителен? Его ушедших друзей мало мучили подобные угрызения совести. И впервые он пожалел, что не ушел с ними, что все же, как там ни оправдывайся, из-за него (из-за него тоже!) начался раздор: он знал, понял — Иветта капризничает, сталкивает их; все они изменились здесь, потеряв свою привычную среду, будто вышвырнутые в пустое пространство... И вот — крепенькое плечо, девчушки под увесистой ладонью восьмидесятикилограммового, очень спортивного, очень цивилизованного парня из столицы. Что думает Маруся о нем, о них?.. Хорошо бы попасть в дом Лени-пастуха не замеченным старыми гуртовиками.

Словно угадав его желание, она выбрала путь через рощицу осокорей, к сараям, вдоль каменного забора и сразу в сени дома; усадила на стул возле деревянного топчана, служившего ему жесткой, но надежной кроватью, сказала:

— Вот и хорошо. Давай помогу раздеться.

Авенир не мог отказаться. Маруся стояла разгоряченная, с капельками пота на лбу, верхней губе, в нежной ложбинке на груди, и то плечо, за которое он держался, было темным от пота; кончики тугих косиц расплелись, ленты запылились; глаза ее, широко распахнутые, тоже казались разгоряченными, в них горело упрямое желание чем-нибудь услужить ему.

Она накрыла его прохладным и чистым байковым одеялом, ушла, снова явилась, поставила рядом кувшин с квасом, стакан.

— А ногу твою Верунья полечит.

Сидела, чуть улыбалась ему, промокала его лоб платком, пахнущим сухой мятой и полынью, отчего мутилось

сознание, клонило ко сну; и он, наверное, уснул, ибо не помнил о Марусе, обо всем, что случилось; но уснул, как показалось ему, всего на мгновение: забылся — и вроде бы сразу услышал голос Лени-пастуха:

— Вскакивай, дружок, ужинать будем!

Ели тушеную утку с молодым картофелем, зеленый лук, редиску. Авенир молчал, одолевая разморенность, разбитость, Леня говорил. Леня говорил негромко и неспешно, просто выражал вслух обдуманное и потому не нуждался в поддакиваниях или возражениях. Вот что услышал Авенир:

— Понимаю, нехорошо получилось, Авен. Они ушли, ты остался. И эта борьба... Слишком задержались. Степь задурила вас, стала впитываться в вашу кровь, а вы перед нею дети малые. Ходок погиб. Прошел леса и горы, подружился с дельфинами, а здесь погиб. Степь, пустыня, я думаю, самая древняя природа. Все меняется, океан нефтью заливают — степь такая же, да еще ширится. Я прямо чувствую, как она в полон берет людей, животных. Вывези отсюда овцу, корову — подохнут в других местах. С нею так надо: глянул — и уходи. Или оставайся... Давай-ка утку обгложем, ешь в запас, холодильника нету, да и какая польза кушать после холодильника!, А это... сильно он тебе в челюсть. Кость-то не сломал? Дай потрогаю... Нет вроде. Заживет. От слабости он, маленькие — злые. Понятно: места на земле не бог раздает. Там у вас драки не получилось бы, мяли бы друг друга интеллектуально, с помощью друзей, коллектива. Культурно. Кто бы одолел? Думаю, он. Так? Значит, не горюй, Авен. Природа дика, но не дура. Просто решает, без нежностей.

Леня налил в стаканы молока, задумался, опершись локтями о колени, сухой выгоревший чуб упал ему на лоб. Ссутулившиеся плечи, напряженная спина, остро согнутые ноги — и хрупко все, и наработанно, жилисто. Хрупкость, большой волей обращенная в силу. Авенир с доброй завистью оглядел его: ни самбо, ни дзюдо, ни злое каратэ — жизнь сделала Леню таким. Попробовал бы нервный Гелий ударить по Лениной челюсти — раздробил бы свой кулачок, забыв любимое словечко «иппион!»¹

— Теперь послушай о Марусе. Помнишь, Матвей Илларионович сказал: мы тут все больные, лечимся? Воз-

¹ Чистая победа в каратэ (япон.).

можно. Но диагноз поставил каждый сам себе. И лечимся добровольно. Обо мне ты знаешь, о наших стариках слышал. А похожа ли на больную Маруся? То-то. И все же она больная — от обиды, если, конечно, такую обиду можно считать болезнью. Она родилась здесь, в Гурте, потом, когда поселок начал пустеть, отец ее завербовался куда-то и пропал навсегда. Мать с двумя ребятами пождала, побилась и перебралась к родичам в Кокчетав, там вышла замуж, уехала на Север зарабатывать длинные рубли, сынишку взяла с собой, Марусю устроила в интернат. Так и жила Маруся: летом у тетки, зимой в интернате. Пять лет. Мать только деньги присылала. Потом и деньги перестали приходить, тетка давай разыскивать через милицию свою запропавшую сестрицу, а тут, все к одному, пристал к Марусе дебил-переросток. Знаешь, есть такие: его бы женить да в работу мужицкую втянуть, а ласковые родители все грамоте учат. Ну и, сам понимаешь, выследил, прижал, скрутил, припугнул: молчи, всем расскажу, сама напросилась... Это было в седьмом, а восьмой Маруся едва дотянула. Дебил подкарауливал, требовал сожительства. Вообрази губастого, толстого, наглого типа. Маруся взяла у двоюродного брата самопал, зарядила порохом и выпалила ему в рожу. Напугался дебил, обожженную рожу залечил, не жалуясь, и отстал вроде. Но Маруся собралась и ушла в Седьмой Гурт. Говорит: так захотелось убить, что сама стала выслеживать его, как помешанная, только здесь вылечилась... Понимаешь, Авен, мы не пленники — добровольцы тут, мы любим свой оазис в пустыне, не хотим, чтобы он заглох в песках, мы работаем, кормим себя, помогаем людям. Ты это знаешь. И вот пришли вы... Нет, не так. Грубо получится. Сейчас подумаю... Давай так. Когда-то я прочитал стихи, поэта не помню, а смысл остался: двое сходятся потому, что третьему хочется родиться. Он, третий, влюбляет их: появлюсь и буду жить у любящих друг дружку родителей... Поэзия всегда хоть немного выдумка. Но это умная, для души выдумка. Так вот, наш третий, мой и Марусин, притих, задумался: стоит ли ему от нас появляться, если свел, а не влюбил? Понял, Авен? Вижу, нет. Скажу прямо: ты пришел — и Маруся перестала видеть меня. Нет, нет! Не вскакивай, не горячись. Я не обвиняю, драться не буду. Я обдумываю.

Авенир все-таки вскочил, сильно прихрамывая, проковылял до своей кровати, сел. У него больно стучало

сердце, удуше подступило к горлу: этой беды еще не хватало! Но он-то при чем? Разве увлекал, ухаживал?.. И осек себя, и устыдил: приятно было внимание Маруси — просто так, а все же приятно... Не сообразил, не подумал. Привык нравиться. Увлек, раз не остерег. Идиот! Патлатый мальчик из танцзала! Хотелось оправдаться хотя бы тем, что не ведал, не знал и уж конечно не имел ни малейших намерений.

Его придержал Леня-пастух:

— Понимаю. Ты не виноват.

— Но я поговорю. Скажу ей...

Леня вздохнул, покачал головой: мол, как хочешь, дело твое, советовать не буду, да и можно ли тут советовать? Проговорил после долгого молчания в сумерках:

— Надо спать.

ЖЕНЩИНЫ — ВЕЗДЕ ЖЕНЩИНЫ

Верунья сухими быстрыми пальцами ощупала ногу Авенира, принялась натирать ее густой коричневой мазью, пахнувшей острой смесью чеснока, мяты, южной травы лаванды; пальцы скользили от колена до лодыжки, трогали, мяли припухшие мышцы, болезненные жилки, и уже это унимало, словно бы убаюкивало боль. В низко надвинутом платке, поблескивая синеватыми выпуклыми белками глаз, она казалась колдуньей, недоброй отшельницей; чудилось, губы Веруньи непрестанно наговаривают тайные заклинания, которые могут и вылечить, и навсегда оставить калекой. Утомившись молчанием, своими одинокими размышлениями, Авенир в забывчивости выдохнул:

— Ой-ой!..

— Ой-ой, — вдруг повторила Верунья, — больно-то тебе, милый? Руки у меня тяжелые, изработанные, а ты нежный, кожица ребячья. Раньше-то я медсестрой была, мягко уколы делала, руки оберегала, чтобы больных ласково лечить. А здесь мы ой-ой какие огрубелые. Но мазь-то я целебную сделала, чуешь запах лаванды навроде? Это яд нашей змейки Ульяны, капельку — и заживет, затянет, жилы отмякнут, кости срастутся. Два раза в лето Матвей отнимал яд у нее: возьмет за шейку; к зубкам краешек стакана поднесет, она укусит — и потечет зеленая струйка, а то коричневая, смотря по времени. И погибла-то Ульяна наша. Ой-ой! Не то убил кто,

не то Федька-осел затоптал. Так ведь никогда не топтал, игрался даже с Ульяной. Она смиренная была, привыкла к нам. Как мешочек вспухнет на деснах, мешать станет, сама приползает, просит Матвея: возьми, мол, лишний яд у меня.

Верунья глянула из-под платка в неширокое окно толстостенного саманного дома и опять, но по-особенному произнесла свое «ой-ой» — протяжно и печально, а потом уже, как после запева, полились мягкие, обкатанные бубликами слова:

— Все небушко пало, погодка захудилась, видать, дождиком нас ополощет, а не надо бы в запоздание, пшеничку спутает, повалает, хотя, конечно, степь подсухнет, парень с девушкой твои-то легче дошагают, пошли на Кара-Тургай, быстрым путем, оттуда машины бегают...

Авенир слушал, изумлялся, страдал: диковатая, монашеской застенчивости женщина, невзлюбившая гостей-туристов, наградила его нежным сочувствием, а главное — речью, живой и душевной, утешающей и лечащей. Будто не она, Верунья, говорила, что от приبلудных-незваных горе будет Седьмому Гурту. Почему же так переменялась? Рада: ушли двое, скоро уберется и третий? Или Маруся упросила навестить болящего, успокоить беседой, обласкать? Где сама Маруся? Некогда прийти? Не хочет? Или все уладилось: она ушла с Леней в степь? О, это было бы прекрасно!.. Авенир не осмелился расспросить Верунью — лучше выждать, чем огорчить женщину хоть намеком на разлад в их тихой общине, — и он заговорил, припомнив змею Ульяну:

— Да-да, Вера Степановна, свежий дождичек для нас, а вам самум, ссоры гостей, смерть Ульяны... — Он осекся, живо увидев картину: спокойный усмешливый Геллий рассекает камнем отвратительную ползучую гадюку... А он, Авенир, удержался бы?.. — Нет-нет! — сказал он, испугавшись, переводя разговор на другое. — Нет, говорю, мы не хотели вам зла... Все случайно. Погибали, набрали на вас... Уберемся — заживете по-прежнему. Мне очень хочется, чтобы вы здесь жили, чтобы всегда был зеленым Седьмой Гурт. Там, у себя дома, вспомню о вас, подумаю: им хорошо, они счастливы — и сам стану счастливее.

Верунья медленно покачала головой, вздохнула, как вздыхают старухи, когда хотят сказать: «Твоими бы устами да мед пить!», протянула коричневую

руку, убрала со лба Авенира растрепанные волосы.

— Какой русый, какой синеокий. Не видывала таких. И добрый, видать. Красивые-то редко добрыми бывают: к ним льнут, от них все понемножку взять норовят. Ой-ой! Как сохранишь свою душу?

— Если есть, сохранится. Правда?

— А беречь надо.

— Сберегу. Буду работать. Главное — работать, чтобы о себе, о душе забывать. До жути, как Ходок.

— Как Ходок зачем тебе? — Верунья отвернулась, приспустила на глаза платок, словно оберегая себя от печального разговора. — Он больной был, душу потерял...

— А может, не смог потерять? Этого и не простили ему сайгаки, затоптали, убили?

— Не знаю. Мы мало чего знаем... Человеку нельзя стать сайгаком. Каждому свое место. Он против бога пошел, потерял свою жизнь: в нем жизни-то уже не было — глаза провалились в себя... Святой или дьявол... Искупил вину или продал душу.

— Перед природой? Природе?

Она опять медленно покачала головой, явно досадуя, что так много всего наговорила, жестковато пробежала пальцами по ноге Авенира, спрятала пузырек с мазью, накрыла ногу одеялом, поднялась, и он, не ожидавший такой резкой перемены в ней, схватил ее за рукав темного просторного платья, прося посидеть еще немного, наморщил лоб, скривил губы: мол, видите, как мне больно, как будет тоскливо одному. Авениру хотелось подробнее расспросить о Ходоке, но он понял, что как раз о Ходоке она не скажет больше ни слова; для нее Ходок ясен: хотел уйти и ушел; каждому свое место, каждый хозяин себе. Многословие — грех, ибо слова лишь замутняют душу. Если ясно понимаешь, чувствуешь, зачем изрекать? И все же Авенир успел спросить:

— Вы бога упомянули. А у вас ни икон, ни молитв. Кто ваш бог?

Она не ответила. Она прижала руки к груди, а затем широко развела их, как бы распространив свою душу на весь дом, на все пространство двора, степи. И улыбнулась кротко, и кротко глянула в глаза ему уже негрустными глазами, словно сказавшими: хорошо мне с моим богом, да поделиться не могу, обрети своего сам.

Ее шаги стихли за дверью сеней. Авенир прохромал к окошку: вдруг захотелось глянуть ей вслед; двор, однако,

был пуст, сумрачен; первые дождевые капли изрыбили белые саманные крыши соседних построек; огромное облако, розовое вверху и черное понизу, охватив края степи, напоззало на Седьмой Гурт, непомерной тяжестью своей сотрясая землю; она, взгорбленная увалами, будто нехотя распрямлялась, вздрагивая, погромыхая недрами.

Самум опалил степь. Гроза омоет ее. И солнце поднимется уже не над прежним простором, что-то переменится в нем. Наверное, зазеленеют увалы.

Авенир лег на свой жесткий топчан, думая о Верунье. Ему припомнилось давнее, нечто философическое: «Бог не есть сила в природном смысле, действующая в пространстве и времени, не есть господин и правитель мира, не есть самый мир или сила, разлитая в мире... Бог есть смысл и истина мира...» А если так, зачем иконы, молитвы? Достаточно прижать руки к груди, а затем объять ими весь мир... И зачем говорить о необъяснимом, если это можно только чувствовать. А чувствовать — любить. А любить — примирять, понимать, что уже близко к смыслу, истине. Так ли осознает свою веру Верунья? Вероятно. Авениру хотелось этого, иначе не понять, чем может быть счастлива она, ей подобные. А что Верунья счастлива, он теперь знал, ибо счастливы не молящиеся, а верующие в смысл и истину жизни.

Упал ливень, торопливый и грозный. За вспышками молний разверзлась темнота. Жутко стало в степи. Авенир ощутил свою малость, затерянность, поняв, почему гуртовики пережидают ненастья вместе: одинокий здесь тягостен самому себе, ему вспоминается пещерная первобытность. Особенно жалок коммуникабельный горожанин. Авенир повыше натянул одеяло, закрыл глаза. И спасся от одиночества — уснул.

Он очнулся, услышав мягкий хлопок двери, частые, веские шаги босых ног к его кровати, а затем вдохнул свежесть мокрого ситцевого платя и решил притвориться спящим: пришла Маруся, надо выгадать несколько минут, обдумать, как, о чем заговорить с ней. Маруся села на краешек топчана, отбросила за спину косицы, дождевая капелька упала ему на щеку, он вздрогнул, едва не открыв глаза. Маруся промокнула платком каплю, тронула пальцами его лоб, ресницы, затихла, ожидая, когда он проснется, потом еле уловимым вздохом позвала:

— Авен.

Он не отозвался, теперь хитря и любопытствуя: как

поведет себя степная ладушка? И тут же раскаялся. Маруся склонилась, ожгла его лицо прерывистым дыханием, прижала свои прохладные влажные губы к его сухим и горячим. Он едва удержался, чтобы не обнять ее — таким долгим, просящим ответа был ее поцелуй, — и резко откачнул голову, рассердившись вдруг на себя, на нее: «Мало всего тебе! Займись еще пятнадцатилетней!.. И она — будто соблазнительница бывалая! Что с ней, зачем это, почему? Убежала из города — и нашла горожанина!..» Маруся тихо рассмеялась, дивясь его крепкому сну, опять склонилась, притиснув его жестковатой тяжестью, заговорила полупшепотом:

— Милый, милый, я люблю тебя. Я полюбила тебя, как только увидела — там, около вашей желтой палатки, когда принесла вам, голодным, молока и хлеба. Я посмотрела на тебя, подумала: этот, синеглазый, зачем сюда пришел? Они, бородатый и она, городская лада, вместе пришли, а он один. Я смотрела, слушала тебя — и ты улыбнулся как-то устало, виновато: вот, мол, извини, пришел. И я испугалась от догадки: он же ко мне пришел! А ты еще раз улыбнулся и вроде бы кивнул мне. Вернулась в Гурт — и к Верунье, давай упрашивать ее: согласись, разреши, пусть войдут они, надо жалеть несчастных, больных, голодных. Чуть на колени не брякнулась. Сказала: непустишь — я с ними уйду. Ой, какая была счастливая, когда вы пришли! Помнишь, купаться вас повела на запруду? Я для тебя плавала, ныряла, хотела понравиться. Не знаю, что случилось со мной, я тебя ничуть не стеснялась: он мой, милый, хороший. И что кровь баранью отказался пить, мне понравилось. Думаю, пусть этот бородатый сердитый пьет, а я своего быстренько откормлю. И стала носить вам с Леней побольше, повкуснее... Вот вспомнила Леню. И жалко мне его. Он такой, самый человечный. Я бы любила, наверно, его, если бы не увидела тебя. Но я всегда чувствовала: больше уважаю его, чем люблю. Любви на Леню у меня почему-то не хватало. Пришел ты — и поняла: совсем не любила Леню. Ой, вышла бы замуж за него и обманула. А он бы несчастным стал. Я ведь ему все рассказала о себе, чтобы не обманывать, какая беда со мной случилась в интернате, он простил, пожалел еще, доказал: не виновата я. Хоть чувствую, виновата в чем-то, раз ко мне пристал этот тип. Собрался ехать к нему Леня, едва отговорила. И тебе все расскажу, ты ведь поймешь, ты умный, ученый, добрый. Я глупенькая

против тебя, но я способная, захочешь — буду учиться, институт окончу. В медицинский хотела, вот и окончу медицинский. Я знаю много лечебных трав, лекарства могу делать, Верунья научила. И в городе жить сумею, лишь бы ты любил меня. Скажи, Авен, ты любишь меня?

Она положила голову ему на грудь, словно его сердце могло ответить ей, затихла, затаила дыхание, и Авенир, понимая, как глупо поступил, прикинувшись спящим, и не имея уже терпения продолжать эту неумную игру, сказал резко и сердито:

— Маруся!

Она отпрянула, вскочила, пересела на стул у кровати, но в глазах ее, сияющих от слез, не было испуга и губы чуточку улыбались; она следила за ним, ласкала его взглядом; она и пересела-то на стул, подумав, что помешала ему; и когда он стал подниматься, осторожно опуская с топчана ногу, она подставила ему свое плечо, обхватила рукой его шею.

— Маруся! — повторил он так же жестко, стараясь глядеть ей в глаза. — Я слышал все, что ты наговорила мне. Проснулся — и услышал. Признайся, ты шутила, разыгрывала сцену... бывают такие в книгах, кинофильмах?.. — Ему сделалось совестно, даже голова заболела от прихлынувшей крови: ведь он принуждает ее соврать, подсказывает, как соврать! Но ничего иного, более разумного, не мог придумать и, совсем уж запутавшись, предложил нечто постыдное: — Давай будем считать, что это была шутка?.. Ты артистка, Маруся. Талантливая артистка! Согласна?

— Нет, — просто и внятно ответила она.

— Что нет?

— Я тебя люблю, Авен.

Она смотрела большими коричневыми слезами — неподвижными слезами глаз, и он не вынес ее взгляда, отвернулся к окну, за которым блестела чистая дождевая лужица, такая редкостная здесь, и, словно наконец осознав, кто он, почему попал сюда, как чужд, неудобен этим людям, он немедленно успокоился, поудобнее сел, оглядел ссутулившуюся, уже поникшую, чего-то испугавшуюся Марусю, сказал:

— Хорошо. Давай поговорим серьезно. Смотри на меня.

Маруся не подняла головы.

— Смотри, — приказал он.

Она глянула из-под бровей и ресниц, остро и диковато.

— Ну, увидела?

Она недоуменно покачала головой.

— Ты не хочешь видеть. Присмотрись. я не люблю тебя. Не любил, не мог полюбить. Не намекал, не кивал, не улыбался влюбленно — все сама выдумала. Только на вечере, на вашем концерте, и узнал, что ты на меня смотришь, хочешь со мной танцевать. Другие замечали, я — нет. Подумай: как я мог тебя полюбить? Я пришел сюда за Иветтой, думал только о ней.

— Она ушла, — сказала, всхлипнув, Маруся.

— Да, ушла. Понимаю. Но так, чтобы я меньше жалел. Позаботилась: раз — и навсегда... Пойми и ты меня.

Она зябко свела плечи, немо уставилась на два кроваво-розовых помидора, принесенных ею и положенных рядом с глиняным кувшином для кваса. Он тоже увидел помидоры — тугие, будто накачанные спелым соком, зеленоватые возле черенков, с дождевыми каплями, первые степные помидоры, — улыбнулся невольно заговорил спокойнее:

— Маруся, ты чудо какая девочка! С характером, природным умом. Решиться прийти сюда жить — кто же это сможет? Ты работница прямо-таки талантливая. Я тебя всегда, всегда буду помнить. Леню, тебя, всех вас. И приеду сюда, если захотите. И помогу, если попросите какой-либо помощи. Приглашаю тебя: приезжай погостить в столицу. А хочешь, узнаю, нельзя ли устроиться у нас там в интернат. Будешь учиться, а летом приезжать сюда, к своим гуртовикам... Я и Леню приглашу, вместе приезжайте. О, ты права, он самый человечный! В нем все — жалость, твердость, сочувствие. Приглядишься к нему, таких мало, таких скоро совсем не будет. Как можно не полюбить Леню, зная его? Как можно, видя его, смотреть на случайных захожих?..

Маруся медленно поднялась, глаза ее были сухи, точно в них, разгоревшихся, высохла влага; она смотрела на Авенира упрямо, чего-то выжидая; руки ее были позабыто опущены, одна косица за спиной, другая спереди; губы приоткрыты, из них, казалось, веет сухим жаром. Авенир понял, что она не слышала его последних слов, не хотела слышать и поднялась, чтобы о чем-то спросить. Он поспешил сам сделать это:

— Что, Маруся?

— Скажи: нет? Совсем нет?

— Нет, Маруся.

Она легко простучала босыми ногами к порогу, всунула ступни в разношенные сандалии, вышла, неслышно прикрыв дверь. Мимо окна прошла очень прямая, с чуть вскинутой головой, сдвинутыми бровями, и по лицу ее мелькали блики солнечных луж, делая его то светлым, то хмурым.

Авенир стоял, смотрел ей вслед, пока она не скрылась в сенях своего белого дома с палисадником под окнами — там сейчас покачивались желтые и красные мальвы, омытые ливнем, полыхающие грустно и радостно, они цвели во славу своей хозяйки: каждый вечер Маруся поливала их. Маруся... Маленькая, серьезная, наивная, любящая, обиженная женщина!.. И нежной минутной грустью наполнилось сердце Авенира — внезапным возвышенным чувством к ней.

ИДУЩИМ ОТКРОЙСЯ, ДОРОГА!

Поздним вечером пришел из степи Леня-пастух, снял свою робу у порога, наваял в комнату крепких запахов пота, овечьей шерсти, горькой полыни; и дикости, и ветрового пространства. Авенир едва не чихнул — такой терпкой веселостью запершило нос и горло, — сказал, покашливая:

— Ого, как тебя напитало!

— Не спишь? — хрипло-устало спросил Леня. — Тогда свечку зажгу. Нога-то как?

— Двигаюсь. Разминаю.

Леня зажег свечу, накапал воска на опрокинутую поллитровую банку, укрепил свечу. В мерцающем красном свете его лицо, потное, худое, с низко упавшим чубом, казалось вырубленным из дерева и гладко отлакированным. Он вышел во двор, послышался упругий плеск воды, вернулся мокрый. Столовы до ног, растерся жестким холщовым полотенцем, достал чистую гимнастерку и брюки, яловые сапоги; одеваясь неспешно, основательно, спросил:

— Тебе не сказали?

— Что?

— Маруся ушла.

— Ушла? Куда?

— Отсюда одна дорога — туда, откуда пришли вы.

— Ты хочешь сказать...

— Уже сказал. Скажи лучше ты: так ей все и выдал напрямую?

— Не совсем... хотел по-хорошему... — Авенир вскочил, сел к столу, потом заходил в трусах и майке от Лени, стоящего у порога, до глухой стены с застекленными фотографиями, полубаяном на комод, думброй на гвозде, в красных сумерках, вдруг показавшихся ему мертвенно пустыми, обреченно печальными. — Пойми, не мог же я врать! — Авенир помотал встрепанной головой, чувствуя, как в ней нехорошо все мутится, точно перед потерей сознания от удара, падения. — Нет, не оправдываюсь, глупо, по-дурацки получилось, не сумел с девчонкой поговорить толково! Поучал, прикидывался чуть ли не батей родным. Просто говоря, струсил, побоялся лишних хлопот. Не ушла бы Маруся, подумай я хоть немного о ней. Где там! Все о себе, каждый о себе, своей душе, личности, неповторимости... Явились, возмутили, передрались... Тьфу!

— Не надо, — морщась и вздыхая, сказал Леня. — Сядь, успокойся. Ты не виноват. Никто не виноват. Как получилось. Жизнь так решила. Ты видел степь. Разве можно обещать, что обязательно вернешься из степи? Мы мало распоряжаемся жизнью. Она пока выше нас.

— И когда можем — не хотим.

— Это кажется, что можем.

Леня уложил в солдатский рюкзак штатские брюки и белую рубашку, полотенце, мыло, бритвенный прибор, еще что-то в газетных свертках, бросил рюкзак на одно плечо, выпрямился.

— Ты куда? — удивился Авенир, наконец заметив серьезные сборы хозяина дома, подхромал к нему.

— Пойду тоже.

— За Марусей?

— Ее не догнать. Пока на Кара-Тургай. Там посмотрю.

— А я? Давай вместе.

— Был самум, был ливень, будет жара. Твоя нога не дойдет, Авен. Отдохни. Дней через пять старейшина проводит тебя. Ну, жми руку Лене-пастуху, поэту Седьмого Гурта. Наверняка не свидимся.

— Может, утром, Леня?

— По холодку приятнее. А насчет другого... волки сыты, людей в этих местах нет.

Леня пожал руку жестко, вышел, не прибавив слова, шаги его прозвучали коротко и словно бы оторвались от земли. Все затихло, заглохло; Авениру почудилось, что он перестал ощущать свой вес, и если заговорит, не ус-

лышит своего голоса; лишь ныла, будто звучала болью, жестко пожатая Леней рука. Хотел ли он поделиться силой, товариществом или намекнул: ладно, прощаю, но помни — есть Леня на земле, с нежным характером и железной рукой, обойди его в другой раз, ибо характер может перемениться? Теперь не узнать.

Догорела свеча, в лужице расплавленного стеарина утонул фитилек, едко запахло жженым птичьим пером, дом отяжелел темнотой, а окна точно прорубились в самое небо: густая синь, белые живые звезды наполнили их; где-то высоко, нетленно светилась огромная степная луна; даже чуткие, настороженные гуртовские собаки присмирели от великой и чистой тишины.

Авенир видел, чувствовал, осязал степь — ее угрюмые рыжие увалы, мерцающие слюдой дюны, черные горбы выперших из преисподней гранитов, седые чащи колючего, злого саксаула, зеленые лужайки в глубоких буераках; — совсем иную, не из книг и кинофильмов, живую и живущую степь, трудную для жизни, прекрасную для обитания, — страну будущих людей.

Он отметил по ощущению времени: Леня прошел мимо холма с каменной пирамидкой и, возможно, поклонился праху Ходока, упокоенному степью. А где-то впереди по самой короткой дороге к цивилизации движутся Гелий и Иветта, за ними — Маруся... Степь в эту ночь не пуста.

Леня найдет Марусю. Как они встретятся?

Гелий и Иветта вернутся в Москву. Что они скажут о нем, Авенире Авдееве? Приболел? Занялся степной экологией?

Ведь будет же встреча, ее не избежать. О чем-то придется говорить друг с другом, чтобы жить и работать дальше. С категоричным кандидатом Стериним все или почти все ясно: опростев, впав в перцепцию, «низшую, беспамятную форму духовности» (как сам объяснил), и по способу предков расправился с нудным любовным треугольником — лишил физических чувств соперника, принудил милую сердцу бежать в семейную жизнь. Но там, среди блеска и ярости городской жизни, снова став элегантным и современным, он, конечно, извинится перед другом Авениром, попросит не помнить зла, перейдет на юмор, иронию и скажет что-нибудь такое: «Все мы немножко лошади, собаки и даже обезьяны; последнее наиболее отвратительно!» С ним ладно, он все-таки ясен и едва ли существенно переменится — сложился, разме-

тил свою жизнь, подобно знакам на перфоленте. Совсем иное — Иветта Зяблова. О чем, как заговорит она при встрече? Или по праву вышедшей замуж не станет упрекать себя за прошлые ошибки и грешки: разбирайтесь сами, вы мужчины? Ведь «у женщины прошлого нет разлюбила и стала чужой...».

Но это неправда. Прошлое есть, должно быть, пока человек обладает памятью. Как можно забыть степь, Седьмой Гурт, его тихих жителей? Как может забыть Иветта дни, недели, когда они почти не разлучались: кино, кафе, вечеринки с музыкой-диско, поездки на дачу и даже поход в старую Москву, на старую улицу, к старику Поласову, о котором Иветта сказала: «Счастливый старый человек, а я думала, стариков счастливых не бывает»? Она не хотела видеть Гелия Стерина и, если Авенир вспоминал друга, с холодным хохотком шутила: «Давай отдохнем от этого элемента из периодической таблицы Менделеева».

Однажды, навестив ее отца в Боткинской больнице, они поехали за город. Иветта вела отцовскую «Волгу» так, будто старалась разбить ее, автоинспектор сделал прокол в талоне, но она только рассмеялась (Авенир подумал: нервничает из-за отца). Несколько раз она съезжала на обочину, увидев красивую лужайку, расстилала скатерть, ставила бутылку рома «Гавана клуб» выкладывала бутерброды, пила, заставляла пить Авенира. Дача Зябловых оказалась пустой, хоть и заверяла Иветта перед поездкой, что их ждет расхворавшаяся от одиночества мама. Они пили на софе, целовались. Потом Иветта приказала раздеть ее. И смеялась, видя, как растерялся Авенир: «Милый мальчик! Ты не имел делишек с девушками?» Начала раздеваться сама, но ей сделалось дурно, пришлось принести тазик с холодной водой, умыть класть на лоб мокрое полотенце. Сонная, она звала Авенира лечь рядом, обнять, успокоить ее. Авенир сидел в кресле, держал вялую, потную руку Иветты и лег на диван уже под утро, когда она наконец уснула. Проспал он до половины двенадцатого, вскочил от взревшего вдруг голосом ирландца Джо Долана магнитофона: «Маленький мальчик, взрослый мужчина...» За накрытым столом сидели Иветта и Гелий Стерин. Они дружно расхохотались, поднесли коньяку, дали закусить. Смеялся и Авенир, радуясь такому сюрпризу: оказывается, Иветта съездила в Москву, нашла Гелия, привезла и успела кое-что приготовить из еды, пока Авенир спал. Было весело, бегали

купаться на водохранилище. Гелий солидно подшучивал: «Ай-ай, проспал девушку!..» Иветта не выпила даже сухого вина, сказав, что ей, водителю, надо целехонькими доставить мамам и папам подгулявших мальчиков.

С того дня они перестали бывать наедине. Почему? Не хотела Иветта, говоря: «Мы друзья, нам надо всегда вместе». Авенир чувствовал: чем-то отдалил Иветту, не так поступил, не то сделал. И догадывался, и не хотел признаться себе в этом... Неужели она желала, чтобы ее взяли, как брали женщин тысячи лет — попросту, грубовато, зато решительно и надежно? Ведь и самая современная женщина может устать от своей неуправляемой свободы — так, что ли? Если так, то здесь, в степи, Иветта отомстила ему — ушла за более решительным.

Значит, не о чем говорить. Значит, переболеет, смирись.

Тебя обидели? А ты обидел Марусю и Леню. Ты не хотел? Но разве сговаривались заранее Иветта и Гелий?..

Меркли звезды, слабел законный свет, будто синь наконец просочилась в дом, разбавила глухую темноту и посерела. Петух прохрипел за толстыми саманными стенами курятника, как из потусторонней жизни. Пожаловался кому-то сонным бляением ягненок. Плоской тенью пересекла белый двор овчарка, где-то у колодца долго и звучно хлебала воду. Низко пролетела седая степная сова, круто упав к каменной ограде: закогтила мышшь. Синью, будто небесная синь упала на степь, проступил ближний увал, за ним вскоре обозначился второй, третий... Степь, тесная, невидимая ночью, выстилала светящее пространство во все четыре стороны.

По ней шли четыре человека. Лишь в полдень они спрячутся в сырые буераки, чтобы перемочь зной. И только один из них, пожалуй, будет идти.

Авенир встал, зачерпнул ковшом воды, пил и не мог проглотить горький комок в горле; и вода была жесткой, горькой, что не удивило его: все напиталось горечью.

Он выбрался на крыльцо, сел. Седьмой Гурт оживал, насупленный, невообразимо маленький. Жалость к нему, вина перед ним всколыхнули Авенира, пробудили от тягучих раздумий, и он заплакал. Глазами, раскрытыми светло и необъятно, он видел: словно бы в застекленном отдалении гнал на выпас отару старейшина; темноликая старуха Верунья доила коз, выпускала к запруде птицу, а затем подошла и оставила на ступеньке крыльца, рядом с ним, кружку молока, белую, из нового жита лепешку.

На далеком, сиреневом от жгучего марева увале возник белый дымок пыли, напомнивший медлительный взрыв, и начал вытягиваться кучерявой полоской к другому увалу; исчез в буреке, снова появился, уже ближе, гуще завихряясь, с черным пятном впереди, похожий на пролеглившего через всю степь змея, и стало понятно: к Седьмому Гурту идет автомашина.

Она еще несколько раз ныряла в низины и балки, а потом как-то мгновенно вымахнула к воротам каменной ограды, зычно скрипнула тормозами, харкнула бензиновой гарью и замерла; это был новенький, с брезентовым верхом «газик». Дверцы откинулись разом, в правую сторону вывалился толстый упругий степной человек в милицейской форме, в левую — худой белобрысый парень, затянутый в синюю потертую спецовку. Собаки взъярились, защищая ворота. Милиционер-сержант принялся спокойно вытирать большим платком лицо, бережно расправляя черные вислые усы; белобрысый шофер небрежно подбоченился, от скуки посвистел собакам, а когда увидел седого, неспешно приближающегося старика, крикнул:

— Батя, убери своих людоедов!

Авенир помог старейшине усмирить и привязать охрипших собак, и гости, «машинные» люди, вошли в Седьмой Гурт.

— Аман. Здравствуй. Так, что ли? — сказал сержант, зорко оглядывая жителей поселка или аула, строго улыбаясь кончиками пухлых губ, пожимая руку сначала старику. — Ты, агай, хозяин будешь? Слышал, слышал! Где-то живет, барашков падет, колхоз понемножку организует. Давно хотел посмотреть, время не был. — Он глянул на трепещущую матовым серебром листву осоко-рей, немо пылающую гладь запруды, невероятно свежую вокруг нее зелень, прищелкнул языком, покачал головой. — Ай, какой хороший место живешь! Сам выбрал? Кто показал? — Но ответа Матвея Гуртова слушать не стал, повернулся к Авениру, нахмурился, заложил руки за спину, спросил: — Ты, который заблудился? Где два другие?

Авенир начал объяснять, однако сержант уже стоял боком к нему, ожидая, что скажет агай — хозяин; долго кивал, поддакивал и все-таки не мог уразуметь, как это двое, а потом еще двое могли уйти пешком («Ум челове-

ческий лишились, что ли?»). Пришлось шоферу помочь своему начальнику:

— Ушли, товарищ Курбанбай. А этот, — он указал на Авенира, — ногу вывихнул, говорит. Да вы не волнуйтесь, все молодые, старик городским дорогу показал.

— Больной? — сержант, вскинув тяжелую голову, наконец разглядел хмуроватого, почерневшего в степи парня-верзилу.

— Уже ничего. Собирался идти.

— Ходят, понимаешь. Чего ходят? Степ — дом отдыха, что ли? Курорт, что ли? Люди работают, барашков пасут, понимаешь. Зачем мешать надо? Сиди в квартире, магазин ходи. Степ какой? Суровый степ. Вы погибай — мы отвечаем. Правильно говорю, агай?

Старейшина потупился, развел руки: мол, что тут толковать, и так все ясно, случившегося не переиначишь.

— Барашка резал, кормил. Сколько барашка резал? Деньга платили?

— Не обижаемся, — ответил невесело старик.

— Ай, убытка терпел. Пиши заявление... — Сержант вновь обозрел осокори, запруды и, посерьезнев вдруг, выкрикнул: — Васка!

— Я здесь, товарищ Курбанбай, — четко отозвался заскучавший шофер.

— Ай, Васка, плохо свой дело знаешь. Смотри, что там видим?

— Озеро видим.

— Что делать будем?

— Слушаюсь! — Шофер виновато побежал к машине, вынул две удочки, дорогой спиннинг с безынерционной катушкой, банку, сачок, быстро зашагал вниз, приговаривая: — Сейчас мы продегустируем этот красивый водоемчик, чудо природы.

Матвей Гуртов пригласил милиционера под навес летней кухни выпить чаю, закусить.

— Чай хорошо. Можно чай.

Авенир вынес для начальника стул. Сержант повесил на спинку китель, на край стола аккуратно положил фуражку, остался в майке-сетке, защитных брюках и сапогах, удивительно бледнотелый, загаром были подчеркнуты лишь кисти рук, словно упрятанные в перчатки: степной человек, вероятно, не нуждался в специальном загаре.

Верунья молча обслуживала, и это явно нравилось сержанту, он одобрительно вздыхал, кивал: совсем как

женщина из аула! У нее уже кипел самовар, парилась заварка в фарфоровом чайнике, в молочнике — козье молоко, на блюде — лепешки. Сержант пил долго, прикусывая сахар, потел, утирался полотенцем; наконец, опорожнив на треть ведерный самовар, отвалился, остатками густой заварки смочил усы, сказал нарочито без улыбки:

— Хороший рост дает.

Старейшина поставил на стол большую миску горячей жирной баранины, к самой руке гостя пододвинул четвертинку водки, вынутую из погреба по особому случаю, матово запотевшую: мол, лично для вас, сами не употребляем. Так оно и было: Авенир не слышал даже, чтобы Матвей или Леня-пастух говорили о спиртном. Верунья принесла прямо с огорода лука, огурцов, помидоров. Гость не удивился щедрому угощению — так заведено древним степным законом, — одобрительно покивал, повздыхал, наполнил рюмку, обратился с речью к старейшине:

— Какой место живешь, агай! Почему один живешь? Будем докладывать райисполком. Вода — дефицит. Тут много вода. Постройка пустующий. Будем отару ставить, две отары. Весело будешь жить, агай.

— Выпаса малые, песок кругом, — отозвался устало Матвей Гуртов.

— Увеличить будем. Тебя культурный делать будем. Потеряли, понимаешь, человека. Какой хороший работник потеряли!

— Мы числимся, хотя пенсионные. Мясо, шерсть, кожи, кое-чего по мелочам сдаем.

— Я умею глядеть: высокий производительность. Бригадир будешь. — Сержант ел, багровел, лоснился, сиял радушием, рассуждал о новой жизни в Седьмом Гурте: — Радио, понимаешь, кино, телевизор, лампочка электрический, автомобиль купишь, курорт поедешь... Такой работник ценить умеем!

Прибежал от запруды белобрысый, жилистый, потрясенно-взъерошенный шофер, бросил на стол перед начальником двух щук-травянок, десяток тяжелых, поскрипывающих жабрами карасей — запахло прохладой, свежей травой, — минуту стоял в онемении, давая всем удивиться богатому улову, затем выкрикнул:

— Товарищ Курбанбай! Это же... — махнул рукой в сторону запруды, — это мешок с рыбой! Не успеешь забросить — хватает. Ну рыбалочка, ну водоемчик!

— Зачем кричишь, Васка? Ай, невоспитанный. Хорошо ловил — молчи. Лучше поймаешь. — Сержант предовольно рассмеялся, показывая белые плотные зубы, трогая мягкими, пухлыми пальцами щук, карасей. — Как, Васка... — он сощурился хитровато на подчиненного, — будем охота, рыбалка приезжать?

— Лучшего места художник не нарисует! — подтвердил шофер, добирая из миски мясо, хрустя луком, огурцами.

— Будем палатка ставить, тихо отдыхать природе?

— Ну!

— Зачем много учился, десять класс кончал, Васка? Где твой сознательность? Интерес коллектива забыл. Докладывать надо, отару ставить надо. Рыбалка — дело частный. — Курбанбай встал, надел китель, прочно утвердил на голове фуражку. — Рыбалка, охота тоже хорошо, будем приезжать. — Он пожал руку старейшине, скользнул скептическим взглядом по московскому пришельцу, сказал: — Обратю машине поедешь. Мы тут, понимаешь, даром хлеб не кушаем: спасаем, порядком следим. Иди машину. — И пошел за ворота.

Шофер Василий подхватил рыбу, дожевывая смоченную в бараньем жире лепешку, заторопился следом; вспомнил, что не простился, крикнул:

— Адье, уважаемые! Скоро увидимся!

Авенир вошел в дом Лени-пастуха, собрал свой рюкзак, оставил на столе записку со своим адресом и единственным словом «спасибо!» — по наитию, для облегчения души, — а когда вышел, Верунья вручила ему плетенную из ивняка корзину с едой на дорогу. Она поклонилась, Матвей Гуртов подал закостенелую ладонь. Держа его руку двумя своими, Авенир собрался сказать заранее приготовленные слова, простые и сердечные, на благодарную память, но, как это и случается в такие преисполненные чувствами минуты, все позабыл, все стало мелким, ненужным, и он выговорил самое важное, дарящее какую-то надежду двум старым людям:

— Увижу их — уговорю. Они вернуться. Придут.

Верунья ниже склонила темное лицо, старейшина медленно покачал ковыльно-белой головой.

— Я приеду к вам. Напишу.

Они промолчали: мол, как хочешь, приглашать некуда, запретить не можем, дорога открыта. И в это время распластал тишину Седьмого Гурта сигнал автомобиля.

Сигнал — призыв, команда; Авенир Авдеев готовно повиновался, влез под горячий брезент тента, едва не задохнулся в резиново-синтетической духоте, высунул голову, замахал рукой невидимым, оставшимся за воротами Матвею и Верунье. Шофер просигналил еще зачем-то, очевидно выражая свой полный восторг от посещения рыбного места, и рванул машину с ветерком, шипением песка под шинами, ревом мотора.

Вознеслись на первый увал. Седьмой Гурт открылся просторным двором, четырьмя белыми домами, голубой запрудой, осоками, пшеничным полусжатым полем, отарой на ближнем выпасе. Все чисто, четко и акварельно нереально. Придуманно. Воспаленно воображено.

Посередине двора виделись две фигурки — темная и серая.

Затем картина занавесилась буро-желтой степью, и уже казалось, никогда не возникнет вновь, но вдруг всплыла сбоку, в невероятной глубине так же чисто, зеленой жизнью среди мертвой пустыни.

И виделись, упрямо виделись две четкие фигурки — Ее и Его.



**В ПОИСКАХ
СИНЕКУРЫ**

Повесть

ПЕРСИКИ

Персики были румяные, с медово-восковой желтизной, налитые нежной тяжестью, и Арсентий Клок, выбрав самый крупный, мохнатенький, впился в него зубами; обильный сок залил ему рот, он зажмурился и охнул от невыразимого удовольствия. Шершавую кислую косточку он старательно обсосал, затем метко выплюнул в набитую всяческим мусором бетонную урну-цветок. Тряхнув бумажный кулек, он вынул еще один, такой же теплый, как бомбочка, персик, понес к губам, намереваясь сперва поцеловать южный солнечный плод... и услышал вдруг резковатый женский голос, явно окликавший его:

— Парень!

Он полуобернулся. У прилавка с ворохом сияющего винограда «чауш» стояла молодая женщина; опуская пакет в туго нагруженную матерчатую сумку, она со смешливым любопытством исподлобья поглядывала на него.

— Ты бы хоть помыл свои фрукты, — договорила женщина и кивком указала в конец огромного, гудящего движением и голосами рыночного помещения, где, должно быть, находились туалетные комнаты.

— Благодарю, — ответил Арсентий Клок, ловко обгладывая персик. — Но мытый фрукт, извините, запах теряет.

— Где так наголодался? С Севера, что ли?

— Угадали... угадала, — поправил себя Арсентий, аккуратно выложил косточку на ладонь и бережно опустил в урну. — Простите за «ты»... Вы не старше меня... то есть совсем молодая.

— Как сказать! Если тебя побрить, в галстучек надеть... Проездом, значит? В южные края длинные рубли проживать?

Клок утер губы клетчатым платком, недавно купленным в аэропортовском киоске, и, нарочито медленно складывая его квадратиком, упрямо разглядывал настырную незнакомку, желая смутить ее своей многоопытной бывалостью: мол, дамочка симпатичная, откуда у тебя

этакая невоспитанность — приставать к первому встречному-поперечному? Или у вас в столице так полагается: чужака видите издалека и церемониться с ним нечего, он как бы вполцены среди большой вашей цивилизации? Зато я видел разные земли, горы и степи, север, юг и всякое такое, отчего у тебя глазки подкрашенные, веселенькие очень даже загрузили бы. И на тебя похожих перевидал немало, будь уверена. Что ответишь на это Арсентию Клоку, неустанному страннику, может, хоть улыбочку сотрешь со своего напмаженного личика?.. Но женщина не собиралась смущаться или печалиться, напротив, едва удерживая стиснутыми губами смех, она чуть отшагнула, чтобы лучше видеть его, сурово насто-роженного и, наверное, потешно ершистого, в куцей по-ношенной курточке, узеньких мятых брюках, с бородой под моложавого батюшку. Клок прямо, нагловато ска-зал:

— Не угадала. Хочу поселиться в Москве. Кстати, не подсказешь, где можно снять комнату?

— Так у тебя здесь никого?

— И вообще на всей планете — одна матушка и та в городе Улан-Удэ.

— Кто же тебя поселит, пропишет?

— Не знаю. Не задумывался. Мне надо пожить в столице... ну, для завершения образования как бы. Найду работу. Кто-нибудь пустит квартировать. Надо, понимаешь? А если очень надо — все уладится.

— Ой, потешный! С такими планами — и сразу пер-сики кушать!

— Мечта была. Я три года оттаймырил безвыездно. На Таймыре трудился.

— Так уже вечер почти. Куда же ты со своим чемо-данишком?

— На вокзал пока. Подскажи, как проехать до само-го большого, Казанского, кажется?

Женщина, уже было озаботившаяся неустроенностью новоявленного столичного жителя, опять усмехнулась:

— Значит, вокзал, вокзал — моя гостиница, любой на лавочке подвинется?

Арсентий мотнул жестким, свисающим до глаз чубом, легко рассмеялся и, заметив, что женщина шагнула в сторону двери, явно соглашаясь указать ему дорогу на вокзал, быстро подхватил свой обшарпанный, под рыжую кожу, чемодан и попросил у женщины ее сумку.

— Разрешите... Давно не ухаживал за дамами.

— Берите, — слегка помедлив, согласилась она, вставляя ему в ладонь петли сумки. — Какой даме не надоела эта ноша?

Они вышли на бульвар, сутолочный в этот предвечерний час, с непрерывными потоками людей и машин. Женщина шагала легко, как бы находя среди толпы лишь ей видимую свободную тропу, а Клока толкали, на него наскакивали, и один злой старичок сказал ему: «Прется, как бульдозер!» Женщина взяла его под руку, повела, и тротуар будто расширился, стал просторнее. Она объяснила ему, что в больших городах «по прямой» не ходят — лавируют, ускоряют и замедляют шаг, рассчитывают свое движение (подсознательно, конечно). Один «прямолинейный» может нарушить поток целой улицы. Это кажется только — толпа толкается; мечутся впервые попавшие в нее.

— Вот видишь, мы уже «вписались».

— Научусь, пойму, — согласился, обильно потея, Клок. — Улан-Удэ тоже город. Поменьше, правда, и давно я там не был.

— А в метро ты ездил?

— Где? — Он мотнул головой себе за спину, как бы указывая на всю свою прожитую жизнь. — Там еще не построили.

— Ой, тогда пойдем к троллейбусу!

— Может, такси? В Домодедово говорю: вези меня к персикам — чуть под стеклянную крышу рынка не въехали.

— Вот у остановки и половишь. Они таких угадывают, в любой «пик» берут.

Около павильончика из стекла и железа с таблицей движения троллейбусов томилась длинная очередь. Женщина пристроила Клока в конец ее, затем объяснила, на какой номер ему садиться, взяла свою сумку, пожелала удачного устройства в столице и почти приказала сбрить или хотя бы укоротить бороду, ибо с такой растительностью его будут пугаться московские старушки, которые иногда сдают одиноким и смирным пустующие комнаты.

Клок посмотрел женщине вслед: уходила она быстро, одета была просто — темноватое демисезонное пальто, меховая шапочка, коричневые туфли, — ничем не выделялась в толпе и скоро исчезла среди людской толчеи. На мгновение у него затосковало сердце: странная, сама окликнула, посмеялась над ним, посочувствовала, надавала советов, вроде бы все поняла — и ушла. Что-то в

ней такое есть... ну, привычно общительное, не дамочка она вовсе «шибко интеллигентная», знала жизнь поскуднее, попроще... Очередь, однако, подвигалась, Клок оказался уже где-то посередине длинного ряда удивительно дисциплинированных москвичей, и иные заботы начали одолевать его. Он поднимал чемодан, делал несколько шагов, вновь ставил; троллейбусы подходили набитые по самые двери, влезть удавалось пяти — десяти человекам. А широченная улица грохотала автомобилями, дурманила бензинными газами, слепила лаком кузовов.

Он совсем забыл о женщине, когда услышал как бы из дальней дали, из прошлого ее голос:

— Вы еще стоите?

Она была без сумки, пальто сменила на кожаную длинную куртку, и шапочка вроде другая, и вместо туфель — сапожки.

— Стою, — покорно подтвердил Арсентий Клок, усиленно соображая: та ли это женщина, не бредит ли он от едва одолимой усталости? В двое суток переместись с Таймыра в столицу, да одолей по пути несколько аэропортов, да поспи под рев авиамоторов — любая канитель привидится.

— Пойдемте, — твердо сказала женщина.

Он пошел рядом с нею, на свободном тротуаре она остановила его, попросила опустить чемодан и, глядя ему в глаза чуть расширенными, вовсе не смешливыми, своими влажными и синеватыми глазами, заговорила быстро, слегка заикаясь:

— Я тут недалеко живу... Пришла, чай пью и не могу успокоиться... У меня же комната пустая... А вы стоите, или на вокзале... Дико, ненормально... Оделась, прибежала... На вокзал бы поехала... Сама не знаю — аж сердце закололо... Вы согласны? Комната у меня отдельная, в ней мама жила...

— Говорите «ты», — попросил он, еще ничему не веря. — Почему «вы»? Может, это вовсе и не вы?

— Я, я. Только мне очень нехорошо стало. Ты не телепат?

— Нет, нормальный.

— Тогда бери чемодан.

По подземному переходу они перешли на другую сторону широкой, яростно грохочущей улицы, которую женщина назвала Садовым кольцом, узкими переулками углубились в старинный квартал с каменно прочными, архитектурно вычурными (так показалось Клоку) почерне-

лыми домами. И вошли в один такой же, закопченный, но старчески гордый своей осанкой — готическим орнаментом стен, строгой сощуренностью стрельчатых окон, заостренной крышей, напоминавшей некий старинный шелом. Лестница была мраморная, широкая, с истертыми ступенями, дверь — дубовая, на две створки, словно малые крепостные ворота.

В прихожей женщина включила свет, разделась молча, то же сделал послушно Клок — снял свою всесезонную куртку, хотел сунуть под вешалку чемодан, но хозяйка придержала его.

— Неси сразу сюда. — И открыла крайнюю в пустом просторном коридоре дверь. — Осваивайся. Можешь душ принять. По коридору налево... Потом накормлю чем-нибудь.

Клок оглядел комнату, не решаясь куда-либо приступить: все было начищено, расставлено по разумно определенным местам — книжный шкаф, письменный стол, зеркало с туалетным столиком, застеленная зеленым пледом кровать, — все вроде бы намеренно малого размера, и лишь черный массивный рояль налево от входа занимал почти треть комнаты, был главной вещью в ней, и Клоку подумалось, что в деревенских домах столько места и почета обычно отводится русской матушке-печке.

«Ой ля-ля! — сказал он себе, присаживаясь на краешек стула. — Как же ты, Клок, очутился здесь... рядом с роялем... такой сам неэлегантный?.. И что теперь будешь делать — раскладывать таймырский затрапез по стульям и прочей полированной мебели или слезно отпросишься на общественный Казанский вокзал?»

Вошла тихонько хозяйка, села напротив него, усмехнулась, приглядываясь.

— Ага, бывалый сибиряк загрустил. Не ожидал такого гостеприимства от родной столицы. Но ведь если очень надо — должно все уладиться. Так, кажется, ты выразился?.. Ладно, иди умывайся, и будем персики есть.

— Персики?

— Да. Твои. В сумке моей оказались.

— А-а... сунул. Некуда было деть.

— Из-за них вот еще... Подумала: может, на последние купил?

— Что ты! Я даже богатый!

— Я тоже не на пенсии... Ты вот лучше предложи познакомиться.

— И верно! Вот абориген! — Клок вскочил, протя-

нул руку, назвал себя и, услышав, что женщину зовут Люся, а фамилия у нее Колотаева, не удержался прямо-таки от мальчишеского восторга, ибо с задушевным другом Васькой Колотаевым они одно время добывали золотишко в Якутии. Люсе пришлось долго уверять его, что к тому Колотаеву ни она, ни ее родственники не имеют и малого отношения, но Клок все удивлялся непостижимому совпадению, говорил: «Надо же! Такое редко бывает! Такое вообще не бывает!..» — пока Люся не остановила его, резковато окликнув:

— Арсентий!

Он примолк чуть растерянно, мигом вспомнив, где и с кем говорит.

— У тебя документы хоть в порядке?

Клок молча вынул из бумажника паспорт, трудовую книжку и положил перед Люсей Колотаевой на краешек роля.

КВАРТИРА

Когда Арсентий Клок летел в Москву, он живо, даже с подробностями, представлял себе, как без передышки примется изучать, постигать столицу: во-первых, посетит Красную площадь и другие исторические места, затем Третьяковскую галерею и прочие музеи, осмотрит главные улицы, основные проспекты (лучше на такси) и, конечно, побывает в Большом театре... Кто же, навещавший Москву, не восторгался этими достопримечательностями?..

Но прошло уже несколько дней его столичного жительства, а Клок дальше гастронома на Садово-Самотечной никуда не ходил, не ездил. Набирал в большую оранжевую сумку хозяйки квартиры продуктов, таких разнообразных, красиво упакованных, очень дешевых здесь (по его прикидке), возвращался и готовил «вечерний обед», как сам наименовал его, потому что Люся уходила на работу к девяти утра и являлась домой после шести вечера. Готовить Клок умел — за годы своих странствий по Сибири, Средней Азии, иным местам он перепробовал немало экзотических кушаний, случалось и самому бывать в поварах — и всякий раз старался удивить Люсю чем-нибудь необычным: рыбой «по-камчатски», запеченной в капустных листьях (за неимением листьев лопуха), картофельными варениками с зеленым

луком, сначала отваренными, потом поджаренными, узбекским пилавом, казахским бешбармаком из баранины в жирной наперченной шурпе... Запахи, ароматы просачивались на лестничную площадку.

Соседки стали наведываться вроде бы к хозяйке по каким-либо придуманным делам. Клок общительно приветствовал их и отвечал, что его двоюродная сестрица на работе. Бородатого верзилу-брatца женщины разглядывали с превеликим интересом, понятным сомнением, но способы приготовления восточных кушаний записывали старательно, и вскоре необычные запахи, ароматы завладели едва ли не всем громоздким, старчески дремотным домом.

Арсентий же Клок, приготовив «вечерний обед» и неразборчиво перекусив чем-нибудь, начинал активно жить в пустой, тихой, какой-то умудренно-задумчивой квартире. Все тут было прочно, основательно, надолго: стены крепостной толщины, потолки с тяжеловатой лепкой, кафель в ванной медово-желт и окостенело вечен, паркет темен, отлакирован натираниями до сумеречного мерцания; кухонный буфет из мореного дуба, вздымая к потолку витражные, искусно точенные ярусы, был вполне обособленным архитектурным сооружением, в котором (так и чудилось!) обитали маленькие, одетые по-старинному чопорно и красочно людишки; они лишь днем прикидывались вазами, рюмками, бокалами... По квартире ходил Клок неслышно, точно опасаясь кого-то разбудить, ему казалось иной раз: выглянет он в коридор, и его спросят: «А вы зачем здесь?» Он подшучивал над собой: «Почти как таежник живу — без шороха и звука».

Он медленно открывал дверь комнаты Люси Колотаевой, осторожно включал магнитофон, садился в мягкое глубокое кресло и слушал все, что извлекал из пленки дорогой импортный аппарат: рок-, поп- и диско-музыку, ансамбли, квартеты, секстеты, песни Высоцкого, Окуджавы, Новеллы Матвеевой и других, ему неизвестных певцов и певичек... Везде, всегда ему не хватало музыки. И часто тревожил его один и тот же сон: сверкающий концертный зал, чистая вечерняя публика, манекенно строгие музыканты, и он, Арсентий Клок, в изящном темном костюме, белой сорочке и галстукe, с платочком в кармашке пиджака, занимает свое кресло, готовится слушать, обмирая сердцем, неведомую, неземной силы музыку... и просыпается. Всегда на этом месте, с неутоленной тоской... Сидел он у магнитофона и час и полтора.

Сидел, ждал, пока жалобную тоску в груди вытеснят звуки мелодий, ритмов, голосов и станет легко, возвышенно, все понятно, доступно ему, более совершенному Арсентию Клоку.

Осматривать комнату Люси он стеснялся: ведь она была уверена, что он без нее не входит сюда (он, такой застенчивый!), и, торопясь на работу, разбрасывала свои женские вещички куда придется. Да и «уголок» ее, как Люся называла свою комнату, в отличие от старомодного, несколько музейного «уголка» ее матери, был подчеркнуто, даже стандартно современным (Клок видел такие комнаты и в Якутске, и в Иркутске, и в родном Улан-Удэ). Но одно привлекало, всегда притягивало его взор — богатый набор камней, образцов, кернов... Геолог Люся Колотаева, точнее, геохимик, навезла все это из своих экспедиций. Уж так случилось: мама была пианисткой, учительницей музыки, а дочь стала путешественницей. Не оттого ли что и отец, и дед с бабкой, старые московские интеллигенты, не знали, пугались иной, восточной жизни?

Узнав в первый раз о профессии Люси, он бурно обрадовался — как при знакомстве, когда услышал, что она однофамилица его лучшего друга, — хлопнул Люсю ладонью по плечу, выкрикнул: «Ясно, почему ты меня на рынке заметила — за работяжку геологического приняла!» Люся сказала, чуть скривив губы от боли:

— Клок, будешь махать своими рычагами, я тебе тоже врежу — по скуле, чтоб мозги тебе вправить! — Она засмеялась, а он притих, смутился до погорячения ушей, обещая научиться вести себя культурно. — Нет, нет, — попросила Люся, — ты не очень меняйся, культурных и без тебя много, просто помни — я не друг твой Васька Колотаев, хоть тоже Колотаева.

Камни-минералы лежали по всему подоконнику, в решетчатых ящичках на письменном столе и под столом — колотые, пиленые, шлифованные, многие с наклейками-надписями; были сердолики, агаты, яшмы — эти Люся называла полудрагоценными. Клок брал в ладонь розоватый сердолик или дымчатый агат, разглядывал, поглаживал пальцами и думал: сколько он видел таких камней на речных и морских берегах! Никто их не подбирал, даже не заговаривал о них. По незнанию, конечно. Да и вид у них, необточенных, бледнее других цветных камушков...

Он ловил рыбу, валил лес, мыл золото, в Туркмении

копал оросительные каналы, последние три года, для передышки, отсидел на Таймырской метеостанции радиостом-наблюдателем, но геологических партий сторонился: был уверен, что идут туда натирать плечи лямками рюкзаков юные романтики да застарелые неудачники: вроде бы труд, трудности, риск, а все — вполсилы, не очень серьезно. В подсобники-послушники он считал себя совершенно непригодным.

Побывав в Люсиной комнате, Клок некоторое время вышагивал по коридору, сцепив руки за спиной, от тумбочки с телефоном у входной двери до двери ванной, просто так, слушая глуховатый, старинный шорох паркета и заполняя собой сумеречное пространство; думалось при этом нечто неясное, скорее ощущалось: вот, мол, хожу по коридору, квартире старого дома в глухом переулке — сюда даже грохот города едва пробивается, — и ничего, не трушу. А сколько людей топтали эти полы, дышали воздухом этих комнат? Страшно подуматы! Было и вовсе неясное что-то, вроде упрямого желания приучить к себе стены, мебель, большие и малые предметы квартиры, заявить кому-то невидимому, но неусыпно наблюдающему за ним: «Меня пригласила Люся... да... она хозяйка... и я буду жить здесь, сколько она захочет...»

Звонил телефон, Арсентий вздрагивал, потом бежал к тумбочке, хватал трубку.

— Клок? — тихо, почти таинственно окликала Люся. — Как ты там?

— Нормально...

— Что приготовил?

— Секрет.

— Ой, есть хочу! В столовку не пошла... бутерброд жую.

— Скорей приезжай.

— Сразу после работы!

Люся трудилась в управлении, уже третий сезон не выезжая на полевые работы, временно освобожденная: сильно простудилась в Кызылкумах, искупавшись в родниковой речке, вернулась с радикулитом и теперь «совершала экспедиции (по ее словам) на Кавказские Минеральные Воды». Тупела, нудилась от канцелярской суеты, кому-то старшему «подрабатывая» диссертацию. И тут Клок — из тундры, лесов, гор... «Тебя же ведь послали ко мне, — смеясь, говорила Люся, — правда?» — «Кто?» — не понимал он. «Ну, они...» Клок беспомощно разглядывал свою хозяйку, выжидал. «Они, леса и горы,

да»? — почти шепотом спрашивала она, и он молча кивал, уже всерьез веря, смущенный ее верой, что послан к ней всем громадным сибирским пространством, жаждущим избавления от глухоты, дикости. Люся восторженно радовалась его молчаливому, суеверному пониманию, приглашала на кухню, вынимала из серванта два фужера (которые днем были конечно же хрустальными фужерами), наполняла их вином и, дзинькнув стеклом о стекло, просила выпить за то, чтобы будущим летом она непременно побывала «в поле».

В «свою» комнату Клок приходил, когда ранний сентябрьский закат, невидимый в низком небе огромного города, вдруг зажигал тревожно бесчисленные окна соседних домов; квартира делалась розовато-нежной, согревалась иным, небесным светом, и чудилось... оживали в ней старинные ароматы, запахи духов, одеяний всех женщин, некогда обитавших здесь. Он садился к роялю, осторожно, с робостью трогал пожелтевшую кость клавишей. Думая о своей одинокой женщине-матери, так упрямо желавшей, чтобы он научился играть «хотя бы для себя», он замедленно, одолевая тяжесть, немоту пальцев, принуждал старинный инструмент звучать мелодией полонеза Огиньского. Именно звучать. Назвать исполнением свою игру он не смог бы даже под дулом пистолета: учился музыке кое-как, а в долгих странствиях лишь изредка видел на сценах сельских клубов сиротские, «для культуры» поставленные пианино.

Полонез — матери. Всем другим женщинам, оставленным сыновьями. Это плач по несбывшимся надеждам, мольба о прощении; матери учат сыновей быть удачливыми, счастливыми, а бывают ли сами счастливы? Он же и вовсе обездолил родную мать своим бродяжничеством...

Но есть еще более горькая недоля у женщины, горше, чем потерять сына. Не стать матерью.

И для них этот полонез.

Люся Колотаева заплакала, угадав его думу, когда он, по внезапному наитию, наиграл ей полонез. Тут же рассказала ему: она прожила замужем шесть лет, и муж ушел от нее, вернее, разошлись мирно-согласно, потому что не было у них детей. И виновата она, Люся: в новой семье бывшего ее мужа растет ребенок. Так и сказала: «Пустоцветная я». Не поверил он тогда, не верит сейчас, что эта тридцатилетняя, почти по-мужски сильная, безупынная, со всегдашним юным загаром женщина не может, не способна... (как он выразился для себя) «поро-

дить жизнь, будучи такой живой». Но много ли он знал о семье, семейных сложностях, если обходился временными знакомствами, «сезонными женами», опасаясь закабаления — женитьбы?.. Он едва не заплакал вместе с Люсей, никак не утешив ее, и при ней стал побаиваться подходить к роялю. А она просила. И всегда — полонез Огиньского, Люся, конечно, играла, и не хуже его, но почему-то говорила, что, сама играя, плохо слышит себя. Он то соглашался, то отказывался, стыдясь своего варварского исполнения, и начал тренировать руки, настраивать слух в одиночестве.

Случалось, звонила и вваливалась в квартиру соседка Валентина, молодая домохозяйка, курносенькая, толстенная, любопытная, из деревенских недавних москвичек, садилась, слушала, больше, однако, разглядывала «чуждого квартиранта». При ней он играл смело, грубовато, и Валентина искренне восторгалась:

— Какой вы интересный, Арсентий Степанович! И на рояле можете, и на кухне... Где научились?

— Родился таким.

— Надо ж! А мы своего Генку заставляем — не может. Отец лбом, лбом его в пианино — ревет, а кроме как «чижик-пыжик», ничего не выучил.

— Лбом не надо. Может, у него математические извилины.

— И я говорю: он лошадей любит, и задачки хорошо решает.

Клок смеялся, охотно смеялась и Валентина, не зная точно чему, за компанию. Потом подхватывалась, делала нарочито испуганные глаза и неспешно удалялась, наговаривая, что скоро явится с работы Петр и «заревнует ее насмерть», если застанет с Арсентием Степановичем, хоть он сосед и братец их хорошей знакомой, а все равно холостой мужчина...

И наступал час «пик». Там, в неведомом городе. Шум-гуд усиливался, плотнел, словно бы напрягал стены дома, они вздрагивали, изредка еле заметно покачивалась люстра — под старым кварталом, говорила Люся, проходит линия метро, — слышались голоса со двора, шаги по лестницам, звякала железом дверь лифта. Но тишина не покидала квартиры, лишь делалась иной, более чуткой, как бы настроенной в резонанс звучанию города — таким огромным всеслышащим ухом.

Он садился в кресло лицом к окну, за которым с третьего этажа длинно проглядывалось каменное ущелье

переулка, густо-синего вдали, смутно пестреющего движением, сидел, переносясь воображением в суету, громахание улиц, затем говорил себе: «Вот сейчас она вышла из управления, идет к метро (десять минут)... теперь едет (подождем двадцать минут)... вышла на «Маяковской», идет к троллейбусу, здесь очередь, стоит (минут десять — пятнадцать)... едет, снова идет (еще десять минут)... подходит к дому, вот вошла в подъезд, лифт не стала ждать («Ходить, ходить люблю!»), бежит по лестнице, стучат ее шаги... сейчас позвонит. Нет, не она... Но сейчас, сейчас! Где-то простояла лишних пять минут... Вот».

И — звонок.

МЕТРО

Он вошел в кухню, сказал «доброе утро», присел к белому столику, на котором уже были разложены приборы для завтрака.

— А, Клок! — словно удивленная его появлением, воскликнула Люся. — Тебе яичницы с колбасой хватит?.. Ну, еще кофе... Проспала, ничего не успела.

— Вполне.

— Ты всегда такой — довольный и спокойный?

— На четвертом десятке стал успокаиваться.

— Интересно. А скажи, Клок, ты вправду пишешь роман?

— Не совсем. У меня герой не романый — живет, ездит, смотрит, а потом пишет.

— Как ты?

— Да.

— А про кого пишет твой герой?

— Про такого же: живет, ездит, пишет...

— О, книга в книге?

— Как матрешка в матрешке.

— И давно ты придумал эту книгу жизнью?

— Сперва ходить начал. Натура — в отца, деда, прадеда. Все — казаки. Прадед пришел в Забайкалье, дед погиб в гражданскую, отец был на Отечественной, потом охотничал в тайге, пропал без вести. Все шли куда-то, искали чего-то... И я пошел. Всего два курса отучился в медицинском... Мама педиатр, хотела и сыну спокойной профессии, боялась, теперь понимаю, казацкой крови во мне. Не удержала.

— Удержишь этакое дитя! — Люся с улыбкой и чуть иронично оглядела рослую, угловато-кряжистую фигуру квартиранта.

Было субботнее утро, и они завтракали неспешно. По утрам готовила еду Люся, чтобы ей, как она говорила, иметь моральное право кушать «вечерние обеды» Клока. Они шутили обычно, вели себя вроде бы свободно, и все же смущались, стесняя друг друга в просторной квартире: Люся не выходила из своей комнаты в халате, Арсентий не смел показываться ей в майке или расстегнутой рубашке. И курить поначалу он не знал где, и в туалет не мог зайти, если Люся была на кухне... Кое о чем она догадывалась, помогала ему: разрешила курить в комнате, не бегала без толку по коридору, не торчала без дела на кухне (где перестала развешивать свое белье). Но не носить же все в прачечную! Это сердило ее, она не чувствовала себя прежней вольной хозяйкой квартиры и решила сейчас прямо заговорить об этом:

— Клок, почему ты смущаешь меня?

— Потому что — дикий. Сам тушуюсь.

— Слишком разные по образу и характерам?

— Пожалуй.

— Твой герой про это напишет?

Клок кивнул.

— Ну, попалась! У меня в голове даже мутится: ты, герой, у героя еще герой... Давай договоримся — пусть будет пока один, собирательный, просто — Герой.

— Согласен.

— Зачем же приехал Герой в Москву?

— Я говорил: набраться культуры. А сначала найти синекуру.

— Это же, Клок...

— По словарям — должность, не требующая большого труда... Ему надо привести в порядок свою книгу, уже написанную часть ее. Он заставил меня три года сидеть на Таймырской метеостанции. И недоволен. Говорит: надо из столицы спокойно все прожитое обзреть.

— Какой он у тебя... — начала Люся с искренним желанием отругать капризного Героя, но, опомнившись, засмеялась и спросила: — Так это тебе нужна синекура?

— Для него.

Люся, все еще смеясь, посмотрела в темно-карие, почти черные, по-азиатски угрюмоватые глаза Клока, но они лишь чуть сощурились в подобии грустной улыбки, и ей тоже расхотелось веселиться: ведь он же серьезно

обо всем говорит!.. Станный какой-то, наивный, простой и непонятный. Оттого интересный, наверное. Она решила не говорить ему пока о прописке, без которой не найти работы, о неловком своем положении — держать случайного молодого квартиранта... Но месяц-полтора он может погостить в столице (документы-то у него нормальные) за это время все уяснится, как-нибудь уладится, скорее всего придется его Герою возвращаться в Улан-Удэ. А теперь надо помочь им обоим «набраться культуры», раз уж это так необходимо.

— Клок, а почему твой Герой не наби... не смотрит Москву?

— Струсил, боится...

— Понятно. Со мной-то пойдет?

— С тобой — да.

— Тогда собирайся, поедем! Мне интересно, как ты все будешь видеть.

Во дворе она спросила, глядя с изумленно-восторженным любопытством на своего квартиранта:

— Начнем, да? А с чего, Клок? Плана ведь не наметили.

— У меня намечено. Сначала метро... По Кольцу... и вокзалы.

— Правильно: окольцуем столицу!

Они шли, затем ехали, Люся говорила, показывала в окна троллейбуса магазины, площади, бульвары... Говорила громко, чтобы он хорошо слышал, а его это стесняло, казалось, толпа оглядывается с удивлением: неужели есть в нашей стране люди, которые не знают главных московских улиц, магазинов?.. И задумано было не так — сам он, вернее, его Герой, должен смотреть, узнавать столицу, одиноко блуждая по ней... Наконец Люся повлекла его из троллейбуса, они протолкались сквозь тесноту у двери, и Клок обрадовался простору площади, мутно-голубенькому небу над малыми и громоздкими домами, а главное — трем зданиям, явно старинным, затейливым по архитектуре и потому неохватным для взора — башни, колонны, ярусы, витражи, — навечно построенным, и вроде бы уже виденным когда-то ранее, и удивляющим новизной, незнакомостью.

— Казанский, — сказала Люся. — Здесь ты хотел занять гостевую скамеечку. — А там... — Она повела рукой по окружности площади, — Ярославский, Ленинградский.

— Знаю, — кивнул Клок.

— Серьезно?

— Да. Догадался бы сам.

— А, понятно: открытки, кино, телефильмы... Кто же не узнает московских вокзалов? Вот не подумала! Значит, Клок, я буду показывать, ты — узнавать?

— Может быть...

— Внутрь войдем? Или вообразишь — то же, что и везде, только пошумнее.

— Войдем. Надо.

Они обошли все три зала, Клок осмотрел кассы, буфеты, газетные киоски, спросил, сколько стоят пирожки, пончики, мороженое различных сортов, заглянул в мужской туалет, долго изучал росписи, лепку на стенах и потолках, поинтересовался электронным табло, маршрутами поездов, стал в очередь у справочного бюро и осведомился, без опоздания ли прибывает поезд из Владивостока (тут же пояснив Люсе, что хотел узнать, насколько вежливее московские железнодорожные девушки всех прочих, на других вокзалах страны), купил своей терпеливой спутнице самое дорогое мороженое, «Ленинградское», и, пока она ела, расспросил небритого мужичка с шумным, занявшим пол-лавки семейством, откуда и куда едет, давно ли гостит в столице... Лишь после всего этого, да еще двух-трехминутного молчаливо-вдумчивого обзора большого зала от входной арки, он пошел рядом с Люсей, решительно взявшей его под руку.

— Ну? — спросила она.

— Грандиозно!

— Похож на ваш улан-удэнский?

— Что ты! Вот только... запах такой же.

Люся остановилась, затрясла руку Клока, неудержимо смеясь.

— Верю — писатель! Они же — как дети. Что почувствовал — то и выразил... Поехали дальше. Видишь большую букву «М»? Метро, правильно. Толкай эту моталку-дверь... да не держи ее, забудь пока свою таймырскую вежливость, тут другая... Вон на стене автоматы, бросай какое есть серебро, бери медяки... не пропускай же без конца всех подряд, не оценят, некогда... Бери пятак в правую руку, суй в автомат турникета, проходи слева, когда красный сигнал сменится на зеленый... Так, молодец. Правда, ты уже вспотел немно-

го, но привыкай, втягивайся в нашу гонку. Чего не сделаешь ради своего жаждущего жить и страдать Героя!

На ленту эскалатора, как и случается с новичками, Клок впрыгнул, забыв все наставления Люси; спускаясь, беспокойно оглядывал крутой туннель, плафоны светильников, встречный людской поток, будто отыскивая знакомые лица; а внизу, как ни придерживала его Люся, по-козлиному прыгнул с эскалатора, едва не сбив двух девиц, сделавших ему нагло-ироничные рожицы. Пришлось еще раз напомнить Клоку правила поведения в Московском метрополитене.

Зато станцию «Комсомольская» он осматривал неспешно, деловито прикидывая, сколько грунта понадобится вынуть, чтобы соорудить под землей такой внушительный зал, с платформами, лестницами, переходами; удивился роскоши — мрамору, бронзе, позолоте, дорогой мозаике. «Дворец, дворец...» — вполголоса повторял для себя, а затем спросил у Люси:

— Как думаешь, пятаками уже оплатили все это?

— Думаю — да.

Они поехали, выходя из поезда на каждой остановке; осмотрели все двенадцать станций кольцевой линии; затем — насквозь по двум радиальным (их Клок мало запомнил) и оказались на станции «Маяковская», которую он узнал без подсказки, сказав, что здесь в войну было бомбоубежище. Эту станцию он обошел, восторженно улыбаясь, не думая о вынутом грунте, роскоши, излишествах, назвал ее «космической, надземной, воздушной», ее не надо рассматривать, она не музей, она сфера, принимающая в свой сияющий камень, металлом и светом объем, и останется в тебе чувством изящной разумности... Клок заметил, что тут нет обычных для других станций тяжелых скамеек, поразился: «В храме не рассиживают!» Обдуваемые ветром гудящих поездов, они стояли в конце зала, у мраморного бюста поэта, и Клок говорил, медленно поводя рукой, как многоопытный экскурсовод, что над сводами зала мнутся купола; колонны — стебли с раскрытыми бутонами; матовая подсветка — ранний, тихий, утренний свет.

Он, конечно, заметил: новые станции метро просты, экономичны и, если можно так выразиться, строго функциональны; это понравилось ему, ибо в суете, спешке, он уверен, мало кто видит произведения искусства.

— А сквозь это, Люся... — он вскинул голову и распахнул руки. — Сквозь это надо просто пройти, протечь.

— Повторяешься, Клок. И все равно интересно. Ожидала от тебя чего-нибудь... но сразу столько... Спасибо. Но ведь, Клок, станций метро в Москве больше ста. Многим москвичам нравится, например, уютная «Кропоткинская».

— Лучше не может быть.

— Так считает твой Герой?

— И я.

— Поедем наверх? Видишь, как эскалатор зовет. Надеюсь, здесь не станешь на него прыгать? Я же... неловко теперь признаться... привезла тебя сюда пообедать. Наверху ресторан «София». И еще «Пекин», если тебе захочется побыть на Востоке.

— Пошли обедать. Я рад, очень рад, и есть хочется! — не понял Люсиного замешательства взволнованный Клок и прибавил: — Ты такая, такая... Можно, я тебе поцелую руку? — И поцеловал, не ожидая ее согласия, уколов стриженными усами запястье между перчаткой и рукавом пальто.

— Как хозяйке квартиры? — засмеялась Люся. — Все равно, Клок, за комнату платить придется.

— Нет, — серьезно и без смущения ответил он. — Как Люсе Колотаевой.

— О, ты, оказывается, опасный, сибиряк!

— Грубый?

— Слишком естественный...

Люся вывела Клока из метро к ресторану «София», малолюдному днем, они заняли столик у высокого витринного окна, открывающего вид на площадь Маяковского, заказали зеленый суп, жаркое из баранины по-болгарски в керамических горшочках, бутылку «Варны», и первые минуты, пока Клок хмуровато озирался, осваиваясь в респектабельном блеске своего первого столичного ресторана, они молчали; лишь когда молодой официант, стройный, как гимнаст, с бабочкой на воротнике белой сорочки, ловко открыл бутылку и налил в фужеры вина, Клок выжал сквозь зубы:

— Деятель!

— У вас там тетеньки в передничках, да? — спросила Люся.

— Мужики стыдятся.

— Ничего, осмелеют, вот прибавится интеллигенции бездипломной... А бешбармак твой лучше чем эти ребрышки в чугушке.

— Не умеют, — сказал Клок. — Надо в шурпе, а не в жире тушить.

Он насупленно уставился на официанта, ловко, растопыренными пальцами левой руки несущего поднос с бокалами кофе-гляссе, и Люся, опасаясь, что он сейчас скажет «деятелю» несколько душевных сибирских слов, поспешила отвлечь его:

— Клок, ты почему-то молчишь о бронзовом Маяковском.

В сияющем ресторанном окне, как в огромной раме, на низком гранитном постаменте высилась громоздкая, размашистая фигура поэта, «горлана, главаря», и широкая улица за его спиной, сверкающая лаком автомобилей, дома по обе стороны ее, и даже серо-мглистая глыба высотного здания вдаль смотрелись заземленно, всего лишь малозначащим, случайным фоном; казалось, тесно здесь этой могучей статуе.

— Многопудье, — сказал Клок.

— Но ведь похож, правда?

— На себя в Политехническом.

— Ты хочешь сказать...

— Много фигуры.

— И мало...

— Маяковского.

— Уверен?

— Такие не кончают самоубийством.

— Вот не задумывалась. Стоит себе и стоит... и еще бегала сюда девчонкой, когда молодой Евтушенко стихи здесь читал... Ты, Арсентий Клок, — как мальчик из андерсеновского «Голого короля». Видишь как видишь. Верю теперь Шукшину, его сибирским мужичкам. В Сибирь даже захотелось. Я ведь все по Средней Азии ходила.

— Меня пригласишь?

— А пойдешь?

— С тобой — да.

— А твой Герой?

Клок хмыкнул, отвернулся, затем удивленно глянул Люсе в глаза:

— Извини. Я, кажется, впервые забыл о нем.

Вместе рассмеялись, оставили на столике деньги за обед, немного поспорив о чаевых (он хотел пятерку

швырнуть «ресторанному интеллигенту», она настояла: «Не больше рубля!»), и вышли в гомон, гуд, грохот города.

ДРУГ

Минула еще неделя московского гостевания. Клок уже неплохо знал центр столицы, разбирался в маршрутах троллейбусов, не боялся заблудиться в метро, побывал в Кремле и Третьяковской галерее, но все так же, по добровольной обязанности, покупал продукты и готовил непрменные «вечерние обеды». Люся отговаривала его, подсмеивалась, обещая назначить ему поварской, поильный для нее оклад, а он видел, чувствовал: она радуется, до слез умиляется его заботе и сама покупает, несет, стараясь порадовать чем-нибудь московским квартиранта; ведь для себя-то одной и еду не хотелось готовить!

В свободные часы он теперь не бродил настороженно по квартире, вполне освоившись с ней, — садился к маленькому письменному столу Люсиной мамы и перечитывал свои рукописи. Книга была задумана просто: где жил Арсентий, чем занимался — о том и писал, не меняя фамилий действующих лиц, названия поселков, местные приметы. Лишь главному Герою, то есть себе самому, он придумал имя, хотя и не желал отстраняться в чем-либо важном от своего литературного двойника; так ему легче было писать про себя все, даже самое неприятное. А он считал: правда должна быть полной, до горьких слез и перехвата в горле, иначе и писать незачем — придуманных сюжетов и героев, пожалуй, не меньше уже, чем живых людей на земле. И части книги у него назывались естественно: «Улан-Удэ», «Алдан», «Нарым», «Каракумы», «Таймыр»; следующей намечалась «Москва». Немного смущало то, что его Герой как бы тоже писал книгу о своем познающем жизнь герое, но ничего более убедительного он не мог придумать для оправдания своих (и своего Героя) странствий. Была все же в необычном сюжете-«матрешке» и удобная находка: кое-что из самого тяжкого, постыдного (хмельные встречи с женщинами, драки или, скажем, случай на Алдане в забое, когда Клок, заметив подвижку породы, сам отскочил, а дружка Ваську Колотаева едва не придавило...) можно передать второму, менее близкому герою, дабы главный не

получился уж очень страховидным: литература все-таки иная реальность. В ней и голая правда, взятая с перебором, становится нарочито придуманной, а то и ложью.

Как раз об этом думал Клок, говоря себе: «Все так! Но основное пусть несет Герой. Впрочем, он будет у меня един в трех лицах. Трехмерный... при четвертой мере — пространстве жизни. И выразить он должен удивительную, потрясающую душевную и физическую силу человека, многие годы (может, до смерти!) ходившего по городам и весям своей огромной страны, трудясь, познавая ее...» — и тут длинно зазвучал звонок над входной дверью, вернув Арсентия Клока в сиюминутную жизнь. Он решил, что соседка Валентина, управившись с домашними делами, возжаждала музыки, собрался слегка отчитать ее: ведь просил приходиться после шести, к тому же если услышит звуки рояля.

Порог, однако, перешагнул широкий мужчина лет сорока пяти, в молодежной узкополой шляпе, интеллигентном импортном плащике с железками-застежками, густо загорелый, чисто выбритый, наодеколоненный, с кожаным большим чемоданом, плетеной корзиной и олимпийской сумкой через плечо. Весь этот груз он опустил на пол, облегченно гукнул, бегло оглядел Клока и протянул руку:

— Павел.

Клок пожал его пухлую ладонь, подумав, что такие вялые «аладушки» бывают у часто выпивающих, спросил:

— Кто будете и к кому?

— Разве Люся не звонила?

— Нет.

— Тогда представляюсь: друг хозяйки квартиры. Только что из Сочи... Завез фруктов, солнечных напитков... — Он коротко, вызывая на участливое понимание, хохотнул: — Людмила Сергеевна велела ехать сюда, познакомиться с сибиряком-квартирантом, организовать стол и т. п., как говорится. Павел я. Павел Юрьевич Гурдин, коллега милой хозяйки по работе и, повторяю, друг...

Он шагнул в сторону вешалки, снимая шляпу и расстегивая плащик, но был остановлен Арсентием Клоком, внезапно и неожиданно для самого себя вскипевшим дикой, неподавляемой неприязнью к этому нагло-самоуверенному «другу», а вернее, престарелому любовнику,

заехавшему провести ночку у подружки, чтобы завтра незаподозренным; бодрым и ублаженным появиться в родной семье. Клок грудью оттеснил Павла Юрьевича к двери и на его поспешный вопрос с хохотком: «Что, что это значит?..» — ответил твердо:

— Я тоже друг!

— Ты?! — искренно удивился тот, скептически и замедленно оглядывая прозаическую фигуру откуда-то взявшегося сибиряка в толстом свитере и дешевых затертых ширпотребовских джинсах. — Как говорят интеллигентные люди, этого не может быть, потому что быть не может...

— Может! — Клок жестко повернул пухло-тяжелого Павла Юрьевича лицом к двери, вытолкнул на площадку, следом выставил чемодан, корзину, олимпийскую сумку с таким же пухлым медвежонком, вежливо сказал: — Везите домой, детишкам фрукты нужнее.

Какое-то время на лестничной площадке слышались шаги, нервное похохатывание Павла Юрьевича Гурдина, не решавшегося вновь звонить и стыдившегося, вероятно, так просто уехать; затем зачастила скороговорка вездесущей Валентины, двойной звонок в дверь, на который Клок не ответил (звонила конечно же Валентина по просьбе обиженного «друга»), и наконец все стихло.

Клок убрал со стола свои рукописи и бродил по квартире в немой растерянности до утомления, потом лег на жесткий поролоновый диванчик и закрыл глаза: внутри у него как-то опустело, заглохло, лишь тоненько ныло, жалуясь ему же, небережливому хозяину, его сердце. Он пролежал так больше двух часов, не отзываясь на звонки соседки Валентины, жаждавшей интересного разговора и полонеза Огиньского; и вздрогнул, когда дважды щелкнул ключ в замке, открылась и резко хлопнула вновь закрытая дверь.

Люся быстро прошла в свою комнату, затихла там, а через несколько минут Клоку показалось, что он слышит ее всхлипывания; он вскочил, решаясь и не смея пойти к ней, придумывая извинения, самые искренние покаянные слова, — можно было представить, что наговорил ей по телефону оскорбленный Павел Юрьевич! — и Клок решил пойти, хотя бы постучать в ее комнату, но тут отрывисто зацокали каблучки Люси, она толчком распахнула дверь его комнаты и остановилась на пороге. Глаза

у нее были застыло-влажные, губы припухли, будто накусанные, она собиралась, видимо, что-то выкрикнуть и сдержалась, увидев его опущенную голову, растерянно повисшие руки, спросила негромко, вроде бы даже с сочувствием:

— Выставил, значит?

— Да, — покорно подтвердил Клок.

— По какому такому праву? Ты что, у себя, на диком зимовье?.. Или хочешь, чтобы я вдовой состарилась?

— Он на тебе не женится.

— Почему ты знаешь?

— Вижу.

— Ах да! Ты же андерсеновский мальчик... Так, может, сам женишься?

Клок резко и решительно кивнул.

— Что-о?!

Клок вновь, еще решительнее, потрянул головой с упавшими на лоб волосами.

— А, понятно: твоему Герою нужна синекура в Москве. По принципу: кто сильно любит — тот пропишется. А ты спросил меня, я за тебя пойду?

— Не пойдешь.

— Почему?

— Я — дикий.

— Так вот, дикий, укладывай свой чемодан и иди в люди, очеловечивайся.

— Да, — согласился Клок. — Я уже подумал об этом, хотел сразу уйти, но... заплатить можно?

— Заплатил обедами... — Люся осеклась, словно бы внезапно смутившись. — И... с гостей не беру.

Она ушла, оставив дверь открытой. Звякнул замок в двери ее комнаты, окончательно подтвердив сказанные слова.

Клок неспешно, но расторопно-умело уложил чемодан, огляделся — чего бы не забыть? — подсел к столу и на вырванном из блокнота листке написал:

«Павлу Юрьевичу Гурдину.

Я все наврал, за что и был изгнан.

Квартирант Арсентий Клок».

Час спустя он вышел из метро в зал Курского вокзала, отыскал свободное место на скамейке у стеклянной стены, за которой шумела, блистала огнями автомобилей вечерняя привокзальная площадь, расстегнул полы курт-

ки, пригладил пятерней не дававшиеся расческе волосы и принялся рассматривать внутренность вокзала, поразившего своей ультрасовременностью. Некоторое время он не мог сказать себе — нравится или нет ему это мощное сооружение из стекла и бетона, но, понемногу освоившись, решил так: хоть и не Казанский, конечно, а ничего, устроен удобно, даже комфортабельнее — два кафе на открытых площадках второго этажа, ресторан, парикмахерская, буфет, газетные киоски и эскалаторы, как в метро, спускают пассажиров к поездам; а главное — обзор широкий на город, точно посреди площади сидишь.

Здесь можно вполне сносно перемочь двое-трое суток — время, нужное ему для посещения Новодевичьего кладбища, Донского монастыря, музеев древнерусского искусства и народов Востока, чтобы спокойно покинуть столицу, щедро одарившую его целым месяцем жизни в старинном доме, среди своего непостижимого человеческого скопления.

Он вспомнил о хозяйке квартиры Люсе Колотаевой, вернее, вовсе не забывал о ней, но вдруг отчетливо вспомнил, и тоска, теплая, мучительная, отяжелела ему грудь, как при недостатке дыхания, он зажмурил глаза, сильно помотал головой: «Скверно, дико получилось! Обидел женщину, уже обиженную... Не сдержал своего сибирского нрава, сунулся защищать... Но ведь обманет же ее Павел Юрьевич!.. А тебе какое дело? Есть, было дело... если не мог сдержаться!.. Я бы придушил этого «друга», только бы сказала!..»

Заметив, что говорит вслух, Клок прокашлялся, огляделся — не испугал ли соседей? — и уже спокойно сказал себе: «Ты извинился, ты ушел. Ты должен идти дальше со своим Героем — страна еще и наполовину не пройдена; книга должна писаться, и ничего, что Москвы в ней будет маловато, столица не для синекуры, да и рано тебе оседать, зарываться в рукописи, это ты сделаешь на старости, когда уже не будет сил и охоты странствовать, а если книга оборвется твоей смертью — тем лучше, она уйдет в бесконечность, ее сможет продолжить любой из живущих... А Люся... При чем тут она? Сама бездомная судьба, ранее тобой задуманная, вытолкнула тебя из ее тихой и теплой квартиры. Значит — смирись. Отсюда ты поедешь в Крым, найдешь какую-нибудь работу, перезимуешь у синей южной воды. Это же твоя

очередная часть — «Крым», дальше будут «Рига», «Карелия»...

— Все, — сказал Клок, поднимаясь, — пойду выпью чашку кофе.

Он попросил пожилую пару постеречь его чемодан, выстоял очередь у буфета, съел под стакан черного кофе три бутерброда с копченой колбасой, вернулся, хотел сразу же отнести чемодан в камеру хранения, но задремал незаметно от сытости, усталости и восторженности, когда над самой его головой прозвучал знакомый, обдавший его мгновенным жаром голос:

— Ты почему оказался на Курском?!

Клок вскочил, одергивая куртку, приглаживая волосы, и сразу занемел, опустив безвольно руки: перед ним стояла Люся Колотаева — в меховой шапочке, чуть сбитой набок, с незастегнутой верхней пуговицей пальто; она часто дышала, веки ее округлых, всегда широко открытых глаз припухли, отчего взгляд сделался сощуренным, горестным, и Клок невольно потупился, покорно ответил:

— В Крым еду...

— В Крым?.. Зачем?

— Ну... — Он шевельнул неопределенно руками. — Так задумал, еще давно.

Люся кивнула, поняв его, негромко — чтобы не слышали уже оживленно любопытствующие пассажиры на скамейке, — твердо сказала:

— Бери чемодан, идем.

Они ехали в метро, затем в троллейбусе, не обмолвившись и единым словом, и, лишь когда пошли рядом по переулку, Люся быстро заговорила:

— Увидела твою записку, стала бродить по квартире, хожу как помешанная, пусто, темно, свет почему-то боюсь зажечь... Забрела в кухню — твой обед стынет, подумала: одна не притронушь, он же голодный... Расплакалась, кое-как оделась, побежала искать... На твоём Казанском не нашла тебя... Обежала Ярославский, Ленинградский... Подумала: у тебя фамилия какая-то украинская, может, на Украину решил поехать, к каким-нибудь родичам... Поехала на Киевский — нету. Испугалась: не найду! На Курский ехала, редела, таксист спрашивает: «Умер кто?» — киваю... А тебя увидела — дремлешь себе, чуть не рассмеялась. — Она всхлипнула, приложила к лицу платок. — Извини, не знаю, что со мной...

Клок поставил на тротуар чемодан, повернул Люсю Колотаеву к себе лицом, опустил перед нею на колени и, прижавшись щекой к ее ладони, сказал:

— Я люблю тебя, Люся.

Она стиснула пальцами жесткий клок его волос, слегка приподняла его голову, чтобы видеть глаза, спросила:

— Почему ушел?

— Я бы вернулся... скоро. Веришь?

— Верю. Пойдем.

СИНЕКУРА

Настала зима, крыши несчетных домов забугрились снегом, город превратился в некое вздыбленное каменное пространство, рассеченное дымящимися грохочущими протоками, накрытое тяжелой мглой испарений.

Арсентий Клок подходил к окну, смотрел в просвет переулка на дальнее, тускло мерцающее движение машин и толпы, слушал неумолчный гул города и, если закрывал глаза — гул напоминал напряженное глубинное рокотание ветровой тайги. А задувала метель — московские переулки и дворики казались Клоку похожими на все иные завьюженные российские деревни и города.

Но он уже понимал: Москва — страна в стране, и для ее постижения нужны не месяцы, даже не годы — может не хватить всей жизни.

Он умел ловить рыбу, валить лес, мыть золото, копать оросительные каналы, терпеть зной и мороз... Бывало трудно, приходилось рисковать, но все в той жизни было понятно ему: новое дело он упрямо осваивал, с новыми людьми охотно знакомился, работал, легко находил друзей... И все же там были островки жизни, а здесь — гигантский материк; там он был замечен, здесь у него — никого, кроме Люси.

Клок все чаще вспоминал родной город и даже напел Люсе песенку улан-удэнской поэтессы: «Улан-Удэ, Улан-Удэ... Я уезжала, говорила — быть беде; я уезжала, говорила — быть тоске: пишу твои инициалы на песке...» Уговорил Люсю отпраздновать свадьбу у его матери и расписаться в улан-удэнском загсе — тогда уж непременно они будут счастливы; проплывут сквозь горы по

Селенге, напьются байкальской воды... Люся согласалась, только просила подождать до ее отпуска: весной, точно уж, они погостят, поживут у его матери, а потом уйдут на все лето в экспедицию.

Она догадывалась, что ее милый Клок, прервав вдруг свое многолетнее хождение по стране, растерялся среди неохватной огромности Москвы, неожиданно-негаданно ставшей местом его постоянного обитания; и квартира теперь стесняла его глохлой пустотой, и наружная многолюдная суета как бы выталкивала его из себя. Вечером, во время долгого обычного их чаепития, Люся сказала Клоку, стиснув ладошками его колючие щеки, глядя ему в глаза, видевшие так много всяческого земного простора:

— В тебе твой Герой бунтует, да? Скажи ему — я твоя синекюра. Пусть тоже осядет, утихомирится. И пиши. — Она протянула руку к темному, смутно клоко-чущему провалу окна. — А то, что там, будет твое, когда расстанешься с Героем, устанешь гостить... овладеешь профессией москвича. Тебе же многое удавалось.

Клок купил пишущую машинку, принялся перепечатывать ранее написанное. В первые дни спешил, вскоре, однако, увидел — перепечатанное на чистую нелинованную бумагу как бы оголяется, теряет изначальную свежесть, словесную плоть и заметными делаются не только корявые выражения, но и приблизительно подобранные слова. Он ужаснулся, вообразив свою прозу на журнальных или книжных страницах: увязнешь в ней, как в якутской тундре! Начал править машинописный текст, вновь перепечатывать. И, на удивление себе, вполне успокоился: работы много, будет она долгой, а спешить печататься — значит жаждать известности. Какой? Для чего? Авторства он страшился. Ему думалось, что он спокойно мог бы напечатать свою книгу без имени, ведь она не выдумана, прожита вместе с многими людьми, вроде бы ставшими соавторами. Деньги тоже пока мало его беспокоили: сберкнижку он отдал Люсе, года два может не беспокоиться о своем прожиточном минимуме. Работенку, правда, придется найти какую-нибудь, чтобы не числиться тунеядцем.

И все же Клок отнес в один журнал небольшой рассказ о дружке Ваське Колотаеве (как тот едва не помер, заглотив крупный золотой самородок, и еще под суд попал; от самородка спас хирург, от тюрьмы — обществен-

ность рудника). Для интереса, любопытства ради: очень уж хотелось побывать хоть в одной редакции, увидеть хоть одного живого редактора... Через неделю его пригласили по телефону; усталая пожилая женщина деловито-уверенно вернула ему рассказ, мельком усмехнувшись и прочтя вслух название: «Подавился!» Обратнo он шел пешком, обдумывая жестковатые, но заботливые наставления женщины в строгом синем костюме, вспоминая улыбочки молоденьких редакторш, неся в себе особый, бумажно-парфюмерный, тревожащий запах комнаты отдела прозы, и был вполне доволен своим посещением столичного, очень известного в стране литературно-художественного журнала.

Люся была уже дома, открыла дверь, вынула из его портфеля тоненькую папочку с фирменным тиснением печатного органа, затормошила, спрашивая:

— Ну что, что тебе сказали?

Он мрачно, понуро прошел в свою комнату, теперь кабинет, сел к письменному столу, отер платком усы и бороду, словно вспотевшие от непосильных душевных мук, ответил с хриплым выдохом:

— Сказали: опыта жизненного не хватает.

Напуганная убитостью Клока, примолкшая Люся вдруг заметила в его глазах едва сдерживаемые блески смеха, поняла, что он умело изобразил оскорбленного, униженного автора, и вместе они рассмеялись. Но тут же Люся принялась допытываться:

— Ты не шутишь — так и сказали?

— Да.

— Рассказал бы им про свою жизнь.

— Это не учитывается.

— Как, извини? Мерз, тонул, в песках жарился... Про таких газеты пишут. Таким везде все учитывается!

— В литературе — нет.

— Вот и читать нечего. Я сама пойду к ним!

Клок усадил ее в кресло, пригладил распущенные волосы — ожидая его из редакции, волнуясь, она и причесться забыла, — сказал обдуманное ранее:

— Таких стало много. Похождения, романтика надоели. Нужна работа, везде работа. За столом — тоже. Только в ней познаешь жизнь. Буду работать.

Люся закивала, соглашаясь и уже веря ему:

— Да, да. У тебя столько воли!

— А в «Софию» сходим? Ехал мимо, увидел — и за-

хотелось посидеть за тем же столиком, чтоб Маяковский в расстегнутом пиджаке напротив...

— И ребрышки бараньи «по-болгарски» будешь есть? Тогда хоть сегодня... нет, в субботу вечером. И потанцуем, ладно? Я ведь в «Софии» с тобой познакомилась. Спасибо, что помнишь. — Люся прикоснулась губами к его носу, ибо не привыкла еще, кололась об его усы и бороду. — Ну, пойду чай тебе приготовлю, по-клоковски.

Она освободила Арсентия от «вечерних обедов», сама ходила по магазинам, успевала приготовить что-нибудь на весь день с вечера и вставала пораньше; она научилась везде, во всем успевать и удивлялась своей неутомимости, неумности; после работы она говорила подругам: «Нет, нет — я домой, я сто лет... с утра не видела своего Клока!» Заполотно вбегала в квартиру, бросалась ему на шею и, точно убедившись, что он жив, не придуман ею и любит ее, принималась хозяйничать: заваривала ему сибирский чай — в кипящий чайник сразу побольше заварки и сахару, чтобы густо, сладко было, а потом уже разогревала, ставила на кухонный столик ужин.

После ужина сидели долго в сонноватой тишине у старинного, из мореного дуба, буфета, и Клок читал что-нибудь свое, пока Люся мыла посуду или тут же, взбив в тазу мыльную пену, стирала какую-либо мелочь; а то вдруг он начинал фантазировать, таинственно поглядывая на сумрачно мерцающий дорогим стеклом сервант-буфет:

— Вон тот синий графин — граф, посинел от ревности, не верит жене — хрустальной вазочке... Фужеры — придворные франты, рюмки на тонких ножках — графская гвардия, тарелки, чашки — прислуга... Они все только при нас стеклянные. Ночью тут такой звон, хруст... Как-нибудь разбужу тебя, послушаешь. И знаешь, наверно, война была, солдатиков, вижу, поубавилось. Не веришь? Сосчитай.

Люся считала, серьезно дивясь непонятной убыли этих несчастных стеклянных солдатиков, потому что не знала точно, сколько хрусталя оставлено ей родителями, а Клок тоже серьезно успокаивал ее:

— Ничего, отвоюют — опять детишек наплодят.

И вскоре Люсе казалось, что позади старых, мутноватых рюмок посверкивают чуть поменьше, новенькие. Однажды она вымолвила, суеверно глядя на громоздкое сооружение из окостенелого дерева:

— Может, продадим этот замок... вместе с обитателями?

— Нельзя, — тихо и твердо ответил Клок. — Оставленное на счастье — не продают. Оставим детям.

— Детям, Клок?

— Конечно.

— Из детдома возьмем?

— Зачем? Ты... беременна.

— Я?! — вскочила Люся, испуганно озирая чуть усмехающегося друга, которого она ни разу не назвала мужем. — Я же... ты знаешь... Я тебе говорила. Это похоже...

— Садись, — взял ее руки и больно стиснул Клок. — Смотри мне в глаза. Так. Только не мигай. Вот, вижу: зрачок большой, а по радужке крапинки, коричневые на синем... Скоро они перейдут на веки, потом вся конопатенькая станешь. Сходи к врачу, этому... вашему.

Ночь была долгой, бессонной, Люся задремывала и вновь широко распахивала глаза, точно боясь что-то позабыть, потерять во сне; утром она позвонила на работу, отпросилась в поликлинику. Клок собрался проводить ее, Люся, притихшая и растерянная, уговорила его остаться дома: «Одна, лучше одна, одной мне легче будет, там очередь, женщины... — Она показала, отставив руки, какие толстые. — Я быстро». Часа через два Люся вернулась, сама открыла дверь и, не раздеваясь, тихо вошла в комнату Клока. Он вздрогнул, вдруг услышав позади себя приглушенное, будто возникшее из тишины, сумеречности зимнего дня рыдание.

Медленно обернулся, уже понимая, что в комнате Люся. Из глаз ее тоненькими ручейками текли слезы, она немо, с каким-то младенческим страхом, упрямо смотрела на него.

— Ну, я прав, да? — беря ее холодные руки, спросил Клок.

Она потупилась в покорном согласии.

— Зачем же плакать?

Он раздел ее, усадил в кресло, промокнул платком глаза, дал валериановых капель, помолчал вместе с нею, присев на подлокотник кресла, а когда она немного успокоилась, спросил:

— Ты чего-то испугалась?

— Себя... Я ведь тебя выгнала...

— И позвала.

— Шла и терзалась: как я могла выгнать?

— Лучше скажи, что тебе там наговорили?

— Профессор, старичок такой лысенький, бойкий, тот, что лечил меня, на курорты посылал, а потом ручками развел: «Медицина бессильна, милая вы моя, не быть вам мамашей», — целый час меня изучал, чуть сам не рехнулся, все наговаривал: «Невероятно! Нелепо! Ирреальность какая-то!» Наконец утомился, поздравил, расспросил все о тебе, заключил: «Редкий, феноменальный случай особой совместимости. Он — или никто! Понимаете, почти никто». Выходит, у меня на этом свете не было выбора. Ты, только ты.

— Я и пришел.

Люся тихо рассмеялась, чуть отстранившись, сокрушенно разглядывая Клока.

— Надо же — ел немые персики. В тот час, в ту минуту... Как ты додумался?

— До Таймыра не думал, а там из головы не выходило: мохнатые, спелые, тяжелые персики... Цветными карандашами рисовал, стишок даже сочинил: «Нет, не в Персии мои персики, мне в столицу пора, их на рынке — гора».

— После тех мы и не ели ни разу.

— Мытых не хочу.

И опять Люся смеялась, смигивая легкие, быстрые слезинки, словно бы промывая глаза, чтобы лучше видеть своего Клока.

— Ну, а это... Как ты узнал?.. Я чувствовала, вроде тяжестью наливаюсь, нет, не весом — иным чем-то, и есть все дни хотелось, а то подташнивало, да опыта — никакого, думала, от беготни, семейных забот. А ты — как бабка-повитуха...

— Угадала, бабка и научила. В Нарыме жил, комнату у лесника снимал. Лесник в лесу, жена его на колхозной ферме, дочка, десятиклассница, сама по себе — клуб, танцы, вечеринки... Раз бабка поймала внучку, притянула к себе, посмотрела ей в глаза и как закричит: да ты ж, такая-рассякая, нагуляла, да тебя дрючком прибить мало! Глянь-кось, Арсентя: зрак что пятак и работа что по яйцу воробьячему. Верный признак! — Он заметил, что Люся нахмурилась, затаила дыхание, явно и серьезно сочувствуя бездумной девчужке, живо досказал: — Нашли ухажера, пристыдили, и я помог, поговорил с пареньком... Свадьбу сыграли громкую. Ладом обошлось, как говорят сибиряки.

— Ой, Клок, милый Клок! Ты напишешь много, хорошо. Я верю. Ты пришел. Пришел не только ко мне.

Арсентий глянул на письменный стол, где лежала, тревожа белизной, плотная стопа начальных глав будущей книги, которую надо писать заново, править, перечитывать, пока хватит сил, терпения, всей его выносливости, и ничего не ответил.

Он был немного суеверным.



БУРКАЛО

Повесть

Проснувшись и медленно обретя ясное сознание, Буркало по своей всегдашней и непрременной привычке вслушался в самого себя: легко ли дышится, не покалывает ли сердце, не тяжелит ли желудок?.. Мягкая, теплая томность грела все его упругое, веское тело, оно словно бы розово светилось под одеялом, и Буркало не удержался от подступившего к горлу довольного хохотка: «Бурла-ла! Не жалуешься, значит? Одобряю!» Он был уверен: у него, как и у каждого смертного, множество разных болезней, но ему они неопасны, потому что он бдит — лечит, подпитывает, оберегает Органом (так уважительно он называл организм), ибо в нем помещается главное — сама неповторимая, живая сущность его, Буркало. «Одобряю!» — подтвердил он, крепко потер широкими ладонями жесткий живот, кхекнул, отбросил одеяло и упруго вскочил.

Из другой комнаты, цокая когтями по паркету, приковыляла толстая, кривоногая такса, пискнула угодливо хозяину, аккуратно, чуть коснувшись языком, лизнула ему руку.

— И тебя с добрым утречком, Клара! — потрепал Буркало вислые уши собаки. — Откроем окно, включим радио, займемся ритмической, полезной зарядкой. Бурр, какой воздух бодрительный!

Буркало приседает, взмахивает руками, балетно вскидывает то одну, то другую волосатую ногу, под вокально-инструментальную музыку трусцой бегаёт вокруг стола, пыхтит, покашливает, выдыхая из легких ночной застоялый воздух. Клара тоже разминается, старательно поспешает следом, виновато лоя мокрыми шариками глаз волевые взгляды хозяина: мол, извини, живее не могу, опять у меня живот тяжел. Буркало поддает ей слегка под хвост:

— Шевелись, Кларка! В интересном положении очень полезна гимнастика!

Такса хрипло взлаивает, и ее глуховатый лай напоминает предовольное бурканье: Клара явно подражает говору и голосу хозяина.

Омывшись сперва теплой, затем холодной струей под душем, Буркало растирается махровым полотенцем от пальцев ног до кончиков ушей, облекает освеженный, почти невесомый Органом в плотное шерстяное трико, идет на кухню. Здесь у него уютно, опрятно и современно: обои — «красный кирпич» подвальчика-харчевни, люстра-фонарь «летучая мышь», по стенам — связки красного перца, белых грибов, чеснока и травы пижмы. Для интерьера (а пижма вроде бы мух отпугивает). Над столом облупленная иконка скорбящей богоматери, купленная Буркало по случаю — места другого не нашлось, да и видел он как-то у одного интеллектуала Иисуса Христа в кухне, доктор наук шутя даже крестился на него перед едой. Шкафчики под березовое дерево, посуда фаянсовая и фарфоровая, бочонок натуральный для специй, большущий, этакой белой глыбой холодильник «ЗИЛ», набитый конечно же добротными продуктами.

Буркало жарит яйца с ветчиной, режет помидоры и репчатый лук, заваривает кофе, подогревает молоко, чистит два больших яблока. Но сперва выпивает полстакана лечебного настоя из трав бессмертника, тысячелистника, зверобоя, — настой проверенный, лично для себя составленный Буркало. Пища радует его своим видом, запахами, еще более веселит, перемещаясь в его объемистый желудок, и Буркало, порывивая и мыча от наслаждения, умиленно жалуется собаке, жертвуя ей кусочки со своего стола:

— Люблю же я, Кларочка, попитаться вкусно. Слабость такую душевную имею. А пора сокращать калории, лишний вес — дуракам радость. Или, как правильно выражается один умняга: лишний вес — не прогресс.

Он неспешно моет посуду, натирает ее до блеска, каждой чашкой поигрывая на свету, ставит в просторную сушилку. Из прихожей слышится поскуливание, такса зовет хозяина гулять.

— Ну, неси ошейник, дама брюхатая!

Ошейник не нравится Кларе, она нехотя волочит его, позвякивая шестью собачьими медалями. Буркало всякий раз кажется: Клара понимает, что медали не ее, хозяин навешал их для красоты и солидности (своей солидности, конечно), и это смущает смышленную собаку.

— Дура, — успокаивает ее Буркало. — У тебя ж благородная родословная! Тебе бы с десятка нацепили, если бы я таскал тебя на эти дерьмовые собачьи выводки!

Но Клара еще ниже опускает голову, точно понимая,

что и родословная не ее, какой-то другой, чистопородной таксы. Это уже слегка раздражает Буркало: «Людей не боюсь, а животина ушастая передо мной выпендривается!..» — он резко дергает поводок, и вместе с Кларой выскакивает из квартиры.

Бульвар у дома, где живет Буркало, старинный, исторический, с кряжистыми вязами, липами, прочей зеленой уютностью, посыпанными мелким песком аллеями и дорожками; стриженные газоны везде, цветочные клумбы, киоски — газетный, табачный, пепси-коловый (как и полагается в столичном центре). По обе стороны бульвара промелькивают бликами-вспышками автомобили, шипят резиной по пробензиненному асфальту, а здесь — укромно, отдохновенно, старушки благостные сидят, мирно ожидая своего упокоительного часа.

Одна, усохшая, как перечный стручок, с белым пушком волос и черной щетинкой усов, так и не проснулась однажды, пригревшись на солнышке. Буркало вызвал «скорую помощь», поддержал носилки, когда старушку переносили в машину. Говорили, она лично была знакома с каким-то большим писателем прошлого века, играла какую-то героиню в какой-то его пьесе. Буркало это не запомнил, но о старушке думал хорошо: «Ну, артистка заслуженная! Сто лет бодренько трепыхалась себе на здоровье и умерла, как легонькую роль сыграла в детективе по телевизору».

Буркало то бежит вслед за Кларой, то останавливается, когда Клара приседает или кокетливо обнюхивается со знакомыми псами. Вот открылась лужайка, небритый мужик в мятом картузе и синем комбинезоне таскает по ней стрекочущую тачку-косилку, стрижет траву, пороша срезанной мелкой зеленью. Запах — голова туманится, в глазах всполохи зеленые! Буркало раздувает ноздри, Клара радостно чихает. Черт его знает что! Сколько ни живи среди милой душе и телу городской культуры — все равно вот так вдруг застолбенеешь перед скошенной зеленой травкой, и тоска, и радость затеплится в каждой твоей живой жилке: сильна тяга земли, сильны, необоримы гены твоих сельских неисчислимых предков!

Это приятное его сокрушение нарушил хриплый голос, прозвучавший громко и рядом:

— А Кларочка опять на сносях? Как, хозяин, произведем приплод в дело?

Буркало поднял голову. Чуть сбоку от него стоял небритый, попахивающий застарелым портвейновым, душ-

ком мужик, опираясь руками в сатиновых рукавицах на рукоять заглохшей косилки. Да, именно этот гражданин выгодно перепродал собачникам с Птичьего рынка шестерых Клариных кутят прошлогоднего оцена.

Однако Буркало не нравилось, когда такие вот потерянные личности узнавали его, он, если была у него нужда, в разовом порядке пользовался их услугами, но общаться — извините, товарищи алкоголики, слишком большой роскоши желаете! Сейчас же и раззнакомимся вежливо и поучительно.

Буркало на мгновение отворачивается, вынимает из кармана кое-какую бутафорию, лепит, прилаживает к лицу, вновь показывает себя настырному мужику и видит с удовольствием: рачьи глаза цирюльника газонов часто мигают, сигарета в поддрагивающих губах едва держится, от пугливого изумления все обвисло на мужике, даже картуз кокемитовый вроде великоватым стал. И понятно: перед ним был не гладко выбритый молодежавый мужчина, а седоусый, в очках с золотой оправой, строго насупленный, пожилой интеллигент, которого наглово побеспокоили во время молчаливой прогулки.

— Извиняюсь, как говорится... — вымолвил, поперхнувшись сигаретным дымом, мужик. — Обознался, кажись.

— Бур-ла-ла, синус-косинус, вас не просимус. Когда кажись — тогда крестись.

Клара твякнула на мужика с вонючей машиной-трещоткой, подтвердив умное возмущение хозяина, и Буркало спортивно потрусил дальше, слыша позади:

— Иностранец, мать его...

Любил Буркало этак вот озадачить кого-либо в нужный момент, ловко и мгновенно переменяв свой облик. У него имелись различные полезные вещички: бороды и бородки нескольких расцветок, парики, бакенбарды, даже нос он мог сделать любой величины. И потому на бульваре едва ли кто помнил его по внешнему виду, всякий раз он выглядел иначе, другую была и одежда, сообразно погоде, настроению, а то и необходимости.

Минут через сорок они вернулись в квартиру. Клара принялась жадно лакать воду, Буркало выпил пару стаканов холодного молока. И настроились они еще более весело: такса, вывалив язык, хитровато и угодливо улыбалась хозяину, Буркало подмигивал ей, гоготал, говоря:

— Как мы его, цирюльника этого небритого с бензомоторной бритвой? Проехался бы ею по своей физионо-

мии. Щенята, видишь ли, понравились твои. Будто сами в дело не произведем. А травка зеленая все-таки как пахнет! Детством человечества, когда оно еще на природе обитало. Может, в деревеньке какой тихой пожить нам?.. Не согласна, вижу. Там собачки грязные, удобств коммунальных никаких, и тетка старая щи будет варить в грязном чугуне. Бурр!

Клара тоже брезгливо фыркает, Буркало треплет ей уши, проводит ладонью по широкой лоснящейся спине от загривка до хвоста, подталкивает слегка.

— Ну, иди, иди, охраняй кабинет хозяина. И чтоб ни одна чужая нога туда не сунулась. У нас своя среда обитания, городская, мы тут в родной стихии бултыхаемся, всяк свой корм по личным способностям добывает.

Буркало неторопливо обходит, озирает квартиру, вспоминая уже без волнения: нелегко она досталась ему, пришлось инстанции потревожить, нужных людей подключить. Вторую комнату выхлопотал исключительно для библиотеки, доказав где следует, что книги выживают его из тесной однокомнатной квартиры; к тому же он серьезно интересуется живописью, нужна мастерская... Все на месте, все протерто, ухожено в его уютно-элегантном современном гнезде-жилище. Гляньте в туалет, ванну — голубое, розовое, мягко-зеленое, зарубежное, радуется и веселит; пол, естественно, паркетный, из карпатского дуба, потолок — не белый бетон с тараканьими дорожками, а натуральная карельская береза без подкраски, мебель — ретро антикварное, по моде ультра, как у видных творческих личностей. Живи, и чтоб другие знали, что ты живешь!

Он замечает — половик у порога не свеж, осторожно скатывает его, идет через кухню на балкон и старательно трясет; всплескивается упруго ковровая ткань, пыль облачками спархивает вниз, рассеиваясь по широкой кирпичной стене; половик чист и своей просветленностью словно бы благодарит хозяина за внимание. Буркало набирает в пластиковое ведро воды, через библиотечную комнату выходит на просторную лоджию, обильно поливает ухоженный цветник, зелено затенивший весь просвет, — будто по ту сторону лоджии не стены и крыши города, а глубокая парковая аллея. Вода льется на ярусы нижних лоджий.

Вскоре звучит ожидаемый телефонный звонок.

— Товарищ Буркало, — слышит он в трубке. — Это вы опять трясли половик? Безобразие какое!

— Безобразие, — подтверждает он. — Но обращайтесь этажами выше. «Люблю грозу в начале мая», а сейчас, видите ли, «лето, ах, лето» на дворе. И вообще... вам надо жить на острове Капри в личной вилле, а не в современном городском многоквартирном. От нервов советую аэробику три раза в день.

Спустя минуту раздается второй звонок.

— Товарищ Буркало?

— Допустим.

— Это от вас сейчас вода лилась? Нельзя ли поаккуратнее?

— Можно, — соглашается он. — Только звоните на вышестоящие этажи. Бурр! Беспokoите занятого нервного человека.

— Извините... — заикается в трубке женский голос.

— Временно извиняю, ради приятного соседства с вами. Пейте буркалиум — настой из тысячелистника, зверобоя, бессмертника. Проживете сто лет, и все красавицей.

Буркало садится в глубокое атласное кресло (вполне вероятно, украшавшее некогда царские палаты), склоняет голову к плечу и, уставя ухо в пол, прислушивается. Сперва проникает из квартиры этажом ниже возбужденный говор, затем слышится одышливый старческий крик; а вот озвучилась следующая, под нею, квартира, там тоже возмущаются. Вниз и вверх оживает голосами дом. Буркало добродушно похихикивает:

— Живите весело, граждане и гражданки!

2

Гараж у Буркало во дворе, в тридцати двух шагах от подъезда — точно отмерено, не первый год считает он эти шаги, и ближе ему не надо; ближе — площадка детская, скверик для доминошников, старушки дышат на скамейке, как-то хитро выцеживая кислород из глубинно-столичного воздуха. Нужно ведь и народу где-то помещаться.

Под старыми липами три вместительных гаражных блока, с бетонированной площадкой и асфальтовой дорожкой к воротам. Разумно упрятаны, не портят интерьера коммунального двора. В двух блоках — машины строительных начальников, третий занимает Буркало. Начальники сунут «жигуленки» на ночь, утром укатят (теперь мода такая — каждый сам себе шофер), колеса сполоснуть им некогда; блоки годами немыты, нечищены.

Зато у Буркало и шик, и блеск. Поуютнее, чем в квартирах иных жильцов. И «Волга» его — что тебе барыня ухоженная, не бензиновый перегар вдыхает, а липовый запах, сейчас вот, скажем, в летнюю пору: отлично вентилируется гаражный блок. «Волга» конечно же черная, другого цвета Буркало не признает; несерьезны веселенькие цвета, для автомальчиков разве что. Цыганочкой нежно называет он свою машину.

Буркало поворачивает тяжелый ключ в скважине замка с секретом, сделанного по спецзаказу, открывает двустворчатую, обитую железом дверь и минуту стоит, давая своей хозяйской душе нарадоваться. Почтительно примолкает и умная такса Клара; она уже обнюхала ближние декоративные кусты, пометила их и успела стать у ног хозяина, чтобы вместе с ним угодливо обозреть светлый уют гаража, сощуриться от черно-лакированного блеска машины; Кларе не шибко по нутру металл, синтетика, бетон, но Цыганочка (к этому слову она хорошо привыкла) — верная поездка за город, в леса, на дачу, где много веселого воздуха, запахов, съедобного пырея и... проживает ее давний кавалер Бобби.

Собаке, понятно, собачье. Однако и она соображает, что гараж у хозяина — место серьезное, чуть не туда шагни, хвостом ударь не по той стенке — зазвенит, зазуммерит со всех сторон, шерсть дыбом встанет на загривке: блок с наружной и внутренней хитрой сигнализацией. Но Буркало мало доверяет «звонковой» охране, и потому в машине противоугонное устройство, с выходом на сирену, да баранка стальным стержнем примкнута к тормозной педали; другое также не оставлено без внимания, на особых винтах, замках — колпаки колесные не снимешь, фары не отвинтишь, бензина не отольешь. По современному продумана, продублирована охранная техника. Модной, правда, становится электронная сигнализация, но к ней надо разумно присмотреться — так ли уж она надежнее вот этой, грубоватой, однако отлично проверенной автохозяевами.

Буркало садится за руль, впускает на заднее сиденье Клару, заводит мотор и, чутко прослушивая поначалу захлебистый говорок поршней, ощущает еще какую-то, дополнительную радость. И догадывается, конечно: под деревянным полом гаража вроде бы погукивает просторным объемом бетонный подвал; с вентиляцией, электричеством, белеными стенами, полками, закромами. В нем Буркало хранит овощи, всяческие продукты, настаивает

отличный яблочный кальвадос, в нем можно пересидеть пожар, стихийное бедствие, атомную войну.

— Бур-ла-ла!.. — напевает он, выводит свою Цыганочку наружу, закрывает блок и едет со двора мимо скамеечных старушек, кивает им вежливо, и старушки почтительно машут ручками, желая доброго пути солидному, уважительному человеку.

Эх, «какой же русский не любит быстрой езды?». Вдохновенно звучит. Но во-первых, Буркало точно не знает своей национальности, по крайней мере не ощущает ее внутренне; во-вторых, только лупоглазый идиот в джинсах любит скорость больше, чем свою машину, личную репутацию, не говоря уже о риске, авариях, проколотых талонах, неприятных беседах с госавтоинспекторами. Иные времена, иные материальные и прочие ценности. Но не всеми и не сразу это усваивается. Теперешний интеллеktуал, скажем, испытывает наслаждение не от быстрой езды, а от вождения изящной, как часики, исправной машины — чтоб мягко пощелкивали переключатели, вполсвета помигивали лампочки, вползвука звучала музыка и в салоне пахло хорошими духами. Машина черная, все другое светлое, вождение четкое. Разве инспектор задержит такой транспорт? Да и грубовато — транспорт. По блеску столичных улиц скользит, еле покачиваясь, плывет радующий прохожих (и внушающий почтение) лимузин, от него — сияние, от него — особое излучение уверенности и неприкосновенности.

Буркало минует стеклянно-небоскрежный, гулко запруженный машинами и народом, обирающим магазины, индустриальной архитектуры Калининский проспект, пересекает старый Калининский мост, втягивается в правый автомобильный поток на Кутузовском грузно-угрюмом, с высотно-громоздкой гостиницей «Украина» проспекте, кивает чуть панибратски регулировщикам на перекрестках, постовым у обочин, минует Кунцево — тут он обычно добывает в магазинах нужные припасы, если намеревается побыть сколько-то дней дачником, — и вот оно, просторное Минское шоссе; здесь можно набавить скорость до 80 км, разрешенных дорожными знаками, что и делает с удовольствием Буркало, не рискуя, конечно, ни единым лишним, пижонским километром скорости.

Через час ровно он подъезжает к даче, сигнализирует открываются ворота, он лихо вкатывает Цыганочку под навес плотных еловых ветвей, выпускает Клару, буйно взлаявшую, легко выпрыгивает сам.

Клару встречает старый ленивый Бобби, а его — еще более старая Полина Христофоровна; она молча, почти-тельно кланяется на старинный манер, приглашает в дом, уважительно отведя костистую длинную руку и пропуская Буркало впереди себя. Он приостанавливается, озирает двор, сплошь занятый цветочными грядками, благоухающий и спящий пионово-ромашковым разливом; выкрикивает негромко, с пониманием:

— Одобряю! Эдем, рай, сам бы здесь обитал, да совесть не позволяет! А как мои старички?

— Чего им? Живые, — отвечает нехотя и скрипуче Полина Христофоровна. — Трепыхаются. А скандалничать начнут, разнимаю, успокоительными травами отпаиваю.

— Они такие у меня, ученые шибко, знают всего много, вот и устанавливают меж собой взаимопонимание. Мыслители! Не зря же я их так называю. Ладно, пошли.

В большой белокирпичной даче с мезонином Полина Христофоровна занимала крохотную угловую комнатку, где едва помещался ее скудный скарб: железная жесткая кровать, столик пластиковый на алюминиевых скрещенных ножках, вешалка под занавеской, она же и гардероб, шкафчик в простенке для кое-какой женской мелочи, табуретка и венский опрятный стул, выглядевший здесь нагловатым чужаком; да и был таковым, ибо принадлежал лично Буркало, и только на него он садился, навещая Полину Христофоровну.

— Надо жить с интересом и удовольствием, не так ли, старушка трудящаяся? — говорит, присаживаясь, Буркало. — А значит, чайку мне с дороги крепенького, с медком можно, чего-нибудь сдобного самую малость — для приятности исключительно, а не наращивания товарного веса. Вижу, согласна. У тебя вовсе никакого веса — кости да жилы. От тела вовремя избавилась. Оно ведь для бабьей красоты, а какая красота на восемьдесят первом году? Но интерес имеем к жизни, правда? Удовольствие некоторое, особенное — тоже. Верно рассуждаю?

Полина Христофоровна щербато щерится, рот ее западает, маленькие зенки непонятого цвета теряются в морщинах-рубцах, из-под надвинутого на лоб темного платка выпирают лишь нос и подбородок с волосатой бородавкой. Своим обликом напоминает сейчас Полина Христофоровна старую, хищную, но еще очень сильную и цепкую птицу, хоть и с ошипанными крыльями, поза-

бывшую о небесах, однако умеющую добывать себе свежую пищу.

— Я недавно узнал: оказывается, акулы никогда не болеют. И знаешь почему? Все время двигаются, добывают пропитание. Им, оказывается, нельзя не двигаться: жабры имеют неподвижные, и, чтобы дышать, надо хвостом и плавниками постоянно работать. Вот и не болеют и долго живут. Жизнь — движение, ученые установили. Но это ученые, понятно. А как же ты сама до такого додумалась? Инстинктом дошла? Ты же акула, только сухопутная, хотя и на птицу похожа. Ты вот перестанешь хлопотать, работать — помрешь сразу. А так — ни болезней у тебя, ни психических стрессов, десятков лет за просто прибавишь к своим свежим восьмидесяти годкам. Чему я рад, конечно. Где мне найти такую хозяйку, поварицу, управительницу?

Хрипло, одобрительно похихикивая, покашливая, Полина Христофоровна приносит из кухни чай, мед, теплые ватрушки, ставит перед Буркало на лаковом палехском подносе, садится поодаль, оставив дверь в кухню открытой — чистота там, сияние от кранов, мойки, газовой плиты, посуды. Кухня просторнее ее комнаты, за кухней — еще более вместительная столовая, где за общим обеденным столом собираются жильцы дачи Буркало.

Он неспешно отхлебывает чай, смакует свежий липовый мед, сладко нюхает и ест ватрушки, обстоятельно расспрашивая свою управительницу о различных дачно-хозяйственных делах. И понимает: порядок у него тут прямо-таки наглядно-показательный, желать лучшего — просто бессовестно. находка бесценная, эта Полина Христофоровна, иначе о ней не скажешь. Откуда она у Буркало, как ему доводится? А никак и почти из ниоткуда.

Лет десять назад, или около того, заметил он рослую, кряжистую, угрюмоватую старуху; жила то на одной, то на другой даче, занималась нянькой, поварихой и огородницей, присмотрелся — так ведь редкой природы работница беспризорно мыкается по чужим людям, не знаящим ей настоящей цены! Пригласил Полину Христофоровну к себе, сказал, что берет ее навсегда, осведомился о плате. Старуха — она, конечно, и тогда уже была старухой, но смекалистой — расспросила, где будет жить, чем заниматься, и неожиданно, указав на запущенный дачный участок Буркало, сказала: «Отдай мне в

пользование, цветы стану разводить, более ничего с тебя не возьму». Ну, Полина Христофоровна, ну, хозяйственно-экономическая голова! Буркало кое в чем далеко до нее. Он тогда простодушно решил: везение, бесплатно достается работница. Но вскоре, увидев весь двор вокруг дачного дома, от дальнего забора до ворот, засаженным цветами, ступить негде, понял: старуха свое возьмет! И взяла, и берет уже десять лет. У нее научно отлаженный цветочный конвейер: начинает торговлю подснежниками, маками, пионами — кончает астрами, георгинами, хризантемами. Весь вегетативный сезон используется. Капитал наверняка сколотила! Хоть проценты бери. Но уговор, как известно, с пещерных времен, дороже денег. Нельзя нарушать уговор, нельзя ущемлять человека в его жизненном интересе. К тому же Полина Христофоровна главные свои обязанности выполняет безупречно, старички-дачники, проживающие у Буркало, довольны ею — поварихой, горничной, управительницей.

— Значит, трепыхаются мои мыслители? — спрашивает Буркало, допивая чай, приветливо глядя на Полину Христофоровну, и, как всегда, не выдерживает взора ее мизерных, блескучих, точно наэлектризованных глаз («Ну ведьма, ну страхина, куда же ты денешь свою кубышку, или гроб золотой заранее себе отольешь?»), отворачивается к окну и любитесь идиллической, словно на экране телевизора, картиной: три старичка и две старушки рядком сидят под черемухой, в конце единственной дорожки, оставленной им Полиной Христофоровной для прогулок, в окружении копыстного чащобничка ранних гладиолусов самых невероятных расцветок — подходит время гладиолусов — и мирно беседуют, то нарочито хмурясь, то веселясь. — Вижу, бодренькие мои одуванчики. Одобряю и благодарю, Полина Христофоровна. В порядке их содержишь. Не зря у тебя отчество христовское. И я их сердечно люблю. В убыток себе, а люблю.

— Душа, знать, добрая, — говорит старуха свои обычные слова, те, которые и хочет слышать Буркало в такие вот умильные минуты, но говорит безучастно, давно не веря хотя бы в малое бескорыстие хозяина, и если бы Буркало пригляделся внимательнее, заметил бы, как едко подрагивают, усмехаясь, иссушенные, древесно-сморщенные губы старухи. — Ясно, душа... — повторяет она еще более безучастно, хрипло и еле слышно.

— Ладно, иди, — не выдерживает ее присутствия рядом Буркало.

— И то. Полдник скоро, чай подавать этим вашим ругливым мыслителям.

— Ну-ну, поласковой!

Оставшись наедине, Буркало вновь и охотно веселеет, после чая и меда в теле его приятное горячение, он вспоминает, что приехал по делу, но не торопится пока, не очень и серьезное оно, это дело, хочется вот так посидеть у открытого окошка, надышаться цветочным воздухом, насытить глаза зеленью деревьев, голубизной неба; да и старички сейчас будут заняты чаепитием, важным для них занятием, надо посмотреть на них. Вон уже Полина Христофоровна вынесла раскладной столик, установила его рядом со скамейкой, старички загомонили, сдвинулись плотнее, положили руки на пластиковую столешницу, как послушные ребятишки в детсаде. Следующим разом ухватистая управительница принесла чайник, блюдо с ватрушками, чашки. Разлила молча чай и удалилась к своей цветочной плантации.

Чаепитие на воздухе, среди цветочного благоухания — в каком санатории увидишь подобную благодать? Где престарелым более покойно, отдохновительно? И сколько Буркало берет за проживание на своей даче в отдельных комнатах (да, в отдельных, разгородил дом на комнаты), при четырехразовом питании? Лучше не говорить — никто не верит. Не верят и старичкам его, когда те говорят. Ничего не берет. То есть и рубля дохода не имеет. Его жильцы оплачивают лишь свое питание, кое-какие коммунальные услуги — газ, свет, вода. И все. Сущие пустяки. Не более семидесяти рублей в месяц тратит каждый, а пенсии у них солидные. Ну и, по желанию, — подарки Полине Христофоровне к Новому году и на Восьмое марта. Только добровольно. Ибо управительница, она же повариха, она же горничная, числится на содержании у Буркало.

Рядом чистая речка, недалеко столица, электричка за ближним лесом. Зелено, духовно.

3

Для кого устроил Буркало такой экономичный пансионат?

О, это прозрение, гениальный замысел Буркало! В суть его проникла разве что Полина Христофоровна, и то, пожалуй, не глубоко.

Старички-то подобраны непростые — думающие, уважаемые, влиятельные. Приглашаются на чтение лекций, печатают научные и популярные труды. Редкие по теперешним временам старички — бессребреники: или дач не нажили, или не ужились с дочками и сынками, завладевшими квартирами и всем прочим. Словом, возжаждавшие тишины, внимания, человеческой любви и нашедшие все это у Буркало.

Однако самые возвышенные чувства, как убедительно доказано сейчас, не бывают вовсе уж бескорыстны. Они требуют ответных чувств.

И старички платят кое-чем.

Скажем, вот тот, длинный, сухой, прозванный Буркало (для себя, конечно) Коршуном, помог приобрести престижную черную «Волгу»; работал в министерстве, доктор экономических наук; написал записку кому следует и куда следует — уважили персонального пенсионера. С жесткой бородкой дедок, прямой весь, негнувшийся, характером — точный коршун; не первым поселился у Буркало, но быстренько отвоевал мезонин, чтоб, значит, сверху на природу поглядывать, и все другие дачники подчинились ему, вроде негласно старостой выбрали. Коршуна даже Полина Христофоровна почитает, завтрак в мезонин носит, ибо доктор любит услаждаться чайком на маленьком балкончике, в одиночестве наблюдая утреннюю благодать. Большой экономический труд пишет он, много всяческого материала, брошюр, документов ему нужно, и Буркало возит, добывает, а то и у букинистов выторговывает нужное. Доволен им Коршун. И сам, по душевному расположению, оформил бумагу, в которой решительными словами означено: он, доктор наук такой-то, отдает половину гонорара будущей книги товарищу Буркало. Волевой старик, умный. Истина для него важней какой-то денежной суммы. Он и чашку с чаем вон как держит — чуть наотлет, будто угрожает ею, и сидит в центре скамьи, два старичка и две старушки суетятся по обе стороны от него, слегка отстранившись, охотно прислуживая ему.

Известно, в старости люди делаются похожими кто на птиц, кто на иных разных животных. Но не каждый видит это со стороны, у Буркало же точный глаз. Когда к нему определился дачником профессор-лесовод, толстенький, с одутловатыми щеками, мокрыми глазками и вздернутой губой, открывавшей два желтых резца, он сразу сказал себе: «Бобр!» И характер у профессора ока-

зался бобровый — сонноватый, мирный и трусливый: едва учует неприятность какую — прячется в свою комнату, да еще на ключ запирается.

Лесовода Бобра пришлось снабжать не только нужными брошюрами, но и возить по окрестным лесам, помогать коллекционировать срезы деревьев, считать ели и сосны на холмах и у речек, брать пробы дерна, трухи гнилых пней... Буркало кое-что и свое подсказал профессору. Например, тот не знал, что, спилив сосну, хитрый вор переносит на свежий пень муравейник и так скрывает порубку; или есть такой способ: молотком обивают по кругу кору дерева, оно усыхает — и его, как бы уже законно, спиливают. Свой труд об экологии пригородных лесов Бобр написал быстро, всего за два года, и солидно оформленный том издал под двумя фамилиями. Да, взял Буркало в соавторы, будучи искренне благодарным за помощь, к тому же с радостью узнав, что Буркало когда-то мальчишкой года полтора учился в лесном техникуме.

Бобр поднимается из-за стола, мелкими шажками, помахивая лапками, уходит к даче, а вслед ему что-то выкрикивает легонький старичок с румяно пропеченной на солнце лысиной и такой морщинистый, что, казалось, лицо его скроено из обрывков, мелких клочков сыромятной кожи. Едкий дедок, суетноглазый, все дела знающий, все пронюхивающий своим хрящеватым, свисающим к подбородку носом и метко прозванный Лисом. Прозвали его так дачники, с чем охотно согласился Буркало. Лис побаивался только Коршуна да хозяина «пансионата» и коварен был невероятно.

Имея большие связи в торговых организациях, он всякий раз, выслушав какую-либо просьбу Буркало, не торопился выдавать записку, а норовил поторговаться: то в его комнате переклей обои, «очень же цветистые», видите ли, то краник на умывальнике смени — «покапливает же средь ночи», то прикажи Полине Христофоровне подавать и ему завтрак в комнату (злобно посягая этим на привилегию Коршуна). Или уж совсем нечто гаденькое придумает: «Вы имеете интерес, голубок, я тоже желаю иметь свой интерес, а потому как я от жизни имел большой интерес, желаю иметь для души интерес: ласкайте мои старые уши приятными словами — какой я уже для вас добрый, хороший, важный». Иногда Буркало исполнял его мелкие просьбы, но чаще, не имея времени на нюни-слюни, просто прикрикивал: «Выпишу, пойдешь

жить к дочке в Строгино, там тебе внуки еще глаже лысину отполируют!» И Лис быстренько сочинял нужную бумажку.

За столом поредело. Коршун, не слушая Лиса, ушел на цветочную плантацию помогать Полине Христофоровне пропалывать грядки — был, значит, в возвышенном душевном настроении. Лис все еще что-то наговаривал, вращая подо лбом горячие, глянцевиые шары глаз, кивая носом, а старушки успокаивали его: одна, Цапля, совала ему в рот ложку с накапанным корвалолом, другая, Кукушечка, вытирала платочком его взмокшую лысину. Старушки не ладили меж собой, но сразу же, по-сестрински, объединялись, если надо было помочь захворавшему или, как вот сейчас, психически расстроенному Лису.

И как им ладить? Вернее, кто мог бы ладить, дружить с Цаплей, этим сухопарым, вымуштрованным солдатом в юбке? Для нее все, без различия полов, — рядовые, офицеры или генеральские чины. Цапля не ходит — вышагивает по-строевому, озирает видимое окружение хмуровато и подозрительно, словно выискивая, к чему бы придраться; знакомясь с кем-либо, непременно спрашивает, в каких войсках служил, где воевал. Кукушечка вышучивает ее: «Разве вы баба, вы прапор — «молчать, я вас заставлю говорить!» Служила Цапля больше при штабах, вышла на пенсию полковницей и пишет сейчас мемуары, так как повидала многих известных военачальников. Первую книгу уже издала, конечно, с помощью Буркало. Большой помощью. Пришлось искать для нее литературного обработчика, маститого, ибо «с орфографией и пунктуацией», как сказал этот литраб, «у полковницы такие же нелады, как у меня в любви с молоденькими девочками». Поупиралась немного Цапля, когда о гонораре Буркало заговорил, нет, не из жадности — по строгости военной, чтоб законно все, не выглядеть одураченной, — но пришлось полностью уступить гонорар: поняла — творчество дороже. А уж он сам разумно поделился с жохом обработчиком.

Напившись чаю, Кукушечка, румянощекая, обмахиваясь платочком, которым только что отирала лысину Лиса, плавными, бережными шажками направилась к себе в комнату — переждать на диванчике жаркие часы дня. Самое время навестить ее, ведь именно к ней Буркало приехал сегодня.

Но прежде надо несколько преобразиться: у Кукушеч-

ки какие-то приятные кавказские воспоминания, она ужасно радуется, когда видит Буркало усатым, и сперва смеется до колик в животе, а насмеявшись, делается створчивой, мягкой, хоть ватрушки из нее лепи. Буркало наклеивает черные мощные усы и кустистые брови, покрывает свой короткий ежик жестковолосым, с легкой проседью париком, идет через кухню, столовую, коридор в гости к Кукушечке.

Увидев его на пороге своей комнаты, она вскидывает пухлые руки, вроде бы чуточку пугаясь неожиданному появлению мужчины, но сразу же и радуется, предчувствуя веселые минуты для себя.

— Буркаладзе! Милый, дорогой, пришел?! А я вижу — машина ваша. Почему, думаю, мой Буркаладзе не приходит? Он ведь такой чуткий, обольстительный. Или нет? — Она виснет у него на плечах, целует в обе щеки, ловко увертываясь от усов. — Ах, какие усищи! Как у витязя в тигровой шкуре. Или нет? Были у витязя усы, а? — Она гладит мягкой ладонью жесткие волосы парика и искренне верит, что это настоящие волосы Буркало; именно сейчас верит, в минуты восторга, потому что ей хорошо известно — нет у него усов, таких бровей и шевелюры. — Садитесь, милый мужчина, вот сюда, рядышком со мной. — Она не выпускает его рук, поглаживает, холит их. — Ну, говори, говори, не болеешь? Может, в клинику устроить на обследование, ваш Органом подпитать? Или нет? Понимаю, вы по зимам обследуетесь. Лето — для удовольствия, зима — для здоровья, так? Хочешь рюмочку коньяку?

Буркало радостно улыбается, показывая Кукушечке завидно белый набор зубов, лучась глазами, и молчит. Говорить рано, Кукушечка ничего не слышит, пока сама не выговорится. И вообще она мало кого слушает. Читает лекции — ее слушают, дает консультации — ловят каждое ее слово. Такая вот она — и доктор, и профессор, и в заграничах бывает, и пенсионеркой стала только в шестьдесят лет, да и то по собственному настоянию, и здесь, на даче, не дали бы ей покоя, узнав, где она прячется, — такая вот она медицинская звезда. Одно, пожалуй, не удалось в жизни Кукушечке — не свила семейного гнезда, прокуковала весело свои молодые годы, занимаясь наукой и содержательной жизнью. Но сохранилась удивительно, будто эликсир молодости для себя изобрела. Выведать бы у нее. И женщина вполне еще. Даже тертый, ученый всяческой жизнью Буркало чуть не по-

пал к ней в любовники, едва усидел вот на этом диване. Натренированная воля спасла, жесткое правило тоже: или дело, или любовь! А пофлиртовать, потешить неустаревшие чувства Кукушечки — пожалуйста. Он поглаживает ее плечо, вздыхает сладостно и тяжело, как бы немо говоря: вполне твой, видишь, едва удерживаюсь от объятий, но... есть причина, важная, тайная и пока недолимая, подожди немного, авось уладится все в нашу пользу.

— Ну, ну, — соглашается Кукушечка, в тон ему вздыхая. — Тогда расскажи что-нибудь, Буркаладзе, смешное, анекдот, а? Или нет?

— Коммерческий?

— Какой хочешь.

— Надпись на могильной плите: «Спи спокойно, дорогой товарищ, факты не подтвердились...»

Кукушечка замирает на минуту с перехваченным дыханием, затем падает к спинке дивана, запрокидывает голову, бьется в неуправляемый беззвучный смех. Буркало настороженно следит за нею: ведь и умереть может эта впечатлительная особа от нечеловеческого хохота. Когда-нибудь такое непременно случится. Одно хорошо — легко, весело переместится Кукушечка в потусторонний мир. Даже минует ту жуткую скважину, трубу или тоннель, которые вроде бы проходит душа всякого умершего, покинув брэнное тело. Наконец, промокнув влажные глаза платочком, Кукушечка быстро протягивает руку к окну.

— Смотри, смотри! Кларка играет с Бобби, а он — точно как ты, жмурится и полеживает на травке. Или нет? Ну я задам этому лентяюге!

Четкая рама окна словно бы вычерчивала из всего наружного пространства часть крыльца, кусты сирени и лужайку с двумя таксами — менее породистым Бобби и более породистой Кларой, которая, одолевая свою затаенную жесткость, прямо-таки танцевала перед Бобби, вскидывалась, припадала к земле, тыкалась носом в его нос — посмотри же, какой у меня живот, там столько твоих хороших щенят! Бобби, едва повиливая хвостом, сонновато щурился, а то и отпугивал Клару рыком, не понимая ее радости, видя ее неуклюжей и бесполезной.

Пес был любимчиком Кукушечки, купила она его за какую-то большую сумму, не ведая, что нагло обманута, просила, настаивала, чтобы у Клары щенята плодились только от него, и Буркало приходилось сбывать беспород-

ный приплод через нетрезвых собачьих перекупщиков.

— Какой ему интерес в ней сейчас? — сказал Буркало, посмеиваясь в яркое окно. — Лезет, дуреха, когда не нужна.

— Вы, может, на меня намекаете, Буркаладзе? Или нет? Если на меня — зарезу немедленно скальпелем и сама повешусь. Да!

Он стал божиться, прикладывая руку к сердцу, что нет, нет и нет, но эту свою оплошность испытал лишь тем, что уселся за стол, покрытый дорогой французской скатертью, выпил дорогого «Наполеона», закусил не менее дорогими черной икрой, семужкой красной, карбонатом мраморного оттенка. Конечно, смакуя все, нахваливая щедрую хозяйку.

Кукушечка вознамерилась выгрузить из личного холодильника и другие деликатесы отечественного и зарубежного производства, но Буркало, проявив «кавказскую» твердость характера, сурово поднялся и прямо сказал, за чем пожаловал в гости.

— Санаторий надо? Ну, я же сразу догадалась, милый. Или нет? В какой хочешь?

— Хороший.

— Позвоню. Попрошу для своего Буркаладзе.

И опять были поцелуи, вздохи, всхлипы и слова, слова... Все выдержал Буркало. Чего не сделаешь ради собственного здоровья? Зато уж мчался домой с таким ветерком и облегчением, что в одном месте, где-то на Кутузовском, едва не протаранил красный сигнал светофора.

Черную «Волгу» с интеллигентным седоком не задержали.

4

Раз в неделю Буркало ездил на свидание.

Неподалеку от входа в Измайловский парк он оставил машину, сидел, ожидая, минут пять — десять, затем видел — позади, легонько притормозив, возникали из сутолоки людского и машинного движения белые «Жигули», останавливались вблизи его «Волги». Так повторялось каждую пятницу, без малейших изменений.

И сегодня Буркало, неспешно выйдя из машины, размеренно отпечатал несколько шагов к «Жигулям», отворил дверцу; поклонившись выпорхнувшей на волю круп-

ной брюнетке, он сказал с басовитым рокотком в голосе:

— Здравия желаю, Вероника Олеговна!

— О, мой генерал, этого же и вам! Вы, как всегда, бодры и элегантны!

Он берет молодую женщину под руку, и они, поигрывая первыми случайными, ничего не означающими словами, идут в парк примечательной для публики парой: она — в удлиненном строговатом платье-кимоно из японского шелка, он — в генеральской форме.

Да, в генеральской, с обязательным набором орденских колодок, чуть видимой сединой висков под новенькой раззолоченной фуражкой, короткими усами «щеточкой»; щегольски опрятный, этакий молодежавый генерал-майор, явно не фронтового поколения, некой особой выслуги и потому вдвойне загадочный.

Так уж получилось: случайно познакомившись с Вероникой Олеговной на Центральном рынке и узнав, что она генеральская вдова, Буркало немедленно назвался генералом — по внутреннему наитию, многоопытному подсказу: «Не упusti роскошную даму, как-нибудь выкрутишься, вдруг она мечта и судьба твоей жизни!» Посуетился потом Буркало, добывая мундир, генеральские регалии, тренируясь в осанке, военной лексике. Чего не сделаешь ради личного счастья! Зато теперь вполне свободно чувствует себя не только с Вероникой Олеговной — публики не стесняется, любой генерал примет его за служаку равного, но генералов, понятно, лучше на «Волге» объезжать.

Они ушли подальше от детских площадок и аттракционов, сели на свою скамейку под липами — подышать, поговорить. И было о чем.

В последнюю встречу, неделю назад, Буркало предложил Веронике Олеговне, как выражались прежде, руку и сердце, не забыв разъяснить: «Руку — для опоры, сердце — для любви». Обычно безунынная молодая генеральша сразу приутихла, даже погрустнела: ее маленькое округлое личико потеряло румянец и вроде бы вытянулось безвольно, ее обтекаемое тело русалки («сверхженственное», по определению Буркало) вдруг расслабилось, точно Веронику Олеговну из свежей воды бассейна выплеснули на теплый воздух. Она ничего не сказала, поднялась, молча пошла из парка, села в «Жигули», медленно поехала. Буркало долго сопровождал ее на «Волге»: две машины, черная и белая, почти впритык неразлучно и невесело катились по столичным улицам. Лишь у своего

высотного дома, подворачивая к стоянке, Вероника Олеговна вскинула ладошку, едва заметно улыбнулась ему. Буркало понял это как просьбу подождать ответа.

И вот она опять весела, рассказывает смешную историю, приключившуюся по вине ее восьмидесятилетней бабушки, бывшей актрисы:

— Понимаете, Буркалаев, бабушка называла нашего швейцара каждый раз другими фамилиями, именами и отчествами, и все из пьес Островского, в которых она играла многих героинь, даже Кручинину, ну и Кабаниху тоже, когда постарела. А швейцар еще старше ее, служил когда-то половым, стал обижаться, написал жалобу на бабушку — умышленно, мол, оскорбляет его. Разбирался участковый, предупредил бабушку, а она опять ошиблась, назвала старика Шмыгой, потому что перед этим «Без вины виноватые» по телевизору смотрела. Представляете, не вынес швейцар, уволился.

Вероника Олеговна беззвучно смеется, притеняя длинными ресницами карие влажные яблоки глаз. Похихикивает и Буркало, но по другой причине. Чуть коснувшись руки Вероники Олеговны, лежащей на колене, туго обтянутом платьем, он восклицает:

— Совпадение! Наша консьержка тоже ушла. Говорит: не могу жить в одном доме с генералом!

Перестав смеяться, Вероника Олеговна с обидчивым недоверием оглядывала Буркало, а он не мог удержаться от веселья, припоминая, как напугал дежурную по подъезду Архипову. В тот день он впервые нарядился генералом и решил немедленно проверить, внушительно ли смотрится со стороны, накинул поверх мундира плащ, спустился в подъезд (было самое тихое, послеобеденное время), подошел сзади к дремавшей у стола Архиповой, кашлянул и сбросил плащ; очнувшаяся старуха увидела перед собой генерала в полной парадной форме, но... с личностью Буркало. «Батюшки, да это же мне мерещится, черти дурют!» — зашептала старуха, крестя себя и генерала. А Буркало вынул бутафорский пистолет, стукнул им по столу, рывкнул: «Чтоб честь отдавала согласно рангу и чину!» Прикрылся плащом и уехал на свой этаж. Через три дня Архипова исчезла, отказалась служить в доме, «где черти в генералов обращаются». Наговорила, конечно, всем и всякое. Теперь не могут найти замены, даже пенсионеры-фронтовики отказываются.

— Бурр! — хохочет Буркало. — Не понимают люди шуток, скучно живут! — Но замечает наконец, что его

соседка внезапно погрузилась, даже кончики девически свежих губ у нее привяли, словно бы водоем русалки начали понемногу осушать, и Буркало, вскочив, вытянувшись «во фронт», скомандовал себе (и тем, кто заведовал «водоемом»): — Отставить! Если дама генерала в печали, генерал объявит войну всему человечеству или... или упадет пред нею на колени. Приказывайте, Вероника Олеговна!

Буркало тянется к ее руке, чтобы поцеловать кончики пальцев — от них всегда будто некий ток исходил, и утоляющее тепло обычно пронизывало его (о, биополе у этой женщины наисильнейшее, она не ведала своей исключительности!), — но Вероника Олеговна отдергивает руку, сощуренно, остро, долго смотрит на Буркало, ловя его ускользящие глаза непонятого, серо-коричневого, а может, желтоватого цвета, медленно выговаривает слова:

— Буркалаев... я... вам... не... верю...

— Одобряю, Вероника Олеговна. Женщина не должна верить, особенно такая, как вы. Пусть мужчина заставит поверить.

— ...не верю, что вы генерал.

— Молодой, да? Не воевал? А для способного всегда война найдется. Особая.

— Вы обманываете меня.

На мгновение Буркало пронзил иной ток — зябкой растерянности, однако мощная энергия его тела подавила все иные психические и нервные ощущения, и он с почти искренней обидой и вполне искренним волнением заговорил:

— Милая женщина, мы знакомы уже больше трех месяцев, а руки вашей коснулся я только четвертого июня, при шестой встрече, помните, мы ужинали в ресторане «Седьмое небо», тогда вы первый раз поднялись на Останкинскую телебашню. В «Арбате» двадцать девятого июня вы позволили поцеловать вас в щеку. В «Руси» взяли на память сувенир — золотую цепочку с медальоном «Овен», вашим знаком зодиака. В Царицынском парке у пруда, перед резным деревянным мостиком, помните, девятого июля, вы сказали, что я вам нравлюсь. А девятнадцатого августа вы пригласили меня к себе домой и приняли от меня букет, о котором сказали: «Так ведь здесь миллион алых роз!» — и познакомили со своей умницей бабушкой и симпатичной мамой, мы пили шампанское, «новосветское коллекционное», слушали рок-музыку, и вы... вы, провожая меня до лифта, по-

целовали в губы. Теперь скажите, милая женщина, вы встречались, проводили время, целовались с мундиром генерала или с человеком?

Буркало зашагал вдоль скамейки, круто разворачиваясь и глядя себе под ноги, унимая самое настоящее возмущение, от которого непривычно ощутилось сердце в левой стороне груди и глаза заплыли горячим влажным туманцем.

Вероника Олеговна молчала, не то оглушенная речью Буркало, не то вовсе не слыша его, занемело глядела в зеленую сумеречь парка, где вдали, на освещенной солнцем аллее, бегали и, казалось, немо кричали дети. Лишь спустя несколько минут она еле слышно, точно для самой себя, вымолвила:

— Я любила мужа.

Едва не выругался Буркало, услышав это признание, но интеллигентно сдержал себя, ускорив шаги. Душа его кипела и негодовала, он даже пощупал пульс на левом запястье — не менее ста биений. «Дура генеральская! Допустим, невозможно сильно любила — так и ложилась бы с ним в гроб двуспальный. Небось жить осталась, по всему видно — жизнь красивую больше любила, чем своего почившего старика. Да и кто поверит в твою эту возвышенную любовь? Тебе двадцать семь, ему — шестьдесят шесть, познакомились в бассейне «Москва», куда генерал приезжал закалять дряхлеющее тело, а ты там детишек тренировала, к этому времени разведясь с мужем, тоже бывшим пловцом и каким-то чемпионом (сама шутила: «Пара была брасс-баттерфляйская»). Сошлись вполне на разумной основе: генералу — спортивная молодка для тонуса, молодке — генеральские деньги, квартира, дача. Кто осудит? Не каждому же на БАМе добывать свое счастье. Ну, повозмущалась, конечно, старушка генеральша, однако утешилась пенсионом и внуками. Словом, жизнь налицо, полнокровная, со всеми вытекающими из нее последствиями. Блага — как влага: столько перепадет, сколько выжмешь. Не любишь жить — не живи. И наоборот. Но правду жизни признавай, вокруг правды хвостом не верти. Хочешь, настаиваешь — пожалуйста, поверю, что до смерти любила генерала (до его смерти, ха!), почему не поиграть такой русалке, не поплескаться в теплой водичке красивых чувств. Поддержу, сам играю для пользы и разнообразия. Однако согласимся с народной мудростью, той, что популярно учит: дело — время, потехе — час. И займемся сперва делом.

Узаконим брак, после которого вместе посмеемся над моим генеральским мундиром, переселим твоих бабулю и мамулю в мою двухкомнатную, — Буркало-Буркалаеву ужасно хочется пожить в каменной высотной громаде исторического значения, — а на уютной даче устроим второй пансионат для полезных выдающихся старичков. Как? Доходит? Ты ведь экстрасенсорка, только сама этого не знаешь. Я раскрою твои способности, людей исцелять будем, прославимся на всю страну. Миллион заработаем, твой генерал в дубовом гробу от зависти закричит (он ведь и не догадывался, что был уловлен твоим биополем). А там... люби или не люби, сбежать можешь, дьявол с тобой, если кого шибко уж полюбишь. Главное, дело будет, сделано. Люди умирают — дело живет. Ну и это не последнее — ты женщина редкостной породы. Детишек пару-тройку произведем, по согласию, конечно. Высшей расы. Облагородим род человеческий. А то — любовь, любовь... от нее и детей не бывает, для баловства она, правильное в народе к ней отношение. Пустышкой жила со своим бросовым «брассом», а потом дряхлым генералом. Все у меня. И я уже не сержусь на тебя, своей речью себя успокоил, и за «дуру генеральскую» прости, потому что вижу: ты поняла, прочитала мои мысли, их поглотило твое биополе. И смотришь веселее, и чуть улыбнулась мне, вокруг тебя опять разливается прохладная вода безбрежного бассейна жизни. Говори!»

— Вы талантливый негодяй, Буркалаев, — сказала Вероника Олеговна, незло усмехаясь. — Советую разжаловаться в рядовые, немедленно оставить меня и... и не попадайтесь мне на глаза, даже в своем черном автомобиле. Не то... знаете, кто вами займется?

— Бур-ла-ла! Как это нехорошо!

— Если еще пробурчите хоть одно слово... — Вероника Олеговна зорко и спокойно поглядела вдаль: на освещенной солнцем аллее, где недавно бегали дети, прохаживался, точно вызванный ею, рослый милиционер. — Я вам простила, поняли? Сама не знаю почему. Может, жаль первых дней нашего знакомства. Может, в сверхнахальстве какая-то сила есть, и оно неуязвимо пока... Уходите!

Буркало как шел вдоль скамьи, так и зашагал дальше не оглядываясь, в противоположную от милиционера сторону, прибито сутулясь, ощущая затылком, всей спиной, усмешливые взгляды Вероники Олеговны, и находчи-

во юркнул в первую же поперечную аллею, по которой едва не вприпрыжку, забыв о своей генеральской форме, выметнулся из парка, завел «Волгу», прикрылся плащом, вырулил на улицу и спасенно ринулся в автомобильный поток. Лишь у стеклянных башен измайловской олимпийской гостиницы он выпрямил спину, уравнивал кое-как дыхание, огляделся — не катят ли где поблизости белые «Жигули»? — выругался, мучительно одолевая гложущий стыд унижения:

— Стерва! Что-то разузнала, затаилась, «мой генерал» — встретила... А я... нет, ты, ты, надо говорить себе! Ты, Буркало, ты на кого был похож? Алкаш из пивбара достойнее уходит, когда его пустой кружкой по физиономии двинут. Не мог пару веских слов оставить на память коварной вдовушке, одурачившей генерала, обобравшей его семейство. Кого испугался? Да у тебя все в порядке, по закону. А мундир — шутка, друг из киностудии одолжил, так бы и сказал ей, расхохотавшись: мол, поиграл липовый генерал с генеральской вдовушкой. Пусть бы себя считала одураченной. Ах, черт! Первый раз со мною такое. Всякое бывало, понятно, и улепетывать при случае приходилось, но так... Я ведь это сразу заметил, нет чтобы насторожиться. Хорошо, хоть местожительство свое не показал, неспешность моя уберегла меня.

К дому Буркало подъехал почти успокоенным. И пока ставил машину в гараж, включал сигнализацию, заперал ворота, шел мимо приветливых старушек-скамеечниц, будто всегда тех же самых и нестареющих, — обрел прежнюю невозмутимость, а с нею трезвые суждения и мог уже сказать себе со вздохом: «Все-таки, все-таки редкую женщину потерял — как ценная часть жизни с нею пропала! Не судьба, значит». Но сразу и примирился, утешив себя шуткой одного своего приятеля: «Судьба не женщина, дважды ее не используешь».

5

После рюмки «посольской» водки, легкой закуски из икры, сырокопченой колбасы, осетрового балычка и двух чашек крепкого кофе на десерт Буркало захотелось «повторить» — так он называл свое особое художественно-живописное увлечение. Нарядившись в свободную полотняную блузу, прикрыв беретом с помпоном голову, он

прошел в кабинет, предовольно оглядев книжные стеллажи, почти сплошь занявшие стены просторной квадратной комнаты. Да, стеллажи и книги, но... рисованные. Масляными красками. Рельефно. Неотличимо от настоящих книг.

Пожалуйста, осмотрим для примера собрания сочинений классиков: десятитомник Пушкина — в красновато-вишневом переплете, с точным воспроизведением рисунка на корешках; салатно-зеленоватый Гоголь; под серую кожу Достоевский; опять же красноватый, но гуще, с паточным отливом четырехтомник Даля; шевроновый Толстой; медово-желтый Альфонс Доде... А как Буркало сотворил «Библиотеку всемирной литературы» — двести томов, один к одному, вескими кирпичиками стоят, каждый хочется пальцем потрогать! И подходи, трогай — вряд ли догадаешься, что рисованные; конечно, если выковыривать станешь, да и то покажется — слишком плотно напичканы. А эта библиотека всемирная в букинистических магазинах за три с половиной тысячи продается. Покупают отдельные личности. Ненормальные. Или не знают, как деньги выгодно потратить, или интеллигентность замучила: дома, можно сказать, пол-автомобиля на полках пылится, а ему ноги в метро оттаптывают.

Рассуждения эти, естественно, всего лишь «по поводу». Главное же для Буркало — творчество. Вдохновение. Пусть кто попробует так гениально воссоздать стеллажно-книжный интерьер. Каждая доска полочная живым деревом светится!

Берет он палитру, выдавливает на нее краски, смешивает их кистью, подбирая нужные тона, и запах олифы, предчувствие самозабвенной работы делают его счастливейшим на всей многолюдной планете. Буркало рисует трехтомник Василия Жуковского, изданный к двухсотлетию со дня рождения поэта, теперь, говорят, окончательно признанного великим. Великих, понятно, надо уважать. И единым штришком не исказить. Образец, взятый из районной библиотеки, перед Буркало на мольберте — светло-фиолетовый томик оттенка зреющего баклажана нравится ему: и классик еще один будет, и в интерьере фиолетового цвета прибавится.

Буркало, однако, не только мастерски копирует, порой и фантазии дает разгуляться — сам придумывает оформление для некоторых второстепенных писателей, как бы издавая их на свой вкус и по своей воле. Герберт Уэллс, например, весь в серебряных космических

трассах и метеоритах на аспидной черноте (знатоки удивляются — не видели такой библиографической редкости), Мельников-Печерский — бело-кружевной и колюче темно-елочный... Зато уж Брокгауз и Ефрон у него натуральные, можно сказать, тут Буркало поступился творчеством ради величия этих энциклопедистов, хоть и едва удержимым был соблазн посоревноваться с оригиналом, — просто наклеил кожаные потертые корешки внушительных томов на стену в нужном, почетном месте интерьера. Корешки продал ему один книжный жучок из букинистического магазина; срезал, подлец, и еще подхихкинул: мол, Брокгауза да с Ефроном вместе ободранных купят. Купили, конечно, трех дней не минуло.

Имелись у Буркало и настоящие книги, он приобретал различные справочники по лечебным травам, альбомы зарубежные, детективы дефицитные, выписывал «Крокодил» и «Вечернюю Москву». Издания эти лежали стопками на полу, как малоценные, непоместившиеся среди серьезных. А край его кабинетного стола был загружен отдельными томами известных современных авторов, и книги живо, естественно сочетались с теми, что на стеллажах, словно бы недавно снятые оттуда. Иллюзия полная, видимость реальная. Свой кабинет Буркало считал шедевром современного стиля.

Он вдохновенно дорисовывал третий том Жуковского, когда залаяла Клара, выбежала в прихожую, вскинулась лапами на дверь и заскулила, виляя хвостом: значит, кто-то свой припожаловал. Веря собаке, Буркало не глянул в глазок, отщелкнул три мощных замка с секретами, распахнул гостеприимно дверь и увидел Капитолину, смущенно теребившую кончики капронового платка, подаренного ей на день рождения Буркало. Она вымолвила, потупляя глаза:

— Извините... Я просто так... Сижу и думаю: надо пойти к вам... будто вы зовете меня.

— Одобряю, Капочка, сердце твое — вещун! Денек у меня был тяжеленький сегодня, я и вспомнил тебя: пришла бы Капа, что ли, утешила, примирила своего возлюбленного с жестокосердным человечеством. Ну, раздайся, давай-ка я тебя поцелую в губки. Вот и зацвела, как розочка. Бутоны ты мой с огородной грядки!

Поняв, что нужна и ожидаема, Капитолина расторопно, уже не стесняясь, сняла легонький плащик, туфли, босиком прошла на кухню, выложила из сумки сладкий сырок с изюмом и два песочных пирожных, любимых

Буркало. Спросила, сияя серенькими, мокрыми от недавнего волнения глазами:

— Что прикажет приготовить мой господин Буркалетдинов?

Капитолина была наполовину татарка, и Буркало придал своей фамилии татарское звучание. Какая разница? Кто без подмеса на круглой Земле? А девушке приятно, она нежно и с удовольствием называет его только по фамилии. Удивительное существо Капитолина — негаданный подарок ему от милостивой судьбы. Познакомились они и не придумаешь как необычно, хоть сюжет для кино продавай: на ветеринарном пункте, куда Капитолина привезла жирного кота Барсика, а Буркало — Клару. Он предложил ей проехаться в машине, она из благодарности позвала его на чашку чая (вполне вероятно, надеясь, что он откажется), но Буркало умеет ловить ценные мгновения жизни, и Капитолине пришлось знакомить его со своей девяностолетней двоюродной бабушкой, которая вызвала ее из волжской деревни в столицу, прописала на свою однокомнатную жилплощадь как опекуншу. Старуха оказалась сущей ягой, служила когда-то давно надзирательницей в Бутырской тюрьме, до сих пор в каждом видит уголовника, и все шипела на Буркало, ядовито-желто, по-кошачьи зыряка, а потом спросила: «Ты давно освободился?» Он со смешком ответил, что вообще не сживал. Старуха будто не услышала этих его слов, прошепелявила: «Надо бы еще тебя подержать годочков с пяток». Вспотев от чая и такой «содержательной» беседы, Буркало, наскоро простившись, выметнулся из сумрачной квартиры, заставленной комодами, цветками в горшках, пропахшей кошачьим духом. Но о «ценном мгновении» помнил, телефон записал и утром следующего дня позвонил Капитолине...

— Ничего готовить не надо, — сказал восхищенный Буркало. — Ты мне себя приготовила. — Он обнял Капитолину, привычно и нетерпеливо тиская ее маленькое упругое тело, словно проверяя, в прежнем ли оно порядке, повлек Капитолину в гостиную, бывшую у него и спальней.

Девушка шла, чуть упираясь, с опасливо занемевшими глазами, вздрагивающими кончиками забыто приоткрытых губ: она любила Буркалетдинова, но побаивалась его в постели, он делался просто яростным и так наламывал ее, что после его ласк ей надо было не менее получаса лежать неподвижно, как бы по косточкам и час-

тичкам соединяя себя, распавшуюся. Она понимала: Буркалетдинову нравится даже ее неловкое изнеможение — и, не зная чего-либо интимного о других женщинах, тепела, все позволяя своему первому мужчине.

Спустя какое-то время — Капитолине казалось, долгое — она лежала, мутно глядя в обитый некрашеными плашками потолок, улавливая взглядом коричневый большой сук, мнившийся ей глазом отца, колхозного механизатора, добрым глазом, вовсе не осуждающим ее, а просто грустным: отец хотел сына и не хотел, чтобы Капитолина ехала в Москву. И еще будто бы она слышала его тихий, прокуренный дешевыми сигаретами голос: «Раз уродилась девкой да из дому убежала — всякого натерпишься». Капитолина работала приемщицей белья в бытовом комбинате, видела, с какими ухажерами пивбарными дружат кое-какие девушки, приятельницы по комбинату, и Буркалетдинов был для нее выдающимся человеком, истинным интеллигентом, хотя она не знала, чем именно он занимается и сколько ему лет. «Сорок, наверное, пожилой, — рассуждала Капитолина, все более обретая свою утерянную цельность, — и не женится на мне, конечно, что я ему — бывшая доярочка, раз в неделю квартиру убираю, пятерку платит, стыдно, а беру — умеет внушить, подчиняюсь... С ним город узнала. И не уйду пока. Главное — не забеременею, он умный, знает, как уберечься». Правда, постыдны для нее эти убережения, но он говорит — так и другие делают, в постели ничего стыдиться не надо, книжку французскую давал читать...

— Капа, Капка! — наконец пробился к ней голос Буркалетдинова. — Начисто отключается. Ну чувствительная! Ну бабенка со временем вызреет! Жалко в люди отпускать — дураку какому-нибудь достанешься!

— Вы радуетесь?

— Радуюсь и печалюсь. И спросить хочу: ты читала «Похождения бравого солдата Швейка»?

— Не проходили по литературе.

— Зато Швейк все прошел. Знаешь, почему он с господ офицеров за необразованных девиц дороже брал? Нет, понятно. Простые больше удовольствия доставляют.

— У меня десять классов...

— И одиннадцатая — ферма с коровками. Но ты — бутон, я же сказал. Расцветешь — кандидаты наук за тобой набегают. Вставай, оформляйся, давай примем по рюмочке, восстановим потраченные на удовольствие си-

лы. Загадка природы человек — на все силы свои драгоценные тратит. На вкусную еду даже. Теперешний человек гибнет не за металл, а потому, что лишнее в себя заметал. Бур-ла-ла! Какой я остроумный. Ну, бегом в ванну, красотка, а я приготовлю а-ля фушет.

Настроение у Буркало, облегченного положительными эмоциями, было возвышенное, вдохновенное, он начисто позабыл о генеральской вдове, ибо счел себя, вполне убежденно уже, глупо обиженным ею: ведь хотел угодить, понравиться, потрясти своей исключительностью. Буркало не любил, чтобы его не любили или хотя бы не уважали. Он, например, сумел подружиться даже с двоюродной бабкой Капитолины, потихоньку угощая наглого Барсика валерьянкой; вытащит пузырек, накапает на пол, кот лижет, трется возле его ног, выпрашивает еще, а потом свалится, опьянев, и вальяжно помахивает хвостом, сонно мурлычет. Старуха долго не верила этой нежной привязанности нелюдимого Барсика, слепо присматривалась, тупо приноживалась, наконец сказала Буркало: «Знать, на пользу пошла тебе отсидка, Барсик только шибко честных жалует, сам лучше любого человека». Правда, какое-то время спустя прибавила: «Поправить бы тебя надо еще, шибко глаза бегучие». Но это лишь рассмешило его и Капитолину, которую он мог обнимать и целовать при неприступной, казалось ранее, родственнице: яга была сломлена морально и умственно.

Он делал бутерброды, открывал банки, украшал блюда зеленью, все поторапливая Капитолину:

— Скоро ты, доярочка молочно-парная? Коньячок прокиснет!

А Капитолине нравилась просторная голубая ванна, в ней столько нежной воды, что можно было лежать на спине, не касаясь краев, и вообще — вся ванная комната сияла, как в заграничном кинофильме, цветным кафелем, никелем, эмалью, а в зеркале смотри себя хоть во весь рост. Здесь Капитолина восстанавливалась и чувствовала себя девчонкой, только что приехавшей из деревни.

Проходя мимо кабинета, она глянула в открытую дверь, прочла знакомый плакатик на стеллаже: «В доме без книг, как без окон, темно. Пословица», заметила недорисованный том Жуковского, сказала:

— Смотрите, Буркалетдинов, у вас одна книга снизу порвана.

Буркало умиленно простонал, не будучи в состоянии

расхохотаться — таким восторгом переполнилась его душа: Капитолина не подозревала, что вся библиотека нарисована! Это не просто утверждался его редкий талант, это признавалась его гениальность.

— Починим, Капочка, источник знаний. Книга — не человек. Человеку лучше не жить, чем капитально ремонтироваться. Значит, лечись смолоду. И учись жить с пеленок, а то дураком помрешь.

В гостиной Капитолина занемела от удивления: на ковре, около расстеленной, уставленной тарелками ска-терти, величаво восседал человек в азиатском халате, с тонкими, хищно свисающими усами, жиденькой бородкой, раскосый, с бровями, стрелами взлетающими к вискам. Он властно повел рукой, указывая ей место напротив себя, сказал голосом Буркалетдинова:

— Мы приглашаем тебя откусать с нами.

— Ой, вы на кого-то очень похожи!

— На Чингисхана.

— Точно!

— Вот и подгибай ножки, садись за ханский дастархан, сегодня ты первая жена в его гареме.

— Как вам удастся так изменяться?

— Чтоб собой оставаться.

— Вам бы на коня...

— Мне бы с ордой хорошей по Европе погулять. Ха-ха и бурр-ла-ла!

Они смеялись, ели. Но пили мало, это Капитолине нравилось: ее господин был не похож на многих других, безразборно потребляющих, знал норму: «Не допивая, больше выпьешь». Потом он сказал, что современные ханы любят эстрадную музыку, и поставил диск с Челентано. Аппаратурка у него импортная — стерео, видео, квадро. Вся гостиная из дорогой красной мебели, одна люстра хрустальная — тысяча рублей. В ценных вещах Капитолина уже разбиралась. Буркалетдинов умел интересно рассказать даже о своей французской зубной электротщетке.

— Почему задумалась, Капитолина-ханум? «Меравильозо» — прекрасно поет итальянец. А знаешь, что такое «аморэ»? Любовь. Везде любовь, во всех народах. Один умный классик сказал: человечество спасается любовью и красотой. Ты красивая и любишь меня. Я спасен...

— До новой любви?.. — спросила, испугавшись своей смелости, Капитолина.

— Любовь всегда новая, — не заметил ее смущения Буркалетдинов. — Старыми бывают люди. Вот твоя двоюродная бабка всегда была старая. Она бы все человечество за решетку засадила и стерегла со своим подлым Барсиком. Яга и вправду его выхолостила?

— Чтоб не бегал, всегда около нее был.

— Да. А тебя гоняет каждое утро за свежей речной рыбкой и телятинкой для него. Эх, люди! Ради своего пещерного удовольствия самих себя выхолостят.

У Буркалетдинова слегка увлажнились подглазья от искреннего огорчения, и черная тушь чуть расплылась, уменьшив раскосость глаз; он пригубил рюмку с коньяком, так, на один мизерный глоток, чтобы притупить нервы; повздыхал, ласково оглядывая Капитолину в легоньком ситцевом платье, босоногую, с тонкой ниткой стеклянных бус на шее.

— Приодеть бы тебя надо. У твоей бабули деньги есть, но не даст — Барсику отпишет. Когда умрет, под матрацем у нее завещание найдешь... Сразу опекуницей кота запишись. Потом мы его придушим.

— Жалко, живой же.

— Ну, какой-нибудь змей-горыныч тоже живой, так и его пожалеть, чтоб людей глотал?

Капитолина промолчала — Буркалетдинов знал много всего и разного, и она стеснялась своей деревенской темноты, хотя и замечала все чаще: говорит хорошо, а делает, как ему лучше.

Ее школьные познания казались ей ни на что не пригодными, но все же она спросила Буркалетдинова однажды — не поступить ли ей в торговый техникум? Рассмеялся, ответил: «Поступай да еще за студента замуж выйди, комсомольская свадьба, ребеночек через девять месяцев, выяснение отношений — кому пеленки стирать и тэ пэ». Капитолина не поняла его толком, однако догадалась — не советует, не хочет ее отпустить. И сама, поразмыслив, решила: работать в бытовом комбинате, за бабкой ухаживать, учиться — не справится. Может, женится на ней Буркалетдинов? Ведь она вся для него. Она была бы такой женой, каких теперь не бывает: послушницей при господине. А если... если прямо сказать ему?

— Капитолина! — услышала она выкрик Буркалетдинова. — Ты опять задумалась? У тебя даже мордашка перекосилась, как у спортсменки на дистанции. Женщинам вредны всякие перенапряжения, кроме любовных. Впрочем, мужчинам тоже. Глянь на часы — без пяти

четыре. Время моего послеобеденного отдыха. — Буркалетдинов легко вскочил, заторопился в ванную снимать, смывать все «чингисхановское». — Не могу нарушать режим, врачи запрещают. Быстренько убери посуду!

Перебив, протерев тарелки и чашки, прибрав в кухне, Капитолина на цыпочках, слыша сочное похрапывание Буркалетдинова, вышла из квартиры и осторожно примкнула дверь.

6

Буркало, пощелкивая изящной ореховой тростью, идет сосновой аллеей санатория, дышит, сонновато оглядывает декоративные насаждения вдоль газонов, щедро обласканные полуденным солнцем, — совершает свою обычную послеобеденную прогулку: он убогостворенно спокоен, с наслаждением ощущает, как тепло перевариваемой пищи растворяется по всему молодому телу, даже кончики пальцев на рукояти трости приятно немеют от сытости. Буркало, конечно, получил отдельную комнату в тихом коттедже, у пруда, там и «Волгу» поставил напротив окна, под старой широкой елью. Утрами, босиком сбежав к пруду, он прыгает в студеную воду... Бурр! — удовольствие неопишваемое!

Его догоняет лысый костистый старичок с заложенными за спину руками, страдающий, вероятно, хроническим остеохондрозом, вскидывает седобородую юркую головенку, явно желая поговорить о политике, но для начала вежливо осведомляется:

— Не скажете, который час?

— Не скажу, — отвечает Буркало, слегка кося глаз на старичка и не нарушая четкости легких шагов: цок-цок — отсчитывает трость. — Зачем мне часы? Имею в виду здесь, в санатории? Живу биологическими ритмами Органома: прием пищи, процедуры, прочие мероприятия. На природе останавливаю часы. Расслабляюсь. И вам того желаю.

— А время, время... — подскакивает как припеченный в пятки старичок, забегает вперед, распалаясь полемическим задором. — Время везде идет! Надо шире смотреть!

— Лучше глубже, чем шире, — говорит леновато Буркало.

— Ядерная война, можно сказать, назревает! — вы-

крикивает старичок, суетясь около Буркало, как мелкое суденышко у борта океанского корабля.

— Назревать может только фурункул. Имейте в виду: один нервный дедок помер от фурункула.

— Как вы смотрите на Рейгана? — не позволил себе вникнуть в пустяковый ответ старичок.

— Кто такой?

— Президент американский.

— У меня хороший знакомый был, Севка Дрейган, закройщик из ателье «Силуэт», умный парень, глубоко смотрел. Может, он выбился в президенты?

— Шутите? — старичок, не веря услышанному, опять вырвался вперед и, пятясь, оглядывал Буркало горящими нездоровой краснотой глазами.

— Зачем шутить? Президентом всякий может быть, по бумажке речи зачитывать. А вот костюмчик приличный сшить редко кто умеет. Гляньте на мой — летний, спортивного покроя; что вид, что качество... То-то же!

— Да, костюмчик... — сбился на минуту старичок. — Но обстановка, извините, сверхсерьезная: человечество на грани ядерной катастрофы.

— Похоже, Севкины делишки. Как-то развивал свои мысли: если б мне в президенты — напугал бы так прогрессивное человечество, чтоб только борьбой за мир и занималось. И вело себя прилично. Никаких забастовок, поиска колбасных изделий.

— Да вы издеваетесь, гражданин, это... это оскорбительно, вынужден прямо заявить вам! — старичок в перевозбуждении цепко схватил Буркало за рукав пиджака. — Я — личность, с именем, наградами...

— Ну подержись и успокойся, — разрешил Буркало, — навязался и психуешь... Хотя один знакомый мне рассказывал: сильно перенервничал — от радикулита излечился. Он, понимаете, в своем «жигуленке» перевернулся, пролежал вверх колесами часа полтора, вытащили, рванул в город и до сих пор бегаёт, никаких ущемлений седалищного нерва. Но это когда сильное потрясение, да в среднем возрасте. Вам советую принимать буркалиум — состав из лечебных трав, по моему личному рецепту. Успокаивает, укрепляет, тонизирует.

Старичок фыркнул как-то по-кроличьи, сторбился и упрыгал вперед, толкнув двух пожилых женщин и едва не врезавшись в живот тучного парня с одутловатым лицом.

Буркало покрутил головой, искренне сочувствуя ста-

ричку: «Приехал лечиться, гнутый, кореженный, душе в исхудалом тельце негде помещаться, вот-вот отлетит куда-то, а он с Рейганом пристаёт, да еще скандалит, будто я лично могу втолковать этому Рейгану: сгоришь ведь в термоядерной реакции, а если отсидишься в бункере, то кто на тебя работать будет, когда трудящиеся в пепел превратятся? Но попробуй объясни старичку-политику, что Рейгану больше жить хочется, чем ему, терзающему себя мировыми вопросами. Эх, суслики, юмора не понимают! А позаботиться о себе и вовсе не умеют».

Буркало, скажем, дважды в году бывает в санаториях; летом предпочитает подмосковные, с умеренным, привычным климатом, зато осенью — непременно Крым или Кавказ, как говорится, кому бархат, кому бархатный сезон, но лучше иметь то и другое, в широком смысле, конечно... Однако и прибыв с путевкой, владей ситуацией, если ты не министр или, по крайней мере, не директор большого универсама, ибо затеряешься в молчаливой массе. Понятно, кому как нравится, только Буркало обижает и малая личная безликость. Здесь, в этом санатории, например, не все поначалу ладилось: получил он комнату в лучшем коттедже, устроился, а пришел на врачебный прием и видит: принимают два терапевта, народу к ним — человек тридцать. Ясно: день нового заезда. Прикинул Буркало — часа два высидеть придется. И не растерялся (находчивость облегчает жизнь!), заметил моложавую, опрятненькую, скромно подкрашенную дамочку, стоявшую третьей от двери кабинета с номером один, уверенно подошел к ней, улыбнулся, напористо проговорил: «Я ведь за вами занимал?» — и чуть нахмурился: мол, попробуй отказаться, кое-что другое услышишь... Дамочка лишь слегка покраснелась, от неожиданности просто, мигом сообразила, что к чему, а главное, пожалуй: вот и мужчина знакомый будет, да еще такой внушительный, в первый санаторный день! — и закивала, защебетала, умно поглядывая на Буркало и дурача очередь: «Да, да... он просил занять... его директор санатория по какому-то делу приглашал...» Буркало одобрительно улыбнулся дамочке: ну, особа глазастая, и это приметить успела, придется зачислить в актив — для прогулок развлекательных!

А дальше неприятность случилась, хоть и пустяковая вроде. Кто может сказать, что абсолютно защищен от неприятностей? Просто надо всегда и ко всему быть готовым. Вошел Буркало к врачу, подал свое медицинское

направление и вскоре понял: этот молодой очкастый блондин пришел в мир не лечить — совершенствовать человечество, он и малого представления не имеет о такой вечной истине: у человека столько болезней, сколько он сам их насчитывает. Приказал очкарик-инфантизм раздеться, слушал, мерил давление, крутил, краснел, бледнел, тер задумчиво переносицу и наконец осмелился изречь: «Вы здоровы, как...» Но Буркало решительно прервал его: «Если доскажете — как, оскорбите личность больного, привлеку». Блондин тряхнул белым колпаком на юношеской шевелюре, зарозовел нежными щечками, что-то живо смекнул («Вот,— отметил Буркало,— жизнь учит остроумно мыслить!», проговорил, отворачиваясь: «Так вам что, болезни нужны? Тогда не ко мне. Болезни выдают напротив, в кабинете номер два».

В кабинет напротив Буркало прошел без очереди, как направленный, а войдя, он возмущенно выкрикнул рыхлой женщине с подсиненными юркими глазами, черными усиками, склеротически-багровыми скулами любительницы рюмочки-другой хорошего винца: «Что за сосунков понасажали определять наше самочувствие, постукал, понюхал — выходи здоровым, «как бык». Мою собаку ветеринар серьезнее лечит! У меня семь болезней: гайморит, радикулит, колит, гастрит, хроническая ангина, невроз!..» Женщина пухлой рукой молча погладила плечо Буркало, усадила, ласково улыбаясь фарфоровой челюстью, и через пятнадцать минут он вышел с одиннадцатью болезнями — четыре от себя прибавила! — бодрый и довольный, получив самые лучшие процедуры (и душ Шарко, конечно), самую калорийную и полезную диету.

Все уладилось по-разумному, иного Буркало и не потерпел бы. А за волнение непредвиденное решил отругать после Кукушечку свою заслуженную. Недоработала докторица легкомысленная — надо сразу предупреждать, в какой кабинет, к кому стучаться. Ведь компьютеры, лазеры, прочие достижения человеческого ума пока не отменили кабинеты.

— Комар на задних ножках! — говорит Буркало сожалеючи вслед костистому старичку, усиленно убегающему от него, хотя и был уже едва различим в конце длинной аллеи с гуляющими санаторниками.

Встречные мужчины и женщины улыбаются Буркало — одни скромно и сочувственно, другие смелее, с пониманием: пристают к интеллигентному, занятому свои-

ми размышлениями человеку, а подшутит, чтобы вежливо отстраниться, — шумят, нервничают. Его сразу заметила санаторная публика и согласно, кроме разве десятка очень важных чинов, выделила из своей массы, на него показывали, о нем что-то говорили. Это было привычно для Буркало, лишь при таком внимании он чувствовал себя комфортно, ну, скажем, как золотая рыбка среди прочей мелкой живности в зеленом, свежем, насыщенном кислородом аквариуме.

Он гуляет ровно полчаса, затем спит, после отдыха подсаживается к пишущей машинке и работает часа полтора; на ужин идет, чуть припоздав, потому что ему не надо толкаться у «шведского стола», нагреть овощи — все нужное заранее приготовит ему подавальщица Люся, которая уже получила от него знак внимания — пробные духи «Контакт».

Буркало посадили конечно же не в душном зимнем зале столовой, а на веранде, за двухместный столик, у открытой створки широкого окна, с дальними и близкими видами июльской подмосковной природы. Его соседом оказался, как информировала Люся, редкий специалист молочно-сыроваренной промышленности, не старый еще, весь круглый, багровый и тяжеленький, точно бурячок только что отваренный, и строгости, суровости невероятной: в первое утро он так возрился на Буркало, словно ожидал, что тот непременно сунется отнимать у него вторую котлету или сборный гарнир из картофеля и тушеной капусты, и тогда он даст ему по рукам, разорется на всю столовую и потребует, чтобы Буркало лишили двухместного стола, как недостойного ни по годам, ни по заслугам. Но и большой сыроваренный специалист день спустя зауважал Буркало, заметив рядом с его прибором бутылку прописанного боржома, а вечером — белковый омлет на сковородке, который Буркало, прикрыв тарелочкой, бережливо унес в свою комнату: полагалось съесть ровно в двенадцать ночи, лечебно подпитав организм для дальнейшего глубокого оздоровительного сна.

Специалист ринулся требовать и себе диеты по высшей категории, «престижной», однако получил лишь боржом, и то через день бутылку, а белковый омлет ему решительно отказали — ни колита, ни гастрита, и лишнего веса килограммов двадцать нагулял Специалист возле молока и сыра.

Признав Буркало за равного, Специалист начал донимать его разговорами «касательно экономических про-

блем»: два дня втолковывал ему, что молочный обрат необходимо свежим доставлять на свинофермы, тогда и привесы будут более полноценными; затем переключился на сыроваренную технику. Буркало быстро сообразил, как усмирить настырного Специалиста: надо давать его тугой голове мыслительную пищу для серьезного переваривания. И каждое утро стал сообщать сыроварщику нечто потрясающее его сознание. Рассказав о восточном календаре, например, Буркало предложил соседу вычислить, под знаком какого животного тот родился. Оказалось — быка. Специалист весь день ходил задумчивым, даже аппетит слегка потерял. Буркало пожалел его, объяснил: бык покровительствовал многим великим людям, передавая им, конечно, и некоторые черты своего характера — упрямство, вспыльчивость, желание идти напролом, — зато это животное трудолюбивое, не меняет своих привязанностей, склонно к философии; просто надо помнить о быке в себе и укрощать нечеловеческие инстинкты. В другой раз принес Специалисту перепечатанный на машинке абзац из литературоведческой книги и попросил разобраться в содержании: «Он не ограничивается построением структурных противоречий, но подключает к фабульной семантике обобщающие рефлекссы авторского мира, намеренно сознавая полную семантическую неопределенность, призванную отобразить такое же свойство универсума». Специалист, польщенный вниманием «писателя» — он считал соседа по столу личностью исключительно творческой, — ходил в библиотеку, листал словари, и когда наконец расшифровал, то от восторга, гордости за себя, причастившегося к литературе, угостил Буркало рюмочкой коньяка.

Вчера он думал о восстании полинезийцев на острове Новая Каледония: удастся ли французам усмирить их? Правда, полинезийцы оказались меланезийцами, как было установлено Специалистом, но день прошел в полезном мыслительном напряжении.

Сегодня, не успев сесть на свое место за столиком, Буркало сообщил:

— Невероятно, а факт: Швейцария каждый год уменьшается на два сантиметра!

Сыроварщик занемел с непрожеванным куском манного пудинга и, панически сокрушенный, только помотал головой: мол, пощадите, невозможно поверить!

— Да, — слегка печалься, подтвердил Буркало, пробуя салат из капусты, моркови, свеклы, обильно политый

Люсей оливковым маслом. — По радио услышал. Значит, такая ситуация: земная кора в том месте сжимается. Альпы-то, оказывается, — морщины от этого сжатия. Представляете положение? Мирная маленькая страна, нейтральная во всех отношениях, конференции там важные происходят, а ее территория уменьшается. Будто соседние государства отвоевывают. Справедливо это, скажите, тем более что Швейцария никогда не воевала? Может, надо было воевать, заранее наращивать землю? Ну, это я так, полемически, для развития мысли. Главное — ситуация непоправимая. Пройдет сто лет... А миллион?..

Проглотив с тяжелой икотой пудинг, Специалист часто замигал белесыми воловьими ресницами, невидяще уставился в тарелку, как бы обреченно принимая на себя вину за невероятно наглое поведение земной коры и потому совестясь не только соседа по столу, но и всего мыслящего человечества.

— Миллион... миллион... — бормотал он, — два миллиона сантиметров... сколько выходит километров?..

Буркало неспешно поужинал, взял белковый омлет и кефир, подмигнул молоденькой Люсе, не спеша пересек тесный, душный столовский зал и вышел в свежий, зеленый, вечерний простор.

7

Вечером он работал еще часа полтора — перепечатывал на машинке второй том «Экологии пригородных лесов», законченный лесоводом Бобром и отданный ему с наказом отвезти непременно «грамотной машинистке». Для Буркало это означало — сделать работу самому, на что и особая причина была: во-первых, он соавтор трактата; во-вторых, безделье вредит здоровью и разлагает морально человеческую личность; ну и в-третьих, машинпись теперь хороших денег стоит, и пусть эти «хорошие» переместятся в его карман.

Машинка у него фирмы «Эрика», стучать по клавишам и видеть, как стариковские каракули лесного доктора превращаются в изящные слова и строчки на белоглянцевой бумаге, — истинное удовольствие. Буркало печатает без ошибок, конечно, профессионально на редкость, его работы изумляют капризных «мыслителей», они требуют, чтобы им печатала только «грамотная ма-

шинистка Буркалинская» (надо же было как-то назвать несуществующую профессионалку!), а настырный Коршун пожелал однажды лично познакомиться с этой дамой. Пришлось урезонить: машинистка из особого учреждения, почти засекреченная. Что ж, старичков понять можно: они прежнего закваса, не терпят работы абы какой и шалеют от жизнерадостности, когда видят, что и в период всеобщего технического прогресса кое-кто умеет работать.

В девять вечера Буркало надевает легкие вельветовые брюки, бежевую японскую куртку, на голову — замшевый берет и выходит гулять.

Еще светло, дни июльские тихи и долги, в природе покой и благоухание, где-то за большими лесами погукивает гроза, и оттуда вроде бы по оврагам, речкам проскваживает дождевая прохлада.

Санаторники, естественно, дышат, нагуливают сон; тучные, усиленно двигаясь, сгоняют граммы лишнего веса; тщедушные посиживают на скамейках, накапливая недостающие килограммы. Вон мужичок астраханский, из потомственных рыбаков, кряжистый, вдумчиво-обстоятельный и всегда с газеткой. Заговорил с ним вчера Буркало: «Как ни увижу вас — все читаете». — «Привычка, — ответил, — дома пять газет выписываю, шестую Фаина приносит, она в киоске работает». — «Зачем же так много?» — «Наивно вы рассуждаете, товарищ, — наступился мужичок. — Непосредственно навязывают. Районку, областную, рыбацкую надо? А пару ответственных центральных? Файка «Футбол-хоккей» приносит, это для развлечения». — «И успеваете читать?» — «Официально просматриваю», — серьезно ответил мужичок и углубился в просмотр «Недели».

— Привет рыбакам! — сказал, проходя мимо, Буркало. — Непосредственно, ответственно, официально! — И приподнял берет.

Мужичок глянул из-под газеты, проговорил вполголоса любопытно вскинувшей головку соседке-толстухе, сидящей рядом:

— Столичная штучка. Все во все стороны знает. Тоже, видать, из рыбаков, тех, которые в мутной воде ловят.

Буркало услышал, рассмеялся. Настроение так и подпрыгнуло вверх на несколько положительных эмоций. Он четче, шире замахал тростью.

У поворота аллеи его окликнули с боковой тропинки.

— Вечер добрый, Буркалис! Вы, как всегда, точны и элегантны. Привычка делового человека, да?

Это была Светлана Сергеевна, та дамочка, с догадливого согласия которой Буркало без очереди попал на прием к врачу. Она, кажется, взялась подлавливать его: почти всякий раз заговаривает на прогулках, да как-то придиричиво, вроде с обидой даже, будто жизнь ему спасла, а он, видите ли, неблагодарен ей. За услугу, между прочим, Буркало расплатился услугой — попросил кого надо, и Светлане Сергеевне прописали душ Шарко. Мало? Нужны более нежные отношения? Но, уважаемая мадам, вы же видите, я не намерен в санатории заниматься чем-либо иным, кроме лечения. Не совмещаю два Л или два П, как остроумно выражается мой приятель — популярный литератор: лечение с любовью, полезное с половым. Оглядишься — и найдешь профессионального совместителя. Одного подводил, знакомил. Так нет — нужен ей Буркалис. Зря, пожалуй, назвался прибалтийцем. Иные образованные дамы прямо-таки кидаются на «иностранцев»...

— Подайте хоть руку! — сказала женщина. — Неужели у вас в Риге все мужчины невнимательные? А я мечтаю посмотреть вашу европейскую культуру.

— Мы суровые, море у нас холодное, — ответил Буркало и так дернул поданную ладонь, что Светлана Сергеевна, перелетев кювет, едва не плюхнулась на асфальт подломившимися коленями.

— Ну и сила у вас! — восхитилась женщина, не заметив явной грубости. — Я вот все думаю — кто вы, чем занимаетесь?

— Художник кисти и слова. Наукой тоже интересуюсь.

— Размах, однако же!

— Член нескольких творческих союзов.

— Так и думала: оба интеллигенты, а там, у врачебного кабинета, сценку разыграли. Пройдохи и проходимцы позавидовали бы. И вот это еще — душ Шарко. Я ведь вас не просила, просто сказала — может, и мне полезно будет? Вы быстро устроили. Неужели здесь такой почет творческим работникам?

— И здесь. Народ должен любить, лечить и хорошо содержать своих художников.

— Вот как? Вы не шутите?

— Нэт, — сказал Буркало, вспомнив, что надо говорить с прибалтийским акцентом.

— А мне стыдно. Я учительница, преподаю как-никак справедливость... Со мной впервые такое. В вас что-то есть, вы берете уверенностью, внушаете свою волю, что ли... Возле вас делаешься робким, аж мурашки по коже. И хочется, извините, с вами спорить, не соглашаться.

— А уйти не хочется, правда?

— Пожалуй.

Светлана Сергеевна примолкла, задумавшись. Размышлял и Буркало, определяя более четкое свое отношение к этой настырной учительнице.

Он делил женщин (для себя, конечно) на четыре категории: миссис — девушка, познающая жизнь до замужества (Капитолина, например), леди — развлекающаяся вдовушка с видами на выгодный брак (такова Вероника Олеговна), мадам — замужняя, образованная женщина, мечтающая о поэтической серьезной связи, и матрона — семейнодетная особа, выпавшая из любовного обращения. По этой шкале «ценностей» получалось: «Светлана Сергеевна — мадам. Самостоятельная, с принципами, в браке — равная мужу, а то и главенствующая; она сама решает, как ей вести себя на работе и дома; она не против интересного знакомства, но чтобы... (смотри, как говорится, выше). С такими вот и случаются «солнечные удары», такие по запальчивости бросают мужей и быстро разочаровываются в любимых. Словом, категория женщины, совершенно не интересующая Буркало. Он зябко передернул плечами, представив себя уламывающим Светлану Сергеевну (явно не сотрясенную «ударом») на близость, — измучила бы сомнениями, страхами, беседами о возвышенном... Иной девице легче с невинностью расстаться, чем такой мадам со своими книжными принципами. Зачем Буркало эти взаимоотношения? Какая награда за них? Мадам наверняка и в постели будет «анализировать» свои и его поступки. К тому же он верен юной Капитолине. Через день-два она навестит своего Буркалетдинова в санатории; продаст Клариных щенят на Птичьем рынке — и приедет; кое-чего деликатесного прихватит для «чингисхановского дастархана». А тут со знакомствами навязываются. Заметит Капитолина — обидится. Ему же и малым чем-либо не хочется обидеть ее: не свинья он какая-то, пока любит — не изменяет.

— Странная у вас философия... в словах, поведении... — сказала Светлана Сергеевна, глядя себе под ноги и что-то додумывая.

— В здоровом теле — здоровая философия, — ответил примирительно Буркало.

— А говорят, вы сильно больны, одиннадцать болезней у вас будто бы нашли?

— У вас двадцать найдут, если поищут.

— Как понимать, извините?

— Понимайте так: требовать надо. Человек молчит — общество не понимает. Врачи тем более.

— А насчет отдачи как?

— Отдавайте, если у вас есть лишнее и хорошее.

— Как понимать?

— Как сказано. Вам все нужно разъяснять, будто не вы учительница. Иной отдает, а многие другие думают: лучше бы при себе свое оставил.

— Пожалуй.

— Вот и я не стараюсь отдавать. А вам приходится.

— Это часто мучает меня. — Светлана Сергеевна вынула из сумки платочки, провела им по лицу, словно намереваясь смыть с него невеселое выражение. — Но ведь учить кому-то надо... А по призванию — единицы.

— В том и беда человечества. Да вы не печальтесь! Вы как все, в потоке, вины у вас — никакой. Хотите, я угадаю ваши духи? «Снежные», правда? Вот, угадал! Расшифрую: «Фантазийного направления, с сильной зеленой нотой на оригинальном прохладном фоне». Точно по рекламе. А вот та дама, в соломенной шляпке и красном сарафане, «Настроением» душиется — «оригинальный аромат обогащен пудровой нотой, нюансами цветов ландыша и флердоранжа». Могу проинформировать: в этом сезоне модны цветочно-фантазийные ароматы с оттенками зелени, белых цветов, например гиацинта, жасмина, туберозы. Как, нравятся вам мои познания в отечественной парфюмерной продукции?

— Потрясающе!

— Великодушно делюсь. Невредные для общества сведения.

— С вами не скучно, только как-то... — Светлана Сергеевна не договорила, вернее, голос ее растворился в грохоте и свисте турбин пролетевшего низко над лесом самолета, и она, чуть морщась, спросила: — Вы любите летать?

— Летаю в фосте, как говорит один мой приятель, корреспондент.

— В хвосте?

— Да. Самолет падает — фост всегда остается.

— Вы очень заботитесь о себе.

— А кто обо мне позаботится? Отца и мать не помню, дедушка с бабушкой наследства не оставили. Кто мне создаст комфорт? Без комфорта сейчас — не жизнь для цивилизованного человека. Искусство и то «комфортное» создают.

— Ну, вы такой... Могли бы заботницу найти.

— Ищу. И понял: любовь — не запонка, которую можно найти, если потерял, да и то в квартире. Любовь сама тебя найдет, она находит достойных ее, просто живи, ходи, дыши... Хорошо живи, конечно, жизнь сама по себе — любовь к тебе.

— Интересно рассуждаете, но как-то ужасно эгоистично. Самодовольно, что ли? Вы, Буркалис, такой благополучный, такой импозантный, здоровый на вид, что...

— Можете не договаривать, огорчите меня и себя. А мы на лечении и отдыхе. Сам о себе скажу: я нужен. Именно такой, как есть. Вы правильно определили. Люди должны видеть здоровых, импозантных, довольных. Так им интереснее жить. Я — экспонат, наглядное пособие для подражания. Эта моя философия успокоит вас?

Светлана Сергеевна пугливо зыркнула на Буркало, чуть отшагнула, точно опасаясь неких заразительных токов, исходящих от него, но губы ее решительно сжались, у переносицы напухла волевая складочка — так, вероятно, она ведет себя с наглыми учениками, и Буркало понял: сейчас он услышит длинную, резкую, аргументированную речь учительницы, в которой она осудит его и ему подобных как нежелательное, даже вредное явление в нашей жизни, с коим надо непримиримо бороться, и т. п. Назревал явный перебор дружеских отношений, милая прогулка могла превратиться в ненужную им обоим вражду среди такой природной и комфортно-санаторной благодати. Буркало решил прервать дальнейшее совместное нагуливание здоровья, да и пора было говорить друг другу вежливое «спокойной ночи вам».

Он отвернулся, сунул руку в карман куртки, а когда вновь глянул чуть свысока на Светлану Сергеевну, женщина с испугом отстранилась: рядом шел белобородый, очкастый, невероятно носатый старик... Она ойкнула, потерянно спросила:

— Кто вы, откуда?..

Буркало хрипло закашлялся, сиганул через кювет и скрылся в тихих сумерках вечернего леса.

Вскоре он подходил к своему коттеджу у синего, парившего туманцем пруда, легко посмеиваясь, примирительно думая: «Суслики, птички, комары на задних ножках — плазма жизни! Живите весело и не обижайтесь».

— Бур-ла-ла!

8

Буркало нравились фруктово-овощные рынки, народ разнообразный торгует, просторны, веселы прилавки; подходи, спрашивай, откушывай; вон усатый кацо кавказской национальности громко расхваливает персики, здесь калужская молодка, похохатывая, предлагает пучки редиса и моркови; «Каротелька, кому соченькая каротелька!» Рядом с нею хитроглазая старушонка-дачница петрушку и укроп выложила, а из дерматиновой сумки «синенькие» выглядывают — наверняка магазинные, на спрос. Дальше — медовые, ягодные, грибные, картофельные ряды. У стеклянной витражной стены — цветочницы выставились, оттуда прямо-таки сияние бело-сине-розовое. Где еще купишь таких сахаристых помидоров, тугой картошечки-синеглазки, окропленного водичкой лучку-поря, курского штрифеля, полтавской вишни?.. Фруктами и овощами Буркало питается исключительно рыночными.

Торговый зал кругл, его стеклянная сфера насквозь пронизана утренним светом; в городе машинная и людская теснота, воздух горчит асфальтовой пылью и бензиновым перегаром, а здесь свежесть поля, сада и огорода.

Буркало ходит вдоль прилавков по кругу, приценивается к товару, заговаривает, пошучивая, с торговками и непременно пробует на вкус малосольные огурчики, пластики редиса, ломтики помидоров красных, розовых, желтых, бросает в рот вишни; поддел горсточку черной смородины; у кацо скушал дольку персика, похвалив тонкий аромат южного фрукта... Прошел по рядам дважды. Решил в третий раз насладиться торгово-рыночной щедростью, допробовать кое-каких деликатесных солений и маринадов. Он знает, что своей внешностью, строгим и чуть ироничным поведением выделяется в покупательской толпе, замечен продавцам, которые обычно уже через десять — пятнадцать минут начинают подозревать в нем ревизора или, самое малое, общественного контролера, и не стесняется лично для себя сбивать цены почти на все покупаемое: упорный взгляд, мягкое, с намеком

покашливание, мелкая придирка, скажем, к недостаточной белизне халата — и расторопные руки по ту сторону прилавка отмеривают, отвешивают с припуском, благодарно принимая копейки и рубли, определенные самим Буркало.

Свой третий заход он начал с грибков; прищелкивая языком, схрумкал пару маринованных белых, затем у соседки поддел щепотью и отправил в рот квашеной белокочанной капусты, щедро приправленной тертой морковью и тмином, а когда передвинулся к бочонку соленых помидоров-сливок под дубовым и смородиновым листом, услышал вдруг позади возмущенный ропот грибницы и капустницы; он удивленно повел медленным взглядом на них, покачал головой пристыжаяще, но ропот внезапно, как невидимое пламя, перекинулся дальше по рядам, а вот уже слышатся наглые выкрики: «Кто он такой? Почему все лапает руками?», «Знаем его, пока не нажрется — не купит!», «Хам какой-то!», «Документы надо проверить! Позовите милиционера!..» И еще что-то еле уловимое, скандальное. Буркало отошел в сторонку, чтобы его видели и самому лицезреть всех возмущенных, сдвинул со лба замшевый берет, чуть распахнул полы кожаной куртки, показывая орденские колодки и университетский ромбик, поднял руку, как бы угрожая и заодно прося слова. На какое-то вполне осязаемое мгновение торговцы примолкли, их замешательство стало обращаться в обычное покорное почтение к нему — это явно уловил Буркало, — но из толпы покупателей вдруг прокричал молодой бородач студенческой внешности:

— Да это Буркалович! Я его знаю, на «Мосфильме» мимансом снимается. Смотри, какой любитель разносолов! Начальство из себя разыгрывает перед колхозницами.

Рынок загудел смехом, руганью, улюлюканьем, казалось, вся огромная окружность зала отозвалась стеклянным звоном, зеркальными бликами, в которых Буркало тысячи раз отражался, запечатлялся, уничижался и мог вообще исчезнуть в ревущей, глухо замкнутой сфере из стекла и железа.

Он пригнул голову, огляделся проворно, ища глазами дверь и наиболее свободный проход, шагнул, чтобы немедленно покинуть пустое пространство вокруг себя, и не смог: кто-то крепко ухватил его под руку. Глянул. Около него стояла женщина в синем халате и такой же шапочке — работница рынка. Она резко помахала над

головой свернутой газетой и, когда гомон немного поутих, выкрикнула:

— Чего разорались, оглоеды? Вот ты, ты, ты... — женщина тыкала газетой в сторону ближних торговков, сразу пригнувшихся за своими весами. — Я вас не знаю, да? Обидели вас, ограбили, спекулянтов проклятых? Ну, кто недовольный, иди сюда!

Молчание установилось всеобщее, ближние торговки смущенно заулыбались: мол, прости, начальница, виноваты, ошиблись; дальние торговцы принялись деловито, как вовсе непричастные, продавать свои фрукты-овощи; даже покупатели, точно их могли прогнать от прилавков, благоразумно и поспешно начали наполнять товаром свои сумки; исчез, уничтожился, сгинул ученый бородач.

Женщина повернулась к Буркало и, не выпуская его руки, спросила:

— Оскорбили?

Он молча кивнул.

— Такого человека... Да мы их с землей сровняем! — У нее появились крупные слезинки под глазами от едва одолимого негодования. — Да я им потроха выпущу. Пошли!

Она вела Буркало к выходу, чуть пожимая ему руку, и говорила взволнованно, что давно уже заметила его, поняла, какой он особенный, ни на кого не похожий человек, всякий раз, когда он появлялся здесь, она издали любовалась им, но не осмеливалась подойти и все ждала, ждала — вот что-нибудь случится, и она подойдет к нему, скажет, как он ей нравится, — ну каждым своим взглядом, осанкой, походкой, одеждой, и она знает, что он приезжает на рынок то бородатым, то очкастым и большеносым, — это тоже до головокружения восторгает ее; раз видела его с молоденькой девушкой, и девушку эту полюбила, потому что она рядом с ним, нужна ему и, значит, хорошая... А сегодня такое везение, сама судьба помогла ей приблизиться к нему, даже защитить от наглой толпы.

Возле черной «Волги» они остановились. Буркало посмотрел женщине в глаза. И увидел себя в доверчиво раскрытых серых овалцах дважды отраженным, словно повторенным, и с легким страхом почувствовал: горячие, резковатые глаза женщины понемногу вбирают в себя его душу. Вот он почти опустел, ощущает лишь свое отяжелевшее, как бы ненужное тело, ему теперь нельзя, невозможно уехать ополовиненным, без своей внутренней

сути. А женщина не отдаст, не сможет отдать взятой части его души, ибо, он хорошо видит это, она сама навсегда опустеет, ей не по силам теперь вернуться к себе прежней, она просто откажется дальше жить на свете.

Буркало открыл дверцу машины, сказал:

— Садитесь.

Проехали одну, другую улицу, и он, не раздумывая, повернул в сторону своего дома, ясно осознав: нечто житейское и радостное исходит от рядом сидящей женщины, и так будет всегда, потому что она — та единственная, явившаяся в жизнь только для него и ради него. Они могли разминуться, но мудрая судьба свела их.

Открыв квартиру, Буркало пропустил женщину вперед. Она оглядела прихожую, осторожными шагами прошла в гостиную, постояла, затем глянула в кухню и кабинет, вернулась к нему, изумленно воскликнула:

— Все, все мне нравится! — И погладила умную таксу Клару, покорно сунувшую голову ей под руку. — А нарисованная библиотека — это же нигде не увидишь. Вы такой умничка!

— Один вид книги устраняет печаль сердца, — пошутил Буркало когда-то вычитанной арабской поговоркой.

— Ой и правильно! Зачем их покупать, если на них в основном смотрят. Вон мои торговки, редкая без книжки домой едет, а зачем они им, этим оглоядкам? Для форсу только.

— Вы кем на рынке?

— Заведую холодильником.

— О-о!

— Они у меня вот здесь все! — женщина показала Буркало стиснутый кулак, белый и нежный, не тронутый грубой работой, но силы уверенной, прирожденной.

Он помог ей снять форменный синий халат, она причесала у зеркала короткие, как и полагается деловой женщине, волосы, повернулась к нему, подала ему тяжеленькую руку, он повел ее в гостиную, усадил в кресло, спросил:

— Чем вас угостить?

— Ничего не надо. Я с вами — и ничего не надо. И не зови меня «вы» — кто я такая против вас? И садись вот сюда, рядышком. И слушай. Я тебе вот что скажу: у тебя, вижу, нет жены, нет детей. У меня — муж, но, считай, тоже никого. У таких семей не бывает. Такие, если не найдут друг дружку, одинокими живут. Мы осо-

бенные. Только один для другого. И любить мы никого не можем. Только самих себя. Да еще — я тебя, ты — меня.

— Да, да, — согласился Буркало, непривычно волнуясь, ощущая нежное и горячее биение своего сердца, глядя в теплые, немигающие глаза женщины и вновь видя себя заключенным в серые, резковатые овалы. — Да, все точно, правильно, ты умница, ты... как тебя звать, скажи, пожалуйста, я хочу в сердце свое принять всю тебя и твое имя.

— А тебя, любимый?

— Буркало. Не очень красиво, да?

— Что ты! Все твое прекрасно. Я буду Буркалка. Твоя Буркалка. И никаких мне имен не надо. Что было до тебя, пусть там и останется.

— О-о... — простонал Буркало, почти теряя сознание. — Откуда это? Почему? За что?.. Я ведь во сне видел — у меня жена Буркалка. — Он упал на колени перед женщиной своих мечтаний, стал целовать ей руки, и первые слезы за долгие годы одиночества, слезы умиления, восторга, невыплаканных обид и предчувствия небывалых радостей, полились из размягченных глаз Буркало на руки единственной теперь для него женщины, а затем он уронил голову в ее колени, бормоча: — Это ты, я чувствую, знаю. Почему так долго шла ко мне? Почему я тебя не искал?..

Буркалка гладила жесткий ежик Буркало, прижимала его голову к своему животу — успокаивала, как успокаивают родного, понятного до малейшего всхлипа ребенка, — а когда он притих, словно бы задремав, Буркалка легонько подняла его голову, склонилась, поцеловала в лоб, в каждый глаз отдельно, в губы и сказала твердо, внушая ему свою решимость:

— Будем жить вместе.

— Да-да! — подтвердил Буркало, вскочил, распростер руки. — Все здесь твое! Прикажешь — добуду, куплю, вырву все, что пожелаешь!

— Добудем вместе! — сказала Буркалка и сжала увесистый кулачок.

Буркало тоже поднял тугой кулак. Так они постояли несколько мгновений — и начали жить.

Осмотрев еще раз квартиру, Буркалка убрала в шкаф кое-какие вещи; фартук, халат, тапочки Капитолины аккуратно сложила в прихожей, сказав: «Не беспокойся, сама отдам». Переставила по-своему кое-что из мебели, повосторгалась кухней под ретро и принялась готовить

обед, удивительно ловко и догадливо находя нужную посуду, беря продукты, всяческие приправы. И все весело, легко, с песенкой «Миллион алых роз», а Буркало поглядывал на нее, присмиренно радовался: так, именно так и быть должно, ведь он, устраивая свой быт, покупая вещи, думал о Буркалке — придет, воскликнет: «Все, все мне нравится! Ты такой умничка!»

Потом они навестили рынок, где Буркалка, грозно пройдя по рядам и подставляя сумки, изобильно нагрузилась лучшими фруктами, соленьями, маринадами для свадьбы, и весь рынок, не исключая продавцов кавказской национальности, почтительно приветствовал молча шагавшего бок о бок с нею Буркало.

Свадьбу праздновали вдвоем. Видеть никого не хотели в день своего счастливого соединения: кто их поймет? Кого они могут понять?

Пили марочные мускаты, лучшие коньяки, на полную мощь запускали стерео и quadro, танцевали, пели и плясали, дразнили таксу Клару, и она выла, истерично лаяла. Им стучали в стены, пол и потолок соседи, звонили по телефону. «У нас свадьба!» — сообщал Буркало. А Буркалка, заостря серые, блескучие овалыцы глаз, выкрикивала: «Оглоеды! Я вас научу уважать моего Буркало, вы у меня по ночам будете вскакивать и боженке молиться! Суслики, птички, комары — плазма жизни!»

Вскоре они уехали на «Волге» в свадебное путешествие. По курортам Южного берега Крыма.

9

В этот подмосковный, неведомый для него дачный поселок Буркало приехал один. И по очень важному делу.

Он медленно вел машину, оглядывая дома, теремки, хоромы... Улица именовалась Отрадной, и все здесь смотрелось мирным, прочным, тихо отрадным, хоть и была невеселая пора поздней осени. Во дворах опрятные, разумно выращенные сады, строения с водопроводом, газом, центральным отоплением — в стиле полезных достижений научно-технического прогресса. Нужную дачу он нашел почти на краю Отрадной, у соснового бора, за которым ясно посверкивала пустынная сейчас речка. Место было уникальное, и это особенно порадовало Буркало.

Дача едва виднелась, скрытая высоким забором, воро-

та окованы железом, узенькая дверца с глазком, на ней, конечно, вывеска: «Во дворе злая собака!» Есть и кнопка звонка. Буркало усмехнулся: никакой, даже дохлой, собаки там нет, а проникнуть в эту крепость с помощью звонка пусть пытаются дураки. Он достал увесистый, штучной работы ключ, сунул в скважину замка на дверце, и она услужливо пропустила его внутрь.

Хозяин, сухой и сутулый, в потертых джинсах, заношенной куртке из болоньи и вязкой мятой шляпе, стребал железными граблями опавшую листву под деревьями. Вошедшего он не заметил, и, когда Буркало, приблизившись вплотную, нарочито громко кашлянул, хозяин резко передернул плечами, но не повернулся на голос, как сделал бы кто-нибудь другой, а только скосил желтоватый глаз, насторожил свой плоский, носатый, заросший седоватой щетиной профиль, точно ожидая немедленного удара по голове. Жалкий вид хозяина кирпичной, дорогой, с верандой и мансардой дачи, крытой оцинкованным железом, едва не рассмешил Буркало: ну художественные парадоксы на улице Отрадной! Покашляв мирно и деловито, он слегка приподнял в руке новенький «дипломат», сказал:

— У меня дело к вам, товарищ Ковалов.

— Говорите, слушаю, — с хрипотцой вымолвил тот, все так же держась в профиль и до красноты напрягая глаз; ему, пожалуй, не верилось, что рядом с ним живой человек, — не мог он проникнуть во двор дачи, а если проник, значит, умеет летать: ворота, дверца надежно закрыты, поверх забора — колючая проволока. — Говорите... как вы сюда попали?.. Кто такой?

Буркало заметил: Ковалов до судороги сжимает костистые пальцы на металлической рукояти граблей, и желтый глаз его набухает опасным блеском, — понял, что дальше пугать Ковалова рискованно, треснет железной промеж ушей, и беседуй тогда с ним о гуманности, нашем главном принципе — человек человеку друг, товарищ и брат.

— Я от вашей бывшей жены, — сказал решительно Буркало, следя за граблями.

— Да?.. — еле слышно изумился Ковалов и повернулся, как бы открыв лицо, которое, впрочем, не намного стало шире, будучи от природы заостренным, по-ястребиному хищноватым. — Где она? Что с ней? Как вы вошли? Что вам надо?

— Важное дело, повторяю. — Буркало постучал кон-

чиками пальцев по боку «дипломата». — Не здесь же вам докладывать, ведите в дом, хозяин.

— Нет, нет... не верю! — чуть отодвинулся Ковалов.

— Ну вот, сцену из кинофильма разыгрываем. Пора бы догадаться — она мне дала ключ. И второй есть, от дачи, может, показать?

— А-а, — неопределенно, что-то усиленно обдумывая, вымолвил Ковалов и направился к приоткрытой двери веранды, волоча за собой грабли. У ступенек крыльца он остановился, вновь одолеваемый сомнениями, но Буркало вежливо вынул из рук его грабли, грубовато подтолкнул в спину. Ковалов покорно пошел, неосмысленно наговаривая: — А-а, значит, так. Она, значит, Настасья... А где сама? Не понимаю...

На просторной веранде был низенький стол и два плетеных кресла, Ковалов указал на них рукой, приглашая.

— Ведите в дом, — потребовал Буркало (ему не терпелось увидеть расположение комнат, мебель, прочее убранство). — Здесь холодновато, бурр!

Комнат было четыре, да прихожая, да кухня метров на десять и мансарда, должно быть, просторная — туда поднималась лестница в старорусском стиле; мебель хоть и потертая изрядно, однако благородного дерева, а кабинетный гарнитур так и вовсе — редкостное ретро. Основательно здесь устраивалось гнездышко! Буркало хотел осмотреть и мансарду, уже вцепился руками в красные перила, но услышал частое клеканье жидкости, хриплый зов Ковалова:

— Прошу к столу... прошу за знакомство.

В стакане мутно розовел дешевый портвейн, именуемый его ревностными пригубителями не менее чем десятком нежных названий — от бормотушки до скуловоротки. Буркало немо замотал головой, скривил губы, показывая, сколь неприятен ему этот ширпотребовский напиток, к тому же он за рулем, и был удивлен, как безразлично-охотно Ковалов согласился с ним, поворчал незло на колеблющийся в руке стакан, выпил, мучительно перекашивая лицо, мыча и постанывая, заел наугад взятым кусочком сыра и замер в отдохновенной расслабленности, ожидая, вероятно, внутреннего бодрительного тепла.

Резной, зеркально полированный стол покрыт рваными газетными клочьями, завален невытой посудой, объедками всякой всячины: бутербродами с красной икрой и

кусками зачерствевшей вареной колбасы, пластиком дорогой осетрины и ополовиненными банками килек и бычков в томате; под столом десятка три пустых бутылок; окна наглухо закрыты, полузанавешены; воздух, отравленный табачным дымом, винными испарениями, запахами несвежей еды, казалось, так уплотнился в дачной немоте, что сам по себе не выйдет в открытые окна или дверь, его нужно пластать на куски и выбрасывать во двор. Любой догадался бы, увидев, ощутив этот разгром: хозяин дачи тяжело, опущенно пьет.

Буркало сочувственно и брезгливо спросил, когда Ковалов поднял голову и уставился на гостя вполне разумными, как бы отогретыми с осеннего холода глазами:

— И давно вы уже?..

— Давно, давно, — неожиданно живо ответил Ковалов, подавшись к сидевшему в низком кожаном кресле Буркало. — Как Настенька ушла... потерялась. Жду, коротаю время.

Посомневавшись минуту, выгодно ему или, напротив, опасно такое вот горестное состояние этого человека, Буркало все-таки решил действовать, и напористо, ибо неизвестно, сколько придется ждать протрезвления бывшего мужа Буркалки, да и сможет ли он выздороветь без медицинской помощи.

Буркало развернул и подал Ковалову листок бумаги, попросил прочесть.

Ковалов оседлал сизый нос тяжелыми очками, интеллигентно отстранил бумагу, но тут же качнулся в кресле, дрожащей рукой сдернул и вновь кинул на переносицу очки.

— Письмецо от Настеньки? О, благодарю, благодарю... Как она? Жива, значит? — И начал читать вслух забывчиво и поспешно: — «Здравствуй мой бывший муж Ковалов. Пишу тебе так как я вышла замуж за любимого мной горячо человека. На этом основании прошу тебя...» Ага, без знаков препинания письмецо, надо вникать, значит.

«...Прошу тебя Ковалов как любившего меня горячо продать мне вторую половину дачи а первая мне по закону полагается так как я бывшая твоя любимая жена. Не сопротивляйся Ковалов хуже будет. Ты меня хорошо узнал за семь лет совместной обеспеченной жизни. Тебе за это оставляю двухкомнатную городскую квартиру со всеми удобствами. Последний раз воздушно целую если ты будешь умничка. Мой горячо любимый новый муж

Буркало (можешь сверить его фамилию по паспорту) все тебе расскажет слушайся его а то душевно пожалеешь. Расписываюсь два раза чтоб ты хорошо узнал мою подпись».

Опустив на колени письмо, Ковалов тихонько рассмеялся, помотал головой, словно не желая до конца усваивать прочитанное, потом, дважды глотнув из стакана розовой жидкости, глянул поверх очков на Буркало, спросил:

— Она, она... такая безграмотная, оказывается?

— Не в этом счастье. Она талантливая.

— А кто же, кто ее горячо любимый новый муж?

— Плохо читали письмо. Вы его видите перед собой.

— Передо мной некто... как вам сказать?.. Некто из проходимцев, пройдох и...

— Не договаривайте, — остановил его поднятой ладонью Буркало, — чтоб душевно не пожалеть, как умно пишет вам Буркалка... то есть Настасья. Говорите прямо — согласны продать вторую половину дачи?

Ковалов ухватился дрожащей рукой за стакан, качнул его, но пить не стал, хищно ссутулился, шепотом, косясь на дверь, осведомился:

— Сколько... сколько предлагаете?

— Десять тысяч. — Буркало ударил ладонью по «дипломату». — Деньги здесь.

У Ковалова поверх правого окуляра выполз и занемел желтый водянистый глаз.

— Ага, ага... так и знал... дача стоит минимум пятьдесят тысяч... десять — это лишь бы что-то сунуть... да и за полную стоимость не продам... у нее любовь горячая, выходит, а я совсем один.

Буркало предвидел, конечно, что торг будет нелегким. Кто поступится своим кровным, тем более из таких вот бывалых махинаторов, как этот престарелый Ковалов? Приоткрыв «дипломат», Буркало нащупал и вынул аккуратненькую красную папочку, положил ее на стол перед Коваловым.

— Что, что здесь? — брезгливо отстранился тот.

— Ознакомьтесь. Накладные, поручения, чеки, записки, прочие документы, разоблачающие ваше строительство дачи. Вы тогда работали директором большого хозяйства и дачку соорудили не дороже чем за двадцать тысяч. Преступно комбинируя, понятно.

— Откуда? Где взяли?.. — Глаз Ковалова приблизился, как бы наплыл крупным планом на Буркало. — Неужели она...

— Угадали. Настасья собрала, сохранила.

— Нет, нет, не верю... — Глаз замутился, из него выкатилась большая слеза, подержалась на сизом вспухшем подглазье, жутко увеличенная окуляром, и прочертила блестящую дорожку по небритой щеке Ковалова. — Такая подлость... Это вы, вы ее совратили!

— Ошибаетесь. Любовь взаимная. Настя первая мне объяснилась.

— Врешь! — истерично выкрикнул Ковалов, вскопчил, плеснул в лицо Буркало вино из стакана, схватил красную папку, убежал с нею в кухню и заперся там на задвижку, хохоча и выкрикивая: — А мы эту папочку в огонек! А мы эту подлюю подожжем!

Буркало отерся платком, смахнул капли вина с куртки, благо она непромокаемая, слегка пожурил себя за расслабленность: всякое случалось в его энергичной жизни — били, ругали, хватали за глотку, — а вино плеснули впервые. Каким все-таки неинтеллигентным оказался этот Ковалов! Придется более серьезными доводами привести его в здравое сознание. Буркало подошел к запертой двери кухни, сказал:

— Зря вы так не уважаете нас с Настасьей. В папке копии документов. Убедитесь и выходите для дальнейшего собеседования.

— У-у!.. — завыл Ковалов. — Гад ты, Буркалов, тебя убить надо! Не выйду, напущу газу, устрою пожар, сгорю и дачу сожгу.

— Неумно придумали. Бурр, как неумно! Вызову милицию, и вас засадят в психбольницу. Тогда, сами понимаете, и покупать нам не придется, наследница одна. Ну разве что опеку возьмем над вами, исключительно из гуманных чувств... А пока перебыю ваши бутылки с портвейном, обеспечу вам страдательное похмелье. Мучения плоти очищают и возвышают душу.

Дверь резко откинулась, из нее вырвался Ковалов с металлической решеткой от газовой плиты, Буркало успел отстраниться, Ковалов пронесся до стола, обернулся и, пригнувшись, медленно пошел на него, держа решетку над головой.

«Так, хозяин дачи в явном и опасном перевозбуждении, надо спокойно рассчитать действия, и первое — отнять у него железяку, лишить оружия, так сказать, потом основательно встряхнуть, чтоб голова хоть немного просветлилась... Подступает по-шакальи, будто принокливаясь, сейчас кинется... Сделаем вот что...» Буркало

поднял стул, бросил навстречу Ковалову, а сам спрятался за кресло. И когда тот вместе со стулом завалился в угол между сервантом и телевизором, Буркало надел сверху, вырвал у Ковалова и сунул под сервант решетку, скрутил ему руки на груди, успокаивая:

— Нехорошо, не одобряю, вы же с высшим экономическим образованием, а ведете себя неэкономно, подвергаете престарелый организм молодежным стрессам. Теряете, можно сказать, личность и даже человеческий облик.

— Ладно, ладно, отпусти, просипел, задыхаясь, Ковалов. — Поговорим давай.

Буркало слегка приподнялся и сразу же был наказан за излишнюю доверчивость — получил меткий и довольно сильный удар снизу в подбородок, отлетел спиной к столу и, пока Ковалов взгромождался на ноги, поглубже заполз под столешницу, спасительно осознавая: сотрясенной голове можно будет дать минуту-другую отдыха.

Обозрев комнату и не найдя гостя-врага, Ковалов решил, вероятно, что тот вообще покинул дачу, жадно налил и выпил подряд два стакана вина, плюхнулся в кресло, с хохотком наговаривая:

— Как я его!.. Настенька, видите ли, полюбила такого нахала! Да она одним воздухом не будет дышать с таким террористом, девочка моя...

Буркало ухватил Ковалова за обе штанины, резко потянул, Ковалов легко сполз на пол; не успел он сообразить, что к чему, как Буркало надежно оседлал его, удивленно спрашивая:

— Ты, гад, спортсменом был, что ли?

— Был, был... А она мне девушкой досталась, девушкой!

— Что вы говорите? — искренне изумился Буркало и, опасаясь плевка, прижал голову Ковалова щекой к полу. — А я простыню вывесил на балконе после первой ночи, чтоб все видели — на девушке женился.

— Врешь, врешь... — застонал Ковалов. — Семь лет девушкой была, да?

— Ничего удивительного, женщины чего не могут, если не любят. Надо читать художественную и научно-популярную литературу. Ведь не забеременела от вас, а? А мне сразу двойню принесет — врачи определили. Тяжело ходит. Сразу девочку и мальчика. Потому и не приехала она для личного контакта с бывшим, нельзя. Одним словом, дурачила вас моя Буркалка, время надо было переждать, пока я появлюсь.

— У-у... — был не переставая обессиленный Ковалов.

— Ах, как вас ревность некрасиво корежит, дрожите и мокнете, как ощипанный бройлер.

— Сволочь ты, сволочь, Буркалаев!

— Впервые слышу. Негодяем называли, но при этом добавляли: талантливый. Грубиян вы. Я, пожалуй, срежу вам сумму выплаты за дачу. Могу и рассердиться — передам бумаги в прокуратуру, будет показательный суд, все недвижимое опишут, вам — отсидка, дачка — государству.

Ковалов притих, вероятно прислушиваясь к словам Буркало.

— А я ведь не себе это райское место отвоевываю. Пансионатик для старичков заслуженных открою, будут они тут дышать, творчеством полезным для народа заниматься. А вы, эгоист, в таких хоробах один спиваетесь. Проявите сознательность — комнатку выделю, в интеллигентном обществе будете стареть, как уважаемая личность.

Ковалов плакал, у щеки его натекала лужица слез, был он обреченно вял и беспомощен.

— Ну вот и хорошо, — сказал успокоительно Буркало, медленно отпуская его руки. — Разум в человеке иногда сильнее потребностей. Я сейчас встану, приготовлю документы и приглашу вас расписаться. Готовьтесь морально. — И встал, пошел к столу.

С большим усилием, покачиваясь, Ковалов тоже поднялся, огляделся расслабленно, не находя гостя. Буркало предостерегающе покашлял. Ковалов повернулся в его сторону и занемел с отвисшей вставной челюстью, паническим страхом в глазах: за столом сидел бородатый, седовласый, в золоченом пенсне человек.

— И... кто вы такой? — еле внятно вымолвил Ковалов.

— Представитель. Исполнитель. По поручению, — сказал Буркало голосом утомленного и строгого чина, ударив ладонью по бумаге. — Распишитесь вот здесь, здесь и здесь. Где галочки поставлены.

Буркало встал, чуть отшагнул в сторонку. Ковалов послушно склонился над столом. Буркало, следя за ним, пошел вокруг стола. И когда вновь приблизился к онемелому Ковалову, почему-то не ставившему третью подпись, тот увидел перед собой лысого, морщинистого, черноусого старика с подозрительно спрятанными за спину руками и криво усмехающегося.

— А вы, вы откуда? — еще более пригнулся Ковалов.

— Из тех же инстанций!

Ковалов быстро расписался и протянул дрожащую руку, намереваясь схватить «дипломат».

— Похвальное желание, хоть и запоздалое! — желчно рассмеялся лысый старик, убирая со стола бумаги. — Могли бы и не отдать вам денежки, но мы справедливые. Берите! — И лысый вытряхнул перед Коваловым тяжеленькие пачки. — Десять, в каждой по тысяче, прячьте.

Ковалов проворно начал рассовывать пачки в карманы, несколько штук кинул за ворот расстегнутой, с оборванными пуговицами рубахи. Старик выждал, одобрительно сказал:

— Купля-продажа состоялась, будем считать, полюбовно. Теперь слушайте дальше. Я пойду и скажу Буркало — пусть подгонит к порогу машину, а вы живо соберите свои вещи, личные, конечно, и поедem в город.

— А здесь мне нельзя?

— Не имеете права. Бутылки можете взять. Раздел мебели произведем позже, согласно одной из бумаг, подписанной вами.

Пока Буркало вкатывал во двор «Волгу», а затем грузил вещи, Ковалов осушил еще бутылку портвейна, и в машину пришлось погрузить его тоже как вещь — на заднее сиденье, тяжелым, угловатым мешком, тошновато пропахшим алкоголем. По дороге в столицу Ковалов немного проветрился, начал слезливо хныкать, однако, припугнутый вырезвителем, замолк и на своей улице позволил переместить себя в квартиру без скандала.

Ехал домой Буркало утомленный и жизнерадостный: хорошее дельце было чисто сработано! Но жизнь непрерывно радуется только дураков, потому что они не ведают обид и оскорблений. Для всех разумных у нее разные неожиданности приготовлены, особенно когда их не ждешь, в минуты возвышенной одухотворенности. Как вот сейчас. Подогнав машину к своему гаражному блоку, Буркало прочел на дверных створках крупно выведенное мелом: «Буркализм — позор нашей жизни!»

Он увидел у подъезда дома Буркалку, позвал ее. Подплыла что тебе уточка гладкоперая, придерживая лапками округлый, тяжелехонький живот, покачиваясь, будто на плавных волнах, и головкой поводя что тебе та же уточка. Буркало молча показал ей надпись.

Лишь на мгновение Буркалка вроде бы опечалилась,

но тут же решительно трянула рыжими завитыми кудряшками, подняла обломок мела, стерла первое слово, заменила его другим и кликнула старушек-скамеечниц. Те незамедлительно явились, прочитали: «Пенсионизм — позор нашей жизни!» — и загалдели, разгневавшись на «хамское хулиганство», позвали коменданта и еще более расшумелись, требуя, чтоб в их образцово-показательном дворе не было больше никогда такого оскорбительного безобразия. Договорились меж собой выследить этих нахальных диссидентов, сдать куда следует.

Буркало и Буркалка, строгие и довольные, удалились к себе в квартиру.

10

Буркало проснулся в широкой, воздушной мягкости кровати, на тонком, нежащем кожу индийском белье, под мохеровым пледом, невесомо облекавшим его теплым облаком; проснулся сразу, как истинно здоровый человек — словно вплыл из небытия на солнечную поверхность жизни, и, еще не осознав себя полностью, тихо, медленно, беспричинно улыбнулся: так свежо, радостно было его телу. И все-таки, повинувшись привычке, Буркало прислушался к себе: не покалывает ли где, свободно ли растекается по жилам и мышцам кровь? Органом был отлажен, как электронный механизм со знаком качества, что и не удивительно вовсе: питала его, содержала в холе и уюте заботливая Буркалка.

При мысли о жене Буркало проснулся окончательно, уже осознанно радуясь майскому свету из окна, покою в квартире, осторожному позвякиванию посуды на кухне... Милая Буркалка! Она поднялась пораньше и неслышно, чтобы приготовить завтрак ему и их маленьким детям. И так каждое утро.

Буркало нажимает спрятанную за спинкой кровати кнопку (у него все на электронике и сигнализации), в детской комнате чуть слышно тренькает музыкальный звонок. Буркало ныряет под плед, слышит частый топот, и в спальню врываются буркалята — Буркальчик и Буркалочка. Они взвизгивают от несдержимой радости, впрыгивают на кровать и тормозят, тузят крепенькими кулачками папу Буркало: это им разрешается, когда папа позовет звонком, ведь такая утренняя разминка полезна им всем для бодрого начала дня.

— Бур-ла-ла! — защищается Буркало-старший, пускает буркалят в тепло под плед, притискивает, успокаивая.

О, какое наслаждение осязать эти упругие, с бьющимися сердчишками, молочно дышащие комочки жизни, горячие сгустки-частички тебя самого! А они, буркалята, отталкивая друг дружку, стараются теснее прижаться к отцу.

— Сказку, да? — спрашивает Буркало.

— Сказку, сказку, папочка... — шепчут, замирая, Буркальчик и Буркалочка.

— Про что мы вчера говорили? Ага, правильно. Про то, как умный Копило на рынок ходил, все пробовал, пока не наелся, а потом справился о ценах, припугнул жадных торговков и дешево купил себе самого лучшего. А вот как Копило гарнитур мебельный домой перевозил. Ну, шоферы и грузчики — народ нахальный, всем известно, десятки, а то и четвертные из кошельков покупателей запросто вылущивают, многим бы здоровякам в колхозах пользу приносить, но им и тут выгодно. Копило про них, конечно, все знает, образованный. «Грузите, — говорит, — молодчики». С намеком вроде бы говорит. Погрузили, привезли, носят старательно на седьмой этаж. А когда старший позвал Копило рассчитаться, тот вышел в форме полковника милицейского и так вежливо спросил: «Сколько сегодня, ребятки, левых рейсов сделали, почему старушку у мебельного магазина до слез довели — стоит полдня и плачет возле своей раскладной мини-кушетки? А?!» — гаркнул полковник, и шофер с грузчиками выскочили в коридор. Копило им вслед кричит: «Деньги-то за работу возьмите!» Куда там, на лифт — и сбежали. Копило скинул мундир, сел в новое кресло, расхохотался. Вот какой он справедливый и умный, Копило!

— Умный, умный, — соглашаются буркалята, а Буркальчик просит: — Еще про Копило!

— Будет еще. У меня столько сказок о Копиле, хватит на все время, пока будете расти. Завтра расскажу, как Копило на автомобиль деньги копил. А сейчас вставем. Быстро. Мамочка нас заждалась!

Они выбегают в гостиную, буркалята становятся против Буркало, и все вместе приступают к утренней гимнастике — отец в полосатой пижаме, дети — тоже в полосатеньких. Приседают, взмахивают руками, сгибаются и разгибаются. Старательно, без шуток и улыбок —

полный комплекс по журналу «Здоровье». Потом шагают на месте, поют:

В здоровом теле
здоровый Буркало,
здорова Буркалка
и буркалята!

Мать стоит в двери, сияя разруганным лицом, держа руки под белым фартуком на высоком животе, молча ждет. Зачем торопить, если по всей квартире гуляют запахи ветчины с яичницей, поджаренных хлебцев, зеленого лука, первых дефицитных огурчиков?.. У буркалят и без того едва хватает терпения, чтобы не броситься к столу, но они, вышколенные отцом, послушно идут умываться, чистить зубы; выйдя из ванной, подставляют матери свежие мордашки для поцелуя.

И вот все за столом. Разве есть что-либо приятнее семейной трапезы, когда хозяйка любима, дети радостны и каждый кусочек пищи, поглощаемый ими, доставляет главе семейства невыразимое удовольствие? Буркало понимает: только теперь он живет со смыслом. Годы одиночества кажутся ему временем неодоушевленным, из полутьмы которого он долго пробивался к теплу и свету. А ведь — жутко подумать! — мог и затеряться, сгинуть в той жизни... Буркало приобнимает Буркалку, как бы проверяя, рядом ли она, не мерещится ли ему все это в прекрасном сновидении.

— Здесь, здесь я, — длинно смеется Буркалка, легко понимая мужа. — Не воздушная, не улечу.

— Еще бы! — восторгается Буркало, незаметно для детей поглаживая ее живот, напряженно-тяжелый, округло-выпуклый, точно в нем вызревала целая неведомая планета: Буркалка на восьмом месяце, и врачи опять обещают двойню. — Ты у меня весома. Одобряю! Даже если полчеловечества исчезнет, ты заново родишь людей. — Буркало крикает предовольно, вообразив, как по многим земным континентам живут буркалята — напористый народец, и, глядя на деловито подчищающих тарелки детей, говорит: — Вот такие вот. Они наведут свой порядок, научат «разворачиваться в марше».

Буркалка улыбочиво кивает, дает сыну и дочери по шоколадной конфете «Мишка косолапый», буркалята разом поднимаются из-за стола, в один голос благодарят: «Спасибо, папочка! Спасибо, мамочка!» — и маленьким строем, Бур-

кальчик впереди, Буркалочка следом, уходят в детскую комнату.

Вдвоем они неспешно пьют крепкий кофе со сливками, затем Буркалка убирает посуду, а Буркало здесь же, в кухонном тепле и уюте, просматривает утреннюю почту.

— Непосредственно и официально, — шутит он. — Американцы готовятся к ядерной войне, но мы им тоже врежем так... их высокий уровень в небо взлетит и радиоактивными осадками по всей земле развеется. Между прочим, скажу тебе, милая, наш бетонный подвал в гараже не уступит их бункерам, посмотрим еще, кто надежней выживет... А вот письмоцо из пансионата твоего имени — «Буркалка речная», пишет управительница, милая леди наша Мешкова, которая — бурр! — только одно начальство на земле почитает: тебя, моя Буркалка. Так вот, эта бандитка улыбочивая просит сменить у кинорежиссера эстамп на стене — не нравится старичку мексиканский ковбой среди прерий, хочет чего-нибудь российского, в крайнем случае крымский пейзаж с магнолиями. Как, удовлетворим?

— Оглоеды! — благодушно ругается Буркалка. — Балуешь ты их. Хотя этот режиссер роли тебе дает в своих картинах... Купим ему акварельку какую-нибудь. Или сам намалюй. Ты же умничка — все умеешь. Не просить же его соседа по комнате, живописца народного, тот большие полотна создает, обидится.

Буркало соглашается, радуясь житейской сообразительности жены, так нужной им обоим. Они ведь и в ее даче открыли пансионат для старичков, сдали все четыре комнаты: художнику, писательнице, кинорежиссеру и композиторше. Гуманитариям. Которые не менее полезны обществу, чем доктора наук. Так решили. Ну и эти заслуженные пенсионеры зажили среди цветов, конечно, от весны до поздней осени, опекаемые молодежкой Мешковой, очень современной пенсионеркой на «Москвиче», прямо-таки выдающейся деятельницей — без выгоды для себя атмосферным воздухом дышать не позволит. И работать, понятно, умеет, старички у нее ухоженные, как детки в ведомственном детсадишке. Она куда попроворнее жуткой старухи Полины Христофоровны, дряхлеющей понемногу. Однако и вместе им не сравниться умом с его Буркалкой, коммерческой хозяйкой обоих пансионатов.

— Процвetaют, значит, «Буркало лесной» и «Буркалка речная», а? Поэтично мы назвали свои дачки. Сколько народу ошастливили! И обиженных — ни одного. А

Ковалов, твой бывший муженек, как доволен... — Буркало от умиления смигнул две маленькие слезинки, согнутым пальцем утерев подглазья. — Пить перестал. Другие прогнали бы, как пса... Принимает буркалиум, занимается йожкой. Преобразился!

— Ты у меня такой душевный — никого обидеть не можешь. А я что? Я слушаю тебя.

Буркало разрешил Ковалову построить флигелек на дачном участке, за сиреневыми кустами, в райском, можно сказать, месте: уютно и малоприметно. Благодарный Ковалов взял под свой опытный надзор все пансионатское дворовое хозяйство, его завхозовского глаза побавляется сама леди Мешкова. И сердобольным, нежным оказался Ковалов — полюбил, как дедушка родной, буркалят, нянчится с ними, сказки рассказывает про умного Копило, азбуке учит. Раз только воспротивился бывший владелец участка, когда Буркало позволил Мешковой вырубить фруктовые деревья и засадить полезную землю цветами. Пришлось устыдить: кто же теперь заботится о фруктах? Человечеству цветов не хватает. Красота спасет мир, сказал один большой классик. Улавливать надо новые веяния!

И Капитолину не обидел Буркало: нашел ей мужа — ассистента кинооператора, приехавшего из Казани. Способного парня. Капитолина довольна, и он прописался в столице. Дочку чернявенькую породили. А еще раньше Буркало помог Капитолине похоронить двоюродную бабушку, получить ее наследство, избавиться от кота Барсика. Звонит иногда — задыхается от благодарности. Но они не встречаются, им это не нужно: каждый нашел свое.

Не забыл позаботиться Буркало о докторице Кукушечке — подыскал ей друга с кавказской фамилией. Помог бы уладить личную жизнь и Веронике Олеговне, молоденькой генеральше, но бывшие спортсменки, вероятно, до конца своих дней к чемпионству стремятся: или — рекорд им, или — ничего не надо. Оттого и гордые, охлаждают любовные страсти в бассейнах.

— Ну, есть такие, кто не доволен Буркало? Если не мелочиться? — спросил он громко, с напором, в забывчивости и горячности. — А кто он, Буркало? Никто, можно сказать. Его в детприемник подкинули несмышленным, с одной фамилией на бумажке. Может, и фамилию придумали, чтоб не искал потом своих родителей, пропавших без вести. В народ подкинули. На воспитание. И

он выбился, другим теперь помогает. А путь был суров и долог, как в песне поется. — Буркало задумчиво усмехнулся, добрея и успокаиваясь, сказал: — Что-то я расчувствовался. Надо бы поработать, кое-что перепечатать для писательницы-«деревенщицы», изучающей жизнь на даче, да и над своей лесной диссертацией поразмышлять. Или отдохнуть сегодня, чем-нибудь более приятным заняться?

Жена сияет блестящими овальцами глаз, всем своим радостным существом выражая свое полное согласие, всегдашнее единодушие с любым желанием и намерением мужа.

Буркало проходит в кабинет, названный им комнатой психологической разгрузки, усаживается за массивный, инкрустированный перламутром стол, придвигает бумагу, несколько минут смотрит на солнечно-весенние стены и крыши несчетных домов по ту сторону наполненного голубизной окна, думает, что очень хорошо ему в этом огромном, понятном городе, затем пишет:

«Дорогая редакция! Обращается к тебе твой давний народный корреспондент Вездесущий. Разрешите сообщить поучительный факт из нашей общественной жизни. Гуляю недавно по бульвару около своего дома и вижу такую печальную картину: мужчина интеллигентной наружности и молодого телосложения пытается привести в чувство бледную старушку на скамейке, потерявшую сознание. Многие благополучные граждане равнодушно проходили мимо, хотя заботливый мужчина звал их помочь старушке. Наконец он вызвал «скорую неотложную помощь» по телефону-автомату, а сам вернулся к старушке и бережно так, по-сыновьи поддерживал ее седенькую головку. Но было поздно, старого одинокого человека спасти не удалось. «Скорая неотложная» увезла ее труп. А старушка была историческая, знала лично многих великих писателей и композиторов. Я увидел на глазах сильного молодого мужчины слезы и подумал: как нам не хватает простой сердечности ко всему живому в окружающей среде обитания! Решил подойти, поблагодарить душевного человека с большой буквы, узнать его фамилию. «Буркало», — просто ответил мужчина.

Дорогая редакция! Прошу серьезно отнестись и напечатать этот факт большой воспитательной силы.

Твой неусыпный Вездесущий.

P. S. В гонораре не нуждаюсь, прошу перечислить его в Фонд мира».

Буркало перечитал заметку, она ему понравилась, он размножил ее на машинке, решив послать сразу в три газеты. По вдохновению сочинил еще пару писем: одно о том, как Буркало на пляже в Серебряном бору защитил несовершеннолетнюю девушку от пьяных хулиганов, угрожавших ей перочинным ножом: применил самбо, разоружил, сдал в милицию; другое — информативное, с просьбой наказать директора универсама, окружившего себя подозрительными людишками из вышестоящих организаций, и начальника ДЭЗа, похотливо пристающего к молодым замужним работницам, что может вызвать развал устоявшихся детных семей. Эти «поучительно-назидательные факты» он тоже размножил. Надписал конверты, изменив свой почерк, положил корреспонденцию на край стола — Буркалка возьмет и отправит с какого-нибудь соседнего почтового отделения.

Он поднимается из-за стола, делает несколько приседаний, сильно разводит и сводит руки; отдых, психологическая разгрузка удалась — ум светел; тело наполнено мускулистой бодростью. Теперь пора погулять, освежиться майским воздухом. Он нажимает кнопку на боковой стенке стола, по квартире разносится музыкальный перезвон, напоминающий мелодию «Главное, ребята, сердцем не стареть», и выходит в прихожую.

Дремавшая такса Клара с тьяканьем метнулась ему навстречу, отлично поняв звонки хозяина, в детской комнате завизжали от радости буркалята, из гостиной вышла Буркалка проводить семейство на прогулку. Он надевает мягкие, пружинистые сандалии, легкую куртку, берет тяжеленькую трость — для осанки. Ожидает. Квартира в легком заполохе и шуме. Просторная квартира. Он прирастил к ней соседнюю однокомнатную с большой кухней, которая стала детской. Очень уж несговорчивым, правда, прямо-таки агрессивным оказался сосед-фронтвик, едва одолел его. Пришлось наострить старичков-пансионатников, побеспокоить инстанции. Кому и что просто так, за имя и отчество, дается? Хочешь комфорту — подмажешь и чёрту, как находчиво выражается один хамоватый приятель, служащий в фирме «Заря».

Буркалка целует буркалят, Буркало командует: «А ну-ка, парни!» — и напористая группка вырывается из квартиры.

Майский бульвар призрачно затенен молоденькой листвой, точно длинное пенистое облако накрыло его зеле-

ной дымкой, влажной и травянисто-пахучей, воздух легок, и люди в нем, как рыбы на дне водоема, медленно плывут среди растений или, затаившись в сумеречных местах, сладко дышат открытыми ртами.

Буркало неспешно шагает, умирняя поводком Клару, буркалята бегут впереди — головастенькие, тугие, стремительные, словно две одинаковые торпеды, начиненные взрывчаткой; отклоняются влево, вправо, исчезают за кустами и опять буравят воздух главной аллеи неразлучной парочкой, точно магнитно сцепленные; вот они встретились с мальчишкой постарше возрастом, Буркальчик толкнул его плечом, Буркалочка засмеялась ему в лицо, мальчишка взмахнул оскорбленно рукой и мгновенно оказался сидящим на мокром песке аллеи, ловко сбитый и растерянный, а буркалята несутся дальше, умело лавируя среди прохожих.

Придержав рвущуюся за ними таксу, Буркало заботливо наставляет мальчишку:

— Ну, герой, где твоя сила, напор, смекалка? Тебя учат — учись. Не то просидишь с детства до старости попой на сырой земле.

А буркалята уже вертятся вокруг небритого мужика в кокемитовой кепке, стригущего газон трескучей мотокошилкой, что-то кричат ему, дергают за рукава, хватают и развеивают по газону пучки скошенной травы. Мужик дико озирается, протирает тыльной стороной ладони красные глаза, ему, вероятно, мерещится: буркалята множатся, меняют лица, пестрят, цепко виснут на нем... Выключив косилку, он юрко бежит прочь с газона под смех и острые словечки гуляющей публики.

Увидев Буркало, мужик пугается еще больше, поптичьи прячет голову в худые плечи и все-таки, приостановясь, жалуется:

— Как жить, хозяин?

— Не любишь жить — не живи, — улыбочиво советует Буркало, ускоряя шаг вслед за собакой.

Идет напористо. Туда, где таранят аллею буркалята. И доступно распахнуто пространство жизни.



БОЛОТО

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Выйдя из дома на сырую площадку крыльца, он остановился, оглядывая двор, хозяйственные постройки, огород чуть в стороне, небольшой сад с яблонями и грушами, питомник для выращивания лесных саженцев, — разом все «жизненное пространство», как называл он свое подворье, огороженное прочным частоколом.

Неслышно по ступенькам крыльца поднялся к нему пес Ворчун, старый, с буро-седой шерстью овчар, лизнул ему руку, поздоровавшись так и доложив: «Ночь прошла без происшествий». Присел рядом, принялся, подражая хозяину, мокрыми глазами озирать их общее место жительства.

Туман сгущался сразу за подворьем, будто не смел одолеть частокол; он пах гнилостной затхлостью и был подвижен: смутно клубился, восходил к небу, темными космами выстилался по земле и, чудилось, еле внятно клекотал.

При полном безветрии тяжелое движение пара — без направления, как над огромным мерно кипящим котлом, нагоняло оторопь даже на него, привыкшего к почти всегдашним утренним туманам в этой необычной местности.

Жестяный флюгер-петух на высоком коньке крыши виделся почти весь. Туман средней плотности, подумалось ему, взойдет солнце, пробудятся ветерки — рассеется, опадет моросью.

Неощутимый ток воздуха принес вдруг из непроглядного пространства чистый и острый запах фиалок. Он вздрогнул, на миг поддавшись давно знакомому обману: где-то неподалеку, вон за теми космами тумана, просторно зеленеет фиалковая поляна... Тряхнув головой, он как бы окончательно вернулся из полусна в реальную жизнь, сказал себе:

— Ну, Иван Алексеевич, приступай к исполнению своих обязанностей!

Эти слова, повторяемые им каждое утро, хорошо понимал пес Ворчун, первым сбежал со ступенек крыльца и, словно бы прокладывая путь хозяину, затрусил к са-

раю, где мирно уживались под одной крышей коза Дунька и десяток кур с петухом; коза в загончике внизу, куры — на нашествиях под крышей.

Он откинул задвижку, распахнул дверь. Из сарая донуло сухим теплом мятой травы, козьей шерсти, птичьего помета; облачко тепла потеснило наружную сырость, стало медленно растекаться по двору, насыщая его запахами жизни. Со старой рябины у дома слетела стая воробьев на утреннюю поживу возле кур; из лепного гнезда за наличником окна выпорхнула ласточка, ввысь и вкось рассекла туман, исчезла (в том месте, чудилось, засочился свет); крупный уж Иннокентий выполз из норки под крыльцом, вскинул лакированный пятнистый ромбик головы и, помелькивая раздвоенным жалом-языком, принялся как бы на вкус определять воздух сегодняшнего утра; отозвался и еж Филька, несколько раз сердито фыркнув: мол, я тоже здесь и пока жив-здоров; проснулись пчелы в ульях под яблонями, тоненько и сердито зазудели около летков, не осмеливаясь лететь с подворья в туман. Не хватало лишь кота Варфоломея, но тот всю ночь гонял во дворе мышей, только под утро впрыгнул в открытую форточку и теперь заслуженно спал на дерюжном коврикe у кровати хозяина.

Выпустив кур и посыпав им пшена, он пошел в дом, взял подойник, полотенце и ковшник теплой воды, не забыл прихватить с вечера приготовленную горбушку хлеба; вернулся в сарай, неспешно, наговаривая ласковые слова, скормил хлеб сонноватой, пахнувшей травяной жвачкой и молоком Дуньке, потом, присев на низенький стульчик, сполоснул, насухо протер вымя и сильными, резковатыми сжатиями ладоней подоил козу. Она отдала молоко до капли. Он сказал ей: «Спасибо, милая», повел со двора и неподалеку от частокола изгороди, среди лужайки из сеяных трав привязал к железному колышку, припустив достаточно веревки.

Дунькиным молоком, густым, чуть желтоватым, радующим и видом и вкусом, он поделился с жильцами подворья: псу Ворчуну налил в миску, ежу Фильке — в плоскую консервную банку; воробьи подбирали пшено на куриной площадке. Петух Оратор сердито прокукарекал в туман, призывая запропастившееся солнце, поперхнулся сыростью, заворчал недовольно и повел шкодливое семяество к изгороди на кучу торфяного перегноя. А вот и частая гостья явилась — верещит на коньке крыши сойка, возмущается: «Вщё съели, вщё!.. Прилетает она из

дальнего леса, километров за пять, и ее тоже подкармливает хозяин. Недолюбливает он, пожалуй, только ворон, но терпит, тоже ведь живые существа; и от них какая-никакая польза — мусорный ящик исправно очищают.

Теперь можно заняться собой, — неспешно думает он. Идет за дом. Здесь из-под древнего камня высверкивает струйка воды (будто камень выдавливает ее) и по деревянному желобу стекает в бассейн, с выложенными камнем стенками и песчаным дном. Вода льдисто-прозрачна и на вид тверда: ступи, кажется, на ее поверхность и шагай, как по льду. Он раздевается до трусов — вот ведь, ни единой человеческой души вокруг, а совсем голым купаться не может: все мнится некое Око, за всем и всегда наблюдающее, да и живности сколько на его подворье, — окунается с головой, плавает, чуть вскрикивая от родникового холода воды; десять метров в одну сторону, десять — в обратную.

По желтой песчаной дорожке трусцой бежит в дом. Ласточка, вернувшись с мятым мотыльком в клюве, резко снижается над ним, словно проверяя, он ли это, и, овеяв ветерком ему спину, камнем падает за наличник окна, где сидит на гнезде подруга; оттуда слышится цвирканье, клекот — легкая утренняя перебранка: наверное, долго летал супруг, и добыча оказалась не столь вкусна... Все это отметилось в его памяти мгновенно, четко, сразу и забывшись, ибо он уже в доме, растирается полотенцем у горячей печи, с хищноватым гудением выжигающей из березовых поленьев сухое тепло. На плите позвякивал крышкой кипящий чайник.

— Чаек готов, Иван Алексеевич, садитесь завтракать, — проговорил он громко, с чуть угодливой просительностью и торопливо ответил себе своим обычным голосом: — Благодарю, тронут вашей заботой.

Он привык к такой вот маленькой игре: будто бы в доме кто-то есть (вероятнее всего, женщина), и этот кто-то, встав пораньше, затопил печь, прибрался в комнате и на кухне, а вот уже ласково к столу приглашает... Чтобы в каждое утро было именно так, он сперва терпеливо управлялся по дому и только потом выходил во двор.

Завтрак его небогат, изо дня в день почти тот же — два яйца, чашка молока, хлеб, чай, — ест он неторопливо, как, впрочем, и работает, и мыслит: жизни впереди много, работы и того больше, мыслям незачем суетиться при его одиночестве, а пища, кому неизвестно, проглоченная в спешке, едва ли бывает полезна.

Подбрасывает в печь звонких полешек, ставит на плиту чугунок с водой, чистит картошку, прошлогоднюю, в усиках ростков, потом моет пшено, мелко нарезает свиное сало, — будет кондер на обед, блюдо не шибко изысканное, но питательное. Да и что можно приготовить в мае, когда старые запасы кончаются, а новое не выросло в огороде, не нагуляло веса во дворе?

Заправив чугунок, он усаживается на диван в горнице. Напольные часы, выпуска девятьсот первого года, глухо, с ворчанием шестеренок отбивают семь утра. Туман за окнами приметно посветлел и еще более оживился — уже в одном направлении промелькивал желтыми, серыми, мертвенно синеватыми всполохами: невидимое пока что солнце пробудило где-то по окраинам долины ветерки.

Это время для него особенное, он называет его «Часом вхождения в жизнь» — свою, здешнюю, и жизнь большого мира. Включает радиоприемник, слушает последние известия. Затем читает газеты. Не свежие, правда (он раз в неделю ездит на мотоцикле в районный городок за двадцать четыре километра, берет почту, подкупает кое-что в магазине), но не большая беда, что газетные новости он узнает позже других людей, у него ведь здесь иное время, не ускоренное всеобщим техническим прогрессом, как бы забытое, не учтенное им. Впрочем, он привык по радио (если, конечно, удавалось добыть батарейки) слушать последние известия, а из газет вычитывать — недельной давности. Будущее старался предугадывать сам. Складывалось даже некое объемное восприятие всего происходящего в мире.

Чтива ему хватало, он выписывал четыре газеты да еще литературно-художественный журнал, самый толстый, — для «культурного просвещения» и чтобы не разучиться нормальному человеческому языку.

В стране идет перестройка, сажают в тюрьмы воров и приписчиков недавнего застойного времени, переводят заводы и фабрики на хозяйственный расчет, открываются кооперативы, передают землю и скот в семейный и бригадный подряд, критикуются ранее неприкасаемые авторитеты, без боязни говорится о демократии; «гласность» и «перестройка» стали популярными словами в мире, не замалчиваются беды социальные, экономические, особенно в сельском хозяйстве: подумать только, крестьяне ездят в столицу за продуктами!..

— Ты рад этому, Иван Алексеевич?

В прошлое воскресенье, когда он отоваривался сахаром, пряниками, спичками в районном магазине, к нему подошел выпивоха Мишка Кнут, рассказал анекдот: «Слышь, приезжает большой дипломат с Запада, говорит нашему большому: как вы справляетесь с перевозками, у вас же транспорт плохо работает? Наш умный отвечает: очень даже просто, возем все в Москву, а из Москвы граждане сами развозят».

Мишка похотел, а потом вполне серьезно предложил копченой колбасы, привезенной им из столицы. «С божеской наценкой, слышь, в три раза всего. Сутки езды в один конец, понял, да работяге магазинному на бутылку ссудил, не считая ночевки без комфорту в вокзальном скверике. А?.. Только из уважения к твоей исключительной личности и одинокому проживанию на вредной местности». Хотел было он приобрести у Мишки Кнута палку сухой колбасы (по правде сказать, вкус ее позабыл), но удержался, тут же подумав: умру, что ли? Перекупкам не будет конца, если будем перекупать друг у друга то, что должно продаваться свободно. Ехал потом домой с ощущением пусть и наивной, а правоты: помог хотя бы так перестройке — не дал выпивохе на водку.

Рад он переменам в стране? Конечно. Хотя понимает: до него не скоро они дойдут. Много другого, неотложного накопилось: ракеты нужно по всей планете уничтожить, из Афганистана войска вывести и восстановить все там разрушенное, с продовольственной программой справиться, бюрократов одолеть, детей духовности обучить... Но потом, он верит, настанет такое разумное время, пусть через десять или пятнадцать лет, когда люди вспомнят о нем: живет некий Иван Алексеевич Пронин у загубленной долины, копошится там, оживляет понемножку рукотворную трясиину, надо бы помочь ему: земля-то общая все-таки! Придут с умной техникой, а главное — с добрыми желаниями.

А пока, что ж, надо работать. К тому же его «Час вхождения в жизнь» закончился, он ощутил себя частицей мира людей, поместил себя среди них на весь сегодняшний день. Без этого, ему думалось, запретно дышать даже вон тем затхлым туманным воздухом, все еще сыро липнувшим к окнам дома.

Кот Варфоломей, отоспавшись, настойчиво просил, немо мяукая (потерял голос от здешних туманов), свою плошку Дунькиного молока. Лакай, милый, работаешь ты хорошо: в доме ни единой крысы. Страшатся тебя эти

зверьки, а им да тараканам, говорят, и атомное облучение нипочем. После человека самые живучие вроде бы.

Воображая, какой будет земля, если не уберегут ее от ядерной войны, — только люди-карлики и огромные крысы да тараканы (живо увиделось: лысый головастый уродец на тонких ножках отбивается каменным топориком от десятка свирепых тараканов, величиной с Варфоломея), — Иван Алексеевич, печально усмехаясь, неспешно облачился в рабочую спецовку: парусиновые брюки, резиновые сапоги, высушенный на печи ватник. Туго подпоясался ремнем, голову покрыл старенькой фетровой шляпой: она плотно охватывала голову, и глаза под ней не утомляются от солнца. Во дворе он заметил: туман еще более посветлел, белой спокойной пустотой распространялся от дома во все стороны. Это означало, что день будет хорошим, ясным.

Пройдя к питомнику, Иван Алексеевич надергал шесть десятков маленьких, в вершок высотой, сосенок, уложил их в просторный рюкзак, сунул за ремень топорик, взял мотыгу и пошел со двора.

Ворчун грустно проводил его до калитки, лизнул руку: «Знаю, опять сторожем оставляешь...», вернулся к дому, влез на крыльцо, сел и смотрел вслед хозяину, пока тот был виден в тумане.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Поднялось невидимое солнце, оживило воздух, ночной пар над обширной долиной осел, словно бы втянулся в заболоченную почву до новой ночи, и человеку в какой уже раз открылась неприглядная картина: почти у самых его ног начиналась взбугреная, ржаво-серая трясина, с темными мертвенными озерами, кое-где чуть оживленными чахлой осокой и камышом, высохшими и упавшими деревьями. Слева, где одиноко возвышался его дом, видны заброшенные полусгнившие строения, бугры фундаментов; сады будто с испугу забрели в болото и торчат из него жалкими скелетами деревьев; перекосилась, увязла по окна и старая церковь, но держится еще, чисто отражаясь ржавыми куполами в стоялой черной воде... А вот блеснули под солнцем громоздкие, серо-кристаллические холмы — отвалы калийной соли посреди долины (это от них веет иногда запахом цветущих фиалок), сразу за ними — искривленный куб обогатитель-

ной фабрики и дальше, если попристальной вглядеться, можно различить сквозь утреннюю послетуманную мглу башни копров, увязших в зыбкой земле, как бы не выдержавшей промышленных нагромождений.

Так оно и случилось, впрочем. Под всей этой долиной были шахты, из них десятилетиями добывали сильвинитовую руду. Старые тоннели бросали без надежных креплений, прибавляли новые и новые: стране требовалось все больше «эликсира плодородия» — калийных удобрений. Под землей множились пустоты, на поверхности росли горы солеотвалов, выработанной руды, в черных озерах отстойников скапливались тысячи тонн ядовитых шламов.

С вершины соляных вулканов ветер срывал облака пыли, рассеивая ее вокруг. Солью припорошивались окрестные леса, поля и луга, отравленным воздухом дышали рабочие производственного объединения «Промсоль», задыхались в летние знойные дни жители ближних деревень. Но добыча шла и расширялась: люди у нас сознательные, потерпят, картошечку и прочие овощи любим покрупнее да покрасивее. И терпели. Жили. Работали. Колхозники даже шутили: нам и удобрять не нужно огороды — с неба сыплется «эликсир»!

Беда подступила разом, как всегда неожиданно (кто же ее ждет в напряженных буднях труда, победных рапортов, штурме новых производственных рубежей?), просела дамба водохранилища, выплеснулся из него крутой вал, пронесся по шламовым отстойникам, набрался мощи и затопил почти всю производственную территорию черной кислотной жижей. Был, конечно же, объявлен всеобщий аврал, спасали помещения, технику, укрепляли дамбы (хорошо хоть поселок солевиков выстроили в стороне, на возвышенном месте). Справились с аварийной ситуацией, наладили прерванную добычу руды, доложили в верха. Но вскоре перекосило один из копров над шахтой, треснули бетонные стены обогатительной фабрики, а дальше и того хуже — порвало солепровод, тысячи кубометров шламов залили огромное пространство живой земли. Были опять авралы, героические подвиги целых бригад, приказы, рапорты, напряженный труд всего объединения. И все напрасно: выработанные пустоты неглубоких шахт втягивали, всасывали перекопанную, перегруженную, перенасыщенную влагой поверхность. Земля опускалась с лесами, полями, деревнями, грунтовые воды заливали ее там, куда не достигали неудержимо расте-

кавшиися шламы отстойников. Производство прекратилось. Жители деревень переехали в другие пригодные для жизни районы. Покинула гиблую долину и «Пром-соль» — переместилась на десяток километров в сторону и там разработала новые шахты: земледелие зачахнет без минеральных удобрений, а запасов калийных солей в здешних местах — на ближайшие сто лет.

Ивана Алексеевича Пронина уже давно, однако, не печалит апокалиптическая картина загубленной земли. Что проку в грустных вздыханиях? Напротив, стоя сейчас на сухом пригорке, он с успокоенной радостью видит, как упорно продвигается в тряскую долину растительность: первой схватывает корнями хлипкую почву осока, за нею следует камыш, за камышом — ивовый кустарник, далее — осина с березой, и уже по их зарослям Иван Алексеевич высаживает сосенки и елочки. Этот черед не им придуман, так установилось в самой природе, он только помогает ей, понимая: зеленое, живое не терпит мертвых пространств.

Тринадцатый год он теснит болото, по несколько метров в год отбирая у него для трав и деревьев, дышит гнилостными испарениями, живет в доме, чудом каким-то устоявшем на краю деревни.

Кто поручил ему эту работу? Никто. Он сам напросился заведовать вон теми соляными отвалами. Какое-то время соль вывозили машинами, он вел учет, отчитывался в управлении «Промсоли». Но провалилась дорога, восстанавливать ее не стали — обошлась бы дорожке вывозимой соли. Иван Алексеевич согласился быть в сторожах при солеотвалах, что для себя он объяснил так: легче богатому объединению платить небольшой оклад и числить добытую руду как бы «задействованной», нежели решиться на списание ее. Комиссии, проверки, осмотры бывшей промысловой территории — кого это все порадует?.. И человека на долгие годы забыли. Не совсем, конечно, выплачивали ему жалованье, даже премиальные порой, но как он живет, чем там у себя занимается — этим не интересовались: участок «укреплен», объединение набирало мощности, его опять славили газеты, и что такое один человек, к тому же явно чудаковатый (кто согласится жить в одиночестве на болоте?), в скоростное время небывалых индустриальных достижений?

Но был он — человек. И потому не мог заведовать тем, что никому не нужно, да еще получать за это деньги. Он здесь работал. Он и пришел сюда — работать.

Выбив мотыгой лунку, Иван Алексеевич ставит в нее маленькую колючую сосенку, осторожно приваливает землей. Делает два шага — и все повторяет сначала. Работа невеселая. В лесхозах на весенние и осенние посадки нанимают сезонных рабочих. Там большие объемы, лесникам не справиться. Но хорошо ли работают сезонники? Лишь бы план перевыполнить. Забрел он как-то на такие посадки: дубки то с макушкой засыпаны землей, то лежат, белея голыми корешками, — разбросали по лункам и забыли прикопать.

Пошел в лесхоз, рассказал про это лесничему. Тот только головой сердито помотал: «Где я наберу хороших работяг, пьянь одна безработная нанимается... На том участке лесник болеет, вот они и потрудились ударно!.. Зову вот: иди к нам, не занимайся индивидуальщиной, так у тебя идеи высокие, а вернее сказать — дурость просто». Иван Алексеевич ответил: «Да ведь соглашаюсь, зачисляйте к себе, только оставьте на болоте». — «Ты эту пропаганду брось, — крутил лохматой головой лесничий, — ту загубленную землю пусть восстанавливает «Промсоль», нам своих площадей хватает, в болото еще не лазили. Заставим!» — «Десять лет заставляете, а калийщики знай себе промышляют. Видел, что они с новой территорией сотворили? Хиросима настоящая». Повздыхал тяжело лесничий, сказал, что видел, знает, посадки гибнут даже в пяти километрах от шахт, солевых отвалов, да что он может поделать, если сверху слышит одно: занимайся своим делом, нам отсюда виднее перспективы, государству и на экспорт нужны калийные удобрения. И выматерился: «Мать иху... с их «эликсирами плодородия»! Отрава от них одна».

Высадив шесть десятков сосенок по мелкому березняку, он сел на сухую кочку передохнуть.

Солнце четким оранжевым шаром проступило по ту сторону долины, над низким, темно синееющим лесом. Чахлым лесом, подтопленным болотными водами, но живым, растущим, скрепляющим почву корнями, и есть надежда, что не слишком капризное то разнолесье выстоит: в прошлом году Иван Алексеевич уговорил совхозного бульдозериста (за хорошее угощение и банку своего, «пронинского» меда) прокопать канаву по краю трясины. Честно потрудился бульдозерист, канаву протянул километра на полтора, и теперь она подсушивает лесную почву.

Туман развеялся, лишь кое-где в глубоких впадинах лежал он нежной белой кипенью, будто туда опустились большие лебединые стаи. И вон как засияли солеотвалы, солнце окрасило их свежей розоватостью по вершинам, четко отразило в широких, стеклянно гладких разводьях под ними. Сказочно красивы эти громоздкие серокристаллические холмы, похожие на айсберги в океане. Ветер принес от них сквозь болотные испарения чуть уловимый, прохладный запах фиалок.

Иван Алексеевич загляделся на это великолепие красок, оттенков, полутонов... Боже, природа не бывает безобразной даже убитая!

Взяв мотыгу, он принялся пробивать канаву от ранее окопанного и засаженного ивняком участка, чтобы хоть немного подсушить его: саженцы ивняка удивительно влагостойки, он их просто колышками втыкает в разжиженный грунт, но и они могут вымокнуть, если корням их не за что будет зацепиться. Воду по канаве он отводит к уже укрепившейся, семилетней тополиной рощице и там разветвляет канаву на мелкие протоки, называемые им капиллярами. Тополя хорошие испарители, в жаркие дни, что твои насосы, тоннами перекачивают воду из почвы в воздух. Под их кронами бывает душно, как в парной.

Он бьет и бьет мотыгой в сырой и цепкий дерн, осторожно переступая, нащупывая ногами твердые кочки, — все зыбко здесь, на краю долины, и можно ухнуть вдруг по плечи, а то и с головой в неприметную сверху бочажину. Иной раз думается Ивану Алексеевичу: эти провалы — в пустоты выработанных и залитых водой шахт.

Вспомнился прошлогодний случай: угодил в такое вот «окно» лейтенант Федя. Раскинул руки, держится за чахлый камыш и вместе с ним все глубже вязнет в трясине да еще шутит: «Алексейч, может, не будешь спасать, а? Может, моя судьба такая — погибнуть в твоём болоте?.. Ага, чувствую, кто-то за ноги меня ухватил, тянет, тянет... Я ж до самого ядра планеты могу провалиться! Интересно, правда, какой там состав вещества?..» Кинул он Феде веревку с петлей, велел продеть петлю под мышки, другой конец взял себе на плечо и давай тащить по-бурлацки; хорошо хоть ноги не вязли, земля в посадке успела затвердеть. Вытащил, конечно. Лейтенант был крепок, тренирован, но веса «бройлерного», как сам подшучивал над собой.

Одинокий дом у болота Федя нашел случайно, блуж-

дая по здешним лесам «для душевного отдохновения». Попросился погостить денек-другой «вдали от шума городского», да и прожил на подворье Ивана Алексеевича больше месяца.

Поначалу был молчалив, задумчив, до смешного рассеян: закурит сигарету — и забудет о ней, истлеет — новую берет; протянет козе Дуньке кусок хлеба, та съест, а он все держит руку протянутой; или еще чуднее: первое время спал на диване одетым.

«Нет, нет, — говорил вполне серьезно хозяину, — вдруг тревога, а я в неглиже».

О себе рассказал коротко, с явной неохотой: мол, приглядишься — и сам поймешь, кто я и откуда. Был он ранен и контужен в Афганистане, у него слегка подергивалась левая рука, виделись ожоги на левой щеке и шее. Награжден медалью «За отвагу», орденом, после госпиталя в Ташкенте получил трехмесячный отпуск. Побывал у родителей в Москве, решил навестить родную тетку, а вернее, набродиться по лесам вокруг ее районного городка. И вот увидел подворье с чудным обитателем. Залаяла собака, вышел хозяин. Забыв поздороваться, Федя спросил его:

— Вы здесь живете?

— Живу, — ответил Иван Алексеевич.

— Не может быть. Иду. Туман. И вдруг среди пустоты — дом, деревья, зелень... Нет, это мне мерещится. Я же того слегка... — Он покивал головой. — Дайте вашу руку.

— Пожалуйста.

— Живая вроде.

— Благодарю за эти слова, — сказал Иван Алексеевич. — А то порой мне самому кажется: жив ли я?

— Интересно как... — рассуждал лейтенант Федя, держа руку Ивана Алексеевича в своих обеих. — Ушел от людей, чтобы отдохнуть. Я ведь их, людей, перестал как бы видеть: люди, люди, все на одно лицо... И вот вижу — человек. Давно не видел так близко человека. Спокойно стоит, никуда не торопится, у него глаза смиренные и засиненные, как у младенца, он не бреет бороды... Ему, может быть, и колбасы московской, и джинсов «Суперрайф-л» не надо?

— Угадали, не надо.

— И можно войти в дом к этому человеку?

— Прощу.

Недели две Федя не покидал подворья. Ему все здесь

было интересно, всему хозяйскому он хотел научиться, и как был рад, когда сам подоил козу Дуньку и та не ударила ногой по ведру. К нему на колени вползал подремать уж Иннокентий, а еж Филька принес и положил у его ног задушенного мышонка, желая, вероятно, поделиться добычей с новым жильцом двора. Это почему-то возмутило Варфоломея (устыдился, пожалуй, своей котовьей нерасторопности), и он принялся загонять Фильку в нору под сарай, укалывая лапы о его колючки и страшно воя. Федя вполне серьезно разнимал их, уговаривал:

— Ну, правильно, все правильно, от меня мира не может быть, от меня войной, раздором пахнет, вот вы и подрались. А ежик трусишка и подхалим. Понял: я ведь и придушить запросто могу, подумаешь, личности какие, четырехлапые... В Афгани ребята из нашего батальона всяких зверушек кушали, когда их душманы в диком ущелье заперли. В основном ежей. Жирные, говорят, только без рукавиц шкурку не снимешь... Ладно, потерпите, я скоро уйду. Вот тут в вашей первобытности наберусь живого духу — и к людям, вариться в котле прогресса. А может, мне здесь остаться? Запишусь к Ивану Алексеичу в работники, будем болото осушать, и тогда вы меня примете в свою семью непорочную. Мне нужно грехи замаливать, а я неверующий. Значит — только в храме Природы. По-язычески. Мне наш майор, он из сибирских староверов, говорил, что это ерунда — кому и как молиться, главное — от души. Чтоб душе легче стало...

Он увидел хозяина, открывающего калитку, спросил:

— Правда ведь, Иван Алексеич?

— Думаю, да.

— А скажите, вон до той вашей церкви, что в трясине увязла, можно добрести?

— Зачем тебе это архитектурное излишество?

— А вот почувствую облегчение, заберусь на колокольню и ударю вон в тот главный колокол. Там и маленькие остались. Почему-то не сняли. Их же, слышал, коллекционируют?

— Не успели, — засмеялся Иван Алексеич серьезному любопытству и детски наивной непонятливости лейтенанта Феде, человека большого города, асфальта, домов со всеми удобствами, автомобилей, людских толп и войны. — Земля быстро осела, бежать пришлось.

— Понятно. Земля везде может осесть, провалиться.

Удивляюсь, почему она под городами терпит, там ведь такая нагрузка?..

Как-то Иван Алексеевич вернулся с работы в сумерках и удивился: дом темен, Федя занемело сидит на крыльце. Приблизившись к крыльцу, он услышал настоженный шепот Феде:

— Тише. Садитесь и молчите.

Пришлось сесть. Молчали минут двадцать. Наконец со стороны затонувшей деревни донесся хриплый, с прищелком звук.

— Что это? — спросил Федя.

— Лягушка, должно быть.

— Вот! Я так и подумал! Там же их не было, лягушек?

— Не было.

— Первая, значит?

— Первая.

— Елки-моталки, так она что, в этой отраве соляной поселилась? — Федя даже привстал возмущенно. — Живое ведь существо!

— Ну, не совсем отрава, — успокоил его Иван Алексеевич. — Там я камыш, осоку высеваю уже не один год. Значит, очистилась сколько-то вода.

— И она жить будет там, лягушка? Вот, опять квакнула, да смело как!

— Наверно. Раз понравилось.

Федя соскочил с крыльца, заходил рядом по песчаной дорожке, размахивая руками.

— Ну, природа! Ну, сила! А я не верил вам: ну что может сделать один человек с этой громадной трясинной? Ее же техника, сотни людей и много лет сотворяли. Теперь понимаю: если по шажку, если изо дня в день, если из года в год...

— Только так.

Федя остановился, упер руки в бока, и его большие глаза на узком лице, кажется, увеличились вдвое, чтобы прожечь темноту и увидеть выражение лица непонятного ему человека, спокойного, мрачноватым идиолом восседающего на крыльце, как на специальном постаменте,azole своего одинокого, почти нереального, им самим придуманного жилища.

— И все равно вашей жизни не хватит, чтобы хоть треть этой долины оживить.

— Не хватит. Но придут другие.

— Вы уверены?

Иначе бы тоже ушел.

— Нет, такие не уходят, — негромко, как бы для себя только усомнился Федя, — такие... — Он хотел сказать, пожалуй, «психически тронутые», но удержался. — Ладно, — резко поднял и опустил руку, — верю вам. И работать буду. Бездельем души не поправишь.

Он стал ходить с Иваном Алексеевичем на его рабочие участки.

Был июнь, время посадок отошло, но дел хватало: подправляли, опалывали деревца, копали канавы, в особо тряских местах настилали гати, а глубокие бочажины, как незаживающие раны, бутили щебенкой, камнем — по окраинам долины этого «стройматериала» было достаточно, не один год подряд разрабатывались малые и большие карьеры для нужд «Промсоли».

Федя работал истово, с крестьянской хватистостью и смекалкой, унаследованных им, вероятно, от костромских предков, некогда переселившихся в Москву. Бывает так: ничего не умел человек, а взялся за топор, пилу, лопату, подышал прелью потревоженной земли — и припомнил, что и как делается, и древним хмелем забродила кровь в его жилах — от жажды простого труда, мускульного напряжения.

Смотрел на него Иван Алексеевич, думал: о, эти ребята, с неутерянной крестьянской основательностью, любое дело правят серьезно! Так же и воюют, наверное: истово, не раздумывая. Работают на войне.

Возвращался Федя усталый, но охотно доил Дуньку, кормил кур, носил из родника воду в дом и для дворовой живности, что нравилось ему больше, чем приготовление ужина; и непременно купался в пруду, даже в дождливую погоду.

В долгие, совершенно мертвые здесь вечера — разве что ухнет неподалеку болотный газ или неведомая птица испуганно прокричит, заблудившись над черной долиной, — Федя любил при керосиновой лампе, знакомой ему по кинофильмам и литературе, пить чай до пота, с полотенцем на шее, из настоящего, полуведерного самовара, раскаленного березовыми углями. И говорить неспешно, надолго замолкая, спрашивать, слушать, рассуждать вслух, зная, что тебя не перебьют, не удивятся твоей внезапной резкости, не упрекнут за беспричинные слезы.

Он-то и назвал эту отравленную местность Горькой долиной: человеку здесь трудно дышать, птицы сюда не

залетают, зверье пугается безжизненного пространства. Он видел, как обильно слезились глаза и широко, обреченно раздувались ноздри у свирепого на вид кабана, случайно забредшего в черную солевую трясику...

Многое вспоминалось теперь Ивану Алексеевичу. Но не по порядку. Чаще — к какому-либо житейскому случаю, душевному настроению. Как сейчас вот, бил мотыгой канаву, нащупывая ногами кочки потверже, и словно бы услышал: «Алексеич, ты меня вытащил из бучила, а кто тебе веревку с петлей бросит, если сам в такую «черную дыру» ухнешь?.. Ты меня провожаешь наказом: будь осторожен, лейтенант. Я тебе скажу на прощанье: не особенно-то геройничай тут, я тебя хочу живым увидеть».

Надо передохнуть.

Иван Алексеевич хочет припомнить, о чем еще он говорил с Федей в день их расставания, но... засвистел, загромыхал воздух: над долиной низко пронеслись три реактивных истребителя, сотрясли землю, с гулом громовым удалились за леса, к городам и аэродромам, и пришлось ему вернуться в сиюминутную жизнь: вот заболоченное пространство, вот канава, вот молодые и старые посадки... А вот и сам он — сидит на сухом бугорке, в раскрытой сумке — бутылка из-под молока, хлеб, лук зеленый... Значит, закусывал. Значит, полдень, можно и на часы не смотреть: время отмеряется в нем, должно быть, ударами сердца, током крови — так он сжился с этой, естественной для него, средой обитания.

Теперь долина до краев залита светом, невидимо насыщает воздух мертвенными испарениями и вовсе не кажется зловещей: был здесь вроде бы обширный водоем, но ушла куда-то вода, и долина постепенно осушается, зарастая травами. В это можно было поверить, особенно в такой яркий день, в сонноватой усталости от работы, если бы не драгоценно сияющие глыбы солеотвалов, словно по некой высшей воле воздвигнутые украшать гниlostную пустыню, — с их подсушенных вершин ветер сдувал невидимые облачка солевой пыли, нес над долиной, еще более засаливая мертвую землю, припоращивая и все живое по ее краям.

А работать надо. Непокрытой головой, затылком, пригнутыми плечами Иван Алексеевич ощущает: за ним следят, его видят, он не один — только и всего, что нет рядом людей. Поднимается, берет мотыгу. Бьет и бьет ею, раздирая вязкий дерн, растворяя темную густую воду по

старой посадке. В горле першит солевая пыль, и он удивляется: пыль никогда не пахнет фиалкой.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Хозяйство у Ивана Алексеевича Пронина было немалое, как он считал, ибо все какое-нибудь дело находилось во дворе. Но он приучил себя к жесткому правилу: с утра, в любую погоду, шел на главную свою работу — осушать Горькую долину. Домой возвращался не ранее трех часов дня, обедал, отдыхал немного и выходил во двор. Вчера он брал мед из четырех ульев своей пасеки у изгороди за прудом; май и июнь были солнечными, пчелы трудились без усталости, и меда он накачал около ста килограммов (будет еще осенняя качка, так что хватит и себе, и районному орсу на сдачу). Сегодня нужно прополоть картофель.

Огород сразу за садом, он невелик, как, впрочем, и сад — четыре яблони, две груши, крыжовник, несколько кустов вишен, — но растет здесь все самое необходимое: грядки капусты, моркови, свеклы... И соток шесть отдельно для картофеля.

Это место всегда было садом и огородом, но стало заболачиваться, когда опустилась почва под всей деревней, и Ивану Алексеевичу пришлось немало поработать, чтобы спасти его: копал канавы, насыпал по краям земляные валы. Теперь огород как бы приподнят над местностью, приобщен к бугру, на котором стоит дом. Вызревает все хорошо, одно досадно — в засушливые лета и овощи, и фрукты с привкусом калийной соли бывают. Что поделаешь, привык Иван Алексеевич к такой приправе. Вон и пчелы поначалу дохли, вывел своих, «солестойких». И молоко у Дуньки горьковатым было, а теперь ничего, приспособилась милая скотинка не отравляться вроде ядовитой пылью; даже пес назван Ворчуном по солевой причине: чихал, хрипел, ворчал, когда щенком приспособливался к здешнему «климату». Словом, вывелась на подворье Ивана Алексеевича Пронина живность особой породы.

Он усмехнулся, вспоминая слова лейтенанта Феди: «Вы тут мутировались, вас надо исследовать, вы — существа будущего, обитатели планеты без природы». Он же, Федя, назвал подворье Ивана Алексеевича «островком жизни среди индустриального разгильдяйства».

Прополка — дело несложное, бери ряд, срубай тят-

кой сорняки, заодно и окучивай кусты; слабые подшевеливай лезвием тяпки снизу — мол, чего сидите в сонной задумчивости, догоняйте соседей, не то срублены будете, как сорняки. Несложное дело, а скучное, однообразное: тяпай да тяпай, почти не разгибаясь, и час, и другой... Но работа сельская не бывает совсем уж неоплатной, если душа твоя к ней расположена. Вот сейчас ты потревожил землю, расшевелил картофельные кусты, срезал сорную траву — и дух свежести, особой жизненной силы невидимым облаком встал над огородом, оттеснив все другие запахи.

Огородный дух уловила Дунька на своем одиноком выпасе, заблеяла: возьми, хозяин, к себе — там у тебя скошенной травкой пахнет! Приполз Иннокентий, свисая кольцом в берете Ивана Алексеевича, брошенном под смородиновый куст, греет свою холодную кровь; приковылял Филька, ему бы спать и спать еще до сумерек, однако не утерпел: сыростью вскопанной земли потянуло, а на огороде такие жирные дождевые червяки! Протрусил раз-другой вдоль окученного ряда, разомлел от зноя и забрался в копешку сена у изгороди досыпать. Ворчун улегся в тени под яблоней, да так хитро, что и двор ему хорошо виден, и около хозяина он. Пчелы зачастили на огород, учуяв рассеянную пыльцу картофельных цветков; небогат нектар, а почему не взять, если совсем рядом?

В тихом воздухе распространяется над подворьем облако свежести, и Ивану Алексеевичу кажется, что он отчетливо видит его — зеленое, прохладное, живое.

Он берет новый ряд, шагает, бьет тяпкой землю, пропуская кусты меж ног, в конце выпрямляет спину, смотрит на свою работу, вытирает лицо полотенцем, повешенным на изгороди: пока проходит ряд, полотенце успевает высохнуть. Дышит свободно минуты две-три, видя все окружающее ярко-расплывчато и в некотором удалении как бы — от усталости, легкого шума в голове, учащенного тока крови по напряженным венам. И шагает обратно, начав следующий ряд.

Смешно и горько подумать: прошлой весной явился к нему сюда инспектор сельхозотдела райисполкома, обмерил его сад и огород, категорически изрек:

— Будем резать участок. Лишних четыре сотки прихвачено.

— Да что вы! — изумился Иван Алексеевич, полагая, что инспектор нарочито припугивает. — Я эти сотки горбом да мозолями освоил.

— Ничего не знаю, закон для всех общий — не положено.

— Вы не шутите?

— Ну да, полдня к тебе добирался, «газик» измызгал, чтоб только пошутить.

— Тогда и я серьезно. Гляньте на местность: что отрежете — болото поглотит.

— А по мне хоть черти болотные! — устало усмехнулся седой, моложаво опрятный, чисто выбритый и при свежем галстуке инспектор, наверняка из пенсионеров, прирабатывающих к пенсии, службист, аккуратист, и что особенно приметно: вряд ли знавший близко землю, работу и жизнь на ней.

— Ведь перестройка началась, — решил напомнить ему Иван Алексеевич. — Говорят, не будет ограничений на приусадебные участки.

— Это говорят. Пойди на базар — там кое-что поинтереснее услышишь.

— Время-то новое!

— А инструкции старые. Может, зачитать как неграмотному?!

— Не надо.

— Тогда вот здесь распишись. И урежь с любого конца, тут я тебе даю инициативу. А что болото, так оно тоже государственное.

— Государственное — это точно, не спорю, — согласился Иван Алексеевич и решил помягче обойтись с инспектором, поговорить спокойно, в дом пригласить: — Не хотите ли чаю, у меня и мед свежий имеется...

— Знаю, — невозмутимо прервал его инспектор, — приторговываешь медком, а на пчел тоже ограничения существуют. Возмутительно, сколько у нас кулачья развелось по государственной доброте!

— Мед я сдаю орсу, у меня все квитанции в сохранности. Некогда на базаре торговаться.

— Проверим твои качки медовые. В течение лета. Установим, куда и сколько сдаешь, тем более что сигналы поступают. А пока прошу, вот здесь поставь мне свой автограф. И чтоб без шуток: не урежешь — для первого раза штрафом прижму, потом правовые органы тобой займутся. Видишь, я гуманный все-таки, убеждаю вот, беседуя.

Иван Алексеевич расписался и еще раз пригласил инспектора. Его огорчила не столь бессмысленная резка огорода, сколь нежелание человека зайти к нему в дом.

Он поил чаем даже случайно забредавших, и никто не отказывался, хотя бы из простого любопытства: посмотреть, как поживает сторож солеотвалов и добровольный лесник?

Инспектор наставительно, с полуусмешкой сказал:

— Я на службе. И у тебя воздух не особо ароматный. Вот когда озеленишь болото, может, почаевничаю у тебя на веранде.

Он пошел со двора, едва не придавив ногой дремавшего на песчаной дорожке Иннокентия, но и это не смутило его. Всякого навиделся он за долгие годы чиновничества, стал ироничным от богатого житейского опыта и потому чуть ворчливо заговорил:

— Кругом — живой лю... Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы... Уже тысяча веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа... Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака... Во Вселенной остался... неизменным один лишь дух... Но это будет лишь... через длинный, длинный ряд тысячелетий, и Луна, и светлый Сириус, и Земля обратятся в пыль... А до тех пор ужас, ужас...

Довольно артистично наговаривая монолог из чеховской «Чайки», инспектор удалился за калитку, где его ожидал райисполкомовский шофер, так и просидевший все это время в машине, испуганный, вероятно, и видом мертвой долины, и запахами, исходящими от нее.

Ивану Алексеевичу подумалось сейчас о шофере: вывелась особая порода водителей легковых автомобилей, обслуживающих начальников. И не интеллигенты они, и рабочими их уже не назовешь. Руки белые (машины-то в гаражах ремонтируют механики), и одежда чистая, питаются из тех же распределителей, что и начальники, имеют «левые» деньги, знают, кому улыбнуться, кому нахамить. Тип, пожалуй, селекционированный только у нас. Их тысячи, этих советских «автолакеев», и они, конечно, против перестройки: ведь поубавится и начальников, и персонального транспорта.

Словом, задал инспектор Ивану Алексеевичу задачу и уехал. Как поступить, с кем посоветоваться?.. Был он, по своему крестьянскому характеру, уважающим порядок, даже несколько педантичным в этом: законам надо повиноваться, беззаконие вредно всем — и вождям, и маленьким людям. И все-таки Иван Алексеевич не смог переломить в себе чувства упрямого благоразумия: кому

будет выгода оттого, что болото пожрет клочок ухоженной земли? Ведь придется ему картошку прикупать на рынке, а это разве помощь государству в решении продовольственной программы? Выходит, с законом земельным не все ладно. А если так, то надо выждать немного, вон и газеты принялись защищать приусадебные участки.

Теперь он доволен своей выдержкой, по-хозяйски поступил — не отдал землю в одичание. И инспектор не явился — ни огород урезать, ни мед взвешивать. Занялся, вероятно, перестройкой своего застойного мышления.

— Так, Иван Алексеевич, — сказал он себе, — осталось у тебя всего два рядка, поднажмем и будем помнить: наше дело правое, потому что никому оно не во вред.

Картофель прополот, окучен. Иван Алексеевич жестко трет прохладным полотенцем лицо, стоит несколько минут, любуясь своей работой: чисто, ровно, красиво. Главное — красиво, без этого радости настоящей не бывает. И ладони рук весело горят от напряжения, и лезвие тяпки до голубого сияния начищено, и рубашка зябко холодит остывающую спину, и легкость во всем теле: подпрыгни — и, кажется, полетишь над огородом в облаке зеленых запахов. Он вскидывает на плечо тяпку, идет во двор, чуть покачиваясь от собственной невесомости. Вот ведь, размышляет с удивлением, работа не тягит, если она твоя, не подневольная.

Доит козу Дуньку, вдыхая зной ее шерсти, перегретой солнцем длинного июльского дня, делит молоко между всеми жильцами подворья, кормит притомившихся, тихих кур, ставит самовар, ужинает на веранде молоком, хлебом, огородной зеленью.

Потом выносит на крыльцо низенький стульчик, садится проводить солнце. Оно меркнет в дальних холмах за домом, и, если небо чистое, как сегодня, его лучи долго, низко и длинно освещают долину.

Солеотвалы пылают красками: то они кроваво-багровые, то розово-акварельные, а вот понизу подплыли стеклянной зеленью... Еще несколько минут — и конусы их заголубели, налились воздушной легкостью, и вновь они стали похожи на огромные айсберги посреди океана.

Воздух остыл, разогретая долина, будто очнувшись от обморока, начинала робко парить, смутно клокоча, поборматывая, переливая в своей бездонной утробе ядовитые воды.

Но еще свежо, еще изредка наносится дуновениями фиалковый аромат, непроглядь тумана вспухнет только

под утро, и можно сидеть до темноты в свежести и прохладе.

Вчера вечером Иван Алексеевич дочитал в журнале повесть Андрея Платонова «Котлован». Не пожалел керосина в лампе. И плохо потом спал: всю ночь виделись мужики, посаженные на плот и пущенные в безвестное плавание по безымянной реке. В никуда то есть. За то что отказались копать котлован общей счастливой жизни. Они плывут и исчезают, плывут и исчезают...

Это не повесть вовсе, не художественное произведение для увлекательного (пусть и серьезного) чтения. Тыходишь, ты живешь, ты участвуешь в той жизни. Она не пишется, не рисуется — растет из тебя самого, из твоей души. И вместе с Платоновым у тебя не хватает дыхания выразить ее спокойными, нормальными словами — ты захлебываешься, ты бредишь необоримой абсурдностью своей жизни и силишься внятно сказать людям! не роите бездонные котлованы для своего счастья — поднимайте к небу свои жилища!

Иван Алексеевич смотрит на заплывающую туманцем Горькую долину, будто кем-то стыдливо покрываемую белыми чистыми полотнищами, думает: она ведь тоже котлован, только вырытый снизу, мощными машинами.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Если говорили Ивану Алексеевичу Пронину: вы странный человек, — он соглашался, не споря, не оправдываясь. Потому что не любил рассказывать, объяснять, как и почему попал в эти «странные». Сперва, правда, обижался, теперь по привычке. Что поделаешь, людям действительно странно видеть такого человека.

— Странный вы какой-то, — сказала ему женщина, когда он ввел ее в дом и усадил возле печи обсушиться. — Я слышала про вас, да не очень-то верила. А тут грибы собираем, бабы мне говорят: Екатерина, ты не шибко-то по сторонам рыскай, забредешь к Хозяину болота, оставит он жить у себя.

— Хозяин — это ничего, — говорит намеренно неспешно и буднично Иван Алексеевич, чтобы женщина не очень смущалась в его холостяцком жилище, и помогает ей снять резиновые сапоги с мокрыми и набрякшими шерстяными чулками. — Меня и Болотным бесом называют, и Психом на болоте... По-разному.

Женщина щурится на ровный вечереющий свет в окне ее губы чуть вздрагивают от неловкой улыбки.

— Я ведь из этой деревни, что в трясине утонула, Дроновки. И забрела к вам нарочно: посмотреть, какой вы. Посмотрела вот и удивилась: так я вас и ваше семейство все знаю. Отец ваш без ноги с войны вернулся, мама ваша молочно-товарной фермой заведовала, вы в «Промсоли» потом работали, а с вашей младшей сестренкой я в школе училась. Да и вы всех наших знаете, угадайте мою фамилию.

— Угадал. И очень просто: волосы будто льняные, глаза серые, с голубоватостью легкой, и конопушки... Все Ситковы такими были, правда?

— Ой, точно!

— Вы, значит, Катя, ровесница моей младшей сестрицы. Отца вашего звали Тимофеем. Значит — Тимофеевна. Спасибо, Екатерина Тимофеевна, что зашли в гости к земляку на болоте.

— Непременно по отчеству подружку сестрицы?..

— У меня чутье: вы или учительница, или заведуете чем-то, так что к отчеству привычны. Лицо у вас такое. послушное вашей воле. Вы привыкли, чтобы вас слушались.

— О, почти угадали! Я старший педиатр. По детским садам.

— В одном садике завтракаете, в другом обедаете, в третьем ужинаете. Но вас боятся.

— Откуда вы все знаете, Иван Алексеевич?.. Удивительно, ваше имя и отчество назвала! Не ошиблась?

— Точно назвали.

— Вот она, память наша, деревенская. Деревня — все-таки одна семья.

— Потому, наверное, и мне нетрудно кое-что угадывать. У многих городских их прежняя деревенская жизнь на лицах написана. Вот мы и познакомились, прошу откусать чаю из самовара — не электро, а настоящего, на березовых углях нагретого.

— И вода из родника?

— Да. Дроновского.

— Ой, прямо аж в сердце кольнуло!.. Подхожу сюда к вам — и смотрю, смотрю за церковь, где наш дом был.. И увидела — труба от печки торчит из трясины... На что крепкая на слезы — заплакала, хотела сразу и повернуть назад, а тут ваш двор вижу, ухоженный, чистый, зеленый... Вспомнила сразу: на этом бугре

жил старик Дронов и называл свой бугор Святой обителью. Родник здесь бьет из-под земли. Мы ходили пить дроновскую воду. Наберет в деревянное ведро, вынесет за калитку. А к роднику никогда не подпускал, говорил: «Кто знает, какой у кого глаз? А если дурной? Вода святая иссякнет». Вода и вправду особенная, моя бабушка, бывало, наберет в пузырьки — полгода стоит, не портится. Дронов не пил вина, не курил, его называли старообрядцем. Помните, всегда ругался с нашим попом Никоном, называл его хриstopродавцем, угодником... И всегда, кажется, был он стариком, в колхозе работал по весне да по осени, когда звали помочь, на праздники орден Отечественной войны к старому офицерскому кителю прицеплял — заслужил в партизанах... Не помню вот, были у него родные?

— Два сына с фронта не вернулись, старуха здесь, в Дроновке, оккупацию пережила, после войны уже умерла... А когда-то, еще до революции, в деревне почти сплошь Дроновы жили. Предок их и основал здесь первое поселение, на этом вот бугре — бежал будто бы в леса от Золотой Орды. Такая старая, значит, наша деревня.

— Сам Дронов рассказал?

— Да, Илларион. Я ведь у него поселился, когда деревни не стало, вдвоем жили. Ему за девяносто было, собрался он умирать, гроб себе выстругал, место в лесу на поляне отыскал для могилы. Я говорю ему: давайте похороню здесь, у вашего дома. Не согласился: мертвому нельзя с живым, каждому свое место... Крест себе особый, старообрядческий, с тремя перекладами, вытесал. Дубовый, сто лет на поляне простоит.

— Так вы не по его завету здесь остались?

— Нет, скорее по своему. Но это другой разговор. И не короткий. — Иван Алексеевич усмехнулся настороженно, пригляделся к госте, все так же щурившейся в ясное окно и, кажется, позабывшей о чае (чашка стыла в ее руке на столе), решил, что, пожалуй, она не обидится его шутке, и сказал: — Расскажу, если еще навестите меня.

Лицо ее никак не переменялось, и не просто было понять — услышала ли она эти его слова, и он поторопился напомнить ей о чае, налил свежего. Отхлебнув глоток, она проговорила:

— Все войны прошли через нашу Дроновку, оккупацию немецкую пережила, а тут враз провалилась... И если б одна Дроновка! Гляжу на эту страшную до-

лину, думаю: это же как Чернобыль. Похоже, правда?

— Там пострашнее.

— Ну да, радиация. Там придется срывать почву, тут надо ее наращивать. Но там люди работают, откуда — сбежали.

— Придут и сюда.

— Когда жить негде будет?

— Ну, зачем так печально, Екатерина Тимофеевна? Молодой женщине, даже начальнице, вредно глубокомыслие... Извините, долгое глубокомыслие. Вы вот и лицо свое потеряли, каким-то не вашим, безвольным стало.

— Да? — удивилась она, крупными глотками допила чай, как бы показывая этим — все в порядке, вполне владею собой, — вскочила, босиком пробежала к порогу, где стояла ее корзина, подняла, сказала решительно: — Давайте жарим эти грибы, Иван Алексеевич?

— А домой что принесете?

— Ничего. Муж в командировке, дочь в школьном походе.

Иван Алексеевич кивнул на окно — там густо синел воздух, заметно вечерело. Она поняла его, с чуть излишней отчаянностью мотнула головой в сторону окна:

— У вас же мотоцикл есть, я видела.

— Даже с коляской.

— Вот и отвезете меня.

— Конечно. Я уже подумал об этом.

— Отлично! Буду хозяйкой. А вы меня слушайте и подчиняйтесь. Где будем жарить грибы?

— Лучше во дворе.

— Топите печку, грейте сковородку, а я почищу свою добычу.

Под навесом летней кухни Иван Алексеевич растопил печь, приготовил сковородку, поставил на столик бутылку с растительным маслом и пошел за Дунькой, обиженно бляевшей на своем пастбище: ты что, позабыл обо мне сегодня, хозяин?

Привел, дал ей теплого пойла с кусочками размоченного хлеба, а когда принялся доить, подошла Екатерина Тимофеевна.

— Это ваша коровка? — она провела ладонью по жесткому загривку козы. Дунька остро скосила глаз и боднула гостью, да так мгновенно, что та не успела отступить, — рог скользнул по ее голому колену, оставив на коже красную, шершавую полосу. — Ах, ты вредная зверуха! — удивленно возмутилась Екатери-

на Тимофеевна. — Своих, деревенских, не узнаешь?

Ивану Алексеевичу пришлось извиниться за Дуньку которая хитро присматривалась к госте уже другим глазом, явно примериваясь достать ее еще разок, поощрительнее. Это, впрочем, не помешало козе отдать хозяину все молоко, скопленное за день. Иван Алексеевич сказал Дуньке спасибо, но загнал в сарай, извинившись и перед ней: «Не сердись, гостя уйдет — выпущу, будешь во дворе ночевать».

Пока он кормил кур, ходил на огород за луком и редиской, резал хлеб, расставлял тарелки на столике под навесом, грибы дожарились, и Екатерина Тимофеевна, поогорчавшись, что ей не удалось приготовить ужин одной («В чужом доме все не так и не там лежит!») пригласила к столу все-таки с решительностью хозяйки:

— Прошу, Иван Алексеевич. Садитесь и только ешьте, я буду за вами ухаживать. — В тарелку с грибами, прожаренными до нежной хрусткости, она положила городской копченой колбасы, украсила блюдо нарезанной редиской и все посыпала зеленым луком, подала, сказала: — Правда, красиво? — И, вспомнив, вероятно, обидную враждебность козы, спросила с заметной надеждой: — Вы-то признаете меня за свою?

— Признаю. Сегодня, сейчас. Хотя вы из другой среды обитания... Как вам точнее объяснить? Так, что ли в городе вы все будто под особым колпаком. Пусть он невидимый, этот колпак, но крепко удерживает людей в своей тесноте, дымности, машинном грохоте... Если городской человек оказывается на природе — он такой одинокий, неприкаянный среди открытого пространства, вольного воздуха. Чужой, словом. Ну, как синтетическая кукла на зеленой лужайке.

— Потому меня и боднула Дунька?

— Наверное. Лесник гостил у меня, так его жена доила Дуньку, как говорится, без подхода, невзирая на породу.

— Значит, мы синтетические?

— Ну, не совсем, — усмехнулся Иван Алексеевич, оглядывая негаданную гостью — рослую, плотную, с крепкими, обнаженными до локтей руками и свежим лицом, чуть обожженным лесным солнцем. — Кто сколько. Но верно и то: в искусственной среде человеку трудно остаться естественным.

— Почему же бегут в города?

— Главное — земля стала ничьей. Ну и больше развлечений в городах, меньше работы.

— Да уж, как вспомню родное подворье... Все почти наши на шахтах работали, а хозяйство по старинке держали — огород, свиньи, птица, корова... В кино, на танцы сбегать хочется, а тут то прополка, то дойка да мойка. Город районный — раем земным казался. Так бы, пожалуй, наша Дроновка и жила ни селом, ни городом, да земля из-под нее стала уходить... Похоже на что-то такое, мистическое, правда?

— Похоже. Особенно по вечерам. Как сейчас.

— Не стало нам здесь земли, вот и оказались в городах.

— Не все.

— Кроме вас.

— Почему же? Кое-кто переехал в соседний район, там место отвели. Вернулись как бы опять в крестьянство.

— Да, да, — быстро согласилась Екатерина Тимофеевна, подняла от стола глаза, повела ими по двору и остановила на широком проеме между домом и деревьями сада, где, как вписанная в густую синь неба, сюрреалистически абсурдно, средь топкой рыжей пустыни резко, неправдоподобно выделась белая церковь с высокими крестами на кроваво поржавелых куполах. — О, лучше бы я к вам не приходила! Вот сейчас почувствовала: земля меня потянула, из-под этого болота. Тьмой, холодом... и еще страхом. И еще, еще радостью... до зябкости в душе: я здесь жила, знаю крестьянский труд, знаю, как пахнет вскопанная земля, какая она нежная под босыми ногами... Это потом, потом она провалилась, сперва мы ее бросили, отвратили от нее свои души, мы держались ею, она — нами... Будет расплата, уже есть расплата...

Екатерина Тимофеевна говорила будто бы сама себе, в себя, прислушиваясь к своему голосу, — так, наверное, в старое время причитали заклинательницы, — и глаза ее, словно бы позабытые там, за церковью, где когда-то широко простиралась деревня, стоял дом, в котором она родилась, глаза ее были онемело неподвижны, огромны от слез, заполнивших их до краев. Они казались Ивану Алексеевичу мерцающими озерцами, чудом не вытекающими из глазниц, и он ждал: вот сейчас они переполнятся... И озерца пролились крупными каплями, оставили на щеках светлые дорожки, а глаза Екатерины Тимофеевны обрели свой обычный цвет — серо-голубой,

чуть размытой акварели. Она слегка тряхнула головой, перевела взгляд на Ивана Алексеевича, удивленно нахмурившись, проговорила:

— Это вы?..

Он промолчал, не зная, что ответить.

— Да, да, вы. Извините. Я смотрела туда, в ту мертвую долину, и вы казались мне огромным, всесильным, вас страшатся злые духи болота, а вы... обыкновенный человек.

И опять он промолчал, лишь слегка передернул плечами и осторожно усмехнулся: мол, да, обыкновенный, тут уж ничего не поделаешь. Поднялся неслышно, чтобы не обеспокоить задумавшуюся гостью, пошел ставить самовар, полагая: как раз время угостить Екатерину Тимофеевну крепким чаем, она утомилась и хождением по лесу, и гостеванием у него, да еще с такими невеселыми воспоминаниями. Вот ведь, пришла всего-то посмотреть на Хозяина болота...

— Иван Алексеевич, — услышал он ее голос, — почему у вас здесь комаров нет, попискивают какие-то хилые?

— Среда обитания суровая. Лягушки, правда, кое-где селятся, по окраинам.

— А-а...

И еще через минуту:

— Иван Алексеевич, в вашем бассейне можно искупаться?

— Пожалуйста. Хотел предложить, да не осмелился.

Он вынес ей полотенце, вернулся к самовару и сперва силится не смотреть в сторону пруда, уговаривая себя: «Ну, прояви волю, зачем тебе эти волнения, пришла, уйдет... Ты же анахорет, одиночка, у тебя особая жизнь, свое дело, ты не можешь изменить ему даже ради самой необыкновенной женщины». Но невольно, в какой-то расслабленной забывчивости глянул раз, другой — и перестал сдерживать себя, как бы уже нарушив запрет, согрешив: «Ладно, извинюсь, если обидится Екатерина Тимофеевна. И не запрещала она смотреть, и сумерки плотные, особенно у пруда, накрытого тенью от дома...»

А вот и голос ее:

— Иван Алексеевич, ну и водичка у вас! Будто вы в нее колотого льда накидали!

Она стоит над еще незатихшей водой, растирается полотенцем, и он угадывает: она улыбается ему. Стеснительно улыбается: мол, прости меня, что я совсем вот так, но ведь купальника с собой не взяла, а в лифчике

и прочем — когда это высохнет?.. Можно бы попросить тебя не смотреть, да это чаще всего одно кокетство: я запрещаю, а ты смотри, смотри!.. Лучше уж попросту — не делать из пустяков трагедий. А мне так и приятно после купания в ледяной воде постоять минуту-две на открытом теплом воздухе, и смотри, если тебе хочется смотреть. Да и что такого невиданного может высмотреть мужчина в женщине, тсячи лет глядя на нее?..

Так думал он о Екатерине Тимофеевне, так, ему казалось, думала она о нем, и впервые за долгие одинокие годы Иван Алексеевич с тоской сердечной почувствовал: ему, его дому нужна женщина. Нет, не эта — она слишком молода, изнежена городскими благами. Есть другие, знающие простую жизнь, не боящиеся коз, кур, ежей и ужей, кастрюль на плите и горящих дров в печи. Почему ни одна из таких не пришла к нему? Или он не звал? Не звал так, чтобы не могла не прийти?..

— Иван Алексеевич! — Он вздрогнул от ее голоса. — Чай готов?

— И заварка настоялась, — ответил поспешно и как можно более спокойным голосом. — Прошу к столу.

— Бегу!

Екатерина Тимофеевна пьет чай, схватывая его алыми губами с краешка чашки, и эти короткие глотки горячей коричневой жидкости как бы сразу и уже розовостью проступают у нее на щеках, отогревая лицо, а от тела ее все еще веет холодком пруда; измученный духотой Ворчун отряхнул шерсть, подошел к ней, улегся рядом; прилетела с огорода сонная бабочка-капустница, прилепилась белым лепестком к ее обнаженной руке, замерла, впитывая прохладу. И Ивану Алексеевичу подумалось: сколько таких сильных людей растрачивают себя на суету житейскую, ютятся к тесноте городов, борясь за все большие бытовые блага! Скапливаются в очередях, толпами текут по улицам, волнуются на многотысячных демонстрациях... Они что, только вместе — люди? Чего они добиваются друг от друга? А земля, их родная земля сиротеет без них. Ведь человек еще столь природен! И разве не счастлива Екатерина Тимофеевна сейчас, в тишине, покое, после долгого июльского дня под открытым небом? Она и чай перестала пить, боясь спугнуть бабочку, глядя на нее виновато и сощуренно, словно бы из дальней дали, и позабыто улыбаясь. Женщина с бабочкой, женщина с бабочкой... — пусть не прекратятся эти повторения, пока на земле будут женщины и бабочки.

Так думает Иван Алексеевич, слегка смущаясь от непривычной для себя сентиментальности, и говорит, желая нарушить затянувшееся молчание:

— Вы счастливы, Екатерина Тимофеевна?

— Да. Сейчас.

— Что бы мне сделать для вас?

Она медленно подняла голову, глянула в пространство между домом и деревьями сада — там, в густо-синем воздухе, бело светилась колокольня церкви.

— Ударьте в тот большой колокол.

— Могу попытаться. Но ведь вы меня не пустите.

— Не пущу. Утонуть можно.

— А представьте, один человек пробрался туда. В прошлом году это было. Возвращаюсь так вот под вечер домой, только шагнул за калитку и — бом, бом, бом... Сперва растерялся: откуда этот колокольный звон и не сам ли колокол зазвучал? Бывает, зимами, в сильный буря, раскачается большой колокол и позванивает, но не шибко, правда, с долгими перерывами. А тут прямо набат пасхальный. Догадался, конечно: лейтенант Федя прошел до церкви и бьет, звонит... Жил у меня в прошлом году такой интересный человек, израненный в Афганистане. Набрел случайно на мое жилище, попросился побыть «вдали от шума городского». Мне, говорит, надо грехи замаливать, а я неверующий, значит — в храме Природы. Как почувствую облегчение, проберусь к той колокольне и ударю в главный колокол. Прощел, лыжи специальные из широких досок смастерил. Вот уж колокола поиграли над Горькой долиной! Лесник слышал, а он живет за двенадцать километров отсюда.

Екатерина Тимофеевна осторожно, двумя пальцами взяла бабочку за кончики сложенных крыльев, поднесла к своему лицу, слегка подула на нее, как бы пробуждая, и отпустила. Бабочка неслышно промерцала над двором и утонула в сумерках. Екатерина Тимофеевна спросила:

— Где же ваш лейтенант?

— В Афганистане.

— Второй раз вроде бы не посылают, особенно раненых.

— И его не посылали. Сказал: не могу, там друзья. Это им я позвонил в колокол: еду! Там часть души будто бы осталась — понял здесь, в тишине. Не вернусь туда — так и буду жить обездушенным. Мне надо это пройти до конца. Убить эту войну. А я замаливать грехи вздумал. Один. Разве такое замолишь?

— Помалкиваем про эту беду, а у каждого душа болит. Мы же все больны Афганистаном.

И опять они молчали, теперь слушая глухой ропот, смутные всплески, душное брожение мертвого пространства, будто в утробе его ворочалось, народившись, еще неведомое никому существо, способное пожрать, отравить своим дыханием все живое на планете.

Екатерина Тимофеевна зябко передернула плечами, поднялась, сказала:

— Везите меня в город, Иван Алексеевич.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Наступил август, редкостно сухой, жаркий. Не стало ночных туманов, по краям долины в низких местах усохли топи, и сама долина как бы осела, покорно притихла. Но забот у Ивана Алексеевича Пронина прибавилось: горячие ветры срывали с солеотвалов белые тучи пыли, разносили ее по обширным пространствам вокруг. Подворье завеивало едкой, вязкой, всюду проникающей солью. Слезились глаза, першило в горле, мучил кашель. В особенно ветренные дни Иван Алексеевич или не выходил из дому, или отправлялся в лес косить на глухих тенистых полянах траву. Его дворовая живность не менее тяжело переносила солевеи, как называл он соленые ветры: куры прятались под сарай, Ворчун отлеживался в конуре, Дунька лишь тихими утрами выходила погулять по двору: ближние лужайки выгорели, и Иван Алексеевич возил ей из лесу в мотоциклетной коляске траву и березовые ветки. Пчел пришлось переправить к леснику Акимову на кордон.

Жаль было огорода. Картошка кое-как держалась, все другое, более нежное, тибло, отравляясь обильным «эликсиром плодородия», как ни часто поливал грядки Иван Алексеевич. Приходилось окатывать водой, поливать и деревья в саду, чтобы помочь им выжить. Своих фруктов конечно же не ожидалось: невызревшие завязи яблок и груш усыхали, осыпались.

Не забыл Иван Алексеевич и главного своего дела — ходил на молодые лесопосадки и, как мог, помогал саженцам. Снова копал канавы, но теперь подводил воду к посадкам, беря ее из ранее заполненных ям и углублений, а на возвышенные места носил воду ведрами. Были у него и другие способы спасения деревьев: прикрывал

их от солнца скошенной травой, рыхлил землю, обкладывал корневища сырым торфом... Не все удавалось сбегать, и Иван Алексеевич печалился, видя усохшие до ржавой жесткости сосенки, дубки, березки. Стоял, думал, говорил, переиначивая известные пушкинские слова: «Прощай, племя младое, знакомое...» И знал, что осенью, если выпадут дожди, а нет, так весной, непременно посадит здесь новые деревья; погибнут — посадит еще. И будет без устали повторять это, пока не примется, не пойдет в рост по бывшим трясинам молодой лес.

Потому-то с особенной заботой Иван Алексеевич оберегал питомник для выращивания саженцев, накрыл его полиэтиленовой пленкой, увлажнял воздух внутри специально придуманным «дождевальником» — из автомобильного насоса, газового баллона, шланга с распылителем на конце, — и его «племя младое» густой, крепкой зеленью заполняло питомник. Без овощей, фруктов своих он как-нибудь обойдется. А что ему делать здесь, если нечего станет высаживать по окраинам Горькой долины?

Питомник с его микроклиматом напоминал порой Ивану Алексеевичу жилище человека на какой-нибудь дальней мертвой планете. Когда особенно густо наносилась пыль с солеотвалов и душил кашель, он прятался в питомник, дышал его озонным воздухом. Сюда старались попасть все жители подворья, даже куры. Еж Филька прорыл в питомнике собственный ход, ужа Иннокентия невозможно было изгнать отсюда — зарывался в землю, затаивался; просился под спасительный полиэтилен Ворчун, и Иван Алексеевич впускал его подлечиться живым воздухом. Дунька давала больше молока, если он доил ее в этом зеленом оазисе.

Дни тянулись длинные, изнурительные. По дальним иссушенным зноем лесам занялись пожары. Временами то с одной, то с другой стороны наплывали дымы. Смешиваясь с солевой пылью, они превращались в ядовитый смог. Этот горячий, мутно-синий туман был столь плотен, что по двору приходилось ходить не иначе, как вытянув перед собой руки, и казалось, никакая сила никогда не развеет его.

В один из таких дней приехал на красном лесхозовском «газике» лесник Акимов, давний приятель Ивана Алексеевича. Был он утомлен, замотан — прямо с тушения пожара. Прокричал от калитки:

— Эгей, есть тут живые?

Иван Алексеевич вышел на голос из дымной мглы,

протянул Акимову руку. Тот своей не подал, вернее, отдернул ее, словно бы испугавшись неожиданного явления существа неизвестной породы, уставился на Ивана Алексеевича красными, измученными бессонницей и дымом глазами, с сердитой удивленностью спросил:

— Это ты, Пронин?

— Я, как видишь.

— Вижу. Но только это не ты. Не совсем ты, понимаешь? Половина осталась от тебя. Другую ты истратил на свое дурное дело. Нет, ты не Хозяин болота, не Болотный бес. Ты — псих на болоте. Понимаешь? Болото и ума тебя лишило. Еду, думаю: Пронин-то небось догадался хотя бы на короткое время откочевать со своего гиблого поместья. Воды напьюсь, думаю, из родника, проверю, как и что с его хозяйством, и дальше поеду. А он тут!

— На кого живность брошу?

— Да мог бы с моего кордона наезжать. У меня дымно, да соленого смраду нет. Понимаешь?

— Понимаю. А нехорошо бросать. — Иван Алексеевич мотнул головой себе за спину — там был его двор, и живой пока, а дальше простиралась невидимая сейчас, но ощущаемая провальной пустотой Горькая долина. — Ничего, перебором стихию, выживем. И это важно: пока я здесь — моя долина под присмотром...

— Какая она твоя? — Акимов даже сплюнул себе под ноги. — Создавали большим коллективом, а ты присвоил единолично.

— И я участвовал.

— Ладно. Дай воды напиться, в горле будто рашпилем продраили.

Иван Алексеевич принес в большом ковше, Акимов пил с перерывами, постанывая и мыча, — ледяная вода перехватывала дыхание, знобила зубы, — и пока лесник не мог говорить, Иван Алексеевич внушал ему спокойно и убежденно, что да, трудновато сейчас у него на подворье, но терпимо, и потому надо перетерпеть — не вечно же будет длиться засуха, в сентябре непременно начнутся дожди; и проверить себя он хочет: выживет в дымно-солевом пекле, то уже никогда и ничего не утрашится; его как бы испытывает Горькая долина, гонит от себя, но эта жара и для нее губельна — усохли многие низины, и по осени он окопает их канавами, засеет травами, укрепит талой; так что пусть друг Акимов не беспокоится, как только поутихнут пожары, он явится к не-

му, угостит семейство лесника медом и заберет улы домой.

Остатком воды Акимов умыл лицо, отерся носовым платком, непонятого от копоты цвета, спросил:

— Ты хоть в зеркале себя видишь?

— Некогда смотреться.

— Оно и похоже. Ты ж как вобла просоленная, из бороденки можно суперфосфат добывать, и глаза у тебя как у алкоголика. Понимаешь?

— Спасибо за информацию. Но и ты красноглазый.

Маленький небритый Акимов расхохотался, тряся тугом животом, подал Ивану Алексеевичу руку, пошел к своему исшарпанному на лесных просеках «газику», ворчливо наговаривая:

— Без придурков, понятно, жизнь скучной стала бы. Но не до такой степени... Имей в виду, Робинзон болотный, если пожар подступит к твоей долине, я тебя с рядом милиции отсюда вывезу... Перестройка, понимаешь ты, новое мышление, а он в болоте застойном увяз. Совесть, видите ли, его грызет. Так направь ее на более полезное для общества дело!

Акимов сел в машину, цепко ухватился короткопалыми руками за руль, пожаловался:

— Понимаешь, сиденье испрело, зад мокрый от пота, ручьями с головы, по спине... Ладно, бывай, как говорится. И не помри тут. Проведаю, как время выберу.

Он запыхнул к лесу по песчаной, до скрипа иссушенной дороге, вслед ему чахоточно прохрипел Ворчун, в мелком кустарнике красная машина промелькнула раз другой, будто прожгла его языками пламени, исчезла, смолкла, и подворье Ивана Алексеевича заглохло в безмолвии и непроглядности дымного сумрака.

Пройдя в дом, Иван Алексеевич зажег лампу, лег на диван. Попробовал читать газету, но сразу задремал. Вязкая, вялая, безвольная сонливость все чаще одолевала его, утром не хотелось подниматься, по вечерам он не сумерничал у самовара — сразу ложился спать. Временами пугался: уснет и не проснется. Отравится дымно-солевым смогом. Умрут во сне и жильцы подворья — они до жалости тихи, едва передвигаются. У Дуньки пропало молоко.

Как-то вертолетчик лесной охраны сказал ему: твое болото, Пронин, с высоты похоже на огромный черный глаз в густых зеленых ресницах. И сейчас в дремоте виделся Ивану Алексеевичу этот глаз-болото, слезящийся горячими солевыми, отравляющий «зеленые ресницы»

рощ, насаженных им... Глаз разрастался, расплывался на всю живую землю, все делалось черным, затхло пахнущим... И вот из этой черноты тянутся к Ивану Алексеичу белые костистые ветви усохших деревьев, хватают его за горло, медленно душат... Он чувствует, как саднит, сминается под жесткими и мертвенно холодными пальцами веток наглухо перехваченная шея...

Иван Алексеич вскакивает, минуту ошалело сидит на диване, наконец понимает, что все это ему привиделось, растирает шею, виски и почти выбегает из дома во двор: надо работать, только работа спасет его от сонного дурмана!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Прав был лесник Акимов, сказав Ивану Алексеичу, что создавали Горькую долину большим коллективом. Но правым считал себя и Иван Алексеич, ответив ему: и я участвовал.

Активно участвовал, может прибавить он, и сознательно, ибо работал на шахте инженером по добыче сильвинитовой руды. Пусть не главным, а все-таки и не работягой простым, у которого на все один ответ: начальство видит, начальство знает... Что же видело и знало начальство? В первую очередь, конечно: больше и больше выдавать на-гора руды.

Позже, правда, когда начал проседать над выработанными шахтами грунт и шламы из отстойников все чаще выплескивались через разрушенные дамбы, кое-кто из самых беспокойных стал говорить на собраниях, писать в газеты, предупреждая о возможных неприятностях. Но это гораздо позже.

А в год окончания Ваней Прониным десятилетки производственное объединение «Промсоль» славилось на всю страну, некогда большой колхоз в деревне Дроновке оскудел, обезлюдел — почти все трудились на шахтах — и превратился в подсобное хозяйство того же могучего объединения. Став рабочими, мужики хорошо зарабатывали, возводили кирпичные дома, покупали автомобили. Отец Вани, инвалид войны, устроился учетчиком на шахту, мать — заведующей детским садом. Где и какую жизнь искать юному Пронину, если вот она, рядом, знакомая и процветающая. Родители согласились с его первым самостоятельным выбором — ехать в Москву, посту-

пять в горный институт. Поехал. Поступил. Окончил с отличием. Вернулся и сразу, с поздравлениями начальников, получил должность инженера по добыче — как раз, помнится, проводилась кампания выдвижения молодых специалистов. Закрутился в производственных делах, шахтной непрерывной работе.

Удивительна человеческая память: сейчас, здесь, на одиноком подворье, Иван Алексеевич без особой горечи вспоминает почти все годы своей работы в «Промсоли», понимая, конечно, что добывалась сильвинитовая руда способом «давай-давай!», что порой до двух третей ее оставалось в обвалившихся галереях, что много в этом и его вины; но время было штурмовое, люди воспитывались на видении «широких горизонтов»: кто мелочится, тот проигрывает, дать вал любой ценой, быть героем дня, года, пятилетки — вот главное; а руды этой миллионы тонн в подземных кладовых, хватит ее и нам, и нашим потомкам; и брали «эликсир плодородия» с захватывающим дух размахом, и не раз Ивану Пронину по поручению коллектива приходилось зачитывать с высоких трибун победные речи, принимать от представителей из центра переходящее Красное знамя, которое лет десять подряд вообще не уходило из «Промсоли».

Многое осознано, понято им теперь, но соединить воедино два чувства — радости труда тех лет и почти сознательно творимой тем трудом беды — он не может. Носит в себе эти чувства по отдельности. Так уж, вероятно, устроен человек: радость и горечь, добро и зло несоединимы в его душе.

До сих пор у Ивана Алексеевича хранится центральная газета с очерком о нем. Достанет иной раз по хорошему настроению, прочтет.

«Спускаемся с Иваном Алексеевичем Прониным в шахту, и я удивляюсь перемене в нем: если «на-гора» он медлителен, как бы во всем осторожен — в разговоре, поступках и, наверное, в мыслях, то здесь, в своих владениях, он совсем другой человек, его раскрепощает сама особая атмосфера шахты. Ему знаком каждый забой, штрек, он охотно знакомит меня с шахтерами, о каждом он знает, кажется, все, вплоть до таких мелочей — женат ли, чем и когда болели дети и, главное, конечно, как переносит солевые испарения шахты: одним не по силам воздух здешний, другим не по нервам ослепительное сияние сильвинитовых стен. Иван же Алексеевич рассказывает в своем подземелье как хозяин, владелец

этих сказочных дворцов. Да, только с роскошными дворцовыми залами, сияющими витражами, хрустальными колоннадами можно сравнить внутреннюю, освещенную электричеством красоту шахты. Иногда сравнивают эти соляные сферы с лучшими станциями метро. Нет, здесь особая красота — красота самой природы, к которой притронулся человек одухотворенным резцом мастера».

Более всего нравится Ивану Алексеевичу описание сильвинитовой шахты. Точное, считал он, поэтичное. Именно такой видится она ему во сне. И часто. Проснувшись, Иван Алексеевич иной раз долго не может понять, почему так светло на душе. Потом вдруг догадывается, скажет вслух: «Так это я опять в шахте побывал!»

Немало стихов было напечатано про индустриализацию здешних мест. Некоторые даже запомнились. Вот одно:

Копры

Копры растут как грибы металлические,
Солью из недр проступает пот.
К черту, друзья, мечты идиллические —
Вот он, реальный жизни комфорт!

Природа — не бабочки и куртины,
В недрах добудем и пищу, и кров.
Прибавим к пейзажу иные картины —
Роши стальные из ферм и копров!

Тогда нравилось Ивану Алексеевичу это стихотворение — лихим напором, безоглядностью заражало. Теперь он понимает: слишком много в нем технического волонтаризма. А поэт — свой, из соседней, тоже погибшей деревни, крепенький такой, буйноволосый, хорошо поет и на гитаре играет. В клубе шахтерском ему овации устраивали. И кто? Вчерашние крестьяне сыну крестьянскому же, призывающему выращивать на полях не хлеб, а фермы и копры. Затмение какое-то помрачило всех. Или так отрекались от родной земли — пусть она вовсе сгинет, раз перестала кормить?.. Поэт давно член Союза писателей, в Москве живет, даже по телевидению, говорят, выступает. Очень известный, ему рок-ансамбли тексты заказывают.

Написал поэту Иван Алексеевич, это было в середине семидесятых, мол, так и так, мы тут прозрели наконец и ужаснулись: обширное земельное пространство солями, грязями и прочей технизацией начисто отравили, да к тому же оно местами начинает из-под ног уходить, надо остановить производство, не то вместе с копрами, ферма-

ми и всем другим железобетоном провалимся в тартарары и никаких компьютеров нам не хватит, чтобы подсчитать нанесенные стране убытки; ты там вхож в центральную печать, убеди — пусть напечатают мое письмо, можешь и сам под ним подписаться.

Поэт ответил, хотя и не так скоро.

«Старик, понимаю тебя, твоя крестьянская душа болит, когда ты видишь, как гибнет сельская земля. Но пойми и ты, нет, не меня — я такой же, радуюсь одуванчику в телевизоре, — время пойми. Ведь еще Есенин говорил: «Живых коней победила стальная конница». Да и что для наших просторов тот клочок нечерноземной земли под шахтами! Шире давай смотреть. Без глобальной технизации мы ничто. И время, время какое — гонка вооружений, сферы влияния! Как же, например, поднимешь сельское хозяйство без нашего «эликсира»? А подумай о ядерной угрозе. Шарахнут по нам, мы — по ним, и прощай зеленая планета вместе с борьбой за мир, правами человека и защитой окружающей среды. Уяснил обстановку? Хвалю! Мои земляки смекалистые. Окажешься в Москве — звони. Покажу тебе столицу. Во размах! Отсюда и Сибирь не шибко велика, а твое «обширное пространство», как ты его называешь, вряд ли и на карте отыщешь. Так, родинка на теле Родины. Удачная метафора, правда? Совсем неожиданно написалась. Надо использовать в стихотворении. Жизнь, как видишь, старик, щедра на подарки, только не нужно слишком уж ее усложнять, она не любит это. Поверь поэту. Вот и рифма! Ладно, заканчиваю, раз стихами заговорил: вдохновение нельзя упускать. Поэму пишу, «Ядерная зима» называется. Про то, что будет на земле после ядерной войны. Самому жутко, по ночам кошмары видятся. Но мы крепкие, правда, старик? Все выдержим. Мы хоть в детстве натуральное коровье молочко пили и картошечку огородную ели. Так что не унывай, и жму твою честную руку!»

Перечитывал Иван Алексеевич это письмо несколько раз. Вроде и значительность какая-то в нем есть, и никак ее не ухватишь. Понял главное: не хочет поэт помочь. Рисковать своим именем не желает. Что ж, Иван Алексеевич так и думал про поэтов: стихи сочинять могут, даже сильные, но на серьезное дело непригодны. В серьезном деле ведь не до стихов, у них же — все метафоры да рифмы. Души свои выговорили вместе с поэтическими словами.

А делать-то что-то надо было. Может и «родинка» пока что «на теле Родины» промышленная территория, но она растет, превращаясь в гнойную смердящую язву на теле земли, в трясинах ее тонет техника, гибнут, случается, люди.

Двое, из особо совестливых, выступили на профсоюзном собрании. Смельчакам громко похлопали в ладоши, а спустя какое-то время их же и пожалели: один был разжалован из бригадиров в рядовые забойщики, другой лишен тринадцатой зарплаты. Писать куда-то, жаловаться было бесполезно — письма исправно, из всех верхов переправлялись в дирекцию «Промсоли».

Иван Алексеевич решил сам, единолично, поговорить с генеральным директором производственного объединения (групповщина пресекалась, зачинщики обвинялись в посягательстве на устои и т. д.) Глава объединения принял его. Не мог не принять известного инженера, общественника, передовика на лучшем участке одной из лучших шахт. Но только Иван Алексеевич заговорил о промтерритории, как генеральный директор, человек нервный, волевой, знаменитый по всему региону, приподнялся в кресле, замахал на него тяжелыми руками, некогда знавшими шахтерский труд. Ивану Алексеевичу было сказано прямо, жестко и с сожалением, что он не улавливает общей ситуации, пошел на поводу у бездельников и крикунов, слабо вооружен идейно («Чувствуется, что вы беспартийный, надо исправлять этот недостаток, возьму на заметку!»); несколько успокоившись, генеральный пригласил Ивана Алексеевича сесть, бережно тронул рукой красный телефон, стоявший чуть в стороне от двух других, и негромко, как бы только для одного инженера Пронина, проговорил, что вчера, ровно в десять утра, звонил лично Леонид Ильич, расспрашивал, как идут дела в объединении, интересовался жизнью коллектива, советовал наращивать выпуск калийных удобрений, без которых, так и сказал, нам не справиться с сельскохозяйственной программой; генеральный встал, прошелся по ковровой дорожке от стола к двери, неожиданно резко для своей увесистой фигуры остановился напротив Ивана Алексеевича и хрипло, с заметной нервностью выкрикнул: «Что же мне посоветует передовой инженер Пронин?!» Иван Алексеевич поднялся, спросил, одолев минутную растерянность, готовы ли серьезно выслушать его в этом кабинете, ведь он за тем только и пришел сюда. «Да, да, да!» — прокричал генеральный и вновь зашагал

по ковровой дорожке, держа руки за спиной и опустив голову, отчего могучая шея его взбугрилась, налилась нервной краснотой.

Помнит Иван Алексеевич, как, стараясь не волноваться, говорил генеральному директору о бесхозяйственности на промтерритории, о невыработанных и брошенных шахтах, об аварийном состоянии шламоотстойников и плотины водохранилища, о провалах грунта, заболачивании колхозных земель; говорил и думал, что все его доказательства бесполезны, — этот грузный человек, выдвинутый из шахтерских низов (Ох, эти выдвиненцы! Почти всегда они покорно служат выдвинувшим их), давно уже превратился в «бойца за выполнение директив», с утра до вечера он отчитывается, рапортует, совещается, информирует, проводит мероприятия, отчитывается, выслушивает разносы вышестоящих, призывает и снова отчитывается. Как он может приостановить производство? От одной мысли об этом его свалит инфаркт. А тут еще сам Леонид Ильич позвонил... Нажмет, мобилизует ресурсы, вдохновит — и увеличит выпуск калийных удобрений; ко многим орденам на его груди авось прибавится и звезда Героя; а там трава не расти — она и не растет на отравленных землях! Зачем думать, если за тебя думают наверху? Они, широко видящие, глубоко мыслящие, выгородят, спасут, переместят... Бойцов не бросают в беде, бойцы нужны, на их плечах производственная громада всей страны.

Так думал и все-таки говорил Иван Алексеевич. А когда почувствовал, что генеральный директор не слушает его, вероятно решая про себя, как построже осадить настырного инженера-многознайку, оборвал свою затянувшуюся речь и прямо сказал:

— Вся эта загубленная земля будет на вашей совести. А я... я останусь ее оживлять.

И увидел совсем неожиданное: генеральный вскинул голову, посветлел лицом, улыбка раздвинула его тяжелые румяные губы — он понял, осознал, что напугавший его инженер всего-навсего фантазер и романтик, а потому неопасен: писать в верха не станет, тем более не поедет в столицу добиваться справедливости, такие до тяжб и жалоб не опускаются, — и это успокоило, даже развеселило генерального, и он со смешком посочувствовал:

— На много годков тут тебе работы хватит!

Часто потом Иван Алексеевич вспоминал разговор с

генеральным. Не находил, в чем бы особенном себя упрекнуть, разве что в излишней горячности, но никак не мог себе объяснить, почему вдруг заявил: «Я останусь ее оживлять». Отравленную землю то есть. Наверное, постепенно, в подсознании его, однако вполне определенным чувством зрело это желание и вот в минуту наибольшего волнения выразилось словами, став неотступным решением. Одно, пожалуй, хорошо помнится ему: сказав эти слова, он ощутил необыкновенную легкость в душе, похожую на вдохновение, будто разом очистилась она от житейских огорчений, невзгод и обид, обрела наконец единственную и верную цель.

Для себя обыденного, повседневного, так сказать, Иван Алексеевич куда проще объяснил свой поступок: позвала земля предков, попросила помощи. Это же он говорил всем, кто допытывался — почему да как, в своем ли он уме.

Не осталось у Ивана Алексеевича и какой-либо особой обиды на генерального директора объединения «Промсоль». Кто он такой, чтобы на него обижаться? Замордованный исполнитель приказов свыше. Имей он волю решать и выбирать, да еще смолоду, неужто не пронулась бы в нем натура его работающих, бережливых, совестливых предков, пусть там крестьян или рабочих?.. Иван Алексеевич даже благодарен генеральному: помог как-никак решиться на главное дело жизни. И потом, когда он напросился заведовать покинутыми солеотвалами, генеральный подписал приказ, хотя не имел права низводить инженера до простого учетчика и сторожа. При этом, рассказывали, он проговорил с доброй усмешкой: «Помню такого, как же... Не подпиши я приказа — все равно останется на болоте. Природу очень любит. Надо его освободить».

Генеральный передислоцировал «Промсоль» на новую территорию, наладил ударную добычу руды, успел получить еще один орден, но грянула перестройка, и он был отправлен на пенсию. Ушел с инфарктом, обиженный, всплакнул, произнося прощальную речь во Дворце шахтеров, спросил у президиума, уже мало ему знакомого: «За что?..»

Он не считал себя в чем-либо виноватым.

А был ли хоть один начальник, хоть один шахтер, который обвинил бы лично себя в пагубном опустошении земли? Таких Иван Алексеевич не знал, о таких не слышал. Возмущались многие, да. Требовали наведения по-

рядка, наказания виновных, без упоминания имен, разумеется.

Что же думает о себе он, Иван Алексеевич Пронин?

Времени на обдумывание всего прожитого у него было предостаточно. И вот странность: нет и в его душе ощущения слишком уж большой вины. Работал жадно, не оглядываясь, веря в полезность общего дела. Видел, конечно, осознавал порой беды бездумной работы, но повиновался воле свыше, по крайней мере до разговора с генеральным директором. Он не спрашивал себя: что такое эта воля? Теперь спросил. И оказалось до обидности просто: была — и нет ее. Исчезла вместе с теми, кто породил то волевое время.

Где же виновные?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В середине сентября частые сухие грозы, когда кажется, все небо полыхает молниями, со всех сторон гремит гром, а ожидаемый дождь скуден, что испаряется не долетев до земли, наконец сменились ливнями, пусть и короткими, но все же насыщающими почву. Стало легче дышать, заметно поутихли солевые отвалы, порой от них веяло фиалковой нежностью, что обещало долгое предзимнее смирение Горькой долины, и Иван Алексеевич взялся за большую приборку на своем подворье: надо было отовсюду — из дома, сараев, бани, из всех щелей и углов — вычистить, выдуть, вымыть напорошенную солевыми серую, под цвет цемента, пыль.

Эту работу он называл «дезактивацией», делал ее старательно, неторопливо, ибо оставшаяся соль долго еще отравляет воздух, невидимо проникает всюду, даже в оберегаемые продукты, даже в постельное белье, и молоко у Дуньки будет с горьковатым сильвинитовым привкусом, и куры будут нести присоленные, да только не той солью яйца.

Стены, потолки в доме деревянные. Собирался Иван Алексеевич оштукатурить их или обоями оклеить, но раздумал: пусть все останется так, как было при Илларионе Дронове. И божницу с лампадкой не тронул, им же, хозяином дома, устроенную.

С этого угла он и начинает обычно уборку.

Влажной тряпкой протирает полку, иконы обмахивает мягкой кистью из козьей шерсти, чистит и заливает рас-

тительным маслом лампадку. Иконы темные, пасмурные в них мало что смыслит Иван Алексеевич, но привык в особенно глухие зимние вечера вроде бы еще кто-то есть в доме.

Христос бесстрастен лицом, строг мученическими глазами, и с ним Иван Алексеевич редко заговаривает. Куда радушнее смотрит на него Дева Мария, как бы чуть застенчиво показывая пухлого, с глазами старичка, младенца; она, если зажечь лампадку, чудится даже, что потихоньку улыбается ему. Но более близок Ивану Алексеевичу святой Серафим Саровский, благообразный седобородый старец, и смиренный по виду, и упрямый мужичьим характером: куда ни стань в комнате, он найдет тебя пристальным взглядом из-под крутого белого лба, спросит: ну, как прожил день, не шибко нагрешил перед людьми и Богом?.. Христос смотрит из сумрака и в сумрак времени, глаза его пронзительны и недвижны; Дева Мария хоть и отзывается, когда на нее смотришь, но как-то издали, извинительно: прости, у меня на руках сын Божий; и только старец Серафим — просто человек. Когда-то давно он ушел в Сарскую пустынь, много молился, стал святым; вернее, верующие произвели его в святые. С ним Иван Алексеевич говорит вслух о чем захочет, как например, сейчас:

— Не надоело тебе тут висеть и наблюдать за мной? Осуждаешь, конечно. Да, грешим, этого не скроешь. Но, с другой стороны, есть ли где на земле жизнь такая, чтобы не грешили? Ты вот ушел в пустынь свою лесную, очистился, обрел право людей наставлять, а все равно ведь без греха не обошелся: бандиты наведывались, медведи беспокоили... И тем и другим пришлось тебе свою силу недюжинную показать, смирились даже медведи, когда одному хребет заломал (это мне Илларион рассказывал). Как видишь, и пустынь не укрывает от мирской смуты и томления духа. Меньше у тебя их было, это да. Теперь и с пустынями потруднее стало — нет их почти что. Все освоено и присвоено. Разве в Сибири где-нибудь можно укрыться? Но и туда туристы доберутся, а корреспондент на вертолете за интервью прилетит. Про Лыковых слышал? Тех, что в верховьях Енисея больше сорока лет прятались, веру свою старообрядческую оберегая? Нашли. Допросили. На учет взяли. Не подумай, что я кого-то осуждаю. Я все к тому клоню: время у нас теперь совсем другое — некуда и бесполезно уходить. Никто тебя святым не посчитает, зато в психиатричку охот-

но спровадят. Значит, надо среди людей что-то делать для людей. Изнутри их одушевлять. Все проповедники теперь в народе... Вижу, Святой Серафим, ты хочешь спросить: а сам-то почему ушел в свою болотную пустынь? Я тебе, помнится, уже объяснял. Тут дело не в очищении от грехов, не в гордыне, а самое житейское: спасти загубленное. Залечить рану на теле живой Земли. Просто я ее чувствую как свою. И не прячусь, и не поучаю, и любого приму: приходи, бери лопату, мотыгу, пойдем копать канавы, сажать деревья. Я вот и тебя приглашаю... Извини, заговорился, ты ведь икона... но мне с тобой легко говорить, потому что ты, наверное, был хорошим человеком и многим помог своей смиренной мудростью. За это я тебя ставлю на место, слева от Христа, где поместил тебя Илларион Дронов, он понимал, кому где стоять...

Иван Алексеевич моет простенок между углом и окном, думая: вроде бы старые иконы протирают оливковым маслом, чтоб не портились, а где его взять, оливковое? В Москве, говорят, бывает иногда. Берут для лечения. Но лично он не видел этого масла. Должно быть, янтарной прозрачности и ароматное — из Италии ведь да с Кипра... Можно ли подсолнечным протереть? У кого бы спросить?

А работа движется, и часа за три Иван Алексеевич вымыл стены, проскоблil ножом некрашенные половицы, окатил их водой из ведра и распахнул настежь окна и дверь — пусть продует его жилище ветром, хоть и дымноватым — пожары кое-где в лесах еще курились, — но свободным и без солевой пыли.

Вышел во двор, наладил и завел моторчик насоса, короткий шланг опустил в пруд, длинный протянул к дому, и резкой струей из ствола принялся ополаскивать дом снаружи — крышу, стены, веранду, крыльцо. Потом перевел струю на сарай, баню. Долго промывал двор, все его углы и закоулки — от потопа сбежали куда-то за изгородь Ворчун, Иннокентий и Филька. Уже вечером смыл серую пыль с яблонь и груш, а огород просто залил водой, чтобы она вытянула из почвы соль.

О, эта соль! Она особенная, в ней столько всего намешано: и хлористый калий имеется, и сильвинит, и соляная кислота, и окислы азота, и самое опасное — алифатических аминов в достатке. Выбирай, как говорится, по вкусу и настроению. А все вместе — яд сильнейший. Не отравишься, так от страха «солефобией» заболеешь:

чуть повеет фиалковым запахом — дыхание остановится, сердце жутко заколотится, и побежишь от этого места в безумии, будто оно на веки веков прокаженное.

Еще в шахте Иван Алексеевич придышался к сильвинитовой руде, был уверен, что если и отравляет она его, то очень медленно, сельского здоровья ему надолго хватит, а «солефобии» боялся и боится: это иное, психическое заболевание, вряд ли излечимое. Видел он здоровенных мужиков, плакали, но уходили от больших заработков, почестей, бросали дома, квартиры.

Соль, соль! Она мерещится всюду. Она страшнее гнилых болотных туманов. Вон там, под стрехой сарая, что-то ядовито сереет, на стеклах питомника желтоватые разводы, слезятся глаза у Ворчуна... И Иван Алексеевич тянет шланг, сбивает струей воды все, похожее на солевую пыль, привязывает у конуры пса, и тот покорно принимает холодный душ... Соль в воздухе как-то еще терпима. На живой земле, на предметах домашних, в молоке и хлебе — сводит с ума. Ее нужно истребить, смыть в болотные трясины, к той, уже бродящей там, не столь опасной.

Подворье Ивана Алексеевича Пронина очищено, промыто, всюду лужицы и блеск воды, от строений восходит запах сырого дерева, от земли — перегнойной прели, и он видит издали: под деревьями сада тонко и свежо зеленеет травка — выжила, перемогла злые солеви!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

По лаю Ворчуна, более службистскому, чем сторожевому, Иван Алексеевич определил: пришел кто-то не совсем чужой, но и не настолько знакомый, как, скажем, лесник Акимов, чтобы встретить его приветливым тьяканьем.

Было раннее прохладное утро конца сентября, он, распахнув окно в сторону пруда с мокрыми от росы ивами, неторопливо пил чай, обдумывая: на какой участок долины идти сегодня, где можно готовить землю для скорых осенних посадок елей и сосен?

Грибники, подумал Иван Алексеевич, воды из родника набрать... Были среди них такие, кто считал прямо-таки своим обязательным долгом, оказавшись в соседних лесах, навестить Болотного беса, попросить у него целебной «святой водицы», а больше полюбопытствовать, ко-

нечно: жив ли этот чудак, решивший в одиночку облагородить планету?

Сквозь беловатый туманец обсыхающего после ночной сырости двора он увидел за калиткой женщину в сапогах, брюках, куртке и шерстяной шапочке — так обычно одеваются грибники, — и еще издали спросил:

— Вам водички холодненькой?

— Лучше чайку, — ответила женщина и засмеялась. — Не узнаете, Иван Алексеевич?..

— О, Екатерина Тимофеевна! Не узнал и не ждал точно! Опять сбежали от грибников? Проходите, не бойтесь, Ворчун уже припомнил вас. И чай будет с медом, и в печку дровишек сухих подкину.

Шла Екатерина Тимофеевна по двору, поднималась на крыльцо, снимала сапоги и куртку у порога в прихожей и все смеялась — негромко, чуть задумчиво, как бы только для себя самой; а сев за стол и протянув руки к самовару, будто светящемуся обжигающим теплом, она и вовсе рассмеялась, щуря на Ивана Алексеевича глаза с готовыми выкатиться из них веселыми и, как показалось ему, жалобными слезинками.

— Вы не напугались чего, когда шли лесом? — спросил он в заметном смущении от ее непонятого смеха.

— Я не шла, меня подвез шофер за десятку. Сперва дорогу ругал, а потом давай настырно в любви объясняться, по-простому — одна рука на баранке, другая у меня за спиной. Пришлось выйти километра за полтора до вашего дома. Деньги взял, но рассердился: знаю говорит, к кому приехала, к психу на болоте. И чего к нему бабы липнут, десятую за лето подвожу. Так что будь со мной поласковой, если огласки не хочешь.

— Хам откровенный! Кто он?

— Из тех персонально-номенклатурных, которые вместе со своими шефами спешно перестроились, а привычки старые при себе оставили: баранка в руках, баран в зубах.

— Я так и подумал: напугали, обидели. Оттого и .

— Смеюсь?

— Да.

— Не угадали, Иван Алексеевич. Какая баба уж очень сильно пугается мужика, если ей под сорок? И какая не готова к таким посягательствам, пусть и мало веря в это? Намного ли лучше ласковые хамы? Тут хоть весомо грубо зримо... Сразу видишь, с кем дело име-

ешь... Извините, Иван Алексеевич, за эту бытовую философию, да и не свои слова я говорю, есть у нас одна нянечка, пятый раз замужем, такие лекции молодым читает!.. Просто успокоиться не могу. А смеюсь потому что вас увидела. Еду, думаю: жив ли Иван Алексеевич? Нет, что жив, я знала: два раза лесника Акимова спрашивала. Ведь полгорода на тушении пожара было. Там я и видела Акимова, он сказал без всякой интеллигентской дипломатии: задыхается ваш земляк на своем болоте, некому на него подействовать, сдурел окончательно... Еду я и думаю: зачах Иван Алексеевич от солеев, больной, брошенный... Увидела, засмеялась: так мне сразу легко сделалось. Вы такой же, только худее стали и седины прибавилось, особенно в бороде...

— Соль посеребрила.

— И двор ваш такой чистый, свежий. Будто все напасты стороной его обошли.

— Не обошли, Екатерина Тимофеевна. Питомник спас, картошки сколько-то накопаю, правда, с горчинкой она, слишком много перепало ей «эликсира», все другое усохло. Хорошо хоть пчел вовремя вывез. А двор что — прочистил, промыл... Не хотите ли моей картошечки варю, толку с молоком, вроде съедобно.

— Вы же на работу собрались?

Иван Алексеевич кивнул и с мирной улыбкой повел руками: мол, работа подождет, не каждый день у него в доме гости. Но Екатерина Тимофеевна, быстро допив чай, поднялась, сказала:

— Можно мне с вами? У меня и одежда подходящая.

Он не ожидал такой просьбы, ему стало вдруг необыкновенно легко, точно этих ее слов как раз и не хватало сейчас: вдвоем все-таки будет веселее мотыжить болотную землю, — он сразу определил, какой участок более пригоден для сегодняшнего «коллективного» труда, и рассмеялся, ощутив в себе редкую, возвышенную счастливость.

— Везет Болотному бесу! С весны лейтенант Федя помогал, по осени Екатерина Тимофеевна... Заведем мотоцикл тогда. Быстренько соберу кое-чего в сумку А вы в термос чаю налейте. Так, не обожгитесь. Руки у вас загорелые, и лицо тоже, как на юге побывали.

— На пожаре.

— Понимаю. Что же, в городе мужиков не хватило?

— Да они не любят тяжелого труда.

— Перестроились, а женщин в первые ряды? Может, оттого и горим, Екатерина Тимофеевна?

— Может, оттого, Иван Алексеевич.

Они засмеялись и вышли во двор. Надели каски, чуть виновато поласкали Ворчуна: оставайся, стереги двор, такая у тебя служба...

Через несколько минут, умело лавируя в кочках и мелколесье, он вел мотоцикл по едва заметной тропе краем Горькой долины на Лосиную топь, километрах в семи от дома; гостя сидела позади, вскрикивая на особенно крутых поворотах, но и подшучивать не забывала:

— Вы же настоящий рокер, Иван Алексеевич! Вас бы в Москве арестовали за опасное для мирных граждан качество!

— Задаюсь немножко, Екатерина Тимофеевна, мне ведь тут особенно не перед кем... «Какой русский не любит быстрой езды!»

— А как же — тише едешь, дальше будешь?

— Очень просто! — старался перекричать рев мотора Иван Алексеевич. — Главное, кто едет и по какой дороге!

Они смеялись, холодный воздух захлестывал им дыхание, выдувал из их одежд домашнее тепло, и было ощущение полной легкости, растворения в огромности утреннего простора с дальними лесами, сияющим небом и этой твердой, упругой, мощно гудящей под колесами мотоцикла землей.

Возле кустов молодого ивняка Иван Алексеевич заглошил мотор и, еще не привыкнув к тишине, крикнул:

— Лосиная топь! Прибыли!

— Лосиная?.. — переспросила Екатерина Тимофеевна, натирая ладошками оглохшие уши.

— Да. Тут лет семь назад лось утонул. Вон там впадинка, нежная травка, видите? Гнилая бочажина была.

— И вы не спасли?

— Живой был, когда я на его рев пришел. Голова то окунется в черную грязь, то вскинет он ее, чтоб воздуха набрать. Чем поможешь? И трактор вызови — как к трясине подойдешь? Да и пока будешь вызывать, в уговорах, переговорах, оформлении бумаг, собирании подписей сам утонешь... А лосята остались. Лосиха до последнего вздоха все трубила, отпугивала их.

— Там ее могила, где лужайка?.. Жуть какая!

— Был случай, и охотника не спасли. Забрел по первому снегу, ухнул... Неделью потом искали, чтобы похоронить.

Екатерина Тимофеевна вскинула голову, увидела широкий розоватый свет за кустами ивняка, пошла на него, через минуту как бы растворилась в нем, позвала из тишины:

— Иван Алексеевич, что это?

Он подошел, остановился рядом.

Просторный луг, почти незаметно опускаясь, переходил в низину, заросшую осокой, дальше было озерцо с нечастым камышом, а за ним во все стороны распахивалось пространство в холмах, водоемах, до краев наполненное солнечным светом, и где-то далеко, в парной дымке утра, над светом и хлябью долины, парили почти бесплотные, розовые и фиолетовые, хрустально сияющие конусы вулканов.

— Что это? — вновь спросила Екатерина Тимофеевна.

— Горькая долина. Бывшая промтерритория.

— О, господи, как красиво!

— Даже безобразное природа делает прекрасным.

— Теперь я знаю, какой будет наша Земля, когда на ней ничего не будет, — медленно проговорила Екатерина Тимофеевна, повернулась и пошла в ивняковые заросли, словно боясь облучиться обманчивым мертвенным светом; у мотоцикла, беря мотыгу и заметно повеселев, сказала: — Давайте работать, Иван Алексеевич.

— Давайте, Екатерина Тимофеевна. Бейте лунки от этих кустов вон к той лужайке...

— Где лосиха?.. А я там не утону?

— Нет. Твердо. И лето сухое помогло. Делайте так: лунка — шаг, еще лунка — еще шаг... А я беру ведра, буду носить перегной из того березника, что на взгорке. Дайте мотыгу, покажу. — Иван Алексеевич несколькими ударами снял пласт дернины, обнажился темно-серый влажный грунт. — Не подумайте, что это чернозем, — грязь затвердевшая, с примесью шламов и всего прочего. Тут без живой земли только ивняк идет, да и то не шибко бодро. Держите доисторическое орудие производства. И не спешите. Дернину снимайте пластами, откладывайте в сторонку, я прикрываю ею лунки, потом и корни саженцев. Можно с раздумьем о будущем лесе — сосновом, еловом... Проверено — помогает, меньше устаешь и недобрые мысли в голову не приходят: кто виноват? отчего? почему?.. Если сердиться, лес не растет, тоже проверено. — Иван Алексеевич глянул на Екатерину Тимофеевну, и его рассмешила нахмуренная ее серьезность:

внемлет, как студентка-первокурсница поучениям именитого профессора! Рассмеявшись, он сказал: — Все, ухажу! Извините. Намолчусь в одиночестве — и говорю, говорю!

Вернулся Иван Алексеевич с полными ведрами минут через пятнадцать, насчитал одиннадцать выбитых Екатериной Тимофеевной лунок, в каждую положил по четыре горсти перегноя и каждую прикрыл дерновым пластом: чтоб не сох, не выветривался перегной и хоть немного соединился с грунтом, «обжился» на новом месте, ко времени предзимней посадки в конце октября.

Работа заладилась. Иван Алексеевич молча носил землю из березника, Екатерина Тимофеевна молча рубила дерн остро заточенным конусом мотыги. Немо шло солнце по небу. Тихим был ивняк, не обжитый птицами. И зияла за ним, светилась беззвучным провалом огромная пустота.

Из березника слышалось временами одинокое цвирканье синицы, отчего тишина казалась еще более глубокой, и, почти оглохнув в этом пугающем безмолвии, Екатерина Тимофеевна окликнула Ивана Алексеевича, когда он в очередной раз принес ведра с черной живой землей:

— Вы меня слышите?

— Да.

— Мне вот сейчас почудилось: я упала сюда... как в пустоту... из той своей жизни.

— Понимаю: устали, Екатерина Тимофеевна. Может, передохнем?

— А как же норма — двести лунок? Не успеем.

— Завтра добью.

— Не-ет, договорились — сделаем. Услышала ваш голос, и легче стало.

Иван Алексеевич решил хоть немного разнообразить работу: принеся ведра, он брал у Екатерины Тимофеевны мотыгу, а она раскладывала по лункам перегной. Вроде бы дело пошло сноровистей, и гостья стала чаще улыбаться, шутить, сказала, что для конвейера она, пожалуй, не очень подходящая работница — не может вовсе ни о чем не думать, удивилась терпеливости Ивана Алексеевича и так ее объяснила:

— Это у вас от упрямства. Все одержимые до ненормальности упрямые. Я знаю одного психиатра, он диссертацию написал: «Психоанализ одержимости», но не защитил почему-то. Наверно, сам не такой.

Она рассмеялась.

Ходил Иван Алексеевич в березник, возвращался, брал мотыгу, а Екатерина Тимофеевна, будто он и не отлучался вовсе, рассказывала что-нибудь из городской жизни, но так, что это непременно касалось их работы здесь, в Лосиной топи: на окраинную улицу города забрела рысь, шофер самосвала давай гоняться за нею, наехал, задавил, милиция явилась, когда уже шкуру сняли («Видите, зверям некуда деться!»); весь август она была на лесном пожаре, горело все — деревья, торф, земля... Видела двух погибших, мужчину и женщину, обгорели, как головешки. Жуть! Говорили, нарочно пошли в огонь, взялись за руки и пошли. Не то влюбленные, не то свихнувшиеся от огня и дыма. Там можно было помутиться душой — неделями неба не видели («Какие леса горели! Когда же мы вот в этих лунках вырастим новые?»); приезжал из Москвы лектор, интересно говорил, теперь, при гласности, чего только не услышишь! Сказал, что земля скудеет потому, что каждый человек хочет взять от жизни как можно больше, но берем-то все и всё только у земли. А надо бы и у неба, да не научены или разучились. Его спросили: что может дать небо? Он ответил: то, что нельзя съесть и надеть на себя. Кто-то крикнул: понятно, на Бога намекаешь! Лектор рассмеялся: зачем? На космос, там много кое-чего для нас приготовлено. Ему долго аплодировали, даже «ура» кричали, думаю, чтоб заглушить голоса недовольных. Два румяных старика, похоже, из персональных, перехватили лектора у машины, трясли перед его носом указательными пальцами, обещали бомбой взорвать его «Жигули», если он еще раз появится с такой «религиозной» лекцией.

— А как вы думаете, Иван Алексеевич, есть что-нибудь живое там? — Екатерина Тимофеевна хотела было ткнуть вверх черенком мотыги, но не решилась (небо все-таки!) и только запрокинула голову.

— Космонавты.

— Так это же люди, они тоже от земли все берут!

— А дальше я не вижу. Дальше чувствую разве что: будто следит за нами неусыпное Око. Мол, ну-ну, чего еще натворите на своем голубом шарике?

— Я тоже думаю, думаю иной раз: ведь не может быть, чтоб мы были одни во Вселенной. Мы бы уже погибли, уничтожили друг друга. А раз живем, раз доброе все же одолевает злое, значит, не одни.

— Думали бы так многие... В каждом человеке —

небо, да не каждый чувствует его. Вот говорят: что оставим детям, надо трудиться для будущего... Но спросите у самых гениальных: много они наработали бы, трудясь только для неведомых потомков, без высших устремлений? Конечно, никто не станет кричать, что в душе у него Вселенная. Но без чувства неба человек — ничто. Я это понял, когда вылез из шахты на поверхность, остался один. И такое понял: задымим, закоптим, затмим небо — погибнем.

— О, Иван Алексеевич, какой вы умный! С вами надо осторожно говорить, в свою веру обратите.

— А это опасно?

— Не знаю... Хотя вот долблю лунки. Нормальный посмотрит — сумасшедшей назовет: какими-то мизерными деревцами хотим мертвое пространство оживить. Психопатичность какая-то. Как врач хорошо это понимаю. И все равно долблю... К вам сюда рвалась, прямо помещанной сделалась. На мужа и дочь ору, на работе сама себя стала бояться: раз вместо аспирина инсулин выписала, ребенку пятилетнему... Решили: на пожаре нервы надорвала. Главврач предложил путевку в Сочи... Вы меня не звали, Иван Алексеевич?

— Во сне разве что. Там я неволен. Наяву только помнил и не хотел, чтобы вы пришли. Для вас не хотел. Мой дом видят, и меня тоже. Впрочем, я и не думал, что вы придете. Даже сейчас почти не верю...

— И я тоже, Иван Алексеевич... Может, меня нет здесь? Может, и вы придуманы кем-то? Или нас вместе кто-то вообразил?.. Дайте вашу руку.

Иван Алексеевич протягивает руку, Екатерина Тимофеевна осторожно вставляет в нее свою, темную от загара, в царапинах, припухлую и горячую. Иван Алексеевич чуть сжимает пальцы Екатерины Тимофеевны, она вскрикивает, отдергивает руку. Иван Алексеевич смотрит на свою ладонь — на ней пятнышки крови, с изумлением и хмурой огорченностью восклицает:

— Вы так сбили ладони? Почему я не дал вам рукавицы? Почему вы не попросили?

— Да, сбила, вижу, — растерянно и виновато согласилась Екатерина Тимофеевна. — Но не чувствовала, не видела, честное слово! Вот вы нажали... А взялась за мотыгу — и опять не больно, занемели вроде. Это ваши биотоки, — попыталась отшутиться она, — разбередили мои мозоли. Ничего, заживут. Главное, мы не придуманные, живые, правда?

— Все, кончаем работу!

— А норма?

— До нормы осталось семь лунок. Перегной есть, сам доработаю. Идите к мотоциклу, доставайте термос, хлеб. Да, вон там, где две осины, есть лужица с дождевой водой, подержите в ней руки.

Екатерина Тимофеевна хотела подождать Ивана Алексеевича, но он уже повернулся спиной, глянув перед этим столь нахмуренно, неуступчиво строго, что она не посмела возразить ему.

Строгость эта обидела Екатерину Тимофеевну. Шла она к двум осинам, потом, присев на корточки, держала ладони в светлой, с зеленой травкой, холодной воде и так рассуждала: мужик есть мужик, ты ему хоть десять высших образований дай! То прямо друг душевный, каждую твою мысль улавливает, то поднимется вдруг в нем из тьмы веков свирепость — когда его прапредки властителями пещер были, — и вот тебе взгляд тяжеленный, слово повелительное... Будто я у него в повиновении. Пришла и уйду. С характером этот хозяин болота, Иван Алексеевич Пронин, ничего не скажешь. Потому, наверное, и живет один... Жена от него ушла, Елена (он только так и звал ее — «Елена»), технологом на обогатительной фабрике работала, дочке их было шесть или семь лет, светленькая, синеглазая, все большущие банты ей к волосам прищипливали. Говорили односельчане: года два-три Пронины всем семейством жили в доме старика Дронова; потом, когда «Промсоль» обосновалась на новом месте, Елена вроде бы уговаривала Ивана Алексеевича бросить сторожить утонувшие в болоте солеотвалы, идти работать по своим специальностям — ему в шахту, ей на обогатительную. Не уломала. Не удалось и ему удержать Елену в своем страшновато одиноком, надо прямо сказать, обиталище. А может, не очень-то удерживал Иван Алексеевич? Гнилые туманы, отравительные соли. Глушь. Особенно зимой. Зачем это Елене? А дочери? Задохнут, погибнут. От вины и сам свихнешься. Тут ведь одержимость нужна — как некий дар или как наказание. Кто в этом разберется?.. Глянул нахмуренно из-под лба — до сих пор холодок робости в душе.

Екатерина Тимофеевна полощет руки в лужице, гладит тыльной стороной ладоней траву на дне, боли уже нет, боль оттянули прохлада, вода, трава и свет небесный в лужице. Екатерина Тимофеевна снимает сапоги и носки, опускает в воду ступни ног. От пронзившего их

холода застревает в груди дыхание, темнеет день в глазах, и две крупные слезинки выкатываются из них, будто вода лужицы, пройдя сквозь нее, пролилась на щеки. Екатерина Тимофеевна смеется, удивляясь: разве может кто-нибудь другой, не сельский, так радоваться дождевой воде, залившей скудную, сентябрьскую траву? Не нарочно ли послал ее сюда Иван Алексеевич?

И она думает уже по-другому. Да, характер тяжеловат у хозяина. А как же иначе, он — Хозяин! Мы просто отвыкли от таких. Везде феминизированные. Те же бабы, только с мужскими признаками. И жалуются еще: уравнились с нами, возвысились, придавили нас, а теперь требуют — мужчин, рыцарей, работников им подавай! А зачем поддавались? Может, женщин на это направили, чтобы вас принизить? И в повиновении держать. Говорят, Сталин очень любил книги и фильмы, в которых женщина передовая и умная, а мужчина лентяй и придурок. Женщина послушнее, да, ее легче на любое светлое будущее сагитировать, но чего же мы достигли, разругавшись между собой — мужчины и женщины? Ни семьи, ни работы. Рада бы теперь иная подчиниться, да голоса мужского не услышишь: одни — утонченные натуры, при галстуках, ноготки начищены, бутербродики жуют. Манекены витринные! Другие — все расслабляются, выстаивая тысячные очереди у винно-водочных, будто от силы и воли утомились. Третьи — просто вредники, грешат потихоньку, втайне от жен и партии. Есть, конечно, четвертые, пятые... Среди них откровенного жулья предостаточно, место которому в исправительно-трудовых колониях. Но поговори с таким — тоже обижен, за человека не считают, зарплата маленькая... Да кто же тебя, мужчину, человеком должен делать? Ты революции совершал, на страшные войны ходил, в Афганистане воюешь!.. Почему же дома, в своих городах и селах, ты превращаешься в безвольное существо неизвестного пола? Допустим, виноваты в этом и мы, разнузданно эмансипированные. Но женщина ломает то, что легко ломается, уж таким характером от природы наделена. И подчиняется силе, уму, как там ни вертится. Где же ваша сила, ваш ум, дорогие мужчины?..

Екатерине Тимофеевне хочется думать о чем-либо ином, пусть грустном, и все-таки светлом, как этот необъятный воздух, полный прохладного тихого сияния, но незаметно для себя она возвращается к тем же своим размышлениям.

Вспомним, товарищи мужчины, недавнее застойное время. Вот это огромное мертвое болото как раз тогда сотворено. И что же, многие из вас сопротивлялись всеобщему загниванию? Скажем прямо: единицы. А сколько было активистов этого застойного времени! Они процветали, как никогда: все можно, все простится (служишь — бери!), только нахваливай передовой строй и мудрое руководство Леонида Ильича. Уверились, что их благоденствию не будет конца (а ведь со школы еще должны бы помнить: все течет, все изменяется). До философии ли было, если болото теплое, еды сытной много, спиртного для усыпления совести — еще больше... И грянула перестройка. Это бы ладно, нечто похожее перемогли в хрущевскую «оттепель». Гласность — вот бедствие неожиданное, негаданное. В короткий срок вчерашние видные и выдающиеся оказались голенькими, как пернатые во время линьки, — ни летать, ни красоваться. Но «гвардия», как говорится, просто так не сдается, особенно номенклатурная. Переоперились, сплотились, присягнули на верность новому курсу — и из тех же кабинетов давай призывать народ пере-страиваться. Опять они в первых рядах, опять активисты! Ну ладно там хозяйственники, управленцы, им вроде бы полагается быть гибкими — бюрократы же неисправимые. А что вытворяют писатели, особенно при видных должностях? Вчера еще славили главного героя Малой земли, восторгались его книгами, принимали из рук его звезды и ордена, а сегодня называют то время лицемерным, лживым, уродовавшим их души. Господи, да что же делать нам, воспитанным на ваших книгах? Не все же такие бесхребетные. Приходит ли в мысли им, писателям: если они изуродованы нравственно и морально, то какая польза от них перестройке?.. О женщинах-писательницах и говорить не стоит, почти сплошь поэтессы — лишь бы напечататься да с эстрады пошаманить... Иной раз зарыдать хочется и выкрикнуть на всю страну (пустили бы только на радио или телевидение):

— Мужчины, мужчины, мужчины, забыли вы званье свое!

— О, вы стихи декламируете, Екатерина Тимофеевна? Это хорошо, особенно на природе. Но у поэта, кажется, немного по-другому: «Вы помните званье свое». Как раз утвердительно.

— Напугали, Иван Алексеевич, подошли неслышно. Лесовик настоящий! Я тут размечталась, вернее, в порядок мысли свои приводила, дома ведь некогда. И еще больше запуталась. Хитро кем-то придумано — чтоб человеку некогда было помыслить. Суетись, толпись, выма-

тывайся между домом и работой — за тебя другие все обдумают. А выпадет, как сейчас, свободная минута, бедная голова вспухает... вот-вот, точно кем-то сказано — вспухает от умственного несварения. Я еще не самая тупая, газеты читаю, за книгами стараюсь следить... Ну, скажите, почему мы такие покорные? Почему наши ученые, писатели приспособленцы?

— Не все же...

— Так и знала, что это скажете. Я не философ, не социолог, но когда утверждают: не все, — слышу: все! Ну, там за малым исключением. Так ведь оно и есть на самом деле. Часто теперь говорят: была другая Германия, кроме фашистской. Была, кто спорит. Но сколько ее было, другой?.. Жутко я рассердилась на наших мужчин, никуда мы не двинемся, пока не заставим их быть мужчинами!

— Согласен, Екатерина Тимофеевна, мужчинам застойного времени надо поставить памятник — что-то аморфное, безглазое, хмельное. Пусть смотрят и ужасаются. Согласен, только успокойтесь... о, да вы и ноги в воду опустили? А говорите, книги читаете! Земля холодная, вода холодная, вы разогрелись, работая... Врачи, особенно педиатры, любят детишек наставлять, родителей учить. Все знают по самой передовой науке!

Иван Алексеевич взял Екатерину Тимофеевну сзади под мышки, жестко поднял и легко отнес на сухой взгорок к ближней осине.

— Надевайте сапоги, живо! И согрейтесь. Бегом десять кругов вокруг осин!

— Кто вас просил... — заикнулась было Екатерина Тимофеевна, но увидела прежний, нахмуренно-неуступчивый взгляд из-под лба, теперь еще и с решительной усмешкой: не подчинись попробуй — заставлю!

Быстро натянула носки и сапоги, почувствовала, как тяжело настыли ноги, в самом деле испугалась простуды и побежала вокруг осин.

— Десять! — повторил Иван Алексеевич, пошел к мотоциклу, принялся там вынимать из сумки, раскладывать на белом брезенте съестное.

Когда Екатерина Тимофеевна закончила свой послушный бег, «стол» был накрыт: на ее конце брезента стояла кружка молока, рядом — ломоть хлеба, луковица и четыре очищенных картофелины. Взяв одну в руку, понюхав, затем осторожно надкусив, Екатерина Тимофеевна спросила:

— Сильвинитовая?

— Да. Чуть горчит, правда? С молоком, думаю, безопасно.

— А я не боюсь. У нас весной лук завезли, половину распродали, вдруг комиссия — кто-то отравился. Забраковали: сплошные нитраты в этом красивом луке. Нам так и надо. Детей, конечно, жалко.

— Приспособятся.

— Куда деваться? Будут расти мутантиками большеголовыми, какими инопланетян изображают.

— Умными уродцами?

— Компьютерными.

Они посмеялись, помолчали, слушая осеннюю жалобу одинокой синицы: потеряла выросших птенцов? предчувствует холодную зиму?..

— Попьем чаю, Екатерина Тимофеевна, и вы окончательно согреетесь. И погрустнели вы что-то? Между прочим, старец Дронов учил меня: бойся простуды. Нет, не ветра, дождя, снега. Холода, который проходит до костей, до души. Леденит. Раз пройдет — все, можешь считать, что ты уже не человек, лечиться тебе не вылечиться. Тогда-то я не спросил у него, а потом думаю: о простудном ли холоде только говорил старик?

Екатерина Тимофеевна зябко передернула плечами, как вздрагивают при воспоминании о некогда пережитом холоде, чаще душевном, застегнула куртку, сунула под мышки ладони. И опять они молчали. В березнике сухо звенели, опадая, листья, неслышный ветер приносил их и желтыми монетами раскладывал по брезенту. Неяркое солнце клонилось к земле, как всегда, дальней, неведомой, стало большим, негреющим, и на него можно было смотреть почти не щурясь. Провал долины за ивняками словно бы высветил всю свою силу и теперь наполнился густой тяжелой синью. Если немного забыть, станешь думать, что там простирается морская вода. Притихшая, как перед штормом.

Не поднимая глаз, негромко Екатерина Тимофеевна спросила:

— Иван Алексеевич, к вам жена не вернется?

— Нет. Она давно замужем.

— Извините. Сама не знаю, как у меня спросилось... Тихо вот. Задумалась и показалось, будто мы с вами об этом говорили.

— Мысленно, наверное, Екатерина Тимофеевна. Можно и вслух. Что же тут запретного?

— Скажите тогда, к вам дочь приезжала?

— Была позапрошлым летом. Как раз в экономический поступила, от «Промсоли» направили. Невесело встретились, невесело расстались. Сказала: мне все говорили, что ты ненормальный, и я тебя жалела. А ты, оказывается, просто людей не любишь. А может, ненавидишь. Потому животными себя окружил. Побывала у тебя — страху какого-то темного набралась. Я ответил ей: страх в тебе, только здесь он стал осязаемым. Не поняла, рассердилась: мама мне внушала всегда: говори всем, что отец у тебя умер. А мне не хотелось тебя хоронить, придумывала разное — что ты полярник, посол в какой-то Верхней Вольте, капитан дальнего плавания. Теперь вижу: мама была права. Оправдываться, что-то доказывать было бесполезно. Боялся, что деньги не возьмет, — подкопил тут пятьсот рублей для нее. Взяла. Каждый месяц половину своей зарплаты высылаю. Не отказывается. И то слава богу...

— Что же, вы так и будете один?

— Не знаю, Екатерина Тимофеевна, хоть в газету пиши объявление. Шучу, конечно. Да и зачем мне здесь кто-то? Вернее, лишь бы кто?

— Но это неправильно. Этого не может быть! Я когда-то читала легенду. Жил человек хороший совсем одиноко, в пустыне какой-то. Это почувствовала женщина, пошла к нему. Шла долго. И пришла. Да только состарилась, пока шла. Человек поклонился ей в ноги, сказал ты самая прекрасная на Земле! От этих слов женщина помолодела. У них были дети, и пустыня заселилась потом народом... Это легенда, но здесь все правильно женщина должна прийти к одинокому. Иначе жизни не станет. Человеческой.

— Вот и придите! — неожиданно для себя воскликнул Иван Алексеевич, тут же смутился. Хотел заговорить о чем-либо другом, но его опередила Екатерина Тимофеевна.

— Я?.. — Переспросила она и, чуть откачнувшись, уставилась на Ивана Алексеевича вмиг повлажневшими, синью налившимися глазами, точно ударил ей в лицо резкий ветер. — Вы меня приглашаете?

— Зову, — проговорил Иван Алексеевич с намеренной полуулыбкой, чтобы Екатерина Тимофеевна сама решила, как отнестись к этому его слову: серьезно или отшутиться.

— А... Я знала, чувствовала, наверное... Но не ду-

мала, что позовете... Растерялась... Подождите минуту, подумаю.

Екатерина Тимофеевна опустила голову, замерла, держа руки на коленях. С лица ее медленно сошел румянец свежести, оно стало едва ли не под цвет белого шарфа на ее шее, только подкрашенные губы остались прежними, как на манекене, и Иван Алексеевич смотрел лишь на них, боясь не услышать слов Екатерины Тимофеевны, если она произнесет их шепотом. Но услышал сказанное внятно, даже громко:

— Приду. Если не смогу не прийти. О, как держит меня та моя жизнь!

Иван Алексеевич поднялся, подошел к Екатерине Тимофеевне, взял ее правую руку в обе свои, склонился, поцеловал.

— Спасибо. Я уже не одинок.

— Если не смогу... — повторила она.

— Если не сможете, — подтвердил он.

Ему хотелось сказать: приходи пока так, в гости. Но не сказал, поняв: нельзя. Неизвестно еще, что наговорит о Екатерине Тимофеевне номенклатурный шофер. И это «так»... Не выговорить его Ивану Алексеевичу, ибо сразу думается: сколько сходились, сходятся, будут сходиться «просто так» — от скуки, несчастья, под музыку и вино?.. Он представил себе их тайные встречи на час-другой, и у него даже сердце надрывно заныло: грешники на болоте! Стоило уходить из той жизни...

— Иван Алексеевич! — воскликнула едва ли не в ухо ему Екатерина Тимофеевна. — Вы опять задумались? А мне радоваться, бегать и прыгать хочется! Никогда я не была такой свободной!

Она стояла в шаге от него, уперев руки в бока, и улыбалась. Лицо ее вновь было свежим, с легким румянцем на щеках и светилось весельем: блестели зубы, вздрагивали нежные морщинки у губ и глаз, и пятнышко высохшего на подбородке молока сияло детской радостью. И виделось, чувствовалось, как легка, крепка, тяжела она: спугни — упорхнет, наткнись — разобьешься... Едва одолевая желание обнять, схватить ее за руки и целовать, целовать, а там будь что будет, Иван Алексеевич отвернулся, спросил:

— Едем, Екатерина Тимофеевна?

Она нашла в кармане куртки серебряную монету,

метнула ее в темный провал за ивняками: чтобы вернуться сюда.

— Да-да. Мне пора!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ездил Иван Алексеевич в город, набрал кое-каких магазинных продуктов. Зашел на почту. Женщина, выдававшая газеты, сказала, что есть ему и письмо. Пришло на «до востребования», и она сама положила его Прони-ну в газеты: он ведь, кажется, ничего не получает до востребования, так чтобы не затерялось... Поблагодарил женщину, письмо решил прочесть дома.

Вернувшись и оставив почту на веранде, пошел искать козу Дуньку: отвязалась, убрела куда-то. Нашел ее по жалобному бляению на зеленом островке посреди топи — нащипалась зеленой травы, а назад идти боится, будто отяжелела и теперь непременно провалится в торфяную тряси-ну. Спас шкодливую скотинку, привел во двор. Тут же увидел: сильный ветер, гудевший ночью, сорвал со скирды сена у сарая листы толи, придавленные жердочками. Собрал их, закрепил на скирде. Затем принялся обкладывать деревянными щитами ульи: пчелы у него зимовали во дворе, по новому методу. Вычитал в газете, что так делают кое-где за границей, проверил — выжили и летом меньше болели. До полуденного чая успел заменить истертую ступеньку в крыльце.

И все это время помнил о письме: от кого? ему ли? Может, ошибка какая?.. От бывшей жены? дочери? Нет, почерки у них другие, и обратный адрес — московский, дом, квартира... Может, Екатерина Тимофеевна написала ему из столицы от знакомых, не очень разборчиво расписавшись на конверте? Едва ли станет она затевать переписку, хорошо зная почтовых работниц своего районного города.

Когда наконец Иван Алексеевич понял, что просто побаивается этого письма и почти умышленно затягивает время, он, стыдясь своей нерешительности, пошел на веранду, взял конверт, быстро вынул из него сложенный вчетверо листок, принялся читать.

Уважаемый Иван Алексеевич!

Наш сын Федя погиб в Афганистане. Прошло уже больше сорока дней, как мы его похоронили. Горю наше-

му нет и не будет конца. Он сам пошел в военное училище, сам попросился в Афганистан, сам вернулся туда после ранений, хотя уговаривали его и мы, и военные начальники не делать этого: свое он отвоевал, и со здоровьем у него было не совсем хорошо. Он вроде заболел Афганистаном. Сказал нам: пока там война, я не человек, не могу быть нормальным человеком, понимаете? Мы его не понимали, не понимаем и теперь. Был он один у нас, Федя, и как мог оставить престарелых родителей сиротами? Он и жениться не успел, только все обещал внука и внучку. Федя, нам кажется, погиб в Афганистане сперва душой... Перед отъездом сказал: если меня убьют, вот адрес моего друга (ваш то есть, Иван Алексеевич), сообщите ему, а вернусь живым — сам поеду к нему работать, он там тоже воюет. Мы так поняли: вы лесник, и наш Федя хотел навсегда стать лесником, чтобы сажать и сажать деревья по всей земле, как он сам говорил. Но человек предполагает, а бог располагает. Не сбылась эта Фебина мечта. Мы чувствовали, даже знали, что по душе он совсем не военный. Да что теперь сокрушаться? Видно, суждено нам было все это пережить. Самым же тяжелым оказалось другое: нам до последних своих дней не избавиться от вины перед Федей, перед всеми погибшими в Афганистане. Мы все, все виноваты в этом! Извините, Иван Алексеевич, если мы как-то расстроили вас письмом. Сами понимаете, не написать вам не могли: просил Федя. Окажетесь по случаю в Москве, звоните и заходите. И остановиться можно, Фебина комната всегда примет Вас. Всего Вам самого доброго, и благодарим за все хорошее, что Вы сделали для нашего сына: он так удивлялся Вам и Вашей одинокой жизни в лесной сторожке!»

Ниже были четко написаны имена и отчества родителей Феде, а в самом конце листка:

«Р. S. Верующие говорят, что душа умершего только на сороковой день после похорон навсегда покидает земную обитель. Прошло сорок три дня. Может быть, нам станет хоть немного легче?»

Иван Алексеевич неторопливо, как бы в забытьи, вложил листок в конверт, отодвинул письмо на край стола и так, чуть издали, поглядывал на него, словно надеясь: глянет в очередной раз — и не обнаружит конверта на столе. Не было его. Привиделось. Примерещилось.

За окнами то сумеречно темнело, то резко прояснялось, если солнце прожигало низкие тучи где-то над

Горькой долиной. Тишина была особенной, здешней, глубинной, когда все, что не рядом с тобой, непреодолимо обособлено, отделено. Прокричал петух, тьякнул пес, проблеяла коза — и голосах их, кажется, пробилась к тебе чуть ли не с другой стороны планеты.

Нечасто впадал Иван Алексеевич в такое бесчувствие и бездумье. Он называл это «анабиозом». Вроде бы ты жив — и выпал из мира, вроде ты дышишь — а время остановилось для тебя. Все в тебе замерло, исчезли боли и болезни, ты не стареешь, ни к чему не стремишься. В голове глухо, пусто, тебе трудно даже вспомнить свое имя. Так, наверное, лишаются ума, не найдя в себе воли вырваться из бездумного растительного существования.

Иван Алексеевич резко встряхнул головой, сильно растер виски костяшками согнутых пальцев.

Письмо лежало на краю стола.

Он спросил себя: разве ты верил, что лейтенант Федя вернется живым и невредимым? Он поехал в Афганистан, не найдя себе места на родине, вернее, не чувствуя себя пригодным для мирной жизни, пока там идет война... Нет, не в тот вечер Федя решился на это, когда в колокол ударил. Тогда уже он «им, друзьям в Афгани, позвонил: еду!»

Раньше он начал собираться, может быть, еще прямо не думая об этом. Съездил на мотоцикле в район к тетке, привез кассетный магнитофон «Панасоник», стал запускать музыку, слушать радио, и зарубежные «голоса» тоже, читать газеты.

Однажды утром он выскочил в трусах, босиком на крыльцо, где присел передохнуть Иван Алексеевич, поставив у ног ведро с Дунькиным молоком, и заговорил, потрясенно тыча пальцем в газету:

— Послушайте, что я вычитал! И это в нашей, советской газете! Понимаю, перестройка, гласность, надо говорить правду народу! Но как можно поверить в такую правду, дорогой и милый Иван Алексеевич? Не укладывается, как говорится... Да и какую башку надо иметь, чтоб она переварила такое? Слушайте.

«Вертолет проплыл над гигантскими промышленными комплексами, потом над огромными черными озерами — это были отстойники шламов, а точнее, ядовитой грязи. Потом мы очутились над лунной поверхностью. Картина была жуткой: грязно-серая пустыня. Пройдя «лунные горы», вертолет снизился над полем. Увы, это было уже не поле, а немой крик земли. Подумалось: каким же силь-

ным и бездушным должен был быть «свинтус грандиозус», своим рылом перевернувший, изувечивший, испоганивший землю, которая кормила человека, была ему родиной!» Это же новая Горькая долина!

Федя отбросил газету, с треском развернул другую, едва не порвав ее.

— А вот, Иван Алексеевич, еще одна картина:

«Валили, бульдозерами сгребали громадные деревья, волокли их по селу, за бутылку продавая старушкам на дрова. Словом, свели последний лесной оазис — единственную отраду в степи. И стоит теперь наша деревенька голая, в колодцах не стало воды, копанки высохли, исчезли птицы, улетели аисты, а сколько их было! А ведь такая здесь была красота. Есть ли в стране сила, которая могла бы остановить наших мелиораторов? Сейчас они двинулись на соседнюю деревню — Ходосиевку. Остановите безумцев!»

Отбросив так же безразлично и вторую газету, Федя сходил в дом за сигаретами и спичками, сел на ступеньку крыльца рядом с Иваном Алексеевичем, курил жадно и молча, ожидая, вероятно, успокоения нервов. Молчал и Иван Алексеевич: не огорчать же еще более Федю, два своих афганских года, пожалуй, мало читавшего наши газеты, тем, что теперь и пострашнее кое-что печатается, — чего стоит, к примеру, глобальный проект поворота северных рек! Но молчание делалось неловким, Федя мог подумать, что с ним не хотят говорить, и Иван Алексеевич спросил:

— Товарищ лейтенант вроде бы озаботился гражданской жизнью?

— Сильно ли она отличается от военной? Воюем — пустыню оставляем, трудимся — все опустошаем вокруг... Это же какая-то нескончаемая война. Мы не живем на Земле — воюем. Нам надо перестать воевать — сегодня, немедленно. Уничтожить оружие. Не убивать. Главное — не убивать! Нет таких целей, за которые можно убивать, травить, уничтожать живое... Что мы за недочеловеки? Когда уьемся кровью, когда опротивеет нам зарывать в землю трупы солдат? Как можно жить и чем-то наслаждаться, что-то строить для счастья будущих поколений посреди нескончаемой войны — друг с другом, с природой, и в космос вот с таким сумбуром влезли... А, Иван Алексеевич?

— Видим же: можно.

— Это я и хотел от вас услышать! Пока будет можно — будут войны. Что же делать?

— Делать так, чтобы человек не чувствовал себя счастливым, если где-то и кого-то убивают. Если учат его безродности. Если уродуют, жгут, отравляют землю. Говорить, показывать, тревожить надо...

— А он, человек, ничего этого не знает, Иван Алексеевич? Он же поголовно грамотный, начитанный, наслышанный. И что меняется? Его ставят под ружье, его сажают на бульдозер — и он стреляет, давит живое гусеницами. Не подумайте, что я себя ставлю выше кого-то. Такой же, в том же потоке. Вот только думать стал... Если вернусь к гражданской жизни, будет она у меня, как ваша.

— Приглашаю, Федя. Мы тебе отдельный дом поставим, местечко приметил недалеко отсюда, чистое, высокое, и тумана болотного меньше будет.

— Спасибо, Иван Алексеевич. Буду воображать дом на высоком месте. Но чтоб вид из окна — на Горькую долину. И запах чтоб шел не только фиалковый. А то ведь знаем мы человека, на голой кочке счастливую жизнь для себя лично устроит.

Невесело посмеялись, неспешно позавтракали хлебом и молоком, завели мотоцикл и поехали осушать краешек Горькой долины.

После того разговора Федя стал все чаще запускать свой изящный и громкий музыкальный аппарат. Утром, вечером. Иногда он брал его с собой на работу. Подвесит к ивовому кусту, и музыка бодрит их мажорным ритмом. Оправдывался: «Все равно ведь, Алексеич, здесь птицы не поют». Ивану же Алексеевичу думалось: «Нет, иное что-то повлекло тебя к «Панасонику». Скорее всего, зовет та большая, внешняя жизнь. Ты как бы издали, настороженно к ней прислушиваешься...»

У Феди были хорошие записи ансамбля «Битлз». Более высокой эстрады для него, кажется, не существовало (наши домашние роки он называл «группами захвата дебилов»). Слушать некогда знаменитый квартет англичан он мог почти непрерывно. Иногда переводил слова песен Ивану Алексеевичу.

— Слушайте, здесь так: «Мир круглый — и мне хочется плакать, мир круглый — и он крутит меня дальше и дальше». — Помолчав с опущенным, занемелым взглядом, он снова начинал переводить наиболее, вероятно, значительные для него слова: — «Однажды ты увидишь, что ме-

ня уже нет, — здесь так дождливо, и я пойду за солнцем...»

Случалось, не дослушав песни, Федя резко выключал магнитофон, молча смотрел на Ивана Алексеевича, как бы вспоминая, кто этот человек и почему он, лейтенант Федя, здесь и с ним, и вдруг говорил:

— Там небо синее, горы пепельные, ветер «афганец». И воздух обжигает — летом зноем, зимой холодом. Там живешь только душой. Когда меня ранило, я не почувствовал боли, просто заболела душа.

Перед сном как-то:

— Иван Алексеевич, это же страшно сказано о человеке — «свинтус грандиозус». Ну ладно, мы с вами люди все-таки обыкновенные, потому и не безгрешные. А возьмем музыканта, ученого, поэта, людей тонких, высоких в своем деле, — они что же, нисколько не «свинтусы»? Пусть немножко, не «грандиозус» хотя бы? Не подумайте, что мне хочется чернить их, нет, я хочу, чтобы они были нам примером — чистыми и высокими, но... не получается это. Я ведь знаю, они молчат про Афганистан и спасают от него своих сыновей и внуков... Как же мы защитим природу, себя, если мы почти поголовно те самые «грандиозусы»?

В дождливый день, под навесом летней кухни:

— Иван Алексеевич, гляньте! Филька на пару явился. Вон, из-под изгороди выполз, ведет ежа... нет, ежиху, конечно. Смотрите, как рыльцем подталкивает ее: мол, смелее, тут тебя никто не обидит, тут тебе даже обрадуются!.. Скоро ваш змей Иннокентий подругой ползучей обзаведется, чего ему холостяцки в норе под крыльцом скучать? У куриц бравый Оратор есть. Дунька, можно сказать, в законном браке — муж-козел на подворье лесника Акимова проживает... Только вы, Иван Алексеевич, со всех сторон одинокий. Ну я — ладно, мне жениться пока некогда было, обходился знакомствами, а вы как без женщины, жены? Говорите, анахоретствуете? Можно обходиться, если много работаешь и цель имеешь? Да, мы и позабыли про пустынников, монахов, монахинь... Все женятся, замуж выходят, да мало кто в семьях хорошо живет. Я сейчас и подумал: будь у вас тут жена, семья, попросился бы я к вам на постой? Едва ли. И еще подумалось: одинокие нужны, хорошие, смиренные одинокие. Смотрят на них люди и хоть немножко очищаются, что ли: кто не устает от бестолковщины житейской, кто не тоскует о жизни для души?.. Пусть у нас будут монастыри, чтоб любой мог пом-

нить: если очень и очень утомлюсь, уйду в обитель покоя.

На осушаемой деляне, после низко прогрохотавшего над Горькой долиной вертолета:

— Наш десант на танках перебрасывали. Вдруг взрыв впереди — мина! Танк развернуло, мы попрыгали на шоссе. Залегли. Спокойно вроде. Давай гусеницу чинить — танкистам помогать. Работенка для штангистов-разрядников: один трак двести кгэ. Подняли вчетвером, держим — и тут рвануло шагах в пяти. Духи прицельно снаряд кинули. Развеелась пыль — двое убитых, двое раненых, в том числе и я. А первый раз меня легко — пуля выше локтя левую руку прошила...

Разве вспомнишь теперь все сказанное лейтенантом Федей?

Перед уходом ему захотелось побыть одному, он отпросился утром: «Поработайте без меня, Иван Алексеевич, мне нужно кое-что додумать». Поздним вечером того дня и разнесся над Горькой долиной колокольный звон.

Федя отказался ехать в город на мотоцикле: «Разомнись немного, солдату будет полезно, и как хорошо двадцать с лишком километров по земле ногами!» Ремень кожаной сумки — на одно плечо, ремень чехла с «Панасоником» — на другое. Обнялись. Зашагал легко. У поворота дороги остановился, помахал рукой, с нарочитой бравадой пригладил усы и бородку, отрощенные за месяц здешнего отдыха, — мол, будет все как надо! — и скрылся в березовой роще.

Хорошо видна из окна Ивану Алексеевичу эта роща, посаженная им одиннадцать лет назад, позднеосенняя, теперь голая, насквозь просвеченная вдруг выглянувшим солнцем — так глубоко, что за нею зеленой кипенью проглянул молодой сосняк.

Да, он поедет в Москву, навестит родителей лейтенанта Феде и, конечно, его могилу. Поедет зимой, когда будет много свободного времени. Попросит Акимова постеречь дом. А сейчас он напишет письмо пожилым родителям Феде, объяснит им, городским жителям, как важно вовремя посадить лес. Нет, сперва он выразит им свое сочувствие, поведаст о своей горькой убитости: на свете не стало нужного людям человека! Расскажет, как пришел к нему Федя, кем он был для него... Poiщет успокоительные слова. И только потом о посадке леса. Непременно прибавит: Федя не простил бы ему ни одного упущенного дня.

По ночам подмораживало, иней не стаивал почти до полудня, погода держалась ясная, сухая. Дышать бы и дышать крепким предзимним воздухом, но с Горькой долины все чаще наплывали туманы, гнилой моросью кропили подворье Ивана Алексеевича Пронина, и по утрам ему иной раз приходилось жечь лампу — так непроглядно мутно было в окнах дома.

Управившись во дворе и позавтракав, он грелся чаем, заваренным с листьями малины и мяты: вчера немного застудился, случайно угодив сапогом в затянутое мхом «окно». Перебирал скопившиеся газеты, выискивая наиболее интересное. Читать все подряд он не успевал, что не очень его огорчало, ибо полагал: без разбору читают только пенсионеры — у них времени много.

Ага, вот высказывание одного видного американца:

«Мне кажется, для вас сейчас главное — разговор о своем назначении, своей «айдентити» (подлинности то есть), как у нас говорят. Есть ли у современного русского человека «айдентити», настоящая, без сталинизма, — вот в чем вопрос».

О, это уже интересно, можно поразмышлять! Заварим свежего чаю для умственного просветления. Умный американец, ничего не скажешь. Но о русском человеке, пожалуй, не все знает. Возьмем меня, Пронина И. А., русского со всех сторон, ну, хотя бы по ближним предкам. Много ли во мне сталинизма? Есть, есть эта ущербность! Правда, не самим «вождем народов» воспитанная — его наследниками: чти любое начальство, помалкивай, знай — за тобой следят, носи в себе страх перед правотой и силой государства... (Ведь этого не отменил и Хрущев, разоблачивший культ Сталина.) В моем отце, естественно, было много сталинизма — полжизни прожил при «вожде», в деде вообще не было — сгиб в начале двадцатых. В дочери моей... жаль, мало знаю ее. Но, думаю, — всего лишь отголоски какие-то не очень внятные. А внуки мои, если таковые будут, едва ли что-то унаследуют от сталинизма. Уже для теперешних двадцатилетних Сталин — легенда малопонятная, пусть и страшноватая. Допустим на минуту самое печальное — перестройка сорвалась, одолели «недостройщики», те, кто хочет постепенно улучшать наше общество, то есть во многом оставить прежним, брежневским, — разве может

возродиться сталинизм? Была трагедия, был фарс — время уложилось в историю. Ему просто не будет места: вымрут последние носители культа... Вернемся, однако, к русскому человеку, к его «айдентити», как выразился ученый американец...

Иван Алексеевич прошелся по комнате, напрягая свои «средние», как он считал, но «придирчивые» мыслительные способности, почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, догадался: Серафим Саровский следит за ним из темноты иконы. Подошел к божнице, спросил:

— Ты-то русский, Серафим? Где-то на Тамбовщине была твоя пустынь. Значит, русак. Скажи тогда, неужели мы, теперешние, насквозь просталинились? И ничего другого в нас нет? А я вот чувствую: и ты во мне есть. И другие видные и выдающиеся. Например...

Но Ивану Алексеевичу пришлось прервать свою речь: он явственно услышал приближающийся, сипло сосущий тишину рокоток трактора. Гнал свой бульдозер к его подворью Василий Конкин. Молодец! Не подвел. Договорились — помнит слово.

Быстро одевшись, Иван Алексеевич вышел во двор.

Румяный круглолицый Василий, в чистой бежевой куртке и новенькой клетчатой шляпе, этаким современным работяга-интеллигент, подогнал бульдозер к самой калитке, резко осадил, едва не зацепив вскинутым ножом изгороди, приглушил мотор и, как все, работающие на грохочущей технике, излишне громко выкрикнул:

— Алексеич! Сигай в мой лимузин, прокатимся по твоей курортной местности!

— Кати один, Вася! Туда же, на Ржавую топь, где в прошлый раз перемышку нагребал, протяни ее до холма с березами. Может, позже навещу тебя, разомну вот свой радикулит.

— Понятно, командир! Лечись и выздоравливай. Жалко, не делаешь медовухи. Знающие пропагандируют: все болезни лечит, особенно душевные и простудные. Может, заварить? В счет платы за труды мои бульдозерные?

Василий смеется, крутит сдернутой шляпой над белобрысой головой, разворачивает бульдозер, опять едва не задев изгороди (явно из молодежного лихачества), и вскоре грохот тяжелых гусениц гложет в низком кустарнике и тумане, замутившем поля и перелески вокруг Горькой долины.

По двору бегал, влаивая, Ворчун: рад, что хозяин

остался дома. Не любит тех, кто увозит или увозит Ивана Алексеевича, даже мотоцикл для него — живое и недоброе существо, не раз прогрызал резину на колесах (приходится ставить машину в сарай); Василий же Ворчуну особенно несимпатичен: обидно дразнит, хватает прокуренной лапницей нос и держит, пока визга не выжмет. Тяпнуть бы этого весельчака разок-другой, да хозяин накажет: нужен ему для чего-то Василий!

Иван Алексеевич гладит Ворчуна, подтверждая: нужен. Хотя и отношения между ними едва ли дружеские, потому что не совсем чистые, что ли. Или, напротив, вынужденно дружеские?

Чего бы, казалось, проще, в конторе совхоза заказать бульдозер, оформить бумагой, внести деньги. Но нет такого закона, по которому частному лицу можно давать государственный бульдозер. Другое дело — бульдозерист Конкин попросит машину для себя лично в нерабочий день, без оформлений и бумаг.

Понятно, нехорошо это. А как быть? Где бульдозеру два-три прогона сделать, там Ивану Алексеевичу две-три недели лопатой ковырять. И если уж честно совсем: откуда взять ему денег на бульдозер, будь разрешено заказывать его? За час работы и полсотней, пожалуй, не считаешься. А Василий Конкин медом берет, да еще довольно похохатывает: «Медом куда выгодней! «Левые» рублики как понесешь домой? Они же вроде частично ворованные, потому и пропиваются для очищения совести. Медок — совсем иной сортимент, и бригадир с удовольствием берет, и жинка радуется ценному продукту, без подмеса сахарного и протчего; «пронинскому», как мы популярно называем». Мало хорошего в их такой дружбе, каждому ясно, к тому же в перестроечное время, пусть и самое начальное. Одно оправдание: не для себя старается Иван Алексеевич. И вот что он может сказать: окиньте мысленным взором, как выражаются литераторы, наши необъятные пространства — сколько всего незаконно понастроено: дач, гаражей, особняков с мансардами... Откуда лес, кирпич, прочие материалы? Все ворованное у государства. Неэтично? Конечно. Но ведь государство ничего не продавало своим гражданам. Вообразим на минуту другое — никто и гвоздя не украл. И окажется: нечего окидывать мысленным взором — пусты пространства, ни садово-огородного домика, ни дачки, ни садика на пустыре... Лишь города и села такими обособленными людскими скопищами, большими и малы-

ми. Грустное было бы зрелище, не правда ли? Но люди все-таки существа разумные, вот и стремились они в эти пустые пространства, к земле и природе, строя «вторые» жилища и нарушая древнюю заповедь «не укради!» Не отсюда ли началось: бери, тащи, хапай, честно ничего не наживешь?.. Теперь многое меняется, и узаконено кое-какое частное строительство, и можно кое-что купить. Будет вероятно, еще свободнее. Неясно другое: как быть с миллионами воров-застройщиков недавнего прошлого? Простить им за давностью лет, к тому же «застойных»? А все ли простят себе?

Иван Алексеевич идет в дом, повторяя одно слово: «Вина, вина...» Возможно ли жить без вины, не стремясь даже и малым чем-то служить себе?.. Василий Конкин на Ржавом болоте засыпает топь, а у Ивана Алексеевича душа побаливает: нечистое дело, поймают Василия... Он выкрутится, конечно, брежневской закалки молодой человек: думай одно, делай другое, умей отчитываться и ни за что не отвечай. Но подбил-то его на это он, Пронин. Было бы легче ему, пожалуй, если бы Василий понимал, как нужна его работа здесь, на топях Горькой долины. Смеется только: «Думал, хоть ты, Алексеич, не будешь лекций толкать, сознательности учить. Твоя плата, мое исполнение, а для чего тебе это нужно — пусть у тебя голова болит. Вон рванет термоядерная — и твое болото мигом осушится. Зима, Алексеич, вечная наступит. Советую заранее теплой одежкой запастись и землянку поглубже вырыть. Или под болотом помещенье отремонтировать, там ведь, говорят, дворцы были хрустальные». С кем говорить, кого убеждать? И все-таки: не соблазни словом и делом... Значит, двойная вина, своя и Василия, на нем, Иване Алексеевиче. Никуда ему от нее не деться.

Он разогрел самовар, присел к столу, глянул на газеты и вспомнил: не обдумал до конца высказывание американца о сталинизме. На чем прервался? Ага, говорил Серафиму Саровскому, что «и ты во мне есть, и другие видные и выдающиеся».

В русском, думаю, не больше от Сталина, чем от Грозного, Петра Первого, Пугачева... И почему в нем не должно быть сколько-то от князя Владимира Крестителя, Марфы Посадницы, Пушкина, Ленина, маршала Жукова?.. В русском всего понемногу, как, впрочем, и в любом человеке другой национальности. А если это так, то наша «айдентити» не может быть исключительно стали-

нистской. Есть в нас, уважаемый американец, подлинность истинно русская, копившаяся веками, и она-то поможет нам, и, думаю, быстро, освободиться от кошмара сталинизма, к тому же восточного происхождения.

Иван Алексеевич встал, прошелся по комнате, как бы каждым своим звучным шагом подтверждая только что сказанное. Но сознание человеческое коварно, и потому не замедлила явиться мысль: а лучше ли сталинизма «брежневизм»? Там вера была, пусть и слепая. Тут — мерзость двуличия, вранье, наглое приспособленчество, спаивание, внушение рабской морали: все продается и покупается! Вот же, Василий Конкин — «полноценная» личность застойного времени. И он, Пронин, разве не набрался хоть сколько-то той психологии?

Сталиным можно хотя бы пугать. А кто боялся Брежнева? Над ним смеялись. Но долго будем избавляться от «брежневизма» в себе, вытравлять его из нашей жизни. Целое поколение воспитано этим многоорденосным лже-вождем!

Иван Алексеевич ощутил вдруг усталость, слабо заныло сердце, будто ему не хватает воздуха, и вздрогнул, почувствовав: в кухонное окно на него кто-то смотрит! Медленно повернулся. В окне скалилась морда Ворчуна, как бы подлакированная блеском стекла. Взобравшись на поленицу, пес любопытствовал: жив ли хозяин, почему не выходит из своей огромной деревянной конуры?

— На сегодня довольно! — сказал Иван Алексеевич сжимая руками голову и раскачивая ее, точно пытаясь вытряхнуть вон непосильные для его серого вещества мысли. — В другой раз, а то и свихнуться можно. Чистая мыслительность мне вредна. Я из тех, кому надо сочетать умственное и физическое. Во двор, там чурки не колоты!

Бензопила у него своя, купил списанную в лесхозе, подремонтировал и пятый год горя с дровами не знает: кряжует в лесу сушняк, возит на мотоцикле, во дворе распиливает. Вчера наворочал гору чурок-кругляков.

Несколько минут Иван Алексеевич стоял, вдыхая запахи опилок и бересты, — теплые в холодном воздухе. Когда ощутил себя легким и веселым, взял крайнюю чурку, поставил ее на широкий дубовый чурбан, поднял колун до плеча и ударил им в середину желтого круга с тесным счетом годовых колец, набранных деревом за долгий свой век и умершим стоя. Легкий звон, свист воздуха — и две половинки разлетелись в стороны. По-

добрал. Каждую расколол еще на три части. Это уже дрова. Полюбовался: ровные, аккуратные полешки. В поленице их подсушит ветер, подзолотит солнце, а когда прохватит зимним морозцем — до звона и легкости почти невесомой, приятно будет и в руки их взять, и в печь положить. И жар от них пойдет сухой, стойкий.

Работал часа два. Размял свой застуженный радикулит, разогрелся.

Наскоро пообедал, завел мотоцикл и поехал на Ржавую топь смотреть, как трудится бульдозерист Василий Конкин.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Утром, по пути из города, заехал к Ивану Алексеевичу лесник Акимов, долго пил чай, рассуждал о том о сем, мялся, вздыхал, повторяя свое всегдашнее при словье: «Жизнь, она такая, понимаешь ты?..» Иван Алексеевич догадался, конечно, что Акимов хочет сообщить ему что-то не совсем приятное, но не торопил его: беда не припозднится. Наконец попросил:

— Говори уж, Петрович.

— Так я и говорю: видел Екатерину Тимофеевну Ситкову, подошла ко мне возле магазина. Машина-то у меня заметная — красная. Рассказала: горе большое у нее. Муж работал в колхозе на картошке, он у нее музыкант какой-то, ну и попал под гусеницу трактора, ночью мешки грузили. Ноги одной начисто лишился, другую помяло. Словом, калекой сделался, понимаешь ты... Нет, не просила тебе передавать. Но, полагаю, для тебя рассказала. Так что извини за неприятное сообщение. Я и сам ехал и горевал: когда это кончится — городских гонять на сельхозработы? Да хоть бы выбирали более физически приспособленных. А то музыкантов, артистов, школьников... Все равно ведь: ни картошки, ни работы. Мы с тобой про это не раз толковали, да кто нас слушает? Полагаю, перестройка отдаст землю, у кого ее отобрали, чтоб не мучились на ней города. Ну, я поеду, не горюй тут особо, жизнь, она такая, понимаешь ты?..

Акимов вытер наодеколоненным платком темно-загорелую лысину, покрыл ее до самых ушей зеленой фуражкой с золотой кокардой, и тугой, праздничный, в новенькой лесной форме, надетой по случаю поездки в го-

род, направился к двери. От машины махнул рукой, сжатой в кулак, — мол, крепись, жизнь, она... — упруго вспрыгнул на сиденье, уехал, радостно облаянный Ворчуном.

Иван Алексеевич прошелся по двору, бросил в загон Дуньке клок сена, вернулся к крыльцу и как был в легком пиджаке, с непокрытой головой и в полуботинках на босу ногу, так и присел на ступеньку крыльца.

Первым снегом припорошило землю, а перед этим неделю держались морозы, и затвердела она на многие километры вокруг, стала гулкой, отзывчивой на шаг и звук. Успокоилась Горькая долина, откурив туманами, вершины заснеженных теперь солеотвалов были чистойшей, недосыгаемой белизны и даже по ночам лунно светились, будто сильвинит внутри их тлел и нагревался.

Сидел Иван Алексеевич почти ни о чем не думая, впав в знакомое безразличие, обычно спасительное для него: все душевное в нем сжалось, занемело, чтобы постепенно, набравшись сил, вернуть его к способности жить и мыслить.

Сколько прошло времени, он не знал. Ощувив холод ногами, спиной, подумал: «Так и простудиться можно». Голова опущена на руки, руки уперты локтями в колени, глаза закрыты. «Пора очнуться». Он медленно поднял голову, сощурился от холодного света, необъятно хлынувшего из пустого предзимнего пространства, проговорил:

— Я ведь знал: та жизнь не отпустит ее. Чем-нибудь удержит. О, она страшной силы, та жизни! Человек — былинка в ее скоплении.

Он медленно разогнулся, поднялся, медленно пошел в дом. Вздрогнул, оказавшись в тепле, но самовар греть не стал — не хотелось пока ни чая, ни еды. Прилег на диван. В дрему погрузился сразу, глубокую, с жутким видением: будто столб ярчайшего света опустился с небес на землю и принялся всасывать в свою трубу все живое — людей, деревья, дома, машины... Немые крики, жуткие лица... все смешано, перепутано. Вот младенец, вот женщина в изодранных одеждах, вот старик с бородой парусом, вот огромный дом, из которого выпадают жильцы... и пара молодоженов, он в черной тройке, она в белом платье и фате, сцепившись руками, несутся ввысь... И почему-то лишь он, Иван Алексеевич Пронин, знает: свет этот небесный никого не убьет, подняв с земли все живое и мертвое, прополоскав в небесах, мед-

ленно рассеет по лону земли, и видит уже Иван Алексеевич новые селения и города в той, как бы совсем другой жизни, тихие, ясные, среди садов и над светлыми водами. Хочется крикнуть им, орущим и страдающим: «Не бойтесь, радуйтесь свету, возносящему вас!» Но горло у Ивана Алексеевича немо, как немо все это необыкновенное видение. И вдруг страх проникает в него, холодит до шевеления волос на голове: мощный ток воздуха начинает втягивать его в тот ярчайший столб света. Оторвал от дивана, приподнял, понес... «А меня зачем, мне здесь хорошо, у меня работа!» — кричит Иван Алексеевич, забыв, что надо радоваться вознесению и перемещению в иную жизнь, раскидывает руки, пытается удержаться за крышу своего дома, за мечущийся на ветру флюгер. Какое-то время висит над своим подворьем, видит, как медленно угасает столб света, затухает ток воздуха, и вот он, Иван Алексеевич Пронин, падает сквозь крышу своего дома на диван — легко, без боли.

Он смотрит в потолок, понимает, что ему все это примерещилось, и все-таки ощупывает себя рукой, трогает лоб, проводит ладонью по щеке. Да, он невредим и в своем доме. Вон божница с иконами, святой Серафим смотрит на него со всегдашним укором: нет в тебе смирения! Стол, самовар, ровный свет из окон, стопа газет на краю стола... Так, поднимемся, сядем, обдумаем только что привидившееся. А разве можно обдумывать сны искать в них какой-то житейский смысл? Их, вероятно, надо просто чувствовать, и тогда они что-нибудь подскажут. Сны Ивану Алексеевичу почти не снились, а если что намерещивалось под утро, то сразу же и забывалось, как только он просыпался. И вот это видение...

— Ага, понимаю: я один. И всегда буду один.

Иван Алексеевич прошел в кухню. На плите все остыло. Решил разогреть. Открыл дверцу печи, положил на колосник сперва бересты, потом сухих, заранее натесанных щепок, сверху — некрупных поленьев. Поджег бересту. Пламя схватилось сразу, пахнуло в дом запахом костра, сочно загудело под чугунной плитой. Когда печь нагрелась и тепло растеклось по дому, Иван Алексеевич сказал себе:

— А разве ты к чему-то другому готовился? Кто мог к тебе сюда прийти? Считай и это видением.

Он неторопливо пообедал, сполоснул посуду нагретой на плите водой, неспешно оделся — в куртку ватную, сапоги с шерстяными носками, голову покрыл старенькой

кроличьей шапкой для будней, взял рукавицы и вышел во двор.

Полдень был ясный, с крепеньким морозцем.

Иван Алексеевич глубоко вздохнул ему почудилось, что ноздри его уловили еле слышимый фиалковый запах он глянул в сторону сияющих белизной солеотвалов, погрозил им

— Дышите еще?

Сегодня у него работа особая — плотницкая. В старой, оставленной ему Илларионом Дроновым баньке подгнили два нижних венца. Надо их заменить. Лес заготовлен давно, просушен, ошкуреи, времени все не мог вы брать. С утра сегодня и хотел приняться да лесник Акимов, его сообщение...

Надо подважить, приподнять баньку выбить из-под нее гнилые бревнышки, положить на их место новые. Таким делом Иван Алексеевич никогда не занимался. Но видел как меняют венцы в срубах домов. Значит и сам сможет

Катит к баньке и устанавливает чурки, кладет на них ваги — бревна и приподнимает сперва одну затем другую стену сруба. Под банькой, оказывается, положен камень-плитняк, но он осел, врос в землю, потому и венцы начали подгнивать. Иван Алексеевич чистит прокапывает лопатой дроновский фундамент, как бы приподнимает его, потом кладет на него первое крепкое сосновое бревнышко.

Ему жарко и весело, он сдвигает на затылок шапку, откидывает рукавицы, он ничего не помнит, ни о чем уже не думает, кроме как о работе, этой, делаемой сейчас и только, может быть, в самые легкие и ясные минуты чудится ему, что видит его, следит за ним откуда-то из пространства неусыпное Око.

На бревнышки кладет сухой, аптечно пахнущий мох, из приподнятой баньки сквозит застоялым духом продымленных досок пола и полка, листвой старых березовых веников... Венец срублен «в лапу», как и вся банька, подогнан. Пора притаживать к нему второй. Конечно, можно было взять у Акимова домкрат с помощью техники, так сказать, отремонтировать подгнившее строение но Ивану Алексеевичу захотелось сделать все по старинке, как делали это неторопливо и обстоятельно мужики в Дроновке.

Венцы понизу опоясали баньку, будто окольцевали ее сделали веселой и как бы парящей в воздухе Ива

Алексеевич стесывал топором и зачищал рубанком кое-какие неровности, когда послышался мотор автомобиля и залаял Ворчун.

Пошел глянуть.

У калитки стоял зеленый «газик», в приоткрытую дверцу нахмуренно выглядывала пожилая женщина в пышной беличьей шапке и цигейковой дошке, кивая и указывая рукой, вероятно, на лающего пса. Иван Алексеевич отпугнул Ворчуна, женщина медленно, словно боясь тут же увязнуть в непрочной земле, вывалилась из машины, громко сказала:

— Здравствуй, Пронин! Вот ты где законспирировался. Едва тебя разыскала, хорошо хоть лесники подсказали!

— Что же вы, Галина Павловна, не знаете, где ваши кадры трудятся? — спросил с намеренной бодростью Иван Алексеевич, узнав в женщине кассира дирекции «Промсоли» и подумав: вряд ли с чем-то хорошим нанесла ему визит эта солидная дама. — Прошу, как говорится, к моему шалашу. Вот уж кого не ожидал!

— Заставил приехать, Пронин: два месяца зарплату не получаешь.

— Бывало, и по три терпели.

— Это бывало. Теперь другое дело: расчет тебе дают.

— То есть, Галина Павловна?..

— То и есть, что говорю. С Нового года закрывается ставка сторожа при старых солеотвалах. — Женщина, близоруко сощурившись, посмотрела через двор, за церковь, в пустоту бывшей промтерритории, увидела голубые, бело-голубые, искрами сверкающие на морозном солнце горы, еще более сощурилась, спросила: — Так это они и есть?

— Они, Галина Павловна.

— Будто хрустальные.

— И фиалками от них летом пахнет.

— Да кто доберется до этого хрусталя с запахом? Разве что зимами, так попробуй удолби эти ледники. В сохранности и без сторожа будет. Так, Пронин?

— Именно, Галина Павловна.

— За что же ты тринадцать лет зарплату получал?

— А зачем платили?

Женщина заколыхала в смехе свое тяжелое тело, пристально-озорно оглядела сторожа при солеотвалах, покивала чуть заметно головой сама себе: мол, ничего, находчив мужик и с виду крепкий, представительный, та-

кой зазря не будет сидеть на гнилом болоте, вон какое подворье себе отгрохал! Отирая платочком раскрасневшееся лицо, она сказала:

— Я-то смеюсь — ладно. А ты, Пронин, чего веселишься? Без работы, считай, остался.

— Это бы ничего, да в тунеядцы попаду.

— Вот-вот.

— Ждал увольнения, вроде бы даже готовился: когда-нибудь, кто-нибудь в «Промсоли» догадается же ликвидировать ставку бесполезного сторожа. И все-таки неожиданно как-то... Растерялся вот и забыл пригласить вас в дом. Прошу. На чай прониинский.

Строгая на работе, Галина Павловна оказалась здесь, вдали от конторских кабинетов, женщиной смешливой, не лишенной чувства юмора. С деланным страхом оглядывая Ивана Алексеевича, она покачала головой и чуть отстранилась: не опасно ли входить в жилище к одинокому и такому приветливому бирюку?.. Кивнула на дремавшего за рулем седоусого шофера: и надзор имеется! К тому же им надо побывать в городе, а уже вечереет, так что с чаепитием никак не получается. Вот если он продаст ей своего знаменитого меду, да недорого, она скажет ему спасибо и долго потом будет вспоминать свое гостевание на подворье Хозяина болота.

Иван Алексеевич вынес две литровые банки — Галине Павловне и шоферу, денег не взял, конечно, чем удивил даже всего повидавшего престарелого промсолевского водителя (лето было сухое, мед на базаре десять — двенадцать рублей килограмм!). Шофер искренне жал ему руку, помог разложить на капоте машины ведомости и придержал их, пока Иван Алексеевич поочередно расписывался в каждой и получал деньги.

— Все, Пронин, — сказала Галина Павловна, по-свойски крепко пожимая Ивану Алексеевичу руку. — За окончательным расчетом приедешь после Нового года. Домой к себе не приглашаю, муж у меня сердитый. А тебе бы сюда не мешало молодку подыскать. Может, поручишь?

— Тунеядку?

Гости засмеялись, сели в машину, посоветовали ему вернуться на свою прежнюю, серьезную работу в «Промсоли» — он же нормальный, умный, грамотный мужик! — и уехали.

Иван Алексеевич прошел к баньке, дочистил топором и рубанком новые венцы, все удивляясь, с какой легко-

стью он воспринял сообщение о ликвидации его многолетней должности (помогла и кассирша своей бойкой общительностью), собрался было идти в дом, но присел на чурбан и задумался.

Блекло смеркалось. По Горькой долине широко гулял ветер, метя поземку, забеливая черный лед шламовых озер, холмы неживой земли, гудроновую крышу провалившейся обогатительной фабрики, проржавелые фермы копров и дальше, за ними — озера, холмы, искореженный бетон... Скоро все это мертвое пространство покроется снегом, как немеренным саваном, замрет, заледенеет до следующего лета.

Где будет к тому времени он, Пронин? Сколько недель, месяцев можно числиться безработным? Станут ли его отсюда выселять? Куда?

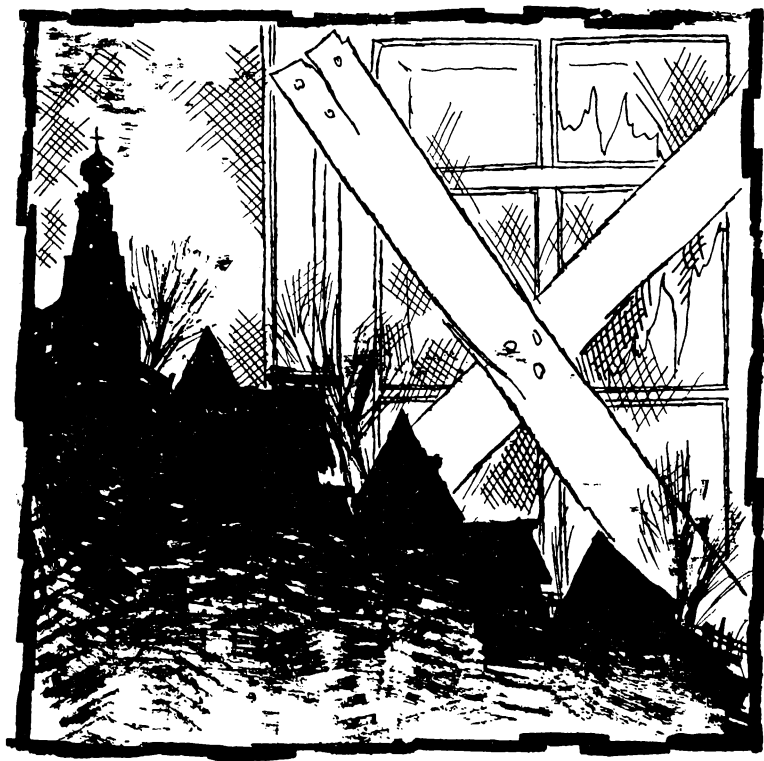
Ничего этого Иван Алексеевич не знал. И впервые почувствовал себя не просто одиноким — сиротой на густо населенной планете.

К кому обратиться, кого попросить, чтобы его оставили здесь? Не нужна ему эта сотня сторожевых рублей, он заработает себе на пропитание, только бы разрешили ему жить в своем доме, у Горькой долины, которая без него станет разрастаться, утопит насаженные им кустарники и рощи.

Может его забудут? Ведь бросили, забыли эту загубленную долину. Да и его не очень-то помнили. Надо просто тихо жить, ни от кого ничего не требуя.

Заперев калитку, проверив, плотно ли притворены ворота, Иван Алексеевич прибрал инструменты, обошел двор, уже твердо зная — по своей воле он отсюда не уйдет, и сказал в ранние ноябрьские сумерки, глядя поверх дальних лесов, туда, где гремела, блистала, рвалась из своих пределов большая жизнь:

— Оставьте меня здесь. Что для вас один человек? Вам и без меня тесно.



ВОИТЕЛЬ

Роман

Расскажу тебе, Аверьян... Пришло время. Вернее, нашло оно на меня — столько стало этого времени, что я даже растерялся: куда с ним деваться? Слушай.

Впервые я назвал твое имя вслух в кабинете директора тарного комбината Мосина — просил, умолял его выписать досок на починку прогнивших тротуаров: «Ведь и ваши дети по ним ходят, — твердил я ему. — Сынок учительницы Степиной ногу вывихнул. Мост через ручей Падун провалился, на лодке перебираются. Старуха в колдобине едва не утонула... Нет на вас Аверьяна, товарищ Мосин!» Так вот назвал тебя и замолк в растерянности: как оно сорвалось с языка, святое для меня имя, хранимое в душе? И кому сказано? Этой сонной человеческой глыбе за громоздким канцелярским столом в огромном, приглашенном шторами кабинете? Смотрит куда-то в потолок, поглаживает пухлыми пальцами жесткую щетину усов, будто принюхиваясь: достаточно ли свеж и приятен воздух?.. Да примись стучать вон той мраморной карандашницей по его жестковолосой, редкостно крупной голове — ни одна извилина (если они имеются в мозгу Мосина) не дрогнет, не оживит его взгляда разумной мыслью. А я ему — Аверьян! И по какому пустяку — доски в тротуарах прогнили.

Куда серьезнее бывали разговоры здесь, без валидола не обходилось (я, конечно, глотал). Пришлось, к примеру, вступить за бондаря Дмитрия Богатикова — мастера, каких мало на свете. Ну, сказал он вгорячах Мосину: «Вы бонза кабинетная!» Зачем же увольнять сразу человека, да еще с испорченной трудовой книжкой? Куда ему уезжать, где искать работу? Он местный, здесь родился, здесь и пригодился. Понятно, не шибко интеллигентно выразился Богатиков, хоть и прав был, отказавшись из сырого теса выпиливать донья для бочек, но откуда ему особой деликатности набраться, если семь классов с натугой одолел и книжки разве что про шпионов читает. Зато работяги горячие все эти Богатиковы: какой малец в их семействе чуть поднимется головенкой выше табуретки — в бондарку его, к верстаку специальному,

для таких мастерочков... И того не понял Мосин: уволит Дмитрия Богатикова — все семейство снимется, покинет село, а их, вместе со стариком Илларионом, главой рода, так сказать, шесть бондарей. Кто же ему план будет выполнять да еще качественной продукцией? Тары абы какой — вороха вокруг комбината, из-за них домов нашего села почти не видно, а горе-мастера, вчерашние пэтэушники, знай себе варганят на конвейере кривые бочата и кособокие ящики... Пришлось мирить бондаря с директором. Собрал депутатов — я тогда председателем сельсовета был, — проработали депутата Богатикова, заставили его признать, что грубовато выразился. А директор не сразу сменил гнев на милость. Наш селькор Севкан, заведующий клубом, писал в районную газету, оттуда приезжал корреспондент разбираться. Словом, спасли мастера для комбината, на пользу тому же Мосину.

И с досками тротуарными уладилось, позвонил директор куда следует, пошел я в распилочный цех, и мне накидали там кубометров двадцать бракованных плах. Правда, позвонил он после того, как услышал твое имя, Аверьян.

Не сам ли ты пожелал, чтобы я назвал тебя? Извини реалиста за такую вот ирреальность. Это от долгих и одиноких размышлений. Как же ты можешь чего-то желать, если давно уже тебя нет в живых, ты погиб в декабре сорок первого под Москвой? Вернее, пропал без вести. Не потому ли ты все кажешься мне не совсем умершим, что ли, как-то присутствующим в жизни?.. Или еще тогда, в моем давнем детстве, ты определил мне сказать не кому-нибудь, а именно Мосину: «Нет на вас Аверьяна?..» Я сказал и хотел уйти. Но заметил: Мосин насторожился хищновато, упер твердый живот в край стола, сощуренно заострил глаза, и целую минуту, не меньше, слышалось его напряженное молчаливое сопение — так обычно Мосин овладевал неясной для него ситуацией. Наконец он чуть капризно выговорил: «Кто такой?..» — «О чем вы?» — не поняв его, спросил я. «Ну этот, кого назвал...» — «Аверьян?» — «Вот-вот! — Мосин еще больше подался вперед, как бы приближаясь ко мне. — Пугаешь вроде?..» И тут я сообразил: не скажу ему про тебя, Аверьян. Кому говорить — он же просто расхохочется, узнав, кем ты был и когда жил. Я неторопливо поднялся, молча кивнул хозяину кабинета, прошагал к двери и оттуда проговорил: «Иннокентий Уварович, вам будет полезно узнать». С этим и покинул дирекцию тарного комбината.

Помнится, отлично помнится мне тот день. Иду по улице села и дыр в тротуаре не замечаю. Наполнила душу некая светозарность, как я назвал это свое состояние. Наверное, у поэтов вдохновение таким бывает. В школе звонок протренировал, ребяташки навстречу бегут, «здравствуйте» кричат, а я улыбаюсь и гляжу поверх их голов — туда, за реку холодную майскую, как бы еще первобытную, нетронутую человеком. За реку и на сопки смотрю, тоже пустые и студеные, но, если взглядеться, щетинистые горбы как бы овеяло зеленым дымком — оживают, значит, лиственницы (не приморозило бы их «северяком»), — смотрю и слышу: «Ребя, хмельной, что ли, наш Очаг культуры?» — «Да непьющий он!» — отвечает другой. «Тогда чего как помешанный?» — «Чего-чего, может, метро задумал у нас построить, вот и план обдумывает!» — это постарше кто-то высказался, вроде внук Севкана. Ничего, думаю, пусть посмеются — дети ведь, и прозвище Очаг культуры меня не обижает, не ими оно придумано. А малому Севкану надо ответить, и говорю, придерживав его за жесткое юркое плечико: «Мечтать, Степа, никому не воспрещается. Мечта рождает мысль, мысль — дело. Мечтателями мир жив. А метро, что же, не в нем только счастье. Наше Село — я называю его только с заглавной буквы — и без того красиво, мы любим его, правда? Посмотрите, какая у нас Река, ее тоже никак не назовешь с маленькой буквы — синяя, сильная, светлая. Можно и здесь быть счастливым, нужным, известным человеком, если очень любишь то место, где родился. вырос, хочешь ему добра. Правда, ребята?» Одни согласились — из мечтающих, другие промолчали — из выжидающих, нашлись и третьи — из всезнающих, ценящих реальное более, чем то, что нельзя потрогать руками, — и вся орава понеслась дальше, рассыпаясь по переулкам, прячась в дома: май зябок у нас, ты это знаешь, Аверьян, а ребята бегают в школу (как и мы бегали, помнишь?) налегке: весна же!

2

Да, была весна, Аверьян, когда я так вот невольно припугнул твоим именем Мосина. Было это теперь уж лет шесть-семь назад... А сейчас осень в наших местах, и живу я один в своем листвяжном доме — том самом, срубленном моим батей. Им да еще Ширяевым все наше Село почти заново отстроено. Они из рук топоров, ка-

жется, не выпускали, а Ширяев, подвыпив, кричал: «Война — хибарам, мир — дворцам!» И к сорок первому году «хибары» были порушены, их не приспособили даже под сараи, так презиралось недоброе прошлое: селение поставили золотоискатели (и надо же, какое место редкостное выбрали!), жили артельно, обособленно; большого золота в окрестных сопках, вероятно, никогда не было, но им хватало, отчаянные ходили за фартом и дальше, на глухие таежные ключи. В тридцатом старателей организовали, учредили здесь прииск с госконторой — и золота как бы не стало: что было выгодно артели, ворочавшей пески киркой и лопатой, промывавшей лотком и бутарой, оказалось убыточным для промышленного предприятия. И старатели покинули селение. Кстати, не все они жили в хибарах, до десятка их строений и сейчас можно насчитать в Селе, с каменными подклетьями, рубленные навек, украшенные резьбой, а церковь — так и вовсе произведение архитектурного искусства, на нее не поднялись руки ни строителей дворцов для народа, ни даже воинствующих разрушителей, которым все равно, что низвергать, лишь бы трещало, горело, стонало и обращалось в прах... Словом, ушли старатели. Куда? Помнишь, Аверьян, ты старенького дедка расспрашивал, он остался в поселке по немощи, но жил гордо, молчаливо, а с тобой разговорился. Ты и спросил его: куда, зачем, почему ушли старатели? Не сразу и хитро ответил дедок: «Тебе скажу, ты поймешь, ты тоже старатель, только по другой части, по людской... За волей ушли. А эти, которые явились на их место, эти форта искать не будут, на реку сядут, из нее станут брать свой прокорм. Все выедят, вспомнишь меня...» Сколько мне тогда было — девять или десять лет? А пересказал слово в слово. Как сейчас вижу: ты потер переносицу вытянутыми пальцами — такая привычка у тебя была, — подумал о чем-то, с улыбкой кивнул старику, взял меня под руку, подтолкнул вперед — мы, кажется, рыбачить шли, с удочками. Ты стал помогать немощному старателю дровами, рыбой, магазинными продуктами. Помогал, пока сам не уехал из Села. Уехал? Ушел? Куда?.. А старик войну пережил, умер в пятидесятом, я ему лично камень на могилу привез и зубилом по черному граниту выбил: «Другу Аверьяна».

Ну вот, хотел об ином — потянуло в сторону. Болтливым становлюсь. Стариком. Мне ведь до пенсии три года всего. Но, пожалуй, я только с тобой так разговор-

чив. Все и сразу хочу рассказать. Или потому отвлекаюсь, что боюсь сообщить тебе главное? Вот это... ну да... чего же скрывать, когда «происшествие произошло», как, помнишь, говорил наш бодрый, румянощекий — «пример для подражания» (это твои слова) — школьный завхоз Шкуренок?

Пусто в тех домах-дворцах листвяжных, Аверьян: уехали люди, осиротело Село. И представь себе, это я закрыл его, Яропольцев Николай Степанович. Ну, если точнее, с моей помощью ликвидировали сперва рыбозавод, а потом и тарный комбинат. Нет, такое тебе не вообразить! Только что я рассказывал, как внушал ребятам — любить свое Село, быть нужными ему... Но подожди, не сердись на меня. Все по порядку надо. Ведь с твоей смерти... вернее, с твоего ухода минуло более срока четырех лет — громада времени, жизни, пространства... да, и пространства, ибо оно меняется, думаю, вместе с течением времени. Ты поймешь меня. Вот только смогу ли рассказать по порядку, толково, спокойно?

Извини, прервусь на несколько минут, печку растоплю, чайник поставлю. Мы тут по-старому, дровишками. Твое предсказание не сбылось: газа в сопках не нашли, газопровода в Село не подвели. Вернее, не искали... А ты отдохни пока, вон к окну присядь, посмотри на нашу местность или выйди, до Реки прогуляйся. Утро ясное, и осень такая редкая нынче — тихо, прохладно, звонко. И ослепительно красиво. Ели черные, лиственницы оранжевые... Нет, я не смогу тебе это описать. Ты же помнишь свое стихотворение о лиственницах? И я не забыл:

Вижу: светится лиственница
в зной, холода, во мгле...
И легче дышится, легче мыслится,
легче живется на этой земле.

Ты говорил: «Когда наше Село станет городом, лиственницу мы изобразим на его гербе: нет в мире более красивого дерева!» И еще ты говорил, что не слагал стихов, пока не приехал к нам, в «поэтический край». А приехал ты весной, как раз багульник на сопках цвел — сплошное розовое, фиолетовое, синее полыхание... Ты спросил: «Отчего они такие, сопки?» Тебе ответили: «Тайга там выгорела, вот и пошел багульник». — «Природа прикрывает грехи людские, — сказал ты. — И как красиво!» Понятно, этого разговора я не мог слышать, после пересказал мне отец. А про соловьев ты уже нам,

мальчишкам и девчонкам, говорил: «Поеду в отпуск в Россию, соловьев курских парочки две привезу. Лето здесь солнечное, получше российского, просто они дороги сюда не знают. А на зиму пусть улетают в Китай».

Ты здесь ли, Аверьян?

Удивляешься небось мебелим полированным у меня? До войны таких и не видывали, верно. Обои в цветочек по стенам, будто и нас тут прогресс задавил и перевелись живые цветы в природе. Дом бревенчатый — комфорт городской. Мода и к нам припожаловала: гарнитуры, стенки дорогие и все прочее такое почти в каждом доме. Чего только не вытворяли, чтобы омебеливаться! Одна наша предпринимательница, засольного мастера жена, поехала в Москву, договорилась там с кем-то из мебельного магазина (вернее будет сказать — возле магазина), сунула пять тысяч и потом три года ждала контейнер с гарнитуром жилой комнаты, финским. Поколотил ее мастер под пьяную руку, а толку что? Поехала в краевой центр добывать да еще мою жену сманила. Привезли. Вот они, сияют полировкой признаки стирания граней между городом и деревней. Дом дровами отапливается, на улице по сухому негде пройти, воду ведрами из реки носим — зато люстра хрустальная под потолком, кресла бархатные, ковер ворсистый на полу.

Ребятишкам запрет: сюда не ходи, там не садись... Супруги Минасовы (он главбухом на рыбозаводе был) спальный гарнитур заграничный приобрели, поместили его в горницу — и на замок. Только по большим праздникам гостям показывали. И то правда, как на нем спать, если в девять тысяч без доставки обошелся?.. А разъезжались с каким гамом и громом! На баржи громоздили и дедовские сундуки, и перины пуховые, справленные когда еще в этих местах дикой птицы водилось несчетно, и ценные мебели... Жена моя тоже решила уехать к дочке в областной центр, не останусь, говорит, в этой дыре без людей. Уезжай, соглашаюсь, и все это комфортное оборудование забирай, пыль с него вытирать надоест, мне вон старой пружинной кровати и стола отцовского, что в сарае, будет достаточно. И пошутил еще: дыра, да не черная... Оставила пока — куда ей, в какие хоромы? У дочки квартира обставлена, мы же и помогли деньгами. А перевоз во сколько обойдется? Упрямство одно. Из-за этого ее характера — чтоб не хуже, чем у людей, чтоб чего плохого не сказали, чтоб чему-то и нашему позавидовали — жизни нормальной не получилось.

Куда ей, Аверьян, до наших мечтаний! Рассказывал о тебе, когда она еще молодой была, смеялась, говорила: «Давай такими сделаемся в старости». Ни в старости, ни в молодости... Люди, думаю, почти готовыми на свет рождаются. Дочку уговорила остаться в городе, сына тоже уговаривала не возвращаться после техникума: мол, так мы и отца вытащим отсюда. Но сын вернулся, и без жены привозной, женился на местной, сельской, живет и теперь здесь, вон в доме по другую сторону улицы. Работает. У нас и работа появилась, дело важное...

Ага, как говорится, легок на помине мой Василий! Вышел со своего двора, постоял возле калитки, пошел через улицу, значит, ко мне. Взгляни на него, Аверьян: крепкий, плечистый парень, лицо обветренное, а все равно как бы нежно-девичье. Они, послевоенные, не то что мы, прихваченные голодом-холодом, — мы так и не выросли, только подросли, скрючились, заостенели. Этой своей сухотвердотелостью и держимся до сих пор... В брезентухе, сапогах шагает, а как в костюмчике хорошо подогнанном, хоть галстук повязывай. Это у них новое, от культуры, интеллигентности, что ли, от уровня жизни иного. Увидел меня в окне, взмахнул свернутой рукавицей, улыбнулся с тем давним детским своим, чуть хитроватым прищуром: мол, все в порядке, батя, просто иду навестить перед работой.

Извини, Аверьян... Хотя к чему я извиняюсь? Будь здесь, смотри на нас, наблюдай теперешнюю жизнь. Василий ведь о тебе все знает и верит в тебя. Если я скажу ему: у меня гостит Аверьян, он спокойно поздоровается: «Добрый день, Аверьян Иванович!» Ему двадцать три, Василию. А сколько было тебе в сорок первом? Двадцать четыре? Двадцать пять?..

— Проходи, Василий, и тебя с добрым утречком! Садись вот. Чайку не хочешь? Понятно, пил да и позавтракал уже. Чаек так, для тонусу, если хорошо перед этим насытился. Чем кормила Татьяна?

— Картошку с салом жарила. Навязывала: отнеси в кастрюльке отцу. Не будет, говорю, он с утра твое жарено, Джеку отдаст.

— Не буду. И отдал бы. Собаке тоже нужно разнообразие. Варю ему рыбки головы — надоедает: мне варить, Джеку поедать. Так иной раз задумчиво посмотрит в глаза — хоть бери ружье и шагай в тайгу добывать

дикого мяса, зайчишку там какого-никакого захудалого. Но не срок, и убивать что-то вовсе расхотелось... Я тебе говорил о прабабушке Джека — такая была могучая лайка, умная! — Аверьян знал ее, гладил, восхищался смелкой: на птицу, зверя шла, в нарту годилась, встанешь на лыжи, алык ей на шею, поводок в руку — по любому снегу несет... А Джек в дворнягу превратился и, как городской, в дом просится. От безделия, думаю. Мол, раз не исполняю своего собачьего дела, давай по-человечьи буду жить. Потому, думаю, собаки и переселились в квартиры. Жалко. Ну, извини, отвлекся.

Василий сидит на краешке широкой табуретки, как бы напоминая этим — времени у меня минута-две, не больше, батя, — держит меж колен брезентовую шапочку с козырьком и кивает лобастой светловолосой головой: мол, согласен, спорить не собираюсь, понимаю — ты в той поре, когда пофилософствовать любят, и говорит:

— Обедать приходи, батя. Борща Татьяна наварит.

— Спасибо. Только после ее обедов трудно в свою диету входить. У стариков как? Ешь — вкусно, перел — тяжело. Лучше о работе скажи. Как там крутится наш великий строитель Иваков? Ну хватка, ну голова! Посчастливилось нам с ним, не то долгострой развели бы, точно. Кому мы особо нужны со своим заводешком, когда стране гиганты производственные потребны?

— Нормально пока, привет передал. Думаем до холодов застеклить все помещения, потом пройдем вверх по Падуну, когда земля немного пристынет, очистим нерестилища от валежин, гнили всякой, родники тоже проверим, чтоб ни соринки в них, Пристанька готова, крепко, на камень и бетон ее поставили, и цеха аккуратно получились — приди, посмотри. Плотину опробовали, она съемная будет, по проекту. Да ты все и сам знаешь.

— Я у вас, как это?.. Вроде снабженца, что ли?

— Толкачом, батя.

— Во-во, выбиваю фонды и нефонды. Жаль, что здесь меня держите — надо бы в область или в край откомандировать. Я бы там в гостиницах жил, по кабинетам расхаживал, требовал, нужных людишек умасливал икоркой да балычком, в ресторанах посиживал с более важными, а то и кулаком по начальственной столешнице грохал, оря: гвоздей сто кило выпишите, шиферу тоже надо! Боже ты мой, сколько этих толкачей гвозди выбивает! А могли бы вбивать за те же оклады — мужики ведь здоровые! От нас в области ты, может, не знаешь,

два толкача сидели: у Мосина — по таре, у директора рыбозавода Сталашко — по рыбе. Оба спились на бес-толковой работе, семьи бросили...

Василий слегка хлопает по колену туго скрученными рукавицами, вздыхает не то сочувственно, не то нетерпеливо и, прервав этим рассуждения отца, говорит все с той же полуулыбкой сочувственного понимания:

— Потому мы тебя держим здесь. У тебя и отсюда неплохо получается, батя.

— Знаю, пользуетесь моим скандальным авторитетом: мол, с этим хлопотуном лучше не связываться, просит гвоздей — дай, а то так пригвоздит, что жестко в кресле сидеть будет. Ладно, шучу. Говори, Василий, ты зачем-то же пришел? Теперь ведь и сын к отцу без какого-нибудь дельца не наведывается.

— Угадал. За тем же, о чем толковали. Позвони, напомни. Хорошо бы рамки под икру до зимы подбросили. — Василий рисует руками в воздухе рамки. — Они, рамки, в стопки укладываются, потом в аппараты опускаются, ну, ты знаешь... Сами не сделаем, металл нужен особый, нержавеющей, и пайка тонкая. Мы бы с весны сразу аппараты опробовали, и к первому ходу горбуши чин чинарем подготовились. Шиферу листов пятьсот, цементу мешков тридцать хотя бы, гвоздей. Как, прозвонишь инстанции?

— Прозвоню. Настою. Занят я, правда, сегодня... — и чуть было не сказал, что у него гостит Аверьян. Сын, конечно, не удивился бы уж слишком, но зачем с утра, перед работой озадачивать его своими странностями? — Прозвоню. Как не помочь вашей ударной артели? Особенно Ивакову? Чтоб не висеть ему по часу-полтора на телефоне, время терять да расстраиваться. — Он поднялся, тронул плечо Василия. — Договорились. Иди, опаздывать прорабу не годится. Привет всем вашим.

Через минуту приблизился к окну: Василий неспешно, но крупным шагом шел по безлюдной улице, направляясь в конец Села, к ручью Падуну, где и была та самая стройка, ради которой они остались в Селе.

3

Пройдемся по Селу, Аверьян, и я расскажу тебе... Да ты и сам многое увидишь. Вот, замечаю уже, дивишься непостижимому для тебя зрелищу: выше цехов

бывшего тарного комбината громоздятся штабеля сработанной им тары: бочки различных емкостей — от икрынок до трехцентнеровых, — ящики под сухой посол рыбы, чаны большие и малые... Громоздкие вороха, горы. Кое-что целое, имеет вроде товарный вид, но многое рассыпалось, превратилось в кучи клепки, досок, ржавых обручей. Понизу, от земли, гниет все это, а то что посуше — жук-древоточец в труху перетирает. И вон, глянь, дорожки к штабелям натоптаны: комбинат производил тару, она старела, разваливалась, и сельчане растаскивали ее по домам на топливо. Зачем заготовливать дрова, если вот они — и подсушенные, и аккуратные, рук о сучки не оцарапаешь? Мальчишки скопом сюда приходили — «взрывать дупеля» (бочки без доньев). Поднимут, ударят о твердое — дупель с грохотом рассыпается. По вечерам из темноты только и слышалось: бух! бух! Пока сторож ловит одних у этого, скажем, штабеля, другие «взрывают» вон у того. Пакустное развлечение (оно называлось еще и «ломать дрова»), хулиганское, что и говорить. Но дети видели, знали: тара никому не нужна — нечего в нее укладывать, некуда ее увозить. Они словно бы мстили взрослым за дурость хозяйственную. Разор тем и страшен, что разоряет души людей, детские — подавно А «козь нету души, что хочешь пиши». Это твоя пословица, Аверьян. Ты часто ее поминал, по любому случаю: для себя вслух, споря с кем-либо, на уроке, порицая ученика за неприлежность... И всегда это «души — пиши» было к месту, как-то тайно и непонятно смущало и тревожило нас. Помню, даже сон мне приснился: будто я вырос совсем без души и меня всего исписали какими-то нехорошими словами, как заключенного татуировкой. Проснулся, сердце стучит, я его слушаю и думаю: если сердце тоже душа, то значит — я ее не потерял; а если она что-то совсем другое, неосязаемое, то как ее сберечь в себе?.. Наверняка, Аверьян, я тебе и сон этот рассказывал, и о душе спрашивал. Мы ведь от тебя ничего не таили.

Но вернемся в сегодняшний день, к бочко- и прочей таре.

Не поверишь... рыбозавод закрыли, а тарный комбинат семь лет еще перерабатывал древесину на тару. Лес заготовливался, сплавлялся, распиливался... Кто-то где-то решил, что бочки и ящики будут брать другие, действующие рыбозаводы. Поначалу сколько-то увозили, потом все реже стали приходиться к нам баржи за тарой: рыба-то

главная наша, кета и горбуша, перевелась почти что, подловили сильно ее, так сказать, активно и с перевыполнением. Вон какие заездки-ловушки вымахивали — на полреки, минуй их попробуй, дорогой (и ценный!) лосось, мозги-то у тебя рыбы. Словом, тарный комбинат стучал, гремел, пилил, строгал, клепал, Мосин посиживал в кабинете, конторщики его обзавелись электронными калькуляторами, конструкторское бюро конструирует новые образцы (было и такое!), штабеля бочек и ящиков вырастают в горы, скоро Село закроют от солнца, а тара наша никому не нужна.

В то время, в середине семидесятых, я был председателем сельского Совета, кажется, поминал уже об этом. Иначе говоря — Советской властью в Селе. Что же мне было делать, Аверьян, смотреть и молчать? А что бы, подумалось, сказал обо мне ты?.. Ведь мы когда еще, перед войной, в нашем маленьком тогда поселке собирались построить... вернее, превратить наш поселок в очаг культуры и справедливости. Мы верили, что такое возможно. Нет, не просто верили — свято веровали в это, видя твои горящие (и горячечные?), полные синего блеска глаза. Ты говорил, и твои слова звучали для нас музыкой и стихами: «Не думайте, что можно прославиться только на войне, только в Арктике с челюскинцами или, как Чкалов, перелетев без посадки в Америку. Это хорошо, это героизм. Но это не самое главное. Самое, самое главное что? Правильно: быть человеком. Всегда, везде человеком. Если мы в своем поселке перевоспитаем пьяниц, воришек, лгунов и сами, главное — сами станем честными, совестливыми, душевными, будем стремиться к правде и только к правде до последнего своего вдоха, — наш поселок превратится в очаг культуры и справедливости. Ничего, что он в сопках, в тайге, далеко-далеко от Москвы... Ничего. Для добрых чувств и мыслей нет преград, о них узнают по всей нашей стране, они, как радиоволны, проникнут дальше, и люди всей Земли удивятся, спрашивая: откуда исходит столько добра, любви, всепонимания, где находится этот очаг культуры и справедливости?.. Да, Аверьян, говорить ты умел. И, как видишь, я запомнил слово в слово твою главную «проповедь».

Да что я, встретил через тридцать лет одного дружка по тому поселковскому детству, Мишку Макарова, ты помнишь его, конечно, прозвище еще ему дали «Люблю покушать», отец его пекарем был, поколачивал Миш-

ку — ни одного стихотворения тугодумный отпрыск выучить до конца не мог. Теперь он в краевом профкомитете, заведует каким-то отделом. Так вот этот Макаров, только мы разговорились — как, что, откуда?.. — вдруг придержал меня за рукав, насупил белесые бровки, устремил занемевший взгляд куда-то вдаль и начал: «Не думайте, что можно прославиться только на войне...» Не сбился, ни одного слова не переврал. А когда мы выпили пива и заказали обед в ресторане «Дальний Восток» (покушать он по-прежнему любил, отчего, пожалуй, и раздался, как дебелая баба на сытных харчах), Михаил всплакнул, признался мне: «Ох, и натворил бы я дел и делишек, если б не Аверьян! Иной раз последними словами клянущую эту его поэзию, а переступить не могу. — Он приложил мягкую пятерню к своей необъятной груди, сокрушенно потряс желтой шевелюрой. — Запрет мне сюда вложил... Почему, чем таким особым взял? И представь... — Он наклонился ко мне, сообщил с искренним трагизмом: — Ни дачи, ни машины не имею. Дураком считают, жена ругает, уйти грозит. Терплю. Как думаешь, будет мне награда за это?» Я сказал ему: не будет, а есть уже, ты порядочный человек. Не знаю, утешил ли. Потом думал не раз: вот она, пробужденная совесть, пусть там какая-никакая. Не всем, выходит, счастье от нее.

Что же было делать мне, Аверьян, твоему старательному ученику? Смотреть и молчать?

Смотрели и молчали до меня, примеры для подражания имелись. Первый предсельсовета инвалид войны Панфилов у директора рыбозавода Сталашко в ординарцах состоял: летом пикники организовывал, зимой — охоты. Сменивший его счетовод Пронин, пьющий и благостный, принялся активно услуживать Мосину (рыбозавод к тому времени был закрыт), расчетливо полагая: у кого средства, производство, люди — тот и есть настоящий глава Села. Но продержался недолго, здоровьишко никудышным было. Поехал с Мосиным в область на сессию исполкома, по окончании заседаний крепенько посидели в ресторане «Амур». Мосин выдержал, а Пронину пришлось в гробу на санях возвращаться домой. Похоронили с почестями, оружейным салютом — фронтовиком тоже был и зла никому не делал по мягкости характера. Бывало, кто ни придет к нему — спокойно поговорит, войдет в положение, ни в чем не откажет (ничего, конечно, и не сделает), но человек уйдет довольный. Раз-

бирался в человеческой психологии Пронин: если уж ничем помочь не можешь, так хоть душевно, сочувственно поговори с избирателем. Его и прозвали вполне заслуженно — наш батюшка.

После батюшки не захотели сельчане ни нового батюшки благостного, ни матушки какой-либо разбитной (знали, одна такая в соседнем районе дом двухэтажный с паровым отоплением и стеклянной теплицей для себя поставила, потом, правда, в этих конфискованных хоромах бытовой комбинат открыли), — не захотели, значит, и на меня указали; все Село собралось в клубе, когда уполномоченный райисполкома приехал проводить выборы; это было похоже на дружный сельский сход, и вели себя люди нешумно, но настойчиво: потребовали выдвинуть председателем сельсовета главного врача больницы Яропольцева Николая Степановича. Меня то есть.

Вижу, Аверьян, ты усмехнулся с интересом и некоторым сомнением: неужели стал врачом?.. Да, стал. Как ты мне определил тогда, перед своим отъездом, мы еще праздновали окончание начальной школы, первых четырех классов: «Тебе, Коля, врачом быть, у тебя руки чуткие, и крови ты не боишься», — так и получилось, окончил краевой медицинский институт, стал хирургом. И не мне одному ты предсказал будущее. Слепцова в учительницах, теперь заслуженная, Кондрашова (помнишь, ты сказал ей: «Вежество в тебе врожденное»?) заведует детским садом, Богатиков бондарит («Ну, ты иди по стезе отца и деда, руками ты умен!»), а наш лучший арифметик Супрун — о, Аверьян, даже тебе это не виделось! — математическая звезда большой величины, в Москве, в научно-исследовательском институте, доктор. Три года назад оказался я в столице — встретились. А раньше, бывало, как ни позвонишь ему из аэропорта на квартиру, жена отвечает: или за границей, или в другом городе на важном симпозиуме. Он во втором классе квадратные корни извлекал и тогда уже был лысоватенький, ты подойдешь к нему, погладишь крутую головку, повернешься и скажешь нам что-нибудь такое: «Не Лобачевский, а тоже лобик...» Угадал будущие профессии почти всем, но никто не вернулся в наше Село, кроме меня да Кости Севкана. Богатикова не считаю, он просто остался, ему семи классов хватило, чтоб продолжить бондарную стезю отца. Ну, допустим, Супруну делать здесь было нечего. А другие? Ведь слово давали

«честное пионерское всех, всех вождей». Правда, кого ни встречу, помнят тебя, Аверьян.

Но договорю про сельский сход, как и что там было. А случилось все неожиданно для меня, неприятно для уполномоченного из райисполкома: кандидатура-то была обговорена, утверждена. Кто мог предположить, что вот так возбудится народ, да еще из-за места предсельсовета? Не товары же дефицитные делим! Почему им не подходит Шатунов, бывший председатель профкома на рыбозаводе? Со стажем, проверенный. И до пенсии надо человеку доработать. Куда ему уезжать из Села, где начинать новую жизнь? Надо понимать, сочувствовать!.. Уполномоченный бросился звонить в район, собрание отложили, вскоре прибыл председатель райисполкома — и ко мне сразу, домой, с обвинениями: «Это ты взбаламутил народ, сагитировал за себя, пропагандируешь тут, понимаешь, какие-то сомнительные очаги культуры, лучше бы за порядком в больнице смотрел, жалуются на тебя, словами-заговорами лечишь, а не передовыми методами, разложил коллектив врачей, вон терапевтша, вчера из института, соплюха, понимаешь ты, зашел в прошлый раз проверить больничное помещение — порог перегородила, разуйтесь, говорит, разденьтесь, халат напялила, чепчик на голову... Обрядила черт-те во что, больные смеялись... Ну и главное, смертность послеоперационная имеется, вот ты и вздумал бежать на чистенькое почетное место, разберемся с твоей саморекламой и агитацией, вызовем на бюро райкома...» и так далее. Не знаю, как бы мне удалось разубедить предрика, да жена помогла. Она прямо ему заявила: «Что он (то есть я), дурак полный — с такого оклада уходить на сельсоветские гроши? Я детей заберу, разведусь, уеду, если он это пенсионерское место займет! И не говорил мне ничего, и ни от кого не слышала». Тут предрика, не успев остынуть, напал на мою благоверную, искренне оскорбившись за сельсоветскую работу, целую лекцию прочел, как она почетна, важна, необходима людям, и не в деньгах все счастье, помешались на материальных потребностях, вон как бедно в войну и после войны жили, а сколько духовности было, и не ожидал он от жены главврача, уважаемой в селе медицинской сестры, неоднократно премированной, такой низкой сознательности... Волей-неволей получалось вроде бы, что предрика убеждает ее не отговаривать меня, не пугать сельсоветом. Он это понял наконец, закашлялся, засмушался и замолк, вполне уверив-

шись в моей невинности: если уж моя жена, которую он знал давно, ничего не прослышала о «заговоре», не было, значит, такового.

Примирились вроде бы, сидим, чай пьем. Но едва стемнело, пошли ко мне сельчане, делегациями прямо-таки. Приковылял и дед Богатиков, самый старый житель Села. Стали уговаривать: берись, Степаныч, не то все побежим счастья искать по чужим местам, безынтересно сделалось жить... Я пытаюсь втолковать им то, что и без меня они хорошо знали: мол, рыбозавод-то, считайте, моими стараниями закрыт, и тарный, видите сами, затаривается, как бы и с ним такое же не случилось. Понимаем, говорят, и рыбозавод правильно прикрыли, может, и всем придется отсюда убираться, только хочется иметь у власти нашего человека, своего по жизни здешней в такое серьезное время, а врача какого-никакого пришлют, теперь их много выпускают, да мы тут и не шибко бодем.

«Помнишь, как еще перед войной, — это вмешался дед Богатиков, из которого, говорили сельчане, «слова колом не вышибешь», — фельдшер у нас работал, латыш по фамилии Гординис, так тот все болезни лечил без таблеток да еще негодовал: «У нас нет болезней, к нам их привозят». Так ты вот и сообрази, что нам важнее будет: от гриппа случайного лечиться или спокой на душе иметь?»

Предрика опять насупился и вспотел. Я молчу. Жена убежала в кухню, зло гремит посудой, отправила спать детей с нервными окриками, словом, гонит незваных ходоков из дома.

И что я мог сказать, Аверьян?.. Это теперь, когда по всей стране началась перестройка, когда нас призывают по-новому мыслить, по-иному работать и оценивать свою работу, когда судят и сажают воров и приписчиков и учат нас гласности, — теперь бы я сказал: раз люди просят — пойду в председатели сельсовета, пусть даже дисквалифицируюсь как хирург, ничего, я не столь выдающийся лекарь, зато помогу людям войти в новую жизнь.

А тогда, в середине семидесятых? Да кивни я только, что, мол, согласен, — и вылетел бы из партии. За самозванство.

И вот что надо знать: самые волонтаристские бюрократы, наткнувшись на сопротивление людей, особенно дружное, мгновенно теряются: в них ничего такого не

запрограммировано, а значит, такого быть не должно. И первая их реакция: сломать, усмирить, наказать!.. Немедля навести порядок, чтоб тихо было, гладко, благополучно — не то узнают в верхах, снимут, исключат, а самое позорное — не оправдал доверия, скажут. Усмирения наших строптивых тароделов я и ожидал. Решилось, однако, по-другому. Буквально на следующий день прилетел председатель облисполкома — зима была, бульдозером всю ночь чистили посадочную площадку (и к нам, Аверьян, авиапрогресс припожаловал, Ан-2 почти каждый день прилетали то из района, то из области), — прилетел и сразу собрал партгруппу комбината. Минут через двадцать пригласили меня. Предоблсовета пожал мне руку и, не выпуская ее из своей, сказал, полуповернувшись к заседавшим: «Просим вас, Николай Степанович, поработать в сельсовете, постараемся, чтобы вы не очень потеряли в окладе». Помнится, меня холодным потом окатило, нет, не от приглашения поработать председателем сельсовета — от обещания платить больше, чем полагается на этой должности, чем получали председатели до меня: как же я выйду отсюда, гляну в глаза сельчанам, моим избирателям?.. И ответил так: «Если надо, согласен. Но никаких завышений зарплаты. Сельсовет — место совести. Разве может представитель власти получать больше рабочего, врача, учителя? И вообще, медициной замечено, — тут уж я пошутил, чтобы развеселить слишком серьезное заседание, — чем пустее в животе, тем бодрее тело и возвышеннее мысли». Мне в ладоши хлопнули. Даже Мосин за компанию со всеми улыбнулся, хотя не мог не догадываться, какие возвышенные отношения у нас с ним завяжутся. Узлом. Намертво.

Рассказал я тебе, Аверьян, про то, как выдвигали меня, вот еще почему. Были умные люди всегда. Это я о предоблсовета. Не суетлив был человек, наверняка фронтового поколения. Я тогда же прикинул: так бы, пожалуй, выглядел сейчас мой Аверьян. Ты не смущайся, я ведь почти ко всем хорошим людям тебя примериваю, вернее, их к тебе. Может, вся беда в том, что мало вас, таких? Время ваше не пришло? А не пришло потому, что на войне слишком много вас полегло?..

Словом, стал я председателем сельсовета. И первое, что сразу почувствовал: нарушился лад в семье. Жена не могла простить мне («Надо же, предлагали дураку нормальные деньги — отказался!») малого оклада. Но эта те-

ма особая, коснусь и ее, конечно, ибо живущему в семье нельзя быть свободным от семьи. Иное дело — кто до конца может рассказать о всех семейных неурядицах, а то и драмах? Совершенно правильно: счастливые семьи счастливы очень похоже, несчастные — несчастны по-разному.

4

Незаметно мы подошли к дверям конторы. Пожалуй, только я называл это здание конторой, все другие — дирекцией, по инициативе самого Мосина. Глянь, какой домина, в два этажа, из бетонных панелей привозных, с окнами-витринами. Мерзли тут зимами наши конторщики, зато в современном комфорте обитали! Может, зайдём? Ведь ты наверняка не бывал в кабинетах директоров и прочих начальников. А если и случалось попадать, то какие тогда, до войны, были кабинеты — скромность непостижимая!

У меня вот и ключи имеются. Да, кажется, я забыл сказать тебе, что состою теперь сторожем при Селе и всем производственном имуществе (помнишь, начал с чего: времени у меня столько, что девать некуда. Прибавлю: никто так не богат им, как сторожа). Не один, правда, на пару с Богатиковым сторожу. Ты заметил, когда проходили мимо цехов тарного, из подсобки одной дымок теплился и перестук слышался? Ну да, Дмитрий Богатиков стругает-клепает, без работы родной не может человек, это ты сказал ему когда-то — «руками умен»... Ладно, проведем его позже. А пока — прошу.

Проходи, Аверьян, не стесняйся. Здесь сейчас никого нет, работники дирекции поразъехались, но все другое — столы, стулья, шкафы, портреты по стенам и прочая конторская обстановка — в полной сохранности, до особого распоряжения из района или области. Вот приемная, столик секретарши у окна, машинка под чехлом, шкаф для бумаг, селектор — о таком аппарате ты и не слышал, наверное? И сидела секретарь-машинистка как ей положено — лицом к двери директорского кабинета, боком к входящим в приемную. Так и кажется мне: бессменная Анна Самойловна — она проработала с Мосиным лет двадцать — сейчас войдет напористо, нахмурится, прохрипит прокуренным голосом: «По какому делу? Директор занят. Личные вопросы по пятницам. По производственным сами вызываем». О, это был

настоящий цербер, преданности редкостной! Говорили, будто на обсуждении проекта здания дирекции она сказала: «А приемная пусть будет маленькая, уютненькая, и никаких продавленных диванов (Анна Самойловна слышала, вероятно, анекдоты о секретаршах и еще из своей старой приемной выбросила диван), ну разве что стульчик для посетителей...» Мудрое предложение секретарши Мосин воплотил в проект и жизнь: видишь, Аверьян, в приемной не засидишься — негде, нет и того единственного, проектного стульчика. А постой вот тут, под свирепыми взглядами Анны Самойловны, мощно лупящей костистыми пальцами по клавишам машинки и непрерывно дымящей сигаретой, — не раз потом обольешься, если не сбежишь в первые же полчаса.

Руководил Мосин через свою секретаршу, да так, что порой казалось — они едины в двух лицах, то есть одно руководящее существо, ибо трудно было понять, что и от кого исходит. Не потому ли за глаза рабочие называли директора Анна Самойловна Мосин? Но в амурных делах, надо сказать, эта пара не подозревалась. Даже у самых болтливых сплетниц не хватало фантазии соединить вместе сухопарую, мужелищную, какого-то среднего пола дылду и тяжелого, туго напитанного, сонноватого от телесного благополучия директора.

Жила секретарша в отдельном аккуратном домике, строго обособленно, знакомств избегала, летом в Реке не купалась, зимой баню не навещала. Что, естественно, делало ее еще более неприступной и, пожалуй, подозрительной для наших женщин: шутка ли, бабы бабу не видели, какая она в натуральности!.. Но все это словно бы не задевало Анну Самойловну, по Селу она ходила с высоко вздернутой головой, глядя поверх всего живого и мертвого в природе, на приветствия обычно не отвечала. А если случалось, останавливала пробежавшего мимо ребенка, гладила его по голове и совала конфету — была у нее такая странность, — то об этом долго судачила женская половина Села, и старухи советовали лечить мальчика или девочку травами, заговорами. Слушались же Анну Самойловну беспрекословно. Мужчины и женщины. Но она редко с кем заговаривала вне своей приемной; разве уж по очень неотложному делу. Ходила, наблюдала, прислушивалась... И что видела, узнавала — знал, видел Мосин. Обычно ее сторонились, заметив издали, сворачивали в переулок, прятались в ближний дом пересидеть: считалось плохой приметой встретиться с Анной Самойловной, прозванной из-за большого роста Дыл-

дой. Словом, была она для наших вроде бы «человеком в футляре».

Не боялся ее только Макса-дурачок (ты его знаешь, Аверьян, это тот Максимка Маркелкин, которого мать ведром ледяной воды окатила сонного, чтоб от заикания вылечить, по наущению старух; он и третьего класса после такой процедуры не смог окончить — помутился рассудком), более того, Макса подлавливал секретаршу на улице, обрадованно подходил, хватал за руку, как, впрочем, и любого из сельчан, вечно опасаясь, что его не выслушают, и ласково говорил без заикания совершенно (от этого излечила все-таки ледяная вода): «Давай поженимся, Анька. Чего говорю? Бабой станешь, задница — во, грудь — во! Детишков народим, дом большенный построим. Чего говорю?..» Не передать словами, как совсем уж до невозможности стройнела Анна Самойловна, куда-то в небо вонзала глаза и немо, с виду неощутительно для себя, минуту-другую волокла за собой вцепившегося в ее руку хилого Максу. Досаждал ей дурачок, позорил, и все знали: хлопчет она, чтобы увезли его в дом для умалишенных. И увезли бы, но старая мать Максы — ей было уже за семьдесят — не отдавала единственного сына, прятала, уводила в тайгу, когда наезжали медкомиссии, и верила: Макса поправится, пойдет в студенты, станет умным и выучится на директора. «Тада, тада,— лепетала старуха,— мы эту тошшую Аньку не токмо в женки не примем — на пенсию вышлем!»

Видя комично-печальные встречи секретарши и дурачка, старик Богатиков, отец Дмитрия Богатикова, обычно задумчиво говорил: «На каждого зверя, выходит, свой браконьер».

Теперь, Аверьян, осмотрим вход в кабинет Мосина. Серьезное сооружение, не правда ли? Тамбурик, отделанный под дуб, и в нем массивная дверь, обитая коричневым кожемитом. За ней, естественно, другая, повернутая дорогим кожемитом в кабинет. И, представь себе... да мы сейчас это сделаем. Тяни дверь. Что, не открывается? То-то! Не раз мне приходилось видеть: бьется какая-нибудь старушенция, пыхтит у этих врат, а Анна Самойловна строго посматривает, потом встанет со вздохом: мол, лезут тут с пустяками, работать серьезным людям мешают, и сама откроет дверь. Но это не все. Входи в тамбурик. Ага, попал в темноту, шарись, ищешь дверную ручку — она, как нарочно, где-то в сто-

роне и едва ли не на уровне твоей головы. Так, правильно, толкнул дверь плечом, шагнул и — не пугайся! — нога твоя нырнула вниз — тамбурик-то приподнят над полом, — в глаза ударил свет из просторных окон (войдешь вечером — лампы дневного света ослепят). Таким вот, нервно-смущенным, остановишься у порога огромного, кубически строгого кабинета. Ну, ты или я, мы все-таки какие-никакие интеллигенты, кое-что читали, кое в чем разбираемся, а вообрази ту старушку здесь, да любого работягу, явившегося в спецовке доказывать свою правоту, предлагать, критиковать... Тут ведь одеколоном дорогим пахнет, и к столу директора вон сколько идти по красной ковровой дорожке, на которой непременно оставишь следы своих сапожищ. Стоишь, видишь углубленную в размышления недвижимую глыбу хозяина кабинета за упористым, размером с бильярдный, столом, большой портрет руководителя партии за его спиной, как бы молчаливо подтверждающий всем входящим: он, сидящий здесь, не сам по себе, он еще от имени и по поручению... (На моей памяти Мосин сменил три портрета.) И тебе уже хочется юркнуть обратно в тамбурик, пробормотав что-нибудь такое: «Извините... вы заняты... у меня дело не очень важное... в другой раз...» Если и осмелишься, пройдешь — как сядешь в мягкое, чистейшее кресло? Ну, а присев, сразу обнаружишь — боком сидишь к столу и против окна, которое тебя ослепляет; и станешь выворачивать шею, чтоб хоть изредка взглядывать директору в лицо, а изловчившись, все равно будешь видеть лишь его окладистый подбородок: он-то восседает высоко, ты — почти у самого пола. Но явился ты не в переглядки играть — говорить, доказывать, требовать... Что ж, говори, доказывай, критикуй, когда от тебя полчеловека осталось, все другое содержание употребилось на одоление приемно-кабинетного «ритуала». Правильно, ты уже не ты. Ты можешь или молчать и слушать, или униженно просить.

5

Не знаю, Аверьян, откуда берутся другие кабинетоначальники, но Мосин-то, Иннокентий Уварович, можно сказать, вырос на моих глазах. Свой, значит, нами выпестованный.

В конце войны он приехал к нам с теткой — вроде

бы все родные его погибли при оккупации в городе Сальске, — здесь окончил десятилетку, учился средне-нько и пошел учеником бондаря. Тогда, понятно, не было еще тарного завода. Попал к мастеру Богатикову — старшему; собственно, только он и обучал молодых, другие четыре бондаря хоть и числились в мастерах, но таковыми не были — попивали крепенько, после полочки «болели» по несколько дней. Помнится, никто из них так ни разу и не побывал в отпуске: их прогулы, с их же согласия, отпускными днями считали. Тесал-строгал Кеша Мосин старательно, и уже через полгода сам мастерил небольшие пузатенькие — для красоты! — бочата.

Я поступил в медицинский институт, за пять лет наведалься домой только два раза — хотелось жизнь повидать, одно лето работал в стройбригаде в Москве, другое — на восстановлении Смоленска, — а когда вернулся, Мосин был уже Иннокентием Уваровичем и начальником бондарного цеха. И потрясающе: разъезжал по Селу на автомобиле! Пусть и на кургузеньком «Москвиче» первого выпуска, но в начале пятидесятых и такое было неслыханным шиком, да еще у нас, посреди тайги! Откуда-то привез подержанный, отремонтировал, узаконил..

Директор рыбозавода Сталашко (бондарка подчинялась ему) смотрел на это с ухмылочкой из-под отвислых казачьих усов: мол, чудачит парень, пускай себе, молодой.. работает-то неплохо, компанейский, на охоте незаменим.. Но, шутя-посмеиваясь, и сам начал кататься в «лимузине» Мосина по нашим кочковатым, в корневищах лиственниц пешеходным улицам: то с работы подъедет, то у рыбаков на берегу побывает, если дорога сухая. Интересно же! Первая машина в здешних местах. И бывало, только появится где «москвичок» — вся сельская собарня следом увяжется. Детвора — тоже. Крики, лай, визг!.. Значит, начальство куда-то поехало. Словом, Мосин стал еще и добровольным шофером у Сталашко.

И начал директор рыбозавода повышать профессиональный и образовательный уровень Мосина: послал на одни курсы, затем без перерыва на другие, а когда Кеша вернулся этаким городским франтом в шляпе, костюмчике-тройке и женился на дочке Сталашко, тот помог ему всяческими рекомендациями, устными и письменными, и Кеша оказался заочником строительного института. Тогда-то и возникла у него идея — воздвигнуть тарный завод. Взаясь за дело напористо, строил под общим руководством Сталашко. И вроде оправдано, обосновано было:

рыбы ловили все больше, тары не хватало, Село росло. Пятидесятые годы вдохновляли на самые невероятные дерзания: разоблачался культ, догоняли Америку, укрупняли колхозы, создавали совнархозы, воздвигали плотины, печатались смелые книги, ездили за границу, спорили о демократии, — и верили, верили, по себе знаю, что все наши устремления, проекты, планы реальны, сбыточны, вот только поднатужимся все вместе, осилим, догоним, укрупнимся, что-то закроем, что-то откроем — и вот оно, изобильное, вольное светлое будущее... Теперь видим, что много было излишнего шума, скоропалительности, говорильни, и не все выполнялось, и не все разоблачалось, и немало ловких, проворных выступальщиков оказалось в передовых и руководящих... Думаю, время это — всеобщего и безоглядного порыва — хорошо понял и использовал наш Мосин, ибо в начале шестидесятых он уже сидел в кабинете директора тарного завода, пусть и скромном пока, однако при отдельной конторе, с обособленным штатом и, что не менее важно, с Анной Самойловной в приемной: заметил, пригласил, привез сию профессионалку из областного центра, когда там что-то укрупнилось или закрылось и она оказалась без места.

Впервые серьезно я столкнулся с ним года три-четыре спустя. Меня только что назначили главным врачом, и Мосин явился в больницу с проверкой вроде бы, на что он, конечно, имел право как член исполкома сельсовета. Прошелся по приемным кабинетам врачей, заглянул в палату для лежачих больных, пошутил, анекдотик рассказал (надо же, и анекдот его запомнился!): «Спрашивает мужик мужика: «Болеешь, что ли?» — «Да нет, бюллетеню пока». А потом заперся со мной в ординаторской, как я называл комнату главврача, и повел серьезный разговор о том, что необходимо открыть при больнице спецотделение. Известно, анекдоты запоминаются легче всего другого, но и эту речь Кеши Мосина я могу пересказать едва ли не слово в слово. Вот она.

«Ну, сам понимаешь... — Он чуть наклоняется ко мне, кладет на мое плечо тяжеленькую, нежно-пухлую, пахнущую одеколоном ладошку. — Вообрази, заболит сам Сталашко... Нет-нет, пусть всегда будет здоровым! Я к примеру. Начснаб там, главбух... Ну я, допустим, наши жены... Никто не гарантирован, так сказать... И в общую палату? Ну вообрази: Сталашко — и рядом рыбак, бондарь... Опять не подумай, что я против рядовых

товарищей, сам не из дворян, знаешь, но среди них же всякие попадаются: одно дело — передовик производства, другое — пьянь, склочник. Разговоры, подковырки: «Чего показал анализ пота, начальничек? Как у вас отходят газы — тихо или громко?..» Нет-нет, я знаю, ты справедливый до этого... до глубины души! Мы не капиталисты какие-то, правильно. Это в Америке богатый не сядет, извини, оправиться рядом с безработным. У нас другая система — у нас все работают. Но признаемся чистосердечно, по-разному работают. С разной отдачей, так? А принцип распределения благ какой — по труду. Ну и как же ты меня или Сталашко уложишь в общую палату? Или, к примеру, сам сляжешь? Да мы же не знаем ни дней ни ночей, как проклятые мотаемся, особенно в путину! — Мосин нежно трясет мое плечо, пытается сбоку заглянуть мне в глаза своими завлажневшими, тогда еще не столь похожими на провалистые щелки, глазами, искренне, взволнованно веря в справедливость своих слов. — И авторитет, скажу тебе, не последнее дело, по себе знаю: он — вдохновляющая сила. Уважают, побаиваются — план через силу вытянут. Не сомневайся, народу это нужно, народ строгость признает. И не обидится, поймет: каждому по заслугам, как там — «кесарю кесарево...» А чтоб ты в полной уверенности был, лично тебе сообщу, не для передачи: спецотделение имеются, сам в одном на профилактике месяц лежал. Значит, надо полагать, они санкционированы. Убедительно говорю?»

Не скажу, Аверьян, что я впервые услышал о желании нашего руководства иметь при больнице спецотделение. Об этом довольно внятно высказался председатель сельсовета Панфилов, когда обсуждался на сельисполкоме вопрос: «О жгуче назревшей необходимости заострения внимания на расширении здания больницы с целью увеличения койкомест и повышения уровня лечения и ухода за лежачими больными». Не удивляйся, что так длинно. Вопрос не будет разбираться, если он не детализирован или «не звучит». Панфилов говорил: «Пора, пора, дом старый, знаю, как же, построил его атаман золотоискателей Предлыгайло, потому и крепкий, из листвянок в обхват, дворцом по тем временам считался, но мы выросли — нас их дворцы унижают, как же, будем расширяться, вот и дирекция рыбозавода поддерживает, — ласковый кивок в сторону Сталашко, — пристроим дополнительное помещение, специальное, на уровне передовой

медицины, и в старом будет народу куда просторнее...» Хорошо поняв слово «специальное», я решил все-таки промолчать: нрав у Сталашко крутой, казачий, грохнет кулаком по столу, наговорит в запале всяческого «волонтаризма», потом стыдиться будет, но не отступит — авторитет не позволит. Явно же: его обступили, внушили, уговорили... Пусть строят, пристраивают, а там разберемся, кого и как лечить «на уровне передовой медицины». И тут является Кеша Мосин. Ко времени, надо сказать. Во дворе — штабеля листвяжных бревен, рабочие выкладывают фундамент из колотого камня под стройку...

Мне бы опять промолчать, выждать. Но не смог — «нервов не хватило», как говаривал мой больничный завхоз. И хватит ли их, Аверьян? Было ведь так. На всех совещаниях: «В здоровом теле — здоровый дух», «Здоровье каждого — высшее достояние государства» и другое подобное. А как до дела — лечить нечем, оклады у врачей — ниже некуда, в больнице теснота, больных кормим на копейки... Скажешь об этом прямо — чуть ли не во враги попадешь: ситуации не понимаешь, международному империализму как раз на руку такие высказывания, временных трудностей испугался, смотрите, академика какого мы вырастили, клинику имени Бурденко ему подавай, займемся, займемся твоим идейным уровнем... А в это самое время оба наших директора дома себе возводили, по особому проекту, с мансардами и верандами, водяным отоплением и теплицами во дворе; «Изда охотника» — так скромно называлось шикарное заведение на острове — уже действовала, принимала гостей из района и области: егерь числился рыбаком, сторож — бондарем... И вот, Аверьян, спецотделение при больнице им понадобилось. Ну, думаю, пока я здесь, и в главврачах, будете у меня лечиться вместе с рядовыми трудящимися, а унижительно — профилактируйтесь в районе или области, вас там примут.

Снял я Кешину руку со своего плеча, поднялся, прошел за свой письменный стол, сел и даже начальственно облокотился. Без репетиции все разыграл, как-то мгновенно поняв, почувствовав, что такие, как Мосин, всерьез признают только кабинетона начальников, пусть даже невысокого ранга, лишь бы сидел за должностным столом. Кеша не ожидал от меня такой официальности, заерзал на стуле посреди чужого кабинета, как бы попав в пустоту невесомости, и тут я ему сказал:

«Значит, вам мало того, что имеете? Мало магазинного спецснабжения — на глазах у всего Села «распределяете» меж собой лучшие продукты и товары? Или вы думаете: никто не видит, никто ничего не знает?»

«А ты, ты... — забеспокоился Мосин, — ты ведь тоже в списках на спецснабжение...»

«Я просил меня не включать».

«Должен тебе напомнить — для ИТР у нас всегда были исключения».

«Были. В трудное время. И все-таки думаю: напрасно делались исключения. До сих пор от них отвыкнуть не можем».

«А жена твоя другого мнения. Ей некогда с бабами у прилавка судачить, ты сверх нормы в больнице ее загрузил. И тебя калорийно кормить надо — на работе горько, можно сказать».

«Так она что, берет с черного хода?»

«Ну, зачем эти грубые выражения?»

«Ладно, с женой разберусь сам. А тебе, Кеша, вот мой ответ: никакого спецотделения открывать я не буду. Так и передай Сталашко, если он тебя направил ко мне. И предупреждаю: захотите меня снять — сто раз подумайте. Я дома, это мое родное село, и никуда я отсюда не уеду. А снимете — истопником в больнице на ваших глазах буду работать. И не вздумайте остановить строительство, в Москву поеду, запишусь на прием к министру здравоохранения. Все. Иди. Занимайся бочкотарой, она у тебя наполовину кривобокая».

«Ненормальный какой-то, тебя самого лечить надо, а ты главный врач тут у нас...» — возмутился Мосин, но не слишком решительно — мое восседание за столом хозяина кабинета пригнетало его, — и побежал к себе в контору, чтобы в своем, действительно начальственном кабинете обрести всегдашнюю уверенность.

Теперь ты понимаешь, Аверьян: если человека возвышает кабинет, то надо, чтобы это был — Кабинет! С большой буквы. В таковом мы сейчас и находимся.

Подойди к окну, глянь на эти нагромождения гниющей тары. Произвели их не люди, нет — нельзя же считать людей столь безумными, — произвел этот кабинет. С дирекцией вместе, конечно. Мне иногда мерещится: приду утром сюда и увижу: весь огромный домище заполнен прежними служащими... Функционируют плано-

вики и снабженцы, считают бухгалтеры и экономисты, действует созданное лично Мосиным КБ рыбтары, в запарке главный инженер и начальники отделов, бдит у директорского кабинета Анна Самойловна... и, жутко подумать, гудит, грохочет, извергает из своего чрева бочкоящики тарный комбинат.

А теперь отвернись, посмотри в другое окно. Река сияняя, недвижимая, будто текла, текла — и остановилась передохнуть, нам себя показать. Солнечно. Лес в желтизне, дымчатости и грусти. Оглушительно тихо и глухо, пустынно как-то (извини за такие поэтические слова, я тут стихами скоро заговорю на своем малолюдье). Да, тихо, пустынно, просторно, но не дико, нет. Здесь жили, работали люди. Всюду следы их трудовой деятельности, как говорится: берега в хламе сплавного леса, сваи двух бывших заездков торчат кое-где из реки (как я настаивал, чтоб эти закаменелые обломки выдернули, нет, оставили «на потом!»), по склонам сопок вырублены — отсюда, как выбриты, — лесные массивы, и кажется, сам воздух грустен потому, что не успел еще очиститься, позабыть недавнее бурное присутствие человека.

Но глянь выше, Аверьян, на те дальние горы — ты их помнишь, конечно, ты любил смотреть на них, — они такие же, как были при тебе, — густо-голубые и фиолетовые, блистательно снежные по остриям вершин, манящие и недоступные, точнее, запретно недоступные. Они могучи, они сами по себе, на них тайги огромные, в них потоки чистые и нетронутые, они есть — и значит, природа жива, питает нас кислородом, поит водой, лечит вечной красотой, и если мы сбережем ее, хотя бы ту, горную, мы будем тоже вечны на Земле.

Живя здесь, я понял: многое можем распахать и засеять, разровнять для заводов и городов, но надо сохранить горы — везде, на всех материках. Зеленые, снежные, скалистые. Великие и, по возможности, малые. Считать их священными, а значит — неприкосновенными. Запретить восхождения на них даже скалолазам — священное не попирается! И не пересохнут реки планеты, сохранятся ее моря.

Недавно я прочитал: каждый японец считает своим долгом хотя бы раз в жизни подняться на Фудзияму — священную для всех японцев гору. И огромная Фудзи теперь разрушается, она замусорена, засыпана миллионами тонн битого стекла, в шрамах и осыпях, на нее опасно

стало восходить: горé нужен «капитальный ремонт». Это у японцев-то, так оберегающих свои тесные острова! Неужели невдомек им, сверхцивилизованным, что святое не топчется ногами?

А ведь мы начали подбираться к тем своим голубым и фиолетовым горам, вырубать их склоны, сплавливать лес по этой Реке и перерабатывать его на тару; дно Реки «залудили» топляком — лиственница тяжела, быстро намокает, тонет; — и вот, Аверьян, посмотри в другую сторону, за поселок. Видишь серо-желтые, а то и зачерненные островерхие холмы, похожие на отвалы перемытой золотодобытчиками породы или на шахтные терриконы? Не гадай. Это тоже отходы производства, только деревообрабатывающего — опилки, щепка, прочая древесная труха. За многие десятилетия. Вот где приволье всякой тле, жуку, червю, множатся, разлетаются, расползаются по лесам... Нет, ты не подумай, что я против рубки леса, ловли рыбы, охоты на зверя: от рождения знал это, жил милостью природы, да и сейчас здесь — что я без нее? Дня не проживу. Может, одним только не был похож на других ребят в детстве (в чем не признался бы даже близким друзьям): жалел спиленного дерева, пойманной рыбы, убитого зверя. И, конечно, пилил, ловил, охотился — иначе считался бы выродком, Максой-дурачком, не трогающим жрущее его комарье: «Живенькие же, красиво поют...» Но помнишь, Аверьян, и тогда уже я приставал к тебе, спрашивая: «Скажите, Аверьян Иванович, люди когда-нибудь смогут никого не убивать?» Не помню, что ты мне отвечал, что-нибудь такое, наверное: «Это временно мы живем природой, мы выделимся из нее, научимся все воспроизводить искусственно, ее оставим только для красоты...» А теперь знаю: не могут. Вернее, пока не могут. Но могут другое — брать бережно, отдавать сполна: срубил дерево — посади новое, ловишь рыбу — разводи ее. И так во всем. Не бери последнее. Если ты не враг себе, всему живому.

Все так, так! Но вот сейчас, в эту минуту мне подумалось: нет, людям пока не до природы, мир в распрях и войнах, человек не научился еще оберегать человека — высшее в этой природе. Разве братья, способные истребить друг друга, могут бережно относиться к матери, породившей их? Сохраним природу и все живое в ней, если примиримся мы, люди, волею судеб оказавшиеся хозяевами Земли — нашего общего места обитания.

Понятно, этаким философией я не пугал директора

Мосина. Говорил другое, и не только я: давайте наладим выпуск прессованных плит из опилок и щепы, пусть простеньких вначале, но и они пригодятся на стройках. Куда там! «Вверху не икнется — внизу не отзовется», «Держай на месте, если есть рука в тресте», «На то и кабинет, чтоб услышать — нет» и так далее. Все нашего местного творчества. Словом, никаких плит не получилось, Мосин твердил одно: «Я — тарник, а не стройматерьяльщик!» Потом, когда комбинат закрывался, я ему припомнил: «Ведь можно было, Иннокентий Уварович, перестроиться, начать с плит, постепенно освоить фанеру, кое-что другое, и лес пошел бы на это бросовый, и Село сохранилось бы». Надулся, пропыхтел паровиком мимо, молча воздев над головой руку и ткнув пальцем вверх: мол, решают там, когда ты это поймешь своей тупой башкой! Он торопился в областной центр, где в каком-то учреждении освободили для него какой-то кабинет: не опоздать бы! Мне наш Мосин таким и запомнился: со спины, с тяжелыми борцовскими плечами, щетинистым квадратом головы на короткой шее и воздетым кверху указующим перстом.

О нем мы еще поговорим. А пока извини, Аверьян, мне нужно позвонить в район по просьбе Василия. Присядь вон к столу для заседаний, там стулья повыше, в кресло не приглашаю, утонешь, и я не директор, чтобы сверху тебя разглядывать.

Так, воспользуемся телефоном Мосина. Красным. Серый у него для Села. Из мосинского кабинета проще звонить — по «вертушке», прямому проводу, значит. Есть такая техническая премудрость в ответственных кабинетах.

6

— Алло, девушка! Мне начальника техснабрайсельстроя Петренко. Вышел, говорите? Ай-яй, как неудачно! А вы, может, поищите? Я из Села. Ну да, с бывшего тарного комбината. Спрашиваете, как у нас с ягодой? Брусники было немного, а на клюкву — урожай. Тут приезжали туристы — совками гребли. А вы что же, не запаслись? Некогда было? Так приезжайте, пока не заглодало. Моторная лодка найдется? Внук, говорите, лодочник? Ну вот, а я вас — девушкой. Извините. Сколько раз звоню, и не знал. А вам приятно, когда девушкой называют? Да у нас других обращений и нет, кроме еще

гражданки да товарища. Так что всем нашим женщинам приятно, особенно кому за тридцать. Веселый, говорите? А что мне тут делать, не волком же выть — медведи разбегутся перед спячкой, экологию нарушу. Кстати, у меня с одной строгой женщиной конфуз получился, назвал я ее гражданкой, а она мне: я еще пока не под следствием, чтоб меня гражданкой! И самый заваливающий кус колбасы отвесила, хоть магазин кооперативный, дорогой. Это у вас на улице Коперника. Не скажете, именем какого Коперника названа улица — великого астронома или местного уважаемого однофамильца? Не знаете, не интересовались, живете на Патриса Лумумбы, а ваша дочь на Академической. Неужто академией собственной обзавелись? Смеетесь! А вот те, кто так называл эти улицы, совсем без чувства юмора были. Ладно, приезжайте за клюквой, у нас здесь улицы всего две — Таежная да Речная, не заблудитесь. Хотел было директор рыбозавода Сталашко переименовать их в Юбилейную и Космическую, так сельчане воспротивились, в газету писали: просим оставить старые названия! Сталашко в сердцах сплюнул даже: «Как с такой нашей отсталостью к коммунизму двигаться!» Да, да, и переночевать есть где, почти все Село пустует. Вот мы и познакомились, дорогая... ага, Вероника Аристарховна, а теперь... вы уже догадались... поищите Петренко. Спасибо за отзывчивость, заботу. Жду.

Вижу, чувствую, Аверьян, ты этак ехидненько усмехаешься: мол, всего-то и дела — позвать начснаба, а болтовни сколько развел и «девушку» обласкал так, что королевой районной себя почувствует. Слушать было неловко?.. Привыкай, раз уж явился на мой зов. Ты нашей жизни не знаешь, у нас теперь во всем материальная заинтересованность, вот мы ее и обеспечиваем друг для друга. Это вы энтузиазничали: «Мы с железным конем все поля обойдем, соберем, и засеем, и вспашем...» Почему сначала «соберем», а потом все другое — к таким мелочам могли придираться только нытики-критиканы, фомы неверующие, их сметала со своего пути победная поступь масс. Теперь по-другому, у нас — индивидуальный подход друг к другу. Поговорил я заинтересованно, уважительно с Вероникой Аристарховной — и пошла она искать своего начальника. И найдет. Значит, дело продвинется. А могла бы ответить мне: «Нету его. На строй-объектах. Всем надо срочно. Вы не лучше других, не ме-

шайте работать!» Догадываюсь, ты хочешь спросить: «У вас ведь перестройка, кажется?» Да. Началась. И крутая. Но скажи, разве в один день перестроишь Веронику Аристарховну, если она приучена к «ласковому» подходу? Прогнать ее на пенсию? Можно. А лучше ли будет новая, молодая? Вероника Аристарховна всякого повидала, и войну, и послевоенную разруху помнит. Молодая же всю свою сознательную жизнь родителями содержалась, да еще с высшим образованием будет. Захочет она по болотам бродить за клюквой! Ей эту клюкву пришлось бы доставить в белые рученьки, в упаковочке оригинальной — бочоночек там или туес берестяной. Ну, конечно, она бы сказала: «Ах, какой презент! Сколько стоит ваш подарочек? Нет-нет, я непременно заплачу!..» Какими капиталами, милая? Загляни в свои «Дары природы» — этот бочоночек половину твоего месячного оклада стоит, и ягода битая, мятая. Но как без интеллигентности — классику читали, о нравственности что-то слышали... Нет уж, пусть сидит пока Вероника Аристарховна, с ней проще договориться и в «лучше других» хоть на время попасть. Да велика ли плата — помочь клюквы набрать? Зато и Петренко отыщет, и обо мне доложит деликатно, с умелым намеком: этот ничего, этот хороший мужик, — и телефонную трубку начснаб охотнее поднимет, без всегдашней усталой неприязни к требователям и просителям. Ага, слышу в трубке шаги. Он! Извини, Аверьян!

Товарищ Петренко? Здравствуйте! Это опять я, Яропольцев. По какому вопросу, спрашиваете? Вопрос прежний, наболевший, так сказать, и важности большой: быть или не быть! То есть жить ли нашему Селу. Зачем так громко? Ну, чтобы услышали. В частности, вы. Слышите и слушаете? Коротко излагаю. Чтоб наша стройка не заглохла и все основные объекты были сданы к зиме, нам необходимо срочно поставить: первое — шифера шестьсот листов, второе — цемента сорок мешков, третье — гвоздей кровельных пять ящиков и четвертое, самое важное, — рамок для инкубационных аппаратов, количество указано еще в весенней заявке. Многое, товарищ Петренко, мы тут делаем сами, у нас кузнец — мастер наковальни, комара подкует, и рамки склепали бы, но теперь пластмассовые используются, да вы знаете, и изделие должно строго соответствовать ГОСТу, так что самодеятельностью лучше не заниматься. Куда, спрашиваете, идет прорва цемента? А что без него в наше время по-

строишь? Цеха ставим лиственничные, а фундаменты — бетон, камень. Экономим как можем. Но ведь и о качестве надо помнить, чтоб через год на капремонт не закрыться. Говорите, проектирование неправильно было выполнено, раз стройматериалов такая прорва идет? Да, сын мне что-то об этом проекте стандартном, без учета местных условий, говорил, головотяпство тоже упоминал. Согласен с вами, это именно та экономная экономика, которая на бумаге красиво выглядит, в ней все по старинке: «Малой кровью, могучим ударом!» С использованием местных ресурсов и подручных средств, правильно?.. А цемент нужен, товарищ Петренко, как говорится, до зарезу. Пустим весной наш завод — оживится Село. Нельзя ему погибнуть — такие места здесь, товарищ Петренко! И золото в диких ключах имеется, малое, правда, но самородки попадаются, у нас даже охота была такая — ходить по ключам. Мой сын однажды граммов на пять выловил... Видите, желтый металл имеем, а цемента нет. Тут один наш умелец известь вместо скрепляющего раствора применил, ничего вроде, прочно получилось. Ну, это на малом объекте, хотя домище в два этажа поднял... Откуда известь, спрашиваете? Местная, еще золотодобытчики нашли, камень били, для личных нужд обжигали — в домах стены и печи белить. Отличная, скажу вам, известь, молока белее. Только вы, товарищ Петренко, не вздумайте карьер здесь разработать, запасы малые, промышленности не получится, и мы все тут защитники окружающей среды, на демонстрацию выйдем с дробовиками. Смеетесь. Психолог, говорите? Врачам надо быть психологами, даже бывшим. Теперь последний вопрос — и все, кладу трубку. Когда собираетесь к нам приехать? На той неделе, во вторник или в среду? Запомнил. Передам начальнику нашей стройки Ивакову и прорабу Яропольцеву-младшему, пусть подготовятся, расчеты все обоснуют, чтоб вам понятно и наглядно все было. Кстати, Иваков тоже молодой, вашего поколения, так он что говорит? Когда, говорит, нас эти фонды и разнарядки душить перестанут? Не верится прямо, что будет эта самая оптовая торговля: взял, что тебе нужно, рассчитался. Как в сказке... Понимаете его страдания, но сказку не просто сделать былью? И за то спасибо. Согласен, приедете — на разные темы поговорим. Да, если вы рыбак, спиннинг прихватите, на закате в Падуне форель хорошо хватает... Грибник, говорите? Бескровной охотой занимаетесь? Приятно слышать. Нам

бы тоже не мешало партию зеленых организовать, есть же детские зеленые патрули. Не задумывались, говорите, не тянет к философии, не до отвлеченностей? Это так... Ну, я опять отвлекаюсь. Приезжайте, товарищ Петренко, пока не заглохло. Попадаются белые, много подосиновиков, а груздей-волнушек хоть лопатой гребите. И вёшенки дам, я их сам выращиваю на этих стружечно-древянных отвалах, освоил, так сказать, технологию — хорошо растут на прели древесной. Знаете такой лесной гриб, в жарку, парку, сушку идет, и сырым его кушать можно, подсолив, конечно? Летчиков угощаю, чтоб не забывали нашу дыру таежную. Иной раз и по мутной погоде — зудит «Аннушка», летят мои воздушные друзья, надо рыбы поджарить, вёшенки надрать... До чего только человек не додумается, если времени много и непьющий. У нас электростанция перестала работать, так мы тут ветряки приспособили, горят в жилых домах лампочки. И телепередачи принимаем... Алло? Кто это смеется?.. А, Вероника Аристарховна! И давно вы меня слушаете? Минуты две-три? Петренко — что, не выдержал? В стройотдел вызвали. А вы взяли трубку и помалкиваете? Заслушались, говорите? Спасибо, вы добрая. Ваша клюква ждет вас. И созревает. Приезжайте!

Конфуз какой, а, Аверьян?! Ведь ты слушал меня, почему не остановил? Или тебе интересно все наше, теперешнее — какая-никакая информация? У меня времени вдоволь, у тебя — вечность. Куда нам торопиться? Хотя мне надо кое-что успеть. В жизни этой, моей.

Ты заметил, — я меняюсь, когда беру трубку? Вроде тот же — и не тот уже. Лебезю, подсюсюкиваю. Зачем? Какую выгоду лично для себя хочу иметь? Никакой! Так чего же сгибаюсь вместе с трубкой? Привычка. Всеобщая. Может, всемирная? Я, конечно, думал об этом и знаешь, как решил? Всегда, во все времена были просители — несчастные, бедные, больные, хитрые, подлые, жадные, льстивые... Одни просили, чтобы не умереть с голоду, другие — получить чин, разбогатеть. Они-то, эти просители, — а им несть числа! — и приучили всех кланяться вельможам, баям, президентам, начальникам... С генами нам передается чинопоклонение. Вот и не для себя просишь, а подловатенькая угодливость голос твой умягчает, и в телефонную трубку улыбаешься, будто улыбка твоя на другом конце провода видна. Выходит: все равно — просишь.

Скажи, Аверьян, с тобой такого не случилось, хоть ни перед кем и никогда ты не принижался? Внешне не принижался. А внутренне? Просто воли в тебе было достаточно, мы и видели чаще всего ее, она в тебе как бы не замирала ни на минуту. Я тоже могу быть волевым, и бывал, ты это уже знаешь. Но меня надо разозлить, обидеть, возмутить несправедливостью — тогда уж покажу характер. Как говорится, «пока не требует поэта...» или проще: пока жареный петух в одно место не клюнет, — я тише, молчаливее других и лучше угожу ради общего дела, чем стану требовать по закону и праву. Понимаю: покуда будет так — нечего нам надеяться на всеобщую перестройку жизни. Что же делать? Конечно же выдавливать из себя раба.

Согласен ли ты с моей философией «лично для себя»? Таежной к тому же? Ну, тогда не кори меня слишком уж сурово за мои человеческие (может, общечеловеческие?) слабости. И я поведу тебя дальше по своей здешней жизни.

Окинь прощальным взглядом кабинет Мосина — помещение времени кабинетомании. Ничего, что в такой дали и посреди тайги, — оно не уступит по емкости, оснастке ни столичным, ни заграничным: селектор, телевизор, кнопочный телефон, прочие приспособления для вызова и руководства на расстоянии. Мосин мечтал о видеоаппаратуре и уже «прорабатывал» возможности ее приобретения, чтоб, как говорится, наблюдать подчиненных «в упор», не выходя из кабинета; и о таком телеэкране импортном, который показывал бы ему цеха тарного завода и всю жизнь Села: нажал кнопку — и вот они, мастера, сколачивают ящики, выстругивают бочки; нажал другую — наблюдай за подозрительной деятельностью председельсовета Яропольцева... А я мечтаю открыть в кабинете Мосина музей. Да, не удивляйся. И назвать его «Логово бюрократа». Первый в мире такой музей. Далеко от культурных центров? Как раз это и будет впечатлять: по соседству с медвежьими берлогами такой очаг кабинетомании! Прилетят, приедут любопытные, туристы теперь в любую глухомань проникают. А для начинающих руководителей можно будет спецэкскурсии организовать. С наглядным обзором из окна — горами за товаренной бочко-ящикотары.

Все, выходим, запираем мосинский дух в обжитых и обожаемых им стенах. Бережно сохраним. Благодарные потомки скажут нам за это спасибо.

Ну вот мы опять на воздухе, на просторе нашем сельском, и пока идем в гости к бондарю Богатикову, я расскажу тебе, Аверьян, о директоре нашего рыбозавода Антипе Тимофеевиче Сталашко — личности примечательной, ты это поймешь, если мне удастся хорошо рассказать.

Помнится, я уже говорил, он был из казаков, добавлю только — уссурийских, дальневосточных, значит. Воевал конечно же, и, судя по двум орденам Славы, многим медалям и нескольким ранениям, неплохо воевал. Да и мог ли иначе воевать этот прирожденный здоровяк — рубака, с упруго закрученными усами, отчаянной голубоглазостью, лихой чуприной и всегдашней поговоркой: «Оседлаем, пришпорим!»? Приехал к нам весной сорок шестого в погонах старшины, со значком гвардейца, в офицерской диагоналевой гимнастерочке, туго перетянутой широким, офицерским же, ремнем, в синих галифе — икры в обтяжку, и лакированных трофейных сапожках. Для полной впечатлительности не хватало шашки, но она легко воображалась, ибо Антип постоянно ощупывал левый бок, точно ища эфес этого привычного для казака холодного оружия. стакан водки принимал двумя пальцами, выпивал не морщась и не закусывая, лишь улыбочиво крякнув в усы и промокнув их надушенным платочком. Семью оставил где-то в уссурийском селе, прибыл, так сказать, оглядеться, устроиться, принять дела, а потом уж... И чуть ли не в первый день приметилась ему наша одинокая учительница Корякина. Ты ее помнишь, Аверьян, в пятых-седьмых классах ботанику и зоологию преподавала, очень уж старалась понравиться тебе, даже сцены ревности какие-то устраивала (не удивляйся, мы и это знали, и вообще, взрослым только кажется, что дети ничего не видят, ничего не понимают), а когда ты уехал, женила на себе школьного завхоза Шкуренкова и, как сказал бы сам завхоз, «нехорошее происшествие произошло»: запил он страшно, вероятно тоскуя по оставленной где-то в России семье (завербовался-то на время, а тут — война...), и зимой окопел у порога их общего дома. Так и не удалось выяснить: Корякина ли его не пустила, пьяного, или сам он не решился постучать грозной молодой супруге?.. Словом, к приезду Сталашко она была в том вдовье-бабьем возрасте, о котором говорят: «И дед в женихи годится, если мужиком

глядится». А тут на тебе, неожиданный подарочек — бра-
вый Антип-фронтвик, истосковавшийся по женской лас-
ке. Ну и закрутились они в любовном дурмане: весна,
все цветет, зеленеет, а эта парочка на моторной лод-
ке — был такой у директора трескучий «лимузин» — по
реке, на острова, Антип со всеми орденами и медалями,
Корякина в девичьей вуали этаким шлейфом на вет-
ру, — красиво, ничего не скажешь, особенно для нашей
глухомани, совсем оскудевшей за войну... Вспомнил вот
и даже сердце потеплело: знаю, ничего в той любви воз-
вышенного не было, но красота сама по себе, наверное,
некая ценность. Осталось яркое, праздничное, отчаянно-
безоглядное... Кого это не очаровывает, в детстве особен-
но? И столько пряников, конфет пораздавал Антип де-
творе! До сих пор не пойму, где он их брал? Вернее, до-
гадываюсь, где-то на складе продуктового, но ведь все по
карточкам тогда было. Знать, сумел недавний боевой
старшина и новый хваткий директор рыбозавода — не то
приказом, не то уговором — заставить неподкупного
старца Трошина, заведующего складом, распечатать ящи-
ки и мешки с довоенными припасами. На все такое: до-
стать, выбить, взять нахрапом, — у него были просто
выдающиеся способности.

Недолго, впрочем, красиво гулял ветеран войны. Кто-
то из сельчан, думаю, директриса школы Охлопкова, да,
та, Аверьян, старушка с гимназическим образованием и
дореволюционными учительскими курсами (сколько раз
она спасала тебя от дурных наговоров!), поторопила
письмецом жену Сталашко прибыть на новое место жи-
тельства. Казачка Ульяна явилась незамедлительно, с
двумя детьми и налегке, как говорят в таких случаях, «в
чем была» — уж не знаю, какими словами приглашала
ее Охлопкова, но наверняка вполне убедительными, —
сразу все правильно оценила и при первой же встрече с
Корякиной молча вцепилась в ее завитые локоны, да
так, что та завизжала на все Село и послушно позволи-
ла провести себя из конца в конец главной улицы Таеж-
ной. Сбежавшиеся бабы едва расцепили пальцы Ульяны.
Через день-два Корякину тихо, незаметно увезли на ди-
ректорской моторной лодке в район, и она навсегда зате-
рялась в неизвестных мне лично краях. Так решительная
казачка спасла мужа от любовной пагубы, сохранила
семью, чему, кажется, радовались все сельчане: вот уж
красавица была урожденная, темноокая, с косой до поя-
са, статная (до сих пор, если слышу или читаю о жен-

ской стати, вспоминаю Ульяну), с румянцем сквозь легкую смуглоту и улыбкой щедрости необъятной — на всех людей, на весь свет. Что против нее Корякина? Курица.

Да ведь кому неизвестно: если бы волочились только за красавицами и красавицы соблазняли только красавцев, разве кипело бы так человечество от любовных страстей? Но тема эта особая, обширно изучаемая всеми писателями мира, и я не буду касаться ее — едва ли смогу прибавить что-либо полезное к накопленному опыту. Мне бы попроще, понятнее о жизни нашего Села... Словом, Антип Тимофеевич Сталашко был умиротворен и под присмотром Ульяны занялся исполнением обязанностей директора рыбозавода и главы нашего таежного поселения, так как тогда не было здесь еще сельсовета. Позже, правда, она не уберегла своего Антипа от Мосина, но это не ее вина: даже цепкие пальцы Ульяны не удержались бы на жестком бобрике Мосина.

Смотрю, Аверьян, тебя заинтересовал вон тот белостеклянный терем. Как светится на солнце! Прямо-таки хрустальное чудо посреди тайги. Сказка. Фантазия. К нам зампредоблисполкома прилетел как-то, вышел вон из того перелеска, за которым «Аннушки» приземляются, остановился и очки давай протирать: туманец был, а сверху солнце — и сияет неправдоподобно Дворец Ерина (так мы называем терем, по фамилии строителя). Почудилось это гостю видением, не верил моим словам, пока вплотную не подошел и не убедился, потрогав руками, что перед ним самое реальное строение. Ну, Дворец мы еще осмотрим и с Ериным познакомимся, а пока договорим о Сталашко.

Таких руководителей ты наверняка знавал, Аверьян, их называли «практиками», и до войны на этих практиках держалось все хозяйство, в отдаленных местах тем более: старых «спецов» было мало, и не очень-то доверяли им, новых только готовили. Выдвигались практики по принципу: инициативен, честен, с людьми ладить умеет — годен на руководящую работу. А что производство не знает, так ведь «не боги горшки обжигают», научится, вникнет, поведет за собой массы... Это позже, в пятидесятые, начали говорить: «Не боги горшки обжигают, но обжигают их мастера!»

Вот и прибыл к нам таким выдвигенцем Сталашко. Ему предстояло в короткий срок стать практиком. И он стал. Через месяц-два хозяйски расхаживал по пристани, засольным цехам, холодильникам, даже старого мастера икрянщика смущал своей суровой осведомленностью: войдет, подденет совком только что засоленную икру, пристально осмотрит «на внешний вид», положит на язык, «прислушается», определяя вкус, и, крикнув, наотмашь разгладит усы. Понимай, как хочешь, но трудись с полным приложением сил и знаний: директор бдит! С казачьей поговоркой «Оседлаем, пришпорим!» ему пришлось расстаться, потому что ее быстро переиначили, и Сталашко частенько слышал вслед себе: «Ну, лихой у нас Насядем — прищучим!» Вовсе без какой-либо прибаутки он, пожалуй, не мог — любил пошутить, крепенько выразиться — и теперь говорил рыбакам, всем, кого хотел подбодрить: «Хватай за зебры и держи!»

Вот это: «хватай, держи», а удастся — прихвати и чужое, но так, чтобы тебе не попало, было главным в натуре Сталашко, можно сказать, его природным даром: от землепроходцев, наверное, степняков, вояк отчаянных, коим приходилось надеяться только на себя. Не скупясь, он возил в район и область икру, балык, тешу, ублажал снабженцев, вышестоящих приглашал в рестораны, на медвежьи, лосиные охоты — и такой вот, «лаской и смазкой» добивался поощрительных ссуд и фондов. А что делать, если «без гвоздя нужного не сколотишь и нужника», как говаривал Сталашко. Помнится и такой случай. Узнал он: по реке вверх поднимается баржа с кирпичом, кровельным железом, дизельным топливом в бочках, еще чем-то ценным, — все для соседнего рыбозавода. Немедля выехал на своем директорском катерке (обзавелся быстроходным транспортом) с дарами и крепкими напитками, сутки доказывал капитану буксира и шкиперу баржи, что груз по ошибке направлен не ему, что был у него телефонный разговор с областью, да и вообще вверх им не пройти — вода малая, на перекатах застрянут, наголодаются, баржу потопят. Убедил. Завладел товаром. Капитана и шкипера едва не засудили после, а Сталашко устным выговором обошелся, пообещав впредь не пиратствовать. Но пиратствовал, хоть и с меньшим нахальством, то баржонку соли, тогда дефицитной, плутовски перехватит, то вне очереди продукцию своего рыбозавода отгрузит... Находчивым, напористым, с фронтовой хваткой тогда многое прощалось, жили-то еще как бы по военному времени. Наш Антип Тимофеевич хорошо это понимал. Он быстро угодил в

перспективные, затем — в передовые руководители. О нем узнали область и край. Фонды потекли к нему. И ожил захиревший было наш поселочек, начал вырастать в Село. Сталашко построил электростанцию, расширил старые и возвел новые цеха рыбозавода, можно сказать, отстроил новый завод, внедрил кое-какую механизацию, замостил деревянными тротуарами улицы, построил клуб. Стали приезжать новоселы.

Ну и об этом пора сказать — давал Сталашко рыбу! Много рыбы. С каждым годом все больше. Брал рыбу собственными, рыбозаводскими бригадами, принимал ее на переработку от трех рыболовецких колхозов района. Планы перевыполнял во что бы то ни стало. Рапортовал раньше других. Его портреты крепко держались на районной и областной Досках почета, говорили даже: Сталашко самолично меняет тускнеющие фотографии и потому выглядит всегда боевитым, нестареющим — с лихо закрученными усами, в военной гимнастерке, сплошь увешанной медалями и орденами.. И руководил он, конечно, на фронтовой манер: за мной, в атаку, на штурм! Подойдет путина — всех взбаламутит, деда, бабки, ребятишки хоть помалу, а чем-то помогают; Макса-дурачок и тот вагонетки с рыбой катал, беря плату леденцами в красивых коробках. Не ведал отдыха и сам Антип Тимофеевич, везде поспевал, одних похвалой вдохновит, других матом взбодрит; мог подменить кого угодно, хоть резчицу на плоту, если вымоталась до потери сознания, а рыбакам лично «из фонда Сталашко» (завел таковой) выдавал на пол-литры, особо отличившимся, понятно. Но пьянства во время путины не терпел, был случай — приказал хмельного засольного мастера стащить в реку и два часа отмачивать в студеной воде.

Зато какие гулянки устраивались после завоевания переходящего Красного знамени! Непременно с делегациями из рыболовных колхозов и района. Если была сухая погода, столы сколачивались у клуба на просторной площадке. Вот уж точно — столешницы из лиственничных плах ломились, провисали от кушаний: были горы дикой птицы, оленина и непременно медвежатина. Сталашко сам водил охотников загонять и валить медведя. Варилась в бочках артельная брага: для мужиков — крепчайшая, с добавлением дефицитного спирта, для женщин — сладенькая, на бруснике, морошке. Случалось, шампанского директор добывал, оно подносилось лучшим работникам, с величальными словами, под аплодисменты. Тут

же выдавались премии, обычно дорогие и дефицитные вещи — костюмы, часы, отрезы на платья... Детишки щедро одаривались конфетами, пряниками. В общем застолье дозволялось и перебрать любителям хорошо выпить, их с уговорами уводили домой, укладывали спать.

Антип с Ульяной садились во главе стола этакой княжеской парой, по сторонам — председатели колхозов (позже к президиуму стал подсаживаться Мосин со своей супругой), они же заводили песни голосами крепкими, чистыми; посуда стеклянная, бывало, тоненько звенит, пока они выводят какой-либо казачий запев; а уж когда грянет все застолье, все Село, то вроде бы сама вековечная тайга отступит от домов и небо раздается вширь — на всю страну, до России самой, откуда пришли эти люди, и печалются, тоскуют по родине изначальной. Пели про Ермака, бродягу, казака Сагайдачного, и «Лучинушку», и «Дубинушку»; вспоминались песни недавней войны; и непременно «О Сталине мудром...» Потом затевались частушки и пляски. Первыми в круг выходили опять же Антип с Ульяной. Это было загляденье: бравый, гибкий, отчаянный Антип в казачьей черкеске с газырями (для пляски он переодевался) и медлительная пава Ульяна в белом платье до пят, расшитом украинскими узорами. Им хлопали в ладоши, ими восторгались, и все прощалось директору Сталашко: матерные слова в рабочей горячке, едкие высмеивания трусливых и малодушных, прижимы рублем не особо ретивых работников — вот он, весь наш, спрашивает круто, но и обласкать умеет, с каждым чокнется, каждому доброе слово скажет, живет душа в душу с народом, а значит — дороже отца родного! Гулянье длилось до утра, затем Село замирало во всеобщем праведном сне, в середине следующего дня застолье возобновлялось. И так — не менее трех дней, по установке самого Антипа Тимофеевича: «Умеем трудиться — умеем отдыхать!»

8

Помнишь, Аверьян, нашего довоенного начальника рыбной базы? Тогда ведь всего лишь база у нас была. А жили как бы одним семейством. Но, конечно, без сталашковского размаха: не то время, не те возможности, да и натура у того нашего начальника, тихого, неспешного китайца Фэня (кажется, наполовину китайца), совсем иной была. Фэнь вслед за тобой ушел на фронт и погиб в сорок втором.

Давно нет этого сухонького, с незамирающей улыбкой на лице человека — будто он всегда и всему удивлялся и радовался, — а я помню его белые, упругие китайские пампушки, самодельные конфеты-липушки, бумажные цветные фонарики — я и теперь иногда их клею — и, главное, его радостную тягу к детям: не пройдет мимо, чтобы не одарить чем-либо или не сказать, пусть и самому хулиганистому: «Ты очень хороший мальчик». Так вот, и тогда у нас была жизнь артельная, но... как бы сказать точнее? Менее громкая и... вот — непьяная. То есть нормальная. Без лозунгов, почти без портретов культовых, без штурма трудовых рубежей. Да и зачем все это было Фэню? Он и пачки папирос не взял себе лишней в магазине. Его видели всегда работающим — и без агитации сами работали хорошо. Он любил детей. А разве любящий детей выкрикнет лозунг? Или заставит молиться портрету?

Ты знаешь, Аверьян, большой культ неизбежно порождает малые. Как по лесенке — все меньше, меньше, и вот уже какой-нибудь прыщ на ровном месте завбаней Санюшкин, фигура с пупцом вперед, — тоже важное руководящее лицо, поскольку в бане изволят омыwać свои тела сам директор. Сталашко, бывало, по многу раз в своих речах выкрикивал имя вождя, но и себя позволял возвеличивать. Сидит в президиуме и только багровеет от удовольствия, слушая из уст выступающих похвалы своему уму, организаторским талантам. Первым, ты уже догадываешься, брал слово, задавал нужный тон Мосин. Когда работал бондарем — от имени коллектива бондарей, затем как начальник бондарного цеха, позже — директор тарного завода. Он поворачивался лицом к Сталашко, и сидевшие в зале видели лишь его тугой жесткий загривок, так как трибуна была устроена впереди стола президиума. Для начала Мосин четко выговаривал всегда одни и те же слова: «Антип Тимофеевич, товарищ Сталашко, не раз указывал нам...»

В начале шестидесятых у нас появился сельский Совет, его первый председатель, инвалид войны Панфилов, присланный из района, немедля, думаю, не без помощи Мосина, возлюбил Сталашко и не мог уже без немого почитания ни взирать на него, ни выслушивать его поучений. А вскоре назвал Сталашко крупным словом: «Хозяин». Правда, и сам получил меткую кличку от сельчан — Хромой ординарец. Но это не смущало его, напротив, он гордился даже: мол, при таком генерале — честь и в ординарцах состоять.

Вот и получилось: председателю сельсовета, Советской власти в селе, надо бы поприжать, образумить директора рыбозавода, а он сам давай возвеличивать его, да еще так лакейски. И образовалась руководящая группа: Сталашко, Панфилов, Мосин, секретарь партийной организации Терехин. Вернее будет, пожалуй, сразу после Сталашко поместить Мосина, потому что вскоре предсельсовета начал прислуживать и ему — реально возрастающей силе, так сказать.

Надо бы Терехина позримее представить — что за человек на такой ответственной должности? Но сделать это не так-то легко. Внешне прекрасно помню его — некрупный, завидно крепкий, с румянцем девичьим на щеках и большой любитель анекдотов, чуть кто заикнется: «Слушай, армянскому радио задают вопрос...», а Терехин уже хохочет, смигивая с округлых, голубино-голубых глаз слезинки, кажущиеся тоже голубыми. Был он рыбаком-ударником, позже хорошим засольным мастером, выдвинули, посадили в кабинет — и как бы не стало прежнего Терехина, даже голос у него, ранее хриплый, сделался мягким, женски певучим. Ни мнений, ни суждений никто никогда от него не слышал. Да и видели его редко: или посиживал в совершенно пустом кабинете, скучно перебирая бумаги, или на огороде у своего дома бойко хлопотал: лучшие помидоры в Селе выращивал. Ну и нетрудно догадаться, каким партсекретарем был Терехин — слова не молвил без подсказки сверху. А разве потерпел бы кого иного возле себя Сталашко?

Эта четверка до сих пор ясно, с осязаемой реальностью видится мне: седеющий красавец Сталашко, всегда под крепеньким хмельком, набирающий все больший общественный и телесный вес; Мосин, всегда при галстукке и только для виду пригубляющий спиртное; костистый, суетливый, поддериживающий брючонки Панфилов, всегда готовый ринуться на защиту авторитета Хозяина; и Терехин, этакий удобный мягкий буферок между ними, всегда бодрый, всеми и всем довольный, где какой шумок — потихоньку уладит, а понадобится — серьезный удар «сбуферит», не шибко вникая, за кого ему перепало: значит, так надо.

Но как раз Терехина не слишком баловал Сталашко (пользуясь его мягкостью, пожалуй), забывал приглашать на свои начальственные рыбалки и охоты, ни разу, кажется, не похвалил с трибуны. В путины неделями де-

ржал его на тонях рыбаков, строго напутствуя: «Ты у меня кто? Запомни: не конторщик бумажный — рабочий секретарь. Потому с народом, в гуще будь!» Терехин послушно ехал к рыбакам, но и там редко его видели: отсыпался на какой-нибудь дальней тоне, разумно полагая, что ловцов подгонять не нужно: кому не хочется хорошо заработать в путину?

А рыбалки и охоты наши начальники устраивали важные. Со свитой обслуги они выезжали брать осетра, калугу, валить лося, медведя. Приглашались, конечно, нужные люди из района, области. Шумные сборы, победные возвращения с добычей — все и без малого стеснения на глазах сельчан. Летом народ собирался у речной пристани проводить веселую флотилию катеров, зимой — олени упряжки, взятые вместе с какурами в эвенкийском колхозе. Дозволялось на часок-другой прервать работу и полюбоваться неурочным празднеством. Не хлебом единым, мудро следовали примеру древних наши начальники, но и зрелищами жив человек.

Ты можешь спросить, Аверьян: «Что же, так все и помалкивали, взирая на эти барские роскошества? Ведь какая-никакая интеллигенция была — учителя там, врачи?..» Удивлю тебя, но прямо скажу: да, молчали, и почти все. Я после немало думал: почему? И так себе ответил: человек податлив, его ко многому можно приучить, если приучать постепенно. Пусть сегодня кивнет только, завтра улыбнется согласно, послезавтра позволит возвыситься, поощрить себя... Главное — внушить ему, что так принято, так поступает большинство, такова всеобщая атмосфера. Ну и не забывать о строптивых, прижимать их, делать страждущими и несчастными: чтоб не захотелось в их компанию? Это же болтуны, пустые критиканы, неврастеники, которых лечить надо! Глядишь, попримолкли строптивые, с кем и о чем им говорить: народ уже презирает их. Народ — за Хозяина. Народ любит своего Сталашко и его соратников. Подумаешь, на охоты-рыбалки выезжают, казенные средства тратят, они — заслуженные! Подумаешь, охотничью дачу на острове устроили — не для себя же только, им тоже нелегко бывает: крутятся там в районе да в области, фонды эти выбивают. А без фондов куда? Ни построить чего-то, ни рыбу поймать, и магазины пустые будут... Значит, для народа стараются. Ну, говорят некоторые: мол, сооружали профилакторий для рыбаков, а он в Избу охотника превратился... Тоже мелочи. Недоволь-

ные всегда найдутся. Это как сорная трава, сколько ни выпалывай, все лезет. Разве что специальными гербицидами ее... Плохо живем, что ли? Давайте спросим: вот ты, ты — чего у вас нет, чем недовольны? Сколько на сберкнижки кусков накидали? То-то же! При другом директоре без штанов ходили бы. Вот и не надо выступать — не умнее других. Народ знает, как ему себя вести.

Я сказал: молчали, и почти все. А значит, не все. Если бы все и всегда — мы бы с четверенек не поднялись. Впрочем, многим лишь кажется, что они в вертикальном положении. Об этом мы еще поговорим. Хочу сказать вот что. Трое в нашем селе не смолчали: тогдашний директор школы Софрин, инженер-технолог рыбозавода Шарапов и я. Особенно нас возмутила афера с профилакторием.

Меня так и прямо это касалось: сие оздоровительное заведение должно было функционировать под моим руководством как главврача больницы, и я уже подбирал персонал для островного здравпункта, ходил к Сталашко и Панфилову, просил дать заявку на двух врачей, дефицитное оборудование. И вдруг слышу от самого Сталашко: «Рыбозавод пока не имеет средств на содержание профилактория, вот разбогатеет... Подождать надо». Подождали, увидели: средства на охотничье заведение нашлись, и немалые.

Сочинили мы, Софрин, Шарапов и я, письмо с фактами, доводами и выводами, поспорили немного, куда послать, решили — прямо в краевой центр, для верности.

Время, однако, было неподходящее: шло укрепление партийного руководства. Проводилась такая кампания в начале семидесятых, и наше письмо через область и райком было переслано руководству нашего же Села, с обычной тогда резолюцией: «Разобраться на месте». Софрин и Шарапов получили по строгому партийному выговору «с занесением» и формулировкой: «За огульную клевету на руководящих работников в личных карьеристских целях...», а я был исключен из партии — как зачинщик, возмутитель, склочник, к тому же разваливший работу вверенной мне больницы, в результате чего «имел место трагический смертельный исход». Зачлось мне, думаю, и спецотделение, которое им так и не удалось открыть (ездили обследоваться в район), и магазинное распределение, которым они хоть и пользовались, но с опа-

ской. О «смертельном исходе» я чуть попозже расскажу, теперь же о том, что до сих пор саднит мою душу, будто ее ополовинили тогда.

Представь, Аверьян, тесный кабинет директора рыбозавода (практики шикарных кабинетов обычно не заводили), люди сидят, дыша в затылок друг другу, и перед ними — президиум, всегда тот же, всегда постоянный: Сталашко, Мосин, Панфилов, Терехин, кое-кто из рядовых, надежных. Теснота рассчитана, продумана — чтоб глаза в глаза, чтоб никто не ускользнул от влияния президиума. Руководящая четверка в легком подпитии — для бодрости, тонуса, и оттого повышено строга, самоуверенна. Да и многие рядовые товарищи приняли по такому серьезному случаю — это разрешалось, в меру и чтоб без пьяных выходов, конечно. Собрание, как водилось, заранее было отрепетировано, выступающим вручены бумажки, ненадежные члены партии задействованы на рабочих дежурствах, два-три совсем уж неуправляемых отосланы в командировки, и здесь — актив, так сказать, сознательная часть парторганизации, опора руководства, ну и кворум для протокола, естественно, соблюден.

Не знаю, Аверьян, был ли ты членом партии? Пожалуй, нет. Не успел вступить, имелась у тебя и кое-какие биографические препятствия (мы о них слышали от взрослых), но комсомольцем ты был горячим, истинным. Значит, поймешь меня.

Я почти наверняка знал до этого, «хорошо подготовленного», собрания: меня исключат из партии. Но, оказывается, одно дело так вот знать, предполагать (что само по себе оставляет пусть и малую надежду на справедливость) и другое — услышать вдруг после утомительных, пустых, одурачивающих речей по бумажкам, как в бреду: «Сдайте свой партийный билет!» Помню: встал, нащупал в левом внутреннем кармане пиджака жесткую книжицу, а вынуть не могу. Обессилела рука. Зато душа моя воспряла, возмутилась. Помнится, я внятно, спокойно выговорил: «Не вы мне его вручали, не вам его отнимать». Повернулся, покинул собрание. В полной тишине. Растерялся на минуту-другую боевитый президиум. И уже из-за прикрытой двери услышал я истеричный выкрик бесменного секретаря всех партсобраний Панфилова: «Ты ответишь за этот хулиганский поступок!»

До сих пор удивляюсь: ни на собрании, ни позже, когда дважды приходил ко мне Терехин и требовал от-

дать ему партбилет, я не подумал, не вспомнил, хотя точно ведь знал: лишить партийного билета может только бюро райкома. Четверка просто изводила, терроризировала меня. Терехину сказал (хотя он-то по малограмотности мог и не знать всех тонкостей партийной работы): «Приедешь в третий раз — с ружьем встречу». И мог бы пальнуть — в таком отчаянии был.

Почти не работал, в больнице не находил дела, от операций вообще отказался — тряслись руки: ждал ответа на свои апелляции в райком и обком. Вот уж точно — недели тянулись годами. И наконец — ура! Райком (не без нажима обкома, думаю) рекомендовал ограничиться строгим выговором с занесением в личную карточку.

Ты скажешь: «Обрадовался! За что же тебе строгий да еще с занесением?» Бог с ним, ответу тебе, с этим выговором — в партии главное остался! А эти выговора... Кто их не получал для острастки в то время? Ну, прибавилось седины на висках; ну, стал подергиваться левый глаз; ну, жена почти возненавидела меня: «Борец отыскался, ни себе, ни другим жить не даешь!» Ну, душа будто ополовинилась — не умерла же. Главное — хожу, мыслю, работаю. Живу! И вижу все, и не успокоюсь, и правде не изменю.

Уговаривал Софрина и Шарапова не сдаваться: пусть они нас боятся, пусть знают — мы здесь, рядом... Отступились: «Кнудом обуха не перешибешь». Вытолкнули их из Села «по собственному желанию» и с положительными характеристиками (другим на перевоспитание этих умников!), да они не шибко и держались за опостылевшее им место: приезжими были.

А я сказал руководителям: меня выжить нельзя. Я здесь родился, здесь и умру. Сжить со света — да. На кладбище. Но я живучий. Придется вам повозиться со мной. А закопаете — по ночам буду приходить на ваши рыбалки-охоты, на ваши застолья в Избе охотника.

Объявили ненормальным, отвернулись: с идиота какой спрос?

Укрепление партийного руководства прошло у нас успешно, это я сам слышал на собраниях, и наша четверка стала вовсе непререкаемой: переходящее знамя в руках, наградам, премиям несть числа. Бондарка переросла в тарный завод, Сталашко нацелился на Героя соцтруда, вернее, его начали нацеливать... А рыбы все меньше и скуднее: подорвали лососевых непомерными планами по

всему, так сказать, амурскому бассейну. Спешно был возведен третий заездок, колхозы, естественно, мобилизовали все свои ловецкие возможности. Продержались еще какое-то время. И пошли приписки: всяческая пересортица, сдача частичковых вместо лососевых, комбинации с учетом и переучетом готовой продукции... Стремясь натянуть план, Сталашко однажды (это узналось позже) потопил две баржи с бочками, вместо рыбы набитые песком. Пожурили только передового директора. И заскользил он по наклонной, как говорится, к безрассудству все большему, подталкиваемый соратниками: надо продержаться, будет сильная путина — перевыполним планы, перекроем недостачи!

Не перекрыли. Откуда было взяться рыбе, если ей и нереститься стало негде: по берегам ручьев вырубили лес, и они обмелели, сплавные речки «залудили» топляком... И брали-то ее, рыбку эту безответную, как из прорвы неиссякаемой!

Отняли знамя. Лишили почестей.

Тут и красавица Ульяна, пышно расцветшая на хорошей жизни, очнулась наконец, давай ко мне в больницу захаживать (вроде бы по делам — она у нас детсадиком заведовала), захаживать и жаловаться, совета просить: как разлучить Антипа с дружками-подпевалами, как укротить его беспутное пьянство? Чем я мог помочь всерьез загоревавшей женщине? И что толку было теперь укорять: надо б раньше спохватиться, я говорил, я предупреждал. Болезнь запущенную операцией лечат, но не каждый выживает после оперативного вмешательства, как известно. Да и лечиться никакого желания у Антипа не виделось. Не мог же я посоветовать Ульяне написать куда следует о муже и его недобрых соратниках — подумает, что хочу отомстить им, обидевшим меня. И она не просила меня урезонивать Антипа, знала — для него я все больше становился врагом, без раздражения он не мог даже фамилии моей произнести, а раза два, слышали, сказал: «Этого Яропольчикова привлекать пора, диссидент настоящий!» Может, и потому еще так злился, что начинал понемногу, подсознательно понимать мою правоту?

Я ездил в область, край, пробивался в какие мог высокие инстанции, был на приеме даже у председателя крайисполкома и все доказывал, убеждал с цифрами, выкладками, экскурсами в прошлое и взглядом на перспективу: надо резко сократить добычу лососевых и немед-

ленно строить рыбоводный завод, чтоб, значит, не только вылавливать, но и разводить рыбу.

Словом, говорили мы с Ульяной, горевали, а все шло своим чередом, прежним то есть.

В последние два-три года жутко было смотреть на Антипа Тимофеевича Сталашко. Пил беспрерывно. Когда-то плававшее смуглым румянцем лицо стало желтым. Лихая чуприна сперва побелела, а затем почти выпала. Синь в глазах беспросветно замутилась. Красавец казак сгорбился, опустил к земле взор и держался хозяйски только своей прирожденной волей. И все крепче «сдружился» с Мосиным и Панфиловым. Тем, конечно, хотелось уже отстраниться, и Сталашко наверняка чувствовал это, а потому придирчиво следил, чтобы соратники не сбежали прежде времени: мол, вместе вознеслись, вместе погибать будем.

Но погиб он один. Случилось это в год, когда вышло наконец постановление свернуть добычу рыбы, законсервировать рыбозавод. Поехала троица на рыбалку. Пила, гуляла. И принялась глушить рыбу. Делалось это просто: рыба-глушитель берет в руки пару динамитных шашек, соединенных бикфордовым шнуром, шнур поджигает папироской посередине и, выждав минуту-две, у кого на сколько хватит смелости, бросает шашки в воду. Они идут ко дну, там взрываются — оглушенная рыба, ранее собранная в одно место приманкой, всплывает кверху, бери ее руками.

Не знаю, что и как там получилось, только обе шашки взорвались в руках у Сталашко. Говорили потом, будто не тот шнур ему подсунули... Однако и на следствии ничего толком уяснить не удалось: старик Панфилов надолго слег в больницу — тронулся умом, никогда не напивавшийся Мосин твердил одно: был пьян, во всем слушался Антипа Тимофеевича, боялся перечить ему, и шашки, и шнур директор лично доставал у военных... Одно верно — сам ли Сталашко решил покончить с собой или ему помогли в этом — сделано было умело: погиб мгновенно, до неузнаваемости изуродованный взрывом.

Хоронили его богато, со всеобщей печалью, голосисто-надрывными плакальщицами и торжественными речами: почитали сельчане своего директора и Хозяина, по душе им были его простота и отчаянность натуры, да и жили они при нем небедно.

Ульяну держали под руки, у нее уже не было ни

слез, ни голоса — все выплакала, вырыдала, лишь дико озиралась вокруг, и если взгляд натыкался на Мосина, она безголосо вышептывала: «Он, он убил Антипа!..» После похорон она быстро собралась и уехала в город Уссурийск к родственникам. Отбыл приезжавший на похороны отца младший сын Антипа, майор-танкист, сказав на прощание: «Казака выбили из седла, тесно ему было здесь, казаку степь с ветерком нужна, задохнулся он в тайге да в сопках, да в жизни не своей...» Говорят, Ульяна настаивала, чтобы и старшая дочь, забрав детишек, ехала с нею — бросила Мосина, развелась и забыла его, спойвшего, сведшего в могилу Антипа. Но та осталась: куда при троих-то детях? И Мосин как муж, видно, вполне приемлемым был. По крайней мере никто из сельчан не слышал о скандалах, даже малых раздорах в их семействе. Дети Мосиных не отличались особой избалованностью или задиристостью, были такими же, как вся прочая сельская детвора. Мосин серьезно заботился о незапятнанности своей семейной жизни, и это ему удавалось. Словом, он еще крепче укоренился в Селе, а Сташки начисто вымелись из этих мест.

Памятник погибшему директору ставили всем миром, без агитации. Глыбу гранита с горы скатили, одну сторону отшлифовали и на ней выбили фамилию, инициалы, год рождения и смерти, а пониже: «Мы любили тебя, Антип Тимофеевич!»

Вот и конец этой истории, Аверьян. Можно сказать, истории одной жизни. Рыбозавод закрывал уже Мосин. О нем будет еще разговор. А теперь — прошу, мы у двери бондарки мастера Дмитрия Илларионовича Богатикова.

9

Перешагнем порог и задержимся на минуту, Аверьян, послушаем, как шипит стружка под настругом, будто на сковородке что-то жарится. Эту подсобку Дмитрий Илларионович, или просто Митрий (так я его зову), приспособил для личной бондарки — не сидеть же ему в огромном бондарном цехе таркомбината, сиротливо будет, да и с отоплением не справиться. А здесь тепло, уютно, и на чугунной печке вон чайник побулькивает. Ну и запахи стружки, щепы, опилок — целебнейшие, покрепче

любых фитонцидов, вредным бактериям гибель верная и немедленная. Потому и Митрий, глянь на него, как мужичок-лесовичок кряжист, румян, проворен, и лысина вовсе не старит его: коричнева, туга, точно шляпка у осеннего гриба-боровика... Вот увидел гостей, идет от верстака, протягивая руки, ухмыляется в бороду — рад, конечно, нас ведь теперь здесь немного, каждой живой душе навстречу кидаемся, а тут не кто-нибудь со мной — сам Аверьян Иванович Постников.

— Добрый день, Митрий!

— Добрый, Никола!

— Я не один сегодня, как видишь. Знакомься. Сказал тебе знакомься и подумал: вы же знакомы, Митька и Аверьян Иванович, ученик и учитель.

Богатиков хитровато и понимающе жмурится, вздыхает, как бы сокрушенно, помахивает головой, говорит:

— Выдумщик ты, Никола. Вообразишь себе чего-то и другим внушаешь.

— Ты не видишь Аверьяна, значит? Или не узнаешь, Митрий? Он молодой, да. Ему всего двадцать пять, а нам под шестьдесят... Но все равно, Митрий, он старше нас, он наш учитель. Вообрази, не было бы в нашей жизни Аверьяна (а мы его так и звали меж собой — Аверьян, при таком редком и звучном имени, нам казалось, ни к чему отчество и фамилия), совсем не было бы его — как бы мы с тобой жили, какими такими человеками стали?

— Да я сам часто вспоминаю нашего учителя, иной раз прямо как живой вообразится...

— Он здесь, с нами, протяни руку, поздоровайся.

— Ну, внушитель настырный!.. И впрямь вроде бы вижу... Здравствуйте, Аверьян Иванович. Проходите, учитель.

— Другое дело совсем. Чайку давай нам покрепче. А мы вот на эти чурбаки листовяжные присядем, иной мебели у тебя не водится. И хорошо. Чурбаки надежнее, сидишь и чувствуешь под собой всю планету, ее крепость, ее тяжесть, ее округлость, от таких «кресел» не бывает радикулитов, геморроев, рассиженных задов; посидел полчаса — весь день помнишь задним местом, что ходить, двигаться, действовать надо! Я бы такие чурбаки в кабинетах ставил, пусть бы их шлифовали дорогими штанами любители заседаний. Может, поуменьши-

лось бы желающих заседать?.. Вообрази, Митрий, нашего Мосина на чурбаке — ни спинки мягкой, ни подлокотников удобных, а? Он бы таркомбинат не воздвиг — сбежал из такого оскорбительного для ягодиц кабинета. Представляешь, какую экономию имела бы страна?

— Придумщик ты, Никола, — беззвучно хихикает Богатиков, поглядывая, как неторопливо и крупно отхлебывает из тяжелой фарфоровой чашки его друг, Яропольцев Николай Степанович, пьет сам и скошенным глазом видит, что третья чашка, на верстаке, стоит нетронутая, к ободку ее лепится осенняя вялая муха, но все взлетает, будто сдуваемая кем-то невидимым, и, отвернувшись, Богатиков торопливо говорит: — Вот думаю, не ошибся ли наш учитель, когда определил тебе врачом быть? Тебе бы писателем, что ли, или лектором, не то труды академические сочинять.

— Нет, Митрий, не ошибался Аверьян, он, как бы тебе сказать, на грани своих возможностей жил, не жалея себя то есть. Такие не ошибаются. Только в сверхнапряжении человек прозревает.

— Когда душой горит, что ли?

— Можно и так сказать.

— Он-то горел, точно.

— А для литературы у меня таланта не было. Для врачевания, пожалуй, тоже, но тут можно волей, практикой взять. Аверьян о полезности еще заботился — врачи-то как были нужны? А меня к биологии влекло, и по анатомии была пятерка. Сам-то, скажи, не обижен, что тебе учитель определил бондарить?.. Помнишь, Аверьян, ты ему так и сказал: «Ну, ты иди по стезе отца и деда, руками ты умен». Посоветовал не мучить себя образованием, семи классов, мол, вполне будет достаточно. Ты так и поступил, Митрий.

— И не жалею.

— Мастер редкостный из тебя получился, это точно. Наследственный. Если б тебя не учили дед с отцом тесать, строгать, ты бы по подсказке генов стал бондарем. Глянь, Аверьян, на его бочки — штучной работы каждая, и на днищах — личное клеймо Богатикова: крест из топора и наструга. Бочки — тугие бубны, напряженные сферы, изящные емкости, золотистые шары... Подними вон ту, ударь об пол — до потолка подпрыгнет. Клепочка к клепочке, дощечка к дощечке, все подогнано, до миллиметра вымерено — ни вода, ни рассол из таких бочек не вытечет. Это не мосинские с конвейера,

это не вал для плана — работа на радость себе и другим. Вон они, горы таркомбинатовские, догнивают. А эти, богатиковские бочки, берут, да еще со спором, стараясь перехватить друг у дружки, — и район, и область. Из краевого центра приезжал уполномоченный, уговаривал заключить договор на поставку тары для краевого рыбокомбината. Понятно: в бочках богатиковских икра не портится, в них рыба годами может храниться, их на ВДНХ выставляли. Наделает их Митрий сотни три за год, пригонят баржу и заберут. И самого бы увезли, да не едет. Правильно делает: мастера везде найдут, работу его оценят. Я вот думаю, Аверьян, появится, допустим, где-нибудь в самой глуши африканской гениальный, ну, скажем, резчик по кости — разве к нему не доберутся, разве не оценят его труд? Мастера должны жить по всей Земле, мастера — это светляки в пространстве жизни, без них исчезнет искусство, обесценится человек. И незачем, вовсе незачем им скапливаться в городах, их там живо приучат к потоку, унификации. Правильно я рассуждаю, Аверьян?

— Вполне правильно, Никола, — отвечает поспешно Богатиков, как бы опасаясь, что услышит голос невидимого человека, доликает в чашку Яропольцева, подумав немного, меняет чай в чашке на верстаке. — Да в том беда — хиреет наше мастерство. Сыновья вот мои у меня переняли умение, а дальше — кому это будет нужно? Теперь вон рыбу приноровились в ящиках солить да охлаждать — и сразу на прилавок. Нечего особенно-то хранить. Понятно, в тузлуке, в доброй бочке семужного посола — продукт экстра сорта, на правительственных приемах подавать можно. Разучимся, видно. Если к тому же и лосося все меньше.

— Разводить будем, Митрий! И сыновей ты выучил. Внука хотя бы одного приобщи...

Да, старший внук у него в Афганистане погиб. Гроб сюда привезли. Мы тут сильно это пережили: хороним, а посмотреть нельзя, запретили открывать. Митрий до сих пор не верит, что там был его внук Вася... Все войны печальны, а эта горькая, так я ее чувствую. Как подумаю о ней — стратегов политики и экономикки недавнего прошлого вспоминаю, для меня они — все мосины, только власть большую имели. Ладно, будет еще время подумать об этом, и не мне одному. Радуюсь вот, что стройка наша идет и Мосина у нас нет.

— А если вернется?..

— Не шути так нехорошо и не пугай нашего гостя Аверьяна Ивановича Постникова. Скажи вот лучше: если б Мосин учился с нами, у нашего учителя? Каким бы он стал?

— Таким же, думаю. — Богатиков принимает пустую чашку от Яропольцева, вместе со своей ставит в тумбочку, где у него под салфеткой хранится все для чая, косится осторожно и сощуренно на остывшую чашку Аверьяна, но не трогает ее (вроде бы чая в ней поубавилось), поворачивается спиной к верстаку, как бы не желая кому-то там мешать, спрашивает: — А ты полагаешь, Никола, другим стал бы Мосин? Он же начальником родился на свет. Ну вот я — бондарем, другой — музыкантом...

— Что же, и начальники по наследственности?

— А как же? С древнейших времен, думаю. Ну, как люди начали в племена собираться... В любом стаде имеется вожак. От вожаков вожаки нарождаются и так далее. Это я больше чувствую, доказать не могу, образования маловато.

— Вот и ты зафилософствовал! Есть, есть что-то в твоих рассуждениях. Насчет стада вот. Верно: пока люди бредут стадом — будут у них погоняльщики. Как мыслит, Аверьян, твой ученик Митька Богатиков? Это он Мосину в лицо сказал: «Вы бонза кабинетная!» Мосин — типичный погоняльщик, может, и наследственный, кто его знает, каких он кровей! И все-таки, Митрий, если б он четыре первых своих школьных класса учился у Аверьяна Ивановича, неужели хоть чуть-чуть не смягчилось бы его сердце?

— Чуть-чуть, конечно...

— Вспомни, я тебе рассказывал: Мишка Макаров, по прозвищу «Люблю покушать», на что толстокож был, а и он просветился: страдаю, говорит, от совести, иной раз нехорошими словами поминаю Аверьяна, а от этого его «самое, самое главное — быть человеком» избавиться не могу. Вложил он мне в душу свой «очаг справедливости».

— Мосин покрепче других. Но учитель наш смутил бы и его душу сколько-то. Человек же он какой-никакой, Мосин!

— Извини, Аверьян, что мы при тебе так вот прямо говорим про тебя. Как о святом, всесильном. И ни слова про твои слабости, недостатки, что ли. О пороках не говорю — ты их не успел нажить. Ну, хотя бы малые

грешки-то водились? Как, Митрий, замечалось что-то такое у нашего учителя?

Богатиков молча, с нескрываемым суеверным испугом мотает головой, даже слегка отстраняется от друга, его борода попадает в свет из окна, вспыхивает розово, сияет седое обрамление вокруг его лысины, и вот уже он чудится Яропольцеву неким лесным существом, ухватистым, прочным, выросшим среди таежных дебрей этаким листовяжным кряжем и потом только кем-то искусно подтесанным, подструганным. И одушевленным. Потому он так слитен с деревом, потому оно так послушно ему.

Яропольцев поднимается, жмет Богатикову руку — ну да, она деревянно жестка и суха, — говорит:

— Всего доброго, Митрий! Мы пойдем дальше, много у нас дел сегодня, а ты, если заскучаешь, приходи вечерком к нам на чай. Ну, и жми руку Аверьяну Ивановичу.

Яропольцев прикрывает за собой дверь бондарки, а Богатиков стоит какое-то время с протянутой рукой, пожимающей воздух, затем, улыбаясь сам себе, без малого смущения идет к станку — услону, садится на него, зажимает в рычаге отесанную клепку, длинно проводит по ней настругом, чувствуя легкость в руках, нежное тепло в груди, похожее на вдохновение, и да, конечно, он может поклясться — ощущает, что он не одинок в тесной своей бондарке, за ним кто-то следит, мудрый и добрый. Потому-то легко его рукам, вдохновенно у него на душе. Богатиков думает вслух:

— Вот сейчас я — Человек!

10

Мы опять у меня дома, Аверьян. Раздевайся, проходи. Время обеденное, надо перекусить. Вымолвил вот: раздевайся—и подумал: в чем ты тогда ходил? Ну да, на тебе всегда было что-то легкое: плащ для весны и осени, зимой оленья дошка коротенькая и нараспашку, голору прикрывал разве что в сильные холода... Ты страшился тяжелых дорогих одежд и если видел человека, основательно приодетого, говорил нам: «Смотрите, ребята, в допехах гражданин!» Непритязателен, легок ты был в той своей жизни: ел, что подавали в интернатской столовке, носил, что продавалось в нашем поселковском промтоварном магазине, любил вот только белые рубаш-

ки; зимой, летом — всегда белые, отглаженные, пахнущие дождевой водой. Эти твои рубашки прямо-таки притягивали нас, мальчишек и девчонок, хотелось притронуться незаметно, подышать их свежестью... Мы тебя издали узнавали, находили по белому пятну на улице, в школе. Позже я догадался — ты сам отбеливал в щелоче и крахмалил свои рубашки, чем у нас пренебрегали даже самые опрятные хозяйки.

В той своей жизни... Опять — в той... Но ведь я тебя чувствую, вижу, знаю — не удивляйся — и в этой, теперешней твоей жизни, вернее — тебя теперешнего. Собирался сказать, да все медлил... Во мне два Аверьяна Ивановича Постникова, оба одинаково живы, реальны для меня: и тот, двадцатипятилетний, и этот, семидесяти лет. Я высчитал: ты с шестнадцатого года рождения и старше меня, значит, лет на четырнадцать. В детстве эта возрастная разница казалась мне огромной, непреодолимой, теперь же мы оба старые люди. Потому-то прежнего тебя я больше вспоминаю, с сегодняшним — говорю. Но есть еще одна особенность: тот, молодой, ты был и всегда будешь старше меня, пусть я доживу и до ста лет, ибо старше своего учителя быть нельзя; а этот, теперешний, ты мне друг или, если тебя смущает такая фамильярность, более опытный по возрасту и жизни товарищ. Труднее соединить вас воедино, двух Аверьянов, да это и не к чему, пожалуй: ты не расскажешь о себе после сорок первого года, мне нелегко домыслить в подробностях твою послевоенную жизнь, а потому: «Здравствуй, Аверьян, сразу семидесятилетний!» Худощавый, седовласый, неспешный и молчаливый. У тебя глаза с юной голубизной, у тебя бородка интеллигентно опрятная, у тебя осанка волевая, прирожденная, но, конечно, ты притомлен, и лицо бледновато, и руки подрагивают, и на трость слегка опираешься — годы-то какие прожиты! В одежде прост — темный костюм недорогой, шляпа с прямыми полями, чуть на старый манер, и вот главное — рубашка сияющей белизны, с холодноватой синью, как вон те снега дальних вершин... Ты излишне строг, вернее, корректен, и все равно с таким Аверьяном мне легко, я могу говорить о самом разном, могу поспорить, не согласиться... Ну и предложить отпробовать чашечку брусничной. Подумать только! Вот именно — смел бы я подумать тогда, что предложу своему учителю выпить настойки собственного приготовления?

Подсаживайся к столу, Аверьян. У нас имеется все

для дружеской трапезы: хлеб, рыба вяленая и жареная, капуста квашеная, картошка с собственного огорода, особенная, синеглазкой таежной мы ее называем (и жук колорадский к нам пока не пробрался), кое-что лесное — грибы, черемша и вот это, маринованные луковицы цветка сараны. Помнишь, мы их сырыми ели?.. А настоечка, смотри, как рубиново светится, это же кровь таежная, мерцанием веселит. Прикоснемся чарками — и пробуй, друг. Старикам полезно, если понемногу. Не понимаю вот, зачем молодые пьют спиртное, да еще, бывает, сверх всякой меры? В молодом и без того все кипит, бурлит. Если он подогревает себя еще и алкоголем — в короткий срок сгорает: это как хорошо горящий костер бензином подбадривать — пламя вон какое будет, а после дым да пепел... Прав я, Аверьян? Прав, потому что ты не нуждался в «сугревах», бодрости у тебя и без того хватало. А гулянки в то твоё время у нас затевались всеобщие, брага варилась бочками, даже мальчишкам удавалось угоститься, и уж никак нельзя было пренебречь застольем — обидеть народ; главу поселка Фэня усаживали на почетное место, он приглашал к себе тебя, Аверьян, вам ставили графин с брусничной, клюквенной, голубичной водой, подшучивали над вами, трезвенниками, но вскоре о непьющих забывали, и вы, повернувшись друг к другу, вели долгие разговоры. О чем? Я ведь могу только догадываться, впрочем, думаю, о том же, что тогда беспокоило всех, от ребятни до стариков: Хасан, Халхин-Гол, финская кампания, договор о ненападении с Гитлером... Тревожное время было, мне оно запомнилось жутковатым предчувствием чего-то страшного, неотвратимого. Прокатится за сопками гром, и сколько ни будет нас, мальчишек, на рыбалке, в игре какой-либо, занемерем, прислушаемся и почти поверим: рвутся где-то снаряды и бомбы... Тревожное и дружное было время, этого тоже не надо забывать: жили одной семьей, веря, что так вот, «трудясь и радуясь», войдем в недалекий коммунизм; никогда после я не видел более веселых празднеств, более согласного единения (не от всеобщего ли предчувствия беды?). Работалось без понукания, вино пилось лишь ко времени, трезвость хвалилась. Потому, наверное, и мне во всю мою жизнь потом не требовалось допингов. Да и не упомяну, чтобы кто-то из тогдашних моих сверстников стал алкоголиком.

Как настоечка, Аверьян? Мертвого, говоришь, воскресит? Понимаю шутку. Не плохо было бы иметь что-то

эликсирное для воскрешения, а? Нет, не всех, не каждого. Нужных бы воскрешать, талантливых, справедливых... Что, таким эликсиром завладеют власть придерживающие, сделаются бессмертными вместе со своими министрами, генералами, любовницами, писателями?.. Страшно, говоришь, подумать? Оттого-то, пожалуй, и не дано нам бессмертие — недостойны мы его пока, так скажем. Смерть очищает нас, уносит недобрую накипь жизни, страх перед нею очеловечивает даже (случается) диктаторов. И потому: да здравствует жизнь — наша, сегодняшняя, небессмертная!

Ты улыбнулся, потер кончиками пальцев переносицу, с легкой горечью покачал головой. А улыбка у тебя та же, твоей юной давности, не постарела, да и стареет ли улыбка, если сохранилась душа в человеке? Понятно, на морщинистом лице она будет несколько иной, но по сути, выражению... Ты и сейчас улыбнулся чуть смущенно, глядя вниз, как бы прислушиваясь к своей улыбке, оценивая ее — к месту ли, не обидит ли кого?.. А вот смеялся ты открыто, вместе с нами, и на глазах у тебя могли выступить слезы радости, отчего делались огромными глаза твои, казалось, они не помещались на твоём узком лице, перетекали в воздух, и каждому из нас словно бы доставалась капелька синевы...

Помнится, свой первый урок в нашем первом классе ты начал с шутки. Ты не стал представляться, называть себя по имени-отчеству, знакомиться с нами пофамильно — поселок был маленький, ты приехал недели за две до начала занятий, и мы знали тебя (и о тебе кое-что), а ты — нас и наших родителей. Едва поздоровавшись, ты заговорил:

«Вот шел я сейчас на урок, навстречу мне дед Пискунов, с ружьем на одном плече, с убитым большим глухарем — на другом. Я спрашиваю его: где подстрелили? Дед подставляет ладонь к уху и кричит: не слышу, глухой я!»

Все вместе смеемся, как же: глухой глухого перехитрил! Правда, дед Пискунов после этого получил кличку Глухарь, но он не обижался — совсем ничего не слышал.

В другой раз ты прочел нам свое стихотворение:

Хорошо в стране таежной,
Есть и рыбка, и икра...

Только жить здесь разве можно? —
Заедает мошкара.

Обрасти б звериной шкурой,
Влезть в перо иль в чешую...
Стыдно, люди, дымокурором
Защищать нам жизнь свою!

И ты ходил в тайгу без накомарника, не отмахивался от мошкары в поселке. Человек ко всему может привыкнуть, говорил ты, вон в Африке люди голые ходят, в Арктике ледяные дома строят, ну а тут нас комарики заедают... Смеялись старожилы, видя твое опухшее, искусанное лицо, плачущие глаза в красных веках, но ты терпел, и на второе или третье лето, теперь уж точно не припомню, тебе нипочем стал гнус, казалось, он лишь сердито вьется около твоего потемневшего, с загрубелой кожей лица. Мы подражали, конечно, тебе, а я... я, чтобы сразу закалиться, пошел в кусты стланика, разделся до трусов, лег на мох: кушайте, мол, зверюги-насекомые, с места не сдвинусь! Терпения хватило разве что на час, домой едва добрел, изъеденный в кровь, да отец еще выпорол за дурацкое геройство. Когда ты узнал об этом моем «эксперименте», посмеялся, конечно, но впервые, кажется, присмотрелся ко мне внимательно, что-то там для себя отметил (выделил?), а всем другим подражателям сказал:

«Как думаете, если человек спрыгнет с высокой скалы, он научится летать? Разобьется? Правильно. Не сразу Москва строилась, не в один день наш поселок возник, и человек на Земле тысячи лет стремится стать чело-ве-ком. Поспешил Николка — была ему порка! — это ты обо мне. — Ну, посмотрите вокруг себя: из семени не вырастает в один день лиственница, из малька — рыба, да и комар сперва личинкой ползает по дну болота, а уж потом взлетает кусать нас. Значит? Правильно: всему нужно время. — У тебя была такая манера, Аверьян: говорить, спрашивать, выжидать, и если никто не возражал, подтверждать сказанное, как бы от всех сразу, этим своим «правильно». — Вы пришли учиться. В первый класс. Я приехал учить вас. Но сначала сам учился. И кто-то учил моих учителей. Гляньте в прошлое, сколько можете. Оно называется историей. Так вот, первый учитель и ученик появились еще там, в пещерном времени. Не верите? Думаете, что они могли тогда знать? Немного, конечно. Но без их знаний не было бы нас, теперешних. А всего-то: старый мудрый ди-

карь научил молодого к палке прикреплять прутьями лозы (может, стеблями лиан?) камень... Это было первое орудие, первое оружие. Гляньте на свои руки, на лица своих соседей, на меня, посмотрите, какое нежное лицо у Оли Кондрашовой... А ведь все мы были бы волосатыми, ели бы сырое мясо, не умели говорить, если бы тот мудрец не додумался прикрепить к палке камень. Согласны? Правильно: от каменного топора к самолету и дальше. Вот мы и начали свой первый исторический урок. А ты не смущайся, Оля, тот умный человек хотел уже тогда, чтобы ты была такая красивая и все мы разумными... Ты что-то хочешь спросить, Богатиков? А, понятно: почему я аж из самой Москвы приехал в этот ваш таежный поселок? «Так шибко далеко», как ты сказал, Богатиков. Далеко — это да. Но вот что скажите мне: вы любите свой поселок? Слышу, любите. Ну, и чем же он хуже Москвы? Ага, примолкли! Хотя многое можно наговорить: столица, мол, дома большие, Кремль, театры, культура... Но человек культурным может быть везде. Это во-первых. Во-вторых, человек должен любить свое родное место, и потому оно не может быть хуже ни Москвы, ни Рио-де-Жанейро. Правильно? Вот я и подумал, когда нас распределяли учительствовать: есть такой поселок на Дальнем Востоке, вот он на карте, среди гор, у широкой реки, маленький пока что, но там живут люди, рыбу ловят, охотятся, у них растут дети, этих детей надо учить грамоте. И легко вообразил вас, мне иногда кажется — увидел даже ваши лица, твое, Мила Слепцова, твое, Коля Яропольцев, твое, Сережа Супрун, увидел всех сразу, услышал ваши голоса, вы позвали меня, думается, как только я вообразил вас, и вот я здесь, и учу вас, и удивляюсь, какие вы смышленные, умелые: можете рыбу поймать, птицу добыть, еду на костре приготовить, жилище для ночлега соорудить... А разве это не культура? Разве это не опыт наших предков? Вы увидите музеи, театры, кто-то из вас будет жить в городах — и почему бы не в Москве? — но вашему детству будут завидовать те, кто знает природу по скверам да паркам. Гляньте в окно: у такой реки, среди таких гор, на таком просторе, в таком раю земном многим ли довелось жить? Сейчас эти пространства почти пусты, а когда придут их осваивать, они станут совсем другими... И я рад, что оказался здесь. Ведь учить вас — истинная радость, вы доверчивы, умеете видеть, слышать, чувствовать, вас можно научить доброте и совестливости. Мы сделаем

наш поселок очагом культуры и справедливости. Скажите теперь, как я мог не приехать к вам?»

Ты притих, Аверьян, слушаешь в моем воспроизведении свою речь сорокапятилетней давности? За дословность, извини, не ручаюсь, а смысл весь в точности передал: он ведь в душе моей хранился, чувством моим стал и, значит, не мог исказиться от времени и жизни. Да и много ли нам тогда подобного говорилось? Пожалуй, и не умели. Теперь иное дело. Теперь любой заезжий лектор может столько наговорить о духовности, нравственности, справедливости — голова вспухнет. И мало что задержится в ней — это же слова для других, слова ради слов; одному положено говорить, другим — слушать.

А как вот это я могу не помнить — твой приезд к нам? Колесный пароходик шлепает по воде плицами, шипит паром, радостным гудением оглушает поселок, туркается в пристань, и ты сбегашь по трапу с легким чемоданчиком в руке. И видишь нас, будущих своих первачков: мы выстроились на берегу в белых матросках, синих трусах, в шапочках «испанках» — пришли встречать тебя, нашего учителя. По команде директрисы школы Охлопковой заиграл струнный оркестр что-то бравурное, вроде «Броня крепка, и танки наши быстры...», и мы хором прокричали: «Добро пожаловать, дорогой Аверьян Иванович!» А затем во все наши детские глотки: «Ура!» Ты не ожидал, конечно, такой встречи, растерялся в первые минуты, потом опустил свой чемоданчик на доски пристани и давай вместе с нами хлопать в ладоши. Старушка Охлопкова вручила тебе большой букет из ирисов и саранок, да мы еще каждый по букетику — тебя не стало видно за цветами, даже из карманов пиджака у тебя торчали цветы...

Минуточку, Аверьян, кажется, идет сноха Татьяна, да, ко мне, с кошелкой, еду несет, своей тут у нас будто бы мало. Говорю им: захочу ваших щей — сам приду, я ведь еще не на пенсии. Нет, заботятся. Терпи, значит, не обижай близких, перестанут ходить — другое заговоришь. Но ты не смущайся, Татьяна тоже о тебе слышала. Я ее быстренько выпровожу, да ей и самой некогда: сынишка малый у них, и медпунктом она заведует. Открыли медпункт, как только строительство в поселке началось. Я отказался врачевать, дисквалифицировался, говорю, за время сельсоветского председательства, молодых выдвигайте, чем не подходит моя сноха, с высшим меди-

цинским, а дела нет, и местная она, со временем больницей нашей заведовать сможет. Вняли, назначили.

Почти с ничего начинаем, возрождаемся, так сказать, и потому все у нас пока в миниатюре: киоск продуктово-промтоварный, пристанька со шкипером, почта на одну штатную единицу — Костя Севкан управляется. Да, тот самый, Аверьян, поэт наш стенгазетный. Ты ему тогда сказал: «Поэтом, брат, тебе не быть, а гражданином точно будешь». Он культпросветшколу окончил, был бессменным директором клуба в Селе и сейчас содержит в надлежащем порядке это культурное заведение, снятое, кстати сказать, с учетов и балансов; даже фильмы исхитряется нам показывать. И всю свою сознательную жизнь Севкан был селькором, да таким, что от его критических заметок матюгался Сталашко, предынфарктно багровел Мосин и в районе кое-кто чесал затылки. Он порывался подписать и то наше письмо об Избе охотника, мы едва отговорили его: журналист, мол, должен выступать только в печати, и хронический остеохондроз у тебя, и детишек восемь, девятый вот-вот явится на свет и закричит: «Папка, а кто кормить меня будет?» Но письмо в край отвез лично, не доверяя, как, впрочем, и мы тогда, местной почте; зато уж в противотарное дело влез с головой, строгачом по партлинии мосинцы отметили его боевитые наскоки на них. Да мы увидим его, Аверьян, если на охоту не убрел или в район кинокартину выпрашивать не отправился: ребята молодые на Паду не работают, скучно им по вечерам.

Что-то еще я хотел тебе сказать? Ага, вот это. Глянь в окно: Татьяна в калитку входит. Крепка, неспешна, свежа. И уверенна. И одета по моде. Правда, платье, курточка, шарфик не из московского салона Зайцева, но столичное, точно, летом ездили с Василием в турпоход на Кавказ через Москву... Я к чему это? А к тому же — иные они люди, непохожие на нас. С бóльшим довольством, что ли, в себе, вещах. Более ухоженные, здоровенькие такие, требовательные к комфорту. Это, думаю, хорошо. А вот с большим ли достоинством — тут надо помыслить. Для достоинства нужна вера в себя, жизнь, будущее, а ею-то как раз их и обделили, заставляя жить по указке, на поводу. Оттого, пожалуй, ироничны — ужас! Все подвергают сомнению, мало чему радуются. Но вот в последнее время заметно стали меняться наши молодые. Дело, дело им нужно — свое, живое. Чувство хозяйское. Даже в нашем Селе (или по-

селке? Был он когда-то поселком, потом Селом, теперь неизвестно как и называть), да, у нас тут: появилась разумная, нужная работа — и как трудятся ребята, без призывов, наглядной агитации, лекций о повышении производительности. Мы к ним ходим, Аверьян, сам увидишь. Я опять сбился с мысли. Хотел ведь только про то, что другие они теперешние люди. Красивее нас, но... не одержимее пока что — нашел наконец слово! Когда, к примеру, смотрю фильмы о нашем молодом времени, войне, послевоенных годах, думаю: старательно играют артисты, даже, бывает, талантливо, но я им мало верю: они не те и нас почти не понимают. Они просто слишком благодущные. И холеные еще. Посмейся, посмейся, Аверьян, над разговорившимся стариком Яропольцевым, бывшим твоим четвероклашкой, а мне пора встречать сноху.

11

— Входи, Таня! Сколько буду твердить, чтоб без всяких стуков. Тем более в середине дня. Что я тут — нагишом разгуливаю!

Татьяна приостанавливается у порога, оглядывает из прихожей чуть нахмуренно горницу, в которую открыта дверь, как бы думая, можно ли сразу пройти дальше, быстро идет к столу и, видя, что принесенное ею некуда ставить, с удивленной серьезностью спрашивает:

— Что у вас за пир, папа? Даже фирменная брусничная выставлена. И слышала; вы с кем-то беседуете.

— У меня гость, Таня.

Вынимая из сумки кастрюльки, миски и ловко находя им место на столе, сноха внимательно поглядывает в сторону примолкшего вдруг свекра; наконец она догадывается, что за гость в доме, чуть иронично говорит:

— Понимаю: Аверьян Иванович.

— Да, он, — словно бы очнувшись, отзывается Яропольцев.

— Вы с ним тут... наедине, не свихнетесь, папа?

— Напротив, мозги на место поставлю. И у тебя под наздором разве можно свихнуться?

— Ну, я не психиатр.

— Каждый человек хоть немного психиатр. Психолог, вернее. Иначе откуда бы взяться такой науке? Но ты права, Таня, узкая специализация — особенность нашего

технического века. Вон престарелый бондарь Богатиков и дом срубит, и лодку смастерит, и шкатулку художественную вырежет — все умеет по дереву. А мосинские умельцы на конвейере: один клепку резал, другой дупели гнул, третий донья в бочки вставлял — и, видишь, какой бочкотары наворочали? Так и у врачей теперешних: кто по нервам, кто по горлу, кто по желудку... А целого человека не видим. Его вроде бы нет. Может, и нет уже, а?

— Вы все шутите, папа.

Татьяна присела, откинула за спину светлые, сельски нестриженные волосы, сложила на коленях полусжатые в кулачки крепенькие руки, как это делают сельские женщины, отдыхая. Не собиралась задерживаться, но вот заговорил свекор, человек для нее странный (сколько о нем наслышана!), пугающий прямою суждений, взором серых, сухо-холодных, всегда пристальных глаз, как бы старающихся уловить и не выпустить твой взгляд и спрашивающих, вопрошающих: ну, о чем важном думаешь, как понимаешь жизнь?.. Не собиралась, а присела, слушает, слегка насторожившись — не сглупить бы в разговоре, не рассердить свекра каким-либо необдуманном ответом, однако и не унизиться излишней покорностью: он хоть и многознающ, но стар и едва ли хорошо понимает современных молодых людей.

— Нет, не шучу, — твердо говорит Яропольцев, — настрой у меня сегодня иной, размыслительный. Слушай, раз уж с борщом пришла. Вот ты терапевт, Таня, специалист, так сказать, более широкого профиля, терапевты — лечащие врачи, а много ли ты знаешь своих пациентов, тех, что числятся у тебя в медпункте? Ты, правда, одна в поселке, да ведь и жильцов у нас не более трех десятков, вместе с бригадой строительной — для городского врача сущий пустяк, там каждый сотнями больных озабочен. Вот я и спрашиваю: знаешь ли ты так своих подопечных, чтоб вошел, ты глянула на него и сказала: у вас ненормально с желудком, или с почками, или с печенью?

— Это хилеры на Филиппинах умеют. И операции без скальпеля делают.

— Ты веришь в такие операции?

— Нет, конечно. Я материалистка.

— Надеюсь, не вульгарная и признаешь в материальном теле наличие духовной субстанции, без коей нет человека? Киваешь. Хорошо. Значит, надо видеть прежде

всего прочего — человека. Правильно: того, главного, психического. Слышала, как простые тетки говорят: все болезни от нервов, то есть от переживаний. А мы тело прощупываем, боли отыскиваем, анализами людей мучаем. Да чем примитивнее человек, тем он физически здоровее. А дебилы — так и вообще образцово-показательны: физиологические отправления у них без малейших отклонений, хоть компьютерами проверяй. Но компьютер не уловит состояние души. Вот те хилеры филиппинские — знахари, понятно, но человека видят насквозь, того, внутреннего. Потому и помогают нередко их ловкие врачевания — верят им люди. Этой верой больной как бы сам себя излечивает. А кто нам, Таня, верит? Мы же без анализов ничего не знаем, да и с анализами ошибаемся немало. Оболочку видим, дальше — никак.

Татьяна то настораживается, не соглашаясь, и глаза ее резко сощуриваются, то еле заметно кивает и переводит взгляд в окно, смотрит через улицу на свой дом — не проснулся ли там ребенок? — и быстро вставляет слово-два, как только свекор прерывает свою речь:

— Борщ остывает, папа.

— Холодный вкуснее будет.

— Вы много интересного сказали, но... без анализов нас не учили. Плохо мне без лаборатории.

— Но и хорошо. Пока у тебя нет этих бумажек с данными о функционировании человеческих органов, ты кое-чему научишься. Думать, сопоставлять, умозаключать приходится, правда? Ты же лекарем станешь, Татьяна, то есть врачом, лечащим не пациента, а человека!

— Ну, время лекарей интуитивников прошло, — говорит чуть нетерпеливо Татьяна, щуря от желтого свечения лиственниц в окне подсиненные веки, улыбается с почти нескрываемой иронией. — Нам бы современными методами диагностики овладеть. У лекарей были десятки больных — теперь все человечество хочет быть здоровым, каждый желает о себе знать все, до маленького прыщика где-нибудь на затылке, и вот мы пишем, пишем истории поликлинической жизни людей. Нужны компьютеры, с памятью на тысячи больных, на всех живущих.

— Правильно, нажал кнопку — и вот он, человек, в цифрах на бумажке.

— А что делать, папа? У меня двадцать девять человек на учете, но их могут быть сотни...

— Не лезть кому ни попадя в медицинские институты.

Татьяна откидывается назад, но догадывается, что сидит не на стуле, а на табуретке, выпрямляется и живо смотрит на свекра: что еще неожиданное он выскажет?

— Правильно, смотри мне в глаза, Таня, так-то лучше. Вас ведь и в глаза не научили смотреть, чего же вы можете увидеть? Ну, там творческие личности, бывает, прячут свои «зеркала души», оберегая неповторимые индивидуальности, а врачу зачем суетиться, он всегда тет-а-тет с больным, чего ему прятать в себе? Главное, Таня, видеть, видеть человека, повторяю и буду повторять, пока жив. Аверьян нас ничем сверхъестественным не облагодетельствовал — просто видел нас, каждого в отдельности, терпения у него на это хватало, души. Прирожденным педагогом был. И в медицину надо идти по таланту. Ведь каторжный труд. Понимают ли это родители, прочащие своих юных дочерей в лекари? Едва ли. Они думают, что их ненаглядные будут сидеть в светлых кабинетах и белых халатах, вежливо приглашать: «Следующий!» — и выписывать рецепты. Вот и сидят они, и выписывают, а родители их ходят к таким же выписывальщицам, ропща и на их никудышнее лечение, и на то, что в глаза по-человечески не смотрят — некогда им или не хотят, не умеют. Время узкой специализации и случайных людей в самых разных профессиях. Мне жаль женщину и в медицине, и с кайлом на железной дороге. Жаль тебя, Таня. Ну, зачем так сразу — все на женщину? Она не научилась еще служению многим, всем. Ее же веками держали у домашнего очага — и пожалуйста: лечи, руководи, учи... Разве образование может заменить воспитание, тем более — переделать суть человеческую? Образовать можно быстро, психологию меняет время, жизнь. Вот и плачемся: у кого лечиться, у кого учиться? Слышу как-то по радио, молодая учительница слезным голосом взывает: «Дорогие мужчины, идите, пожалуйста, в школу, что же мы тут одни, у нас и платят теперь неплохо». А мужички у пивбаров похохатывают: «Давайте, давайте, бабоньки, упирайтесь, вам главенствовать захотелось!» Какое там главенство — замотанность одна: на работе, дома, а дети все равно беспризорны. Какая служивая особа решится семьи не иметь, так по

мужским нелучшим обычаям живет: в молодости — любовники, в старости — жалкое одиночество. Где оно, женское, мягкое, материнское привнесение в психологию жизни? Кто объяснит лучшей половине рода людского, что равенство не в равном праве, или, точнее скажем, в равной возможности быть шахтером, академиком, космонавтом, — в достоинстве женском. Чтоб женщине было дано все женское, а не мужское. Кем они так нехорошо обмануты?..

— Извините, папа, мне пора. — Татьяна поднимается, застегивает куртку, поправляет волосы, сокрушенно оглядывая стол: не сумела ни накормить свекра, ни со стола убрать. — В другой раз дослушаю, интересно, конечно, вы рассуждаете, но...

— Обиделась, вижу. Успокою: ты, Таня, не худший медик, ты еще войдешь в дело. У тебя и мама врач, так что деваться было некуда, и за город не зацепилась, где скоро на каждого будет по врачу безработному. Ты ведь высшее образование получала не для того, чтобы выйти замуж, как теперь стало почти неизменным? Ну, вот и вспыхнула аленьким цветочком. Шучу. Ты что-то хочешь спросить?

— Старик Потейкин был на охоте, снял бандаж, говорит, мешал шибко, бросил его в зимовье, пока добирался обратно — грыжа вышла, я ее вправила, а бандажа нет. Весной же только ему привезла. Бинт наложила, говорит, с бинтом жить не могу, «все процессы желудочно-кишечные нарушились в организме». Так и заявил. Умирать собрался, просит вас, папа, зайти для прощального разговора, и глухаря здоровенного вам в подарок приготовил.

— Ясно, чудачит варнак. Куражится. Когда я в больнице работал, только ко мне ходил на приемы — к «наиглавному». Потом в сельсовет стал наведываться — лечи, Степаныч! Чем же я тебя здесь лечить буду, у меня, кроме бумаг и телефонных аппаратов, ничего нет. А ты, Степаныч, разговором душевным... С богатой биографией Потейкин. Когда-то возглавлял старательскую бригаду, широко жил, в красных бархатных шароварах по селу расхаживал. Дважды отсиживал «по золотому делу», как говорит сам, но и до сих пор чуть что — в тайгу, на ключи, желтый песок искать. Охота у старика — для оправдания, хотя никто его не выслеживает: все и давно разведано в нашей тайге, ключи перекопаны, переполосканы. А мечта в человеке жива, а старое не забывается,

и вот он особенным себя мнит, не как все: жизнь-то какую знал! Так что мой клиент, Таня, зайду, поговорю душевно, и умирать Потейкину расхочется, вот только пообещаю к тем белым горам зимой сходить на лыжах, истоки ключей посмотреть.

— Операция ему нужна.

— На восемьдесят восьмом году жизни?

— Частые обострения...

— Да этой грыже у него лет тридцать. Когда я ему еще предлагал операцию! Резаться не дамся, сказал, много резанный, потрошенный, кровь не могу видеть... Не надо трогать стариков. Они вросли в жизнь, как деревья в почву, — упадут в свой срок. Тронешь — усохнет. А бандаж мы ему добудем, пойдет кто на охоту, попрошу, принесут из зимовья.

— Хорошо, папа, мне пора, спасибо за советы.

— Всего доброго, Таня. Загляну проведать внука.

Почти неслышно закрывается дверь, Татьяна исчезает в полутемных сенях, потом, как бы всплыв под солнце, промелькивает оранжевым пятном в окнах дома, быстро идет через улицу к своему двору, и Яропольцев, сидя недвижно, смотрит ей вслед, понемногу отстраняясь от только что наговоренного, перечувствованного, ради более важного, ни на минуту не теряемого им в ощущении. Чего?

Присутствия Аверьяна, конечно.

12

Ты здесь, учитель? Я испугался даже: не ушел ли ты от меня, из моего дома потихоньку, вдоволь наслушавшись моих философствований? Но сразу и подумалось: все это тебе должно быть интересно — наше, современное, местное. Тебе тому, молодому. И мысль мгновенная явилась тут же, таким просветлением в голове: если я наполню жизнью временное пространство между тобой молодым и старым, вы наконец соединитесь в одного, цельного Аверьяна Ивановича Постникова. Буду стараться. Но и ты помогай мне, участвуй, так сказать, в процессе познания реальной действительности.

Скажи, как тебе понравилась Таня? Говорю — «понравилась», ибо не понравиться вовсе она тебе не может: не кокетка, не лгунья, не старается казаться умнее себя самой... Как думаешь, из таких молодых женщин и

мужчин не сложится ли наконец сельская интеллигенция — прочная, с особенным, сельским складом ума, со своим образом жизни, сельской широтой души? Они учились в больших городах, но больше любят села. Им мало еще понятно, и они не чувствуют себя интеллигентами, самостоятельно мыслящими, внутренне свободными. Да где их много? Только не надо присылать к нам горожан отрабатывать (отбывать!) послеинститутские сроки — им неуютно среди мужиков и баб, на немощеных улицах с коровьими пахучими лепехами, или, как у нас, в неистребимых рыбьих «ароматах»: не люди, так собаки бросают где ни попадя рыбьи хвосты и головы. Им плохо у нас, нашим — у них: живут в бетонных башнях, вознесенные над землей, тоскуют по отцовским дворам, траве, запаху тех же коровьих лепех... Селяне, возвращайтесь домой! Словом, Аверьян, я за город и за деревню. Пусть они сблизятся, но не пожирают друг друга, именно: выживут в дружбе. Кому нужен сплошной город на Земле? Я хотел сказать — и сплошная деревня. Но подумал: если люди не уничтожат себя в ядерной войне, не задохнутся в отравленной ими же атмосфере, то потом, в отдаленном будущем, станут жить среди природы по всей планете, рассеявшись, как бы в одном сверхцивилизованном селении.

Фантазия, конечно. Однако вспомни, Аверьян: ты, истинный горожанин, мечтал превратить наш поселок в очаг культуры и справедливости. Не мечтал ли ты уже тогда о всечеловеческом Селении на планете? Настанет время — и планетарное Село поглотит, растворит в себе дымные города? Мечтал, пожалуй, о чем-то таком, иначе откуда бы у меня взялась эта фантазия. Но, как утверждает поэт, «для веселия планета наша мало оборудована», и наш поселок не сделался очагом культуры и справедливости, ты это видишь сам. А меня, смолоду ретиво внушавшего твою идею, прозвали просто — Очагом. Много позже, битый, трепанный, умудренный «аки дьявол», я уразумел все-таки: не в поселке полудиком, а в каждом из нас, твоих учеников, ты засветил очажки... ну, не культуры великой, скажем прямо, всего лишь — желание справедливости. Что уже немало. Что живо в нас и как-то перейдет к другим.

Нет, ты нам не «проповеди» только говорил. Много ли в них толку, если проповеднику не веришь? Лишь вера способна убеждать. Но кто скажет — когда, в какую минуту, почему она является? Вот ее не было — вот

она есть: возник интерес, пробудилась мысль, оживилось сердце, вдохновилась душа, то есть одухотворилась — и человек верит. И все, что исходит от учителя, уже священо, наполнено особым смыслом, как бы только для посвященных. А ведь ты, наш учитель Аверьян Иванович, говорил нам, показывал ну самое что ни на есть простое, вернее сказать, то, что умели другие школьные учителя: на уроках строгаи, долбили из мягких еловых чурок модели кораблей; клеили планеры и ходили запускать их с отвесной горы у реки, накручивая резиновые «моторчики». Помнишь, Аверьян, как Мишка Макаров покотился к обрыву, но ты успел поймать его за рубашку, и всем классом мы вытащили вас, кинув тебе веревку; ты еще говорил: «В рубашке ты родился, Миша, и хорошо, что в крепкой...» Мастерили табуретки, бочата — кто что умел; собирали и сушили гербарии, делали чучела птиц; и очень любили ходить в тайгу: она была нашей, но, оказалось, многое мы не знали как называть — травы, кустарники, мелких птиц, насекомых... Помнишь, в голубичнике подняли медведя, он дремал, ослепший от гнуса, с перепугу страшно заревел, заполошно шарахнулся в нашу сторону, вонючий, горячий, облипший лесной трухой, ты выстрелил из ружья вверх, медведь повернулся к чащобнику и упрыгал, а Оля Кондрашова в штанишки «сделала»; ты сказал нам, что такое с каждым может случиться, даже с тем же медведем, попросил — никогда никому не рассказывать об этом, а кто проболтается, того будем презирать до конца наших дней; и удивительно, про случай этот мы словно забыли, никогда, никто, нигде даже намеком не проговорился... Вскопали мы свой огород и вырастили, удивив старожилов, тогда еще мало веривших в таежные «овощи-фрукты», картошку и капусту, а потом огурцы с помидорами научились выращивать в парнике.

Вот ведь что получается: ранее я сказал, мол, ты делал то, что умели другие учителя. То, да не так, по-своему, ну, как, скажем, не повторяет талантливый художник сотоварищей; ты не просто учил, а словно бы творил жизнь вокруг нас, и уже эта жизнь учила, воспитывала наши чувства, мысли.

Особенно запомнилось: всем классом собирали детекторный радиоприемник, и когда наконец, сквозь свисты, хрипы, трески эфира, он уловил позывные Москвы, мы закричали: «Ура Аверьяну Ивановичу!» Ты приехал к нам из Москвы, мы впервые с твоей помощью услышали

голос Москвы, ты так много о ней рассказывал — и все это, ты и Москва, соединилось для нас в нечто общее. Мы уже не представляли нашу столицу без тебя, да и сейчас я вижу ее только с тобой: ты в ней, а она в тебе — были, есть, будете.

И ко всему — от тебя, Аверьян, исходил.. как бы точнее сказать... легонький страх, что ли? Но особенный, притягательный. Мы и побаивались и жалели тебя: твои родители были «врагами народа». Это узнали мы, конечно, от взрослых, да такое тогда и не утаивалось: и в нашей глуши, случалось, арестовывали «шпионов». Раз причалила баржа, на ней везли в деревянных клетках двух «вредителей», голодных, одичало заросших бородами, со связанными руками; женщины плакали от жалости, пытались накормить несчастных, но их грозно прогонял конвоир с берданкой и кобурой на боку, говоря: «Не положено!» Как видишь, был этот страх и до тебя, Аверьян, страх беззащитности, даже обреченности, когда любой мог оказаться «врагом», а тут ты, сын репрессированных, учитель наш... Но никто, помнится, в поселке не попрекнул тебя твоими родителями, более того — директор школы Пелагея Николаевна Охлопкова встречу праздничную тебе подготовила, когда ты приехал к нам (наверняка ведь знала заранее твою биографию), и потом ты числился у нее в самых лучших. Так уж повелось на Руси — соболезновать страдающим. К тому же люди, если не считать оголтелых службистов, или не верили, или очень сомневались, что возможно такое вот повсеместное вредительство.

Потому-то легонький страх, исходивший от тебя, был для нас особенным, притягательным. Сейчас я думаю: мученический ореол немало возвысил в нашем воображении нашего учителя. Понятно, об этом ты с нами не говорил, а мы тебя не спрашивали, как о чем-то запретном, тайном для всех нас. И объединяющем.

Не вспомню теперь, кто из учеников спросил тебя: «Аверьян Иванович, кем были ваши родители?» Ты ответил: «Учителями. — Подумал немного, прибавил: — И их родители учителями. — Снова помолчал, потом чуть взмахнул рукой, с мгновенной улыбкой договорил: — И так в глубь истории... мой пра, пра, пра был преподавателем Славяно-Греко-Латинской Академии еще при Петре Первом».

Многое ты дал нам. Но самым серьезным было — я это понял годы спустя — твои уроки «Мы говорим».

Один час в неделю свободного разговора. Каждый мог задать любой вопрос учителю, другим ученикам, рассказать, что интересного он узнал, увидел за минувшую неделю, пожаловаться открыто на обидчика, прочитать собственное стихотворение, представить в образах (проиграть) какую-либо сценку из жизни.

Я как-то стал рассказывать одной учительнице про твои уроки «Мы говорим», она перебила меня со смешком: «Ясно, сперва молчали, потом осмелели и орал все вместе!» Как ей было объяснить, да она, человек теперешнего времени, не поверила бы, что не молчали, ибо час этот был введен с первого класса и ученики не были еще замуштрованы дисциплиной или расхоложены безразличием; не кричали, ибо каждый знал, что ему дадут высказаться, его выслушают. Конечно, два-три начальных урока мы задавали и задавали вопросы тебе, Аверьян, понемногу заговорили и сами.

Для меня эти часы стали первыми уроками жизни. Столько было услышано, узнано! Всего не пересказать. Но этот случай особенно запомнился.

При школе был интернат для детей из раскиданных по тайге маленьких поселков. Учились и в твоих классах, Аверьян, интернатские. Помнится, о них ты особенно заботился: зимой редко к ним родители наезжали — по здешнему многоснежью тяжелы дороги. А этот мальчишка был и вовсе из-за перевала, с телефонного пункта на линии связи, его забирали домой лишь в начале июля, когда реки и речки сбрасывали весеннее бурноводье, и после закрытия интерната он обычно жил то у одних, то у других сельчан, раза два и я приглашал его к себе. Вот вспомнил, как его звали, — Геша Кильденков. Был он не шибко охоч до учения, но житейски — прямо-таки мужичок всеумеющий: из пенька суп сварит, с медведем в берлоге переночует... И вот этот невозмутимый крепышок вздумал посреди зимы бежать из интерната — его поймали далеко за поселком, шел на лыжах к перевалу, с кое-какой провизией в котомке берестяной. Стали выпытывать, допрашивать — почему решил бежать домой, но Геша упрямо отмалчивался. И тогда ты, Аверьян, впервые нарушив свое правило — никого не принуждать на уроках «Мы говорим», — обратился к Геше Кильденкову: «Может, всем нам расскажешь, что с тобой?» Геша поднялся, заговорил...

Тогда-то я не очень разобрался в его сердитом рассказе: ну, подумаешь, интернатский воспитатель Чурига,

по прозвищу «Шаром покати» (из-за круглой лысой головы), усатый, вечно куда-то бегущий, весельчак и шутник, обитавший в маленькой комнатке при интернате, приглашает по вечерам к себе Гешу, рассказывает ему сказки, а потом они вместе ложатся спать, и Чурига щечочет, ласкает Гешу, наговаривая при этом: «Я тебе показываю, как император Нерон забавлялся со Спором». А вот гневные слова Геши Кильденкова запомнились: «Так нельзя... Так даже животные не делают!..» Только повзрослев, я понял — чего «так нельзя». Бедный Геша, естественный человек, откуда ему было знать, да и нам всем тогдашним сельским, что в большом цивилизованном мире и не такое делается. Куда таежным животным до человека, где им набраться столь извращенной фантазии!

Ты слушал, Аверьян, и твое лицо постепенно... нет, не краснело, не загоралось, а именно — наливалось кровью, лучшего определения не найти. И сразу, как только замолк Геша, ты отпустил всех на перемену, попросив Гешу остаться в классе. О чем ты с ним говорил, я не знаю, да это и не так важно. Важнее другое: поселок всколыхнуло это происшествие, и ловкий Чурига обвинил тебя в клевете: мол, ты подбил Кильденкова наговорить против него, воспитателя Чуриги, а все потому, что ревнуешь к нему учительницу Сонину. И вообще надо запретить эти уроки «Мы говорим», хитро придуманные Постниковым для выведывания поселковых сплетен, интриганства, сомнительных разговоров с детьми о политике, что растлевают подрастающее поколение, вносит разлад в школьный коллектив, нарушает трудовой ритм всех жителей ранее образцового поселка. Чурига послал жалобу в районо. Нашлись у него и в поселке друзья-защитники. Один, выпивоха Семен Хромая нога, угрожал тебе, Аверьян, ружьем, звал стреляться на лесной поляне: «Потому как не могу допустить оскорбление хорошего товарища». Но «бог шельму метит». К директрисе Охлопковой вскоре явились еще два «слушателя чуринских сказок». Тут Чурига смекнул — пора затеряться во времени и пространстве. И отбыл из поселка, не дождавшись комиссии районо.

Но перед этим, как рассказывал мне после мой отец, Чурига примирился с тобой, Аверьян, часами просиживал у тебя за чаем и... канул, затерялся как-то сразу. Не с твоего ли дозволения?

Комиссия районо все-таки запретила урок «Мы гово-

рим». Это было в четвертом классе, в твою последнюю зиму у нас. И еще долго потом с оглядкой перешептывались взрослые: «Постниковым уже давно заинтересовались... дело его было на учете, как сына врагов... хорошо, что вовремя на фронт отпросился...»

Так и ушли из нашей жизни твои уроки свободного слова, но кто вдохнул их нелегкой правды, тому уже не заглушить в себе беспокойного чувства совестливости. Ведь, кроме этих историй, было много всего иного, обычного, однако житейски важного для нас. Дети говорили перед всем классом, дети перестали жаловаться потихоньку тебе и другим учителям. Не потому ли, что сказать одному — неизвестно еще, как поведет себя этот один, пусть и учитель: не поверит, уговорит молчать, расскажет другим и по-своему?.. От одного всего можно ждать. Сказать всем — все сразу не предадут, все — это народ, пусть и детский пока, и перед ним нечего таиться, прав ты или виноват. Конечно, дети столь четко не могли мыслить, но чувствовали нечто такое наверняка. И говорили открыто.

Неужели ты это понимал в свои двадцать один — двадцать пять лет, пока жил у нас и учительствовал в школе? Или поступал так по наитию, безошибочному чувству?

Ты молчишь, Аверьян. И правильно делаешь. Не все можно объяснить. Не все нужно объяснять. Куда важнее — молчаливое взаимопонимание, оно в правоте нашей внутренней.

Ну вот мы и пообедали, Аверьян, как говорится, несолоно хлебавши: все осталось на столе. Борщ Татьянин остыл. И твоя рюмка с брусничной нетронута. Какие мы теперь питухи! Я еще рюмку-другую с охоты (после рыбной или грибной прогулки) одолею, а тебе, пожалуй, и совсем нельзя. Поговорить вот — наше занятие. Разговором и пообедали. Сейчас я приберу немного, чтоб мухота все это не обсиживала, и пойдем на воздух. Там веселее. Там встретим кого-либо, послушаем, что новенького в нашей здешней негромкой жизни.

Нас приветствует пес Джек. Хорошей породы лайка, да, я тебе говорил, — дисквалифицировалась: не хожу

ни на птицу, ни на зверя. А стеречь у нас тут нечего, дома не запираем. Так, для общения собака. Почти погородскому. Ах, собачина лохматая! Жрать хочешь, аж глаза пожелтели? Пойди в дом, что-нибудь там найдешь, и дверь после прикрой. Это он умеет: вскинется, лапами дверь прижмет — и порядок. Умный невероятно. Перестал я охотиться, так он мне давай упрямо напоминать — то зайчишку придушит, у крыльца положит, то ондатру голохвостую... Потом понял: не нужно это хозяину — и тоже вышел на пенсию, спит да стареет.

Глянь, Аверьян, солнце перекаатилось на другую половину неба, теперь понемногу начнет падать к тем снежным вершинам, в сумерках зажжет их розовым пламенем, и особый, покойный свет разольется по нашим пространствам, озарит Село, Реку... И тогда до тоски сердечной ощутится, как един земной мир: наша сильная Река вливается в мощный Амур, а он соединяется своими водами с Охотским морем, море — с океаном, океаны — со вселенной...

Вижу, ты опять воззрился на бело-стеклянный терем, Дворец Ерина. Пойдем, осмотрим чудо архитектуры конца двадцатого века.

Ну, смотри, думай, из чего, как построено. Ага, очки снял, переносицу пальцами натираешь: мол, не мерещится ли? Нет. Все правильно — из бутылок Дворец. Водочных, коньячных, прочих разных, вплоть до заграничных ромовых, ликерных; та вон стена из стеклянных бревнышек доньшками наружу так и называется: «Шампанское разных стран»; и особенно много уложено тут «бормотушных» — от кавказских с виноградной подкраской до наших местных плодово-ягодных. Так гениально народный умелец Константин Серафимович Ерин решил проблему стеклотары. А то ведь гибли от стекла, горы битого и недобитого скопилось в Селе и по окраинным лесным опушкам: отцы пили — сынки колотили. Это в довоенное да первое послевоенное время с этим беды не знали: раз в году по осени завезут железную бочку спирта, его мужички неспешно освоят, а потом бражку заквашивают. Не шибко интеллигентно жили, но более трезво. А когда воздушное сообщение наладили, соединили нас, так сказать, по воздуху с Материком, то есть приблизили к достижениям культуры и науки, тут уж начали винно-водочные изделия поставлять нам самолетами. По потребности. В бутылках с красивыми этикетками (некоторые детишки вместо фантиков их коллекци-

онировали), но куда девать пустые бутылки — не научили. Говорят, вон и в Москве не очень-то хорошо со сдачей стеклотары, а нам лишь обещали в год по барже выделять под нее. Раз только, помнится, и прислали баржишку захудалую, снесли бабы все стекло, что детвора не побила, сдали по какой-то половинной, сниженной неизвестно кем цене, поплыла речная посуда дальше, и в каждом поселке ее загружали да загружали, так, бедняга, и затонула у какой-то пристани. Не попали наши бутылки во вторичное использование. Больше подобных решительных действий не предпринималось. И Село начало постепенно погружаться в стеклотару (как ты уже заметил, наверно, особое везение у нас на тару). Летишь, бывало, в «Аннушке», смотришь сверху — и села среди тайги хрустально сверкают стеклом. Красиво. Но только из-под облаков.

Смотрел на это, смотрел непьющий Константин Серафимович Ерин и смекнул... Вернее будет сказать, прозрел — гениальные люди прозревают, именно! Нашел в горе неподалеку известковый камень, нажег извести и принялся сооружать стеклянный терем на известковом растворе (по технологии предков, строителей крепостей). Мальчишек заинтересовал посильной для себя платой: полста бутылок — одна московская шоколадная конфета (таковых у нас не водилось, ему присылали из столицы). Понесли. Село очистили, всю ближнюю тайгу обшарили. Потом и сами давай помогать строить, когда увидели: зло обращается в нечто красивое и полезное.

Наладился некий конвейер: самолеты везут, люди потребляют, Ерин строит. Воздвиг он терем, а стройматериала не убавляется, напротив, пошел более фасонистый, заграничный, и начал он пристраивать новые залы, галереи, башенки... Рассчитал — будет сооружать Дворец всю жизнь, после передаст своим ученикам — и так, пока не прекратится винно-водочное безобразие.

Ты уже знаешь, Аверьян, Село наше сперва опустело, затем вышло антиалкогольное постановление, на радость Ерину, и строительство замерло, иссяк стройматериал. Но приглядишься, как-то угрожающе замерло. С правой стороны стена начата и не достроена: мол, тут же примемся наращивать ее, как только возобновится пьянство.

Ты спрашиваешь, что внутри Дворца? Долгое время он пустовал. Ну, кто из районного руководства решится открыть музей или отдать под художественную самодея-

тельность этокое «историческое» сооружение? И как его оприходовать, по каким сметам, накладным, протоколам — Дворец ведь из ничего, из одной фантазии, так сказать? Наша интеллигенция писала (и я тоже, конечно), просила, чтоб узаконили бесплатный дар Константина Серафимовича Ерина, разрешили открыть во Дворце художественную галерею для местных талантов, однако никто из вышестоящих не рискнул взять на себя такой ответственности. Помнишь, я говорил, что прилетал к нам зампредоблисполкома, человек вроде современный (это он улаживал наши сельсоветские выборы), но тоже усомнился: а не будем ли мы пропагандировать алкоголизм — пейте, мол, дворцы из бутылок возведем!.. Напротив, возражал я, в этом Дворце люди будут задумываться, до какого безумия они дошли. Не удалось убедить. Пообещал, правда, «прозондировать инстанции», да так, вероятно, ни до чего не дозондировался, или вовсе забыл о нашей просьбе — более важных дел невпроворот.

Ну, а мы тут с Ериным, когда остались в запустении, начали красивые камни собирать по всей округе и укладывать на деревянные стеллажи внутри Дворца. Теперь уж большую коллекцию минералов собрали, есть редкостные для этих мест: малахиты, топазы, аметисты... Книгами нужными обзавелись, прямо-таки знатоками горного дела стали.

Зайдем, Аверьян, глянем. И хозяин Дворца, кажется, на службе, дверь приоткрыта.

— Добрый день, Серафимыч! Я к тебе гостя привел. Наш, сельский. Помнишь, я еще им Мосина стращал: «Нет на вас Аверьяна!» Потом и прямо начал ему говорить: «Напишу Аверьяну», «Приглашу Аверьяна». Не знаю, имя не совсем привычное смущало Мосина или нагловатая напористость моя, только он вполне уверовал: Аверьян — какой-то значительный начальник в Москве. Жаль, поздно вато я принялся пугать тобой, Аверьян, директора тарного комбината, глядишь, меньше страстей всяческих пришлось бы нам пережить. Ну, об этом будет еще речь. А пока смотри наш музей, Аверьян Иванович. Под каждым минералом табличка с названием, читай, восторгайся. Помнишь, мы все вместе, еще до войны, мечтали найти каменный уголь, чтоб свою электростанцию построить — практично мыслили, о красотах при-

родных для любования считали постыдным заботиться. Время лечит, время калечит, время меняет нравы... И думаю, ты сейчас порадуешься богатству наших мест. На первом этаже — что попроще да попестрей, на втором — более ценное. Оттуда, заметь, в проем лестничный холодноватое сияние льется — камни светятся. Кстати, вот сердолик, весит полтора килограмма, такого ты не увидишь и в центральном геологическом музее; необработанный, правда, булыжником выглядит. А ты приподними его, в это окошечко розовое глянь. Ну, видишь, какое непостижимое пространство внутри, какие огромные горы, моря, небеса с облаками... и все в кровавом рассветном зареве, как на второй день после бурного сотворения нашей планеты.

Ах, ты посматриваешь на Константина Серафимовича, он молчит, и тебе неловко от этого. Он молчун, да. И молчит уж лет как пятнадцать. Потому замолчал, что слишком много говорил... Зато взглядишь, какое лицо у молчащего человека, — спокойное, тихое, в глазах легкая печаль задумчивости, губы лишь изредка трогают улыбка, но какая — в ней душа его добрая видится. И голова не дергается нервно, и руки не суетятся, даже седая бородка будто для того и отпущена, чтоб хозяин в самоуглублении пощипывал ее. Молча Константин Серафимович этот Дворец сооружал, молча коллекцией камней теперь оснащает. Я — так, только помогаю.

Эх, Аверьян, жизни человеческие неисповедимы, как и пути Господни! Можешь ли ты себе представить, что Константин Серафимович Ерин, этот дедок с обликом мастерового, был известным лектором краевого общества «Знание»? Ну, удивился? Слушай дальше. Знание, как известно, могучая сила, и отправился Константин Ерин с этой силой в свою очередную командировку — читать лекции о международном положении. Переезжает себе из одного населенного пункта в другой, рассказывает трудящимся про ядерное оружие, фантазирует на любимую тему — выживет ли человечество после атомной войны (такая уж у него была стержневая тема), почитывает по утрам газетки, слушает радио — и все расширяет, развивает содержание своих лекций. Бывало, так распалит публику — женщины всхлипывают, проклиная международный империализм, мужчины американскому президенту письмо собираются писать, а Константин Ерин идет в местный ресторан, выпивает рюмку коньяку, ужинает

неспешно и устраивается в гостинице на заслуженный отдых.

Понемногу он углубился в таежную периферию, пошли малые села, затем и вовсе поселения... И как, когда он потерял сон — точно не помнит: кошмары стали видаться, кровавые взрывы грибовидные, смерчи, сметенные города, отравленные пространства, фантомасы какие-то империалистические, а то и совсем абсурдное: голеньким детишкам впрыскивают термоядерный синтез, они мгновенно превращаются в жидкую радиоактивную плазму... Или это: уродцы человеческие, с двумя лысыми головками, четырьмя когтистыми конечностями — люди, значит, такими стали после атомной войны, мутировались, приспособились к иным условиям жизни на планете, которая вроде бы тоже облысела, смотрится огромным голым черепом, и он, Константин Ерин, уцепившись за каменную вершину Эльбруса (почему Эльбруса?), держится из последних сил: Земля потеряла притяжение, под ним зияет космос, он единственный нормальный человек... Единственный принялся вымогать в местных больницах снотворное, требовать наркотических уколов, однако все это мало успокаивало его.

Случалось, и при свете дня кошмары столь реально воображались ему, что он вдруг выкрикивал на лекциях: «Тревога! Всем прятаться в погреба, бункеры, ямы! Ждать особых распоряжений для эвакуации детей, женщин, стариков! Не пить, не есть, не дышать... без респираторов! Мужчин прошу задержаться на срочное совещание!» Люди вскакивали со смехом, разбежались, принимая команды лектора за противоатомную тренировку. А сам Ерин несколько минут стоял решительный, бледный, о чем-то мучительно думая и смахивая платком обильный пот со лба.

Страшась этих видений, он все дальше уходил в таежную необжитость. У него давно истек срок командировки, его разыскивало общество «Знание», рассылая телеграммы по всем населенным пунктам края. Он уже не оформляет после лекции путевки, кончились таковые, у него не было денег, и он просил в счет бесплатной лекции накормить его, устроить переночевать. Говорят, будто он до того опростился, что ходил по дворам с сумой, принимал подавания только хлебом, желающим рассказывал о скорой атомной войне — пугал своими кошмарами, но этому я не очень верю, людям свойственно домысливать, преувеличивать. Сам же он лишь виновато

улыбается или отходит в сторонку (как вот сейчас): мол, думайте что хотите, это не обижает меня.

Хорошо помню день, когда Ерин пришел в наше Село. Была зима. По реке ходили санные обозы. К одному из обозов он и пристал. Шел пешком километров триста, в шубенке дырявой, в валенках с чужой ноги, подморозил лицо и пальцы рук в худых перчатках. Я тогда еще главврачом работал, почти насильно привел его в больницу, уложил на лечение. Из нашего сельсовета сообщили в край, что нашелся лектор Константин Серафимович Ерин. Оттуда было приказано — немедленно явиться по месту жительства и работы.

Но Ерин, выздоровев, отказался вернуться: «Той жизни — конец, не понял я ее. Останусь у вас. А прогоните, уйду в другой таежный поселок». Мы не прогнали. Он попросился в плотники — когда-то, до института, учился в строительном ФЗО, — с женой заочно развелся, детей у них не было.

Долго Ерин жил одиноко, потом приехала к нам с Брянщины тихая, невидная, этакий «серый воробушек», женщина (из неудачниц, едущих за своей судьбой в любую тмутаракань), они сошлись, Ерин и она, будучи уже немолодыми, и удивили все наше сельское общество: породили ребенка. Девочке теперь уже лет десять — любимое дитя у полюбовно нашедших друг дружку родителей.

Думали, умиротворился в своей новой жизни бывший лектор, специалист по ядерным войнам, нашел то, что искал: покой, нужный достаток и право молчать (ибо по его теперешнему твердому убеждению, и войны начинаются от злоговорения), будет потихоньку стареть, затухать, а он засветился вдруг нерастраченными до конца силами — Дворец построил.

Так ведь, Серафимыч? Киваешь, значит, все так. И улыбнулся вот. Спасибо. Редкий дар твоя улыбка — уж и когда забудешь ее, а все на душе счастливо. И Аверьян радуется твоей улыбке. Не дать ли нам какой-нибудь камешек ему на память? Вижу, согласен. Значит, обсудили, решили, постановили: Аверьян, выбирай себе сувенир! Ага, горный хрусталь понравился, возьми вон ту друзю голубоватой воды, она и не тяжела. Ну и жми трудовую руку Константину Серафимовичу Ерину, лови на счастье его улыбку — и пошагаем дальше.

Расскажу тебе, Аверьян, пока мы потихоньку двигаемся в сторону Падуна, где у нас великое строительство, о своем председательстве сельсоветском. К этому мы вроде подошли по нашему сюжету разговорному. Как меня избирали, ты уже знаешь. Напомню лишь, что год был семьдесят шестой, рыбозавод бездействовал, Сталашко покоился на кладбище, Мосин расширял производство тары, а я сменил в сельсовете Пронина («нашего батюшку»): добрый, бесхребетный, он состоял в свите избранных при Мосине, верно служил ему и помер, как подобает безупречному слуге: гуляли в областном ресторане «Амур», и Пронин, поддерживая все полновесные тосты Мосина, надорвал свое больное сердце. Впрочем, не един он таков. Занимавший до него кресло предсельсовета инвалид войны Панфилов тоже нехорошо кончил, будучи ретивым «ординарцем» Сталашко. Словом, слуги народа служили местным володетелям — «бонзам», как называл их Дмитрий Богатиков.

Что же, совсем уж никудышными были Панфилов и Пронин? Как на это посмотреть. Любому школьнику, к примеру, известно: сельсовет — Советская власть на селе. В его ведении школы, больницы, клубы и прочие общественные заведения. Но многим ли известно (кроме сельских жителей), что, имея власть, сельсовет почти не может ею воспользоваться: денежные средства у него мизерны, рабочей силы, техники — никакой. Скажем, развалились парты в школе, над клубом крыша прохудилась, в больнице печь нужно переложить — предсельсовета идет к директору местного предприятия, завода, конторы, просит выделить рабочих, материалы, умоляет не подвести, уложиться в сроки — скоро зима... Да что там, дрова кончились в сельсовете — кланяйся тем же, вышеназванным. Как говорил незабвенный «наш батюшка»: «У меня, кроме круглой печати, ничего нету».

Сел я, значит, в председательское кресло, осмотрелся: домишко сельсоветский стар, но листвяжный, когда-то в нем золотоскупка была (и разговоры помнились: если вскрыть полы, можно золотишком пожить — наеялось туда сквозь щели в половицах), из двух комнат домишко, в меньшей — мой кабинет, в большей — общая часть, так сказать. И штаты мои: Настя Туренко, молодая мать-одиночка — секретарь, старушка Водовозова — счетовод, участковый инспектор Стрижнов, дед Матвеев — истопник, он же сторож по совместительству;

рассыльным на общественных началах, по доброй воле то есть, служил Маркелкин — Макса-дурачок. Небогато, как говорится, да что поделаешь — большего-то не полагается на наш куст избирателей. В сельсоветах — самые строгие и скромные штаты, вероятно, для примера всем другим государственным учреждениям. Жаль, что не следуют они этому примеру.

А работать надо, Аверьян. Так ведь? Куда денешься, если не работать не умеешь — не обучен такой мудреной профессии? Ну и приступил я к работе, теперь сельсоветской.

С чего, ты думаешь, начал? Не угадать. С флага! Да, с флага над сельсоветом. Боже, сколько об этом флаге сказано стихами и прозой, как много хороших слов услышано из уст громких ораторов!.. А он, блеклый, истрепанный, висит на коротком древке, прибитом к крыльцу нашего сельсовета.

Пошли мы, дед Матвеев, я и Макса, в ближний лес, срубили высокую тонкоствольную лиственницу, приволокли, ошкурили, оснастили вершину самодельным блоком, продели в него шпагат, вкопали мачту у стены сельсовета и взметнули до самой макушки новенький флаг.

Мальчишки сбежались смотреть, старухи, идучи мимо, запрокидывали головы, оглядывая из-под руки веселое полотнище. А одна, девяностолетняя Авдотья Никандровна, бабка Кости Севкана, говорит мне:

«Что, Степаныч, Советску власть установил?»

«Да», — отвечаю.

«Ну-ну, теперя удержать пробуй...»

Вот оно, открыто, гласно, безбоязненно из уст старого человека: можно установить, объявить, принять общим голосованием, но многое ли удержится, укоренится, если некому это отстаивать — каждодневно, каждочасно?

«Попробуем удержаться и удержать», — сказал я себе.

А уже на следующий день по селу расхаживали мосинские угодники и подшучивали, кивая в сторону флага: «Новый председатель на тот вымпел весь свой годовой бюджет истратил, теперь займется главным своим делом — бегать к директору и выпрашивать подачки».

К директору я не пошел. Напротив, пригласил Мосина как депутата в сельсовет на исполком, и даже до сих пор помню, с какой повесткой — «О сокращении продажи винно-водочных изделий». Он не явился, конечно:

когда это видано было, чтобы Хозяин (а Мосин стал им после Сталашко, да еще более грозным) ходил заседать с рядовыми гражданами, пусть и депутатами, если к нему сам предсельсовета за указаниями бегают? На сессиях районного Совета приходится бывать — не всегда отговоришься, попутно в районе и другие дела находятся, а своя, местная, власть обойдется.

Ну, думаю, началось! Сижу в своем кабинетике, вспоминаю лица своих депутатов — у одного хитровато-любопытное, у другого вроде бы безразличное, но глаза выдают, и вопрос у всех тот же: как поведешь, Степаныч, сельсоветское дело? Или, как другие, пристроишься подпевалой к Хозяину? Хотя мы тебя вроде знаем, ты не без характера. И все ж таки?.. И такая горечь у меня на душе: почему мы позволили так низко пасть Советам? Ведь ради них в революцию гибли!

А домишко сельсоветский вздрагивает, словно бы даже гудит слегка: флаг на вершине мачты полощется, а мачта вкопана у стены, да еще и прикреплена к стене. Это вот вздрагивание и гудение, точно ты всем ветрам открыт, меня боевито настраивает. Я — в сельсовете. Я — избран. Мне доверяют.

И я решаюсь обратиться к сельчанам, голосовавшим за Мосина, с просьбой отозвать его как не принимающего никакого участия в работе сельского Совета. Прошу своего секретаря Настю Туренко пригласить людей на сход к сельсовету (я и потом все решал на уличных сходках, где все стоят и каждый каждого видит, а не в прокуренной клубной тесноте с полусонным залом, президиумом и трибуной на сцене), но не успела она написать объявления, а Макса развесить их, как у меня звонил телефон, и я услышал в трубке:

«Говорит Мосин».

«Здравствуйте, Иннокентий Уварович», — отвечаю.

«Я-то здравствую. Ты вот, кажется, заболел. Врач, исцели себя!»

«Вы правы, врач самому себе плохой лекарь».

«И я про то. Прибывай ко мне немедленно, тут у меня пока никого нет, полечим друг друга умным разговором».

«Не могу, Иннокентий Уварович, на службе нахожусь. А если вам нужно срочно — прошу ко мне».

В трубке слышалось не менее как полуминутное сопение. Оно означало многое: даю время подумать; не серди — пожалеешь; ну-ну, добавь еще что-нибудь на-

гленькое к сказанному; потрепещи в ожидании моего ответа и так далее. Я мог услышать и презрительный смехок, и шутивное удивление: «Ну, зачем нам, аборигенам Села, так чиниться?» Но могла прозвучать и откровенная ругань — кто я такой для всемогущего в районно-областном, заметного в краевом масштабе Мосина?

Трубка, однако, резко щелкнула — Хозяин бросил ее на аппарат. Остерегся. Натренирован номенклатурной работой. И, конечно, явится в сельсовет. Э-э, чиновник те-перешний не так прост, он знает: вышестоящие тоже хотят спокойно жить, стрессы им ни к чему, и не похвалят тебя, если склока какая-нибудь выйдет за пределы сферы твоего влияния. Уговаривай, обещай, припугивай, подавляй авторитетом, но чтоб тихо народ жил, единодушно отдавал за тебя голоса и, главное, не строчил жалоб в верха. К чему Мосину распря со мной? Он уверен, что подчинит меня — кто поначалу да в новом кресле не взбрыкивает? И куда деваться мне от него, дающего работу и хлеб людям, жизнь Селу? А не удастся мягко подмять (абсурд какой!) — удушит. Не своими, понятно, руками.

Сию я так, рассуждаю и вижу в окошко: подпылила к сельсовету черная «Волга». Новенькая. Единственная легковая машина у нас, некуда по нашим пенькам ездить на них. Из «Волги» выскочил водитель Мишка, в армии обученный шоферить и возить начальство, обежал спереди «лимузин», ловко распахнул дверцу и даже руку слегка отвел: прошу, мол, уважаемый и почитаемый, прибыли к месту назначения! Не иначе как глядя кинофильмы перенял, стервец, этот дипломатический этикет.

Выбрался Мосин, застегнул пуговицу пиджака на крутом животе, строго воззрился перед собой, точно вправленный в невидимые шоры, шагнул к сельсоветскому крыльцу.

Дверь моей комнаты всегда была открыта, и потому я видел, как занемели глазами, потеряли дар речи мои работницы, а дед Матвеев, возясь у печки с дровами, грохнул полено о пол и вытянулся во фронт — помнил военную выправку, еще в гражданскую в здешних местах партизанил. Просто-таки «ревизоровская» сцена: с а м впервые пожаловал в сельсовет!

Мосин же ничего этого не заметил, у него не было предусмотрено общение с массами, буркнул общее «здрасьте», прошествовал прямо ко мне и прикрыл за собой дверь.

Передавать в подробностях наш разговор, пожалуй, не стану. Зачем? Это была все та же чиновничье-кабинетная игра в значительные слова — об ответственности момента, сложном международном положении, мобилизации народа на выполнение обязательств и встречных планов. Ну, и он, Мосин, учтет ранее допускавшиеся ошибки, будет присутствовать на сельсоветовских совещаниях; со своей стороны, однако, призывает меня, Яропольцева то есть, не противопоставлять сельский Совет дирекции тарного комбината — основному производству в Селе; работать мы должны вместе, забудем кое-какие прежние личные расхождения, нечего нам делить — одной власти слуги, а сор выносят из собственного дома только плохие хозяева; не будем ждать подметальщиков со стороны — выметут и нас с треском, сами наведем у себя порядок... И так далее, в таком же роде. Счастлив тот, кому не приходилось поддакивать подобной демагогии, ибо попробуй не поддакнуть (не согласен с «линией», не хочешь примирения ради общего дела?), и внешне в ней все правильно, а что внутренне она лжива и ни к чему не обязывает говорящего — это уж молча переживи, раз такой умный и смекалистый, выругайся потом, прими таблетку валидола, но ритуал соблюди; не можешь радостно подпевать — кивай хотя бы изредка. Как на молитве в храме.

Такой была первая, официальная часть нашей встречи. Вторая прошла в улыбках, светлых воспоминаниях о зеленой юности. Мосин припомнил даже распрю меж нас из-за девушки Маши (я приехал на побывку из института, он кончал десятый класс) — худенькой, нервной, чуть прихрамывающей радисточки и поэтессы — в оккупации ей поранило ногу осколком мины, — так непохожей на местных упитанных девчонок. Раза два мы едва не подрались («Ох, я занозистый был, хоть и младше тебя!» — удивился себе давнему Мосин), а потом пришли к Маше и попросили: выбери сама достойного. Дураками обозвала нас поэтесса, мечтавшая о Москве, Литературном институте, большой славе, да еще стишок сочинила — «Про двух влюбленных аборигенов». Мосин платок достал, промокнул надушенным квадратиком подглазья, похихикал умиленно. Потом излишне долго мы жали друг другу руку, и я видел, как багровела, покрывалась испариной могучая выя Мосина, нервно подергивалась жесткая щетка усов, и темные провалы сощуренных глаз смотрели мимо меня. К «Волге» он прошел еще бо-

лее задеревенело, а влезая в открытую Мишкой дверцу, ударился головой о верхний край проема, выругался. Я понял: Мосин уехал злой.

Обещал, Аверьян, без особых подробностей рассказывать — не получается, как видишь. Слово цепляется за слово, мысль — за мысль. Все мне кажется важным. Уж ты сам отсеивай для себя нужное.

Нет, не стали мы друзьями после этого визита Мосина. Просто старались не обострять служебных отношений, понимая нашу полную несовместимость: я прямо не критиковал его, он ходил на сельсоветские исполкомы, поддержал решение депутатов — сократить до двух раз в неделю продажу вина и водки, что было выгодно и ему: поубавилось прогулов на комбинате. Не скажу, что охотно, но Мосин выделял рабочих и материалы на ремонт общественных зданий, к школе удалось пристроить спортзал. Так бы оно и шло терпимо и сносно — если они, идеальные руководители? Каких вырастили, с такими и жить надо, — и не столь великая в конце концов беда эти мосинские «барские» выезды на охоты и рыбалки, пусть и более помпезные, чем при Сталашко, и охотничью Избу можно как бы не замечать — где в то застойно-разгульное время было иначе? Попривыкли ко всему такому, стало даже казаться, что это тоже признак успешного развития нашего общества на новом этапе. Вершилась бы работа, улучшалась бы жизнь людей, сами люди делались бы образованнее, идейнее. Из них-то как раз и вызреют нужные времена, мыслящие, советливые руководители.

Но этого хорошего будущего, я понял вскоре, мне не дожидаться, пребывая в невозмутимости и покое: угрожающе росла гора бочек и ящиков. Тару вообще перестали вывозить из Села. А комбинат расширялся, механизировался. Была пущена поточная линия для производства ящиков, воздвигнуто из стекла и бетона здание дирекции и, что совсем уж в духе современной высокой технологии, — открыто конструкторское бюро тары — КБТ. Мосин лично пригласил из края инженера на высокую ставку главного конструктора, добился для бюро штата чертежниц и младших конструкторов, а год спустя, с большими трудностями и за немалые деньги, выхлопотал компьютер в полном комплекте, чтоб не на глазок — с точным математическим расчетом изобре-

тать, конструировать новые образцы тарной продукции.

Зашел я к главному конструктору Сергею Поливанову, молодому человеку, так сказать, наисовременнейшей формации: с бородкой, в джинсах и кроссовках, небрежному внешне, но сосредоточенному внутренне, как это бывает с людьми, одержимыми делом, — представился ему: мол, так и так, пред местного сельсовета, бывший врач (признаюсь, про врача упомянул, чтоб хоть сколько-то сблизиться интеллектуально), интересуюсь работой КБТ, ну и соблазнительно глянуть на счетно-вычислительную технику — знамение, как известно, конца нашего века и безотказный электронный мозг будущих времен.

Поливанов кивнул мне вежливо-сдержанно, однако руки не подал — современные молодые люди, как я узнал позже, руку жмут лишь близким знакомым, — усадил на стул и дал минуту-другую пообвыкнуться в необычной, конечно же, для меня кибернетической обстановке.

Сижу, осматриваюсь. Под конструкторское бюро Мосин не пожалел двух просторных комнат в здании дирекции. В одной молодые женщины топчутся перед кульманами, вычерчивают, проектируют на белых ватманах изогнутые линии, круги, квадраты... В другой — мозг КБТ, помигивают индикаторы, щелкает, потрескивает что-то невидимое в аппаратах, от них веет синтетическим теплом, а на экране дисплея перед вращающимся сиденьем главного конструктора возникают то столбцы цифр, то схематические изображения бочек, ящиков, еще каких-то неведомых емкостей.

Поистине, Аверьян, фантастическая картина: сидишь чуть ли не в космическом корабле, а глянешь за окно — река полуденная сонноватая, ребятишки с удочками занемели на отмели, тайга во все стороны распростерла свои тяжелые ельники и лиственничники... Хорошо это или плохо в данном, так сказать, конкретном случае? Не у тебя спрашиваю, Аверьян, в твоей молодости вряд ли говорили о кибернетике, а теперь она вот и сюда проникла. Где нам, непосвященным, разобраться в неизбежном техническом прогрессе, когда специалистам пока еще не все ясно? Давай поговорим об этом с начальником КБТ Поливановым.

«Необыкновенно! — говорю я, развеяв и сомкнув руки, словно выделив конструкторское бюро из всего прочего окружения. — Кто бы мог вообразить, чтоб нашей

таре такое внимание? Как считаете, Сергей Поликарпович, не шибко ли размахнулись?»

Поливанов помедлил, нехотя (пришел, отвлек да еще вопросы задает!), коротко ответил:

«Не шибко, считаю».

Ну, думаю, мне бы только тебя разговорить, и сразу ему о главном, заранее обдуманном:

«Я не против компьютеров, калькуляторов, дисплеев... Но ведь тару нашу не берут, и качество ее посмотрите какое: из трех бочек одна тузлук держит. А главное, главное, не нужна она в таком количестве — рыбы прежней давно уже нет. Что скажете на это?»

«Ничего не скажу. Я приглашен конструировать. Работаю добросовестно. Поточная линия, предложенная мной, действует безотказно. А что на ней похмельные, неквалифицированные кадры трудятся — не мое дело. Я разработал три принципиально новых образца тары, они получили высокую оценку на ученом совете в крайтаре, у меня патент вот здесь. — Поливанов прижал ладонь к нашивному карману джинсовой куртки в блестящих замках-молниях. — А как с внедрением на тарном комбинате? Сам товарищ Мосин занимается этим. И ни с места пока что. Станки есть, материал высокого качества имеется, расценки утверждены... а исполнять некому. Выдохлись на поточной линии. Предложил бондарю шестого разряда Богатикову сделать образцы для обозрения, эталонные то есть, неделю хмурый мастер чертежи в кармане носил — и отказался: душа, видите ли, у него к этому не лежит. Вот он, уровень сознания! И это у передового рабочего! Надо менять психологию людей, застряла на уровне начала века. Для того и компьютеры внедряем».

«Да ведь, Сергей Поликарпович, может, у Богатикова потому и «душа не лежит» — гляньте в окно, какие штабеля тары наворочены. Как же рабочему что-то производить, если это «что-то» никому не нужно?»

«Вот я и предложил новые образцы».

«Слышал, себестоимость у этих образцов высока, они дороже самой рыбы обойдутся».

«Штучно — высока, поставить на поток — снизится».

«Но, позвольте, что класть будем в вашу запатентованную тару?»

«Вы все от печки пляшете, со своей колокольни планету озираете. Смотрите шире — такую тару за границей возьмут, валютой оплатят».

«Разве что... Да боюсь, перевозки будут дороги, и порт океанский придется нам строить. Самолетами только водку выгодно поставлять».

Поливанов встал, прошелся упруго, перекатывая кроссовки с пятки на носок, как шины колес, подергал усы, сам себе усмехаясь, остановился против меня, четко выговорил:

«Повторяю: зачем, куда, почему — меня не интересует. Не по адресу обратились, спуститесь этажом ниже, в планово-экономический отдел».

Он полупоклонился мне, явно прощаясь, и направился к своему крутящемуся сиденью. Меня, конечно же, затрясло от механической невозмутимости молодого кибернетика.

«Послушайте, Сергей Поликарпович, вы современный, образованный, наверняка знакомый с философией, социологией человек, вам ли не знать, что все экономические законы основаны на простой человеческой разумности: не производить, скажем, того, что невыгодно и тем более не нужно... У вас и отчество Поликарпович, возможно, отец ваш из простых, а то и деревенских. Ну, скажите, стал бы он выращивать на огороде неведомые бананы, а за овощами для семьи ездить на рынок?.. Вот у Богатикова «душа не лежит» к бестолковщине, вы же равнодушны, будто бы это не наше общее дело».

Поливанов внезапно рассмеялся.

«Вы, кажется, мне допрос устраиваете, товарищ председатель сельсовета? Случайно, в органах не служили? Шучу, конечно. И отвечу: у вас отсталые взгляды на современное производство, как раз колхозно-кооперативные: миром навалимся, миром мир продуктами завалим. Видим, как наваливаются, видим, как заваливают. И невдомек заботникам об общем благе, что каждый на своем месте должен хорошо свое дело делать. Пахарь — пахать, токарь — точить, конструктор — конструировать. А куда, почему, зачем продукция — дирекции, главки, министерства решают. Надеюсь, вам этой короткой лекции будет достаточно для начального экономического образования и уяснения современной ситуации? Кстати, раз уж вы сами зашли, товарищ председельсовета, хочу выразить вам свое «фэ» как будущий избиратель: в общественной бане вчера была вода чуть теплая, пьяный истопник никак не мог топку раскочегарить, и шайки без ручек, пообломали местные шутники: смешно им, видите ли, как голый человек с шайкой на животе по скользкому полу передвигается... Вроде бы ваша это забота? А если у меня

что-то там не прокочегарится или обломается, готов отчитаться перед депутатами сельсовета. Сам придум!»

«О, Сергей Поликарпович, какой вы... такой... этакий... — Я и слов-то подходящих сразу не мог подобрать, так он меня удивил ловкой интеллигентной речью. — Ведь вы нарочито не хотите понять... Это же злой абсурд — компьютер для затоваренной тары. А я думал, найду в вас союзника... Вы же кандидатскую диссертацию приехали делать!»

«Угадали. Изобрету бочку без обручей — на весь мир прославлюсь».

«Был у нас один, тот рыбу без костей хотел вывести...»

«Гениальная идея! Если уж что изобретать, вывести — так чтоб потрясло! Ха-ха! Всего доброго, развели. И девочки мои, гляньте, за животики хватаются, а ведь время рабочее, каждая минута дорога. Мне говорили, познакомься с Очагом культуры и справедливости... с Яропольцевым то есть, извините, такого слушаешься... Действительно. Благодарю. Как-нибудь в другой раз договорим, особенно интересуюсь изобретателем рыбы без костей. Время дорого, ваше тем более — общественному благу служите».

Такой вот получилась беседа (да ты и сам все слышал, Аверьян), с человеком наисовременной формации, меня даже сейчас легким морозцем пронизало — вспомнил ироничный, уверенный взгляд серых, может, пока еще не вовсе безразличных глаз недавнего крестьянского отпрыска, но уже растерявшего мораль предков. Желającego потрясти большой мир компьютерной бочкой.

15

И тебя, вижу, Аверьян, заинтересовал этот ихтиолог чудной? Был, жил у нас он в конце пятидесятых.

Кто тогда не искал, не пробовал, не экспериментировал — ринулись утверждаться, разоблачать прошлое, призывать свободное будущее. Было, было это всеобщее воспарение, и счастливо вспоминается оно — как нечто высокое, просторное, с распахнутыми окнами в мир. Годы молодости моего поколения. Мы всегда будем благодарны Никите Хрущеву, давшему вдохнуть нам воздуха надежды. Скольким потом этот свежий глоток помог одолеть наветы, несправедливости брежневского времени. Скольким уберег души!

Но все новое, известно, не утверждается без больших, малых, а то и смешных трагедий. Тот же Хрущев закрыл тысячи церквей, полагая, что они мешают строительству светлого будущего, расстрелял демонстрацию рабочих в Новочеркасске, «грозил буржуйам» снятым с ноги ботинком, выступая в ООН, пообещал скорое наступление коммунизма...

Смешной, хоть и печальной трагедией я считаю «научный поиск» ихтиолога Ивана Гилевича. Приехал он к нам вроде бы в командировку, с женой — оба поджарые, похожие на туристов-рюкзачников, — поставили палатку у ручья Падуна, лето прожили в ней, почти ни с кем не общаясь. Мальчишки, правда, говорили, что дядя и тетя городские сделали запруду, каких-то проволочных решеток понаставили, рыбок маленьких выводят. На зиму Гилевичи поселились у одинокой старухи, кто-то им присылал небольшие деньги, и все дни были они заняты химическими опытами — смешивали, взбалтывали, процеживали реактивы и записывали, заносили что-то в блокноты. Старуха, недовольная молчаливыми, неизвестно чем занимающимися квартирантами, ворчливо наговаривала бабам: «Мудрують мои спецьялисты, не иначе бомбой... ентый... с антомом... взорвать нас хотят». К лету они опять переселились в палатку, и о них некогда стало думать — подоспела путина, все были заняты, даже мальчишки катали вагонетки на рыбозаводе, помогали в икряном цехе. А осенью, в сентябре, явился ко мне в больницу Иван Гилевич с распухшим большим пальцем правой руки — уколол рыбьей костью, не промыл сразу, нагноилось под ногтем. Я попенял ему: мол, люди мы грамотные, начитанные, а позаботиться о себе вовремя не умеем, придется ноготь удалять. Это огорчило и как-то даже разъярило Гилевича, глаза его увлажнились, борода рыжая затряслась.

«Вот потому, — сказал он решительно, — я и хочу лишить лосося костей, сперва лосося, у него все-таки костяк помягче, потом всех рыб, потребляемых человеком. Подумайте, сколько несчастий пережили люди за свою историю от костей! А смертельных исходов?»

И пока я, сделав ему укол, оперировал палец, он поведал мне, что хочет вывести породу лосося с хрящевым хребтом, как у осетровых, но не через скрещивание — это устаревший, эволюционный способ, а с помощью мутаций, вызванных воздействием специальных химических составов на организм эмбрионов в икринках, потом маль-

ков: резкое изменение среды обитания, катаклизм — и часть подопытного материала гибнет, часть, меньшая, конечно, выживает, но сильно видоизменившись, перестроив свои генетические коды; выбираются затем наиболее жизнестойкие экземпляры, выращиваются, скрещиваются, дают потомство — и мы имеем принципиально новый вид лососей, с мягким костяком. Есть и другая мысль — на будущее — некоторых рыб одеть в панцирь, начисто лишив внутренних костей, наподобие моллюсков, но панцирь будет легкий, гибкий, из уплотненной чешуи. Этим достигается куда большее, нежели в первом случае: всполрол панцирь — и бери мягкое, чистое рыбье мясо.

Я спросил Гилевича, как же все-таки костяк в лососях хрящевым станет или, скажем, в панцирь обратится. Он улыбнулся снисходительно и терпеливо, пояснил:

«В этом весь секрет. Нужны специально подобранные, синтезированные химические вещества, с воздействием на определенные органы рыбьего организма, в частности, размягчающие костный скелет. Мы их открываем. Кое-что уже сделано. Кстати, природа тут за нас: обитавший миллиард лет назад в теплых водах ланцетник был полупрозрачным, имел хорду без каких-либо намеков на головной мозг, и все-таки стал предком всего плавающего, ползающего, летающего, бегающего на планете, в том числе и человека. Это я к слову, важно другое. В процессе эволюции ланцетник не раз обрастал панцирем и терял его, делался гигантом и вновь мельчал... Природа лишилась обратной связи, и мы нащупываем ее: в каждом живом существе упрятан праланцетник. А рыбы, моллюски и прочие простейшие — самые близкие родственники ему. Надеюсь, вам эта наука понятна? Приходите, покажу. Но, пожалуйста, с собой никого не зовите: все еще в секрете, все еще в самом начале».

Пришел, вижу: в проточной воде наставлены проводочные стопки-инкубаторы с икрой, набухшей и самых неестественных цветов — кроваво-красной, белой, голубоватой... Обработанной веществами, догадался. В запруде вяло плавают, лежат на песочном дне полупрозрачные, колючие, лупоглазые рыбешки, они часто подергивают жаберными щитками, будто выброшенные из воды, — невиданные уродцы неизвестной породы. И ясно мне: не жильцы на планете Земля.

Боже ж ты мой, думаю, что же мы делаем с природой?! Чистейший поток, жгуче-холодная горная вода, веселые тальники купают гибкие ветви в упругом течении,

а глянь выше — крутой склон сопки, березники и ельники смотрятся в зеркальность потока, вскинь голову — твои глаза утонут в космической синеве над вечно сияющими, белоледяными вершинами... Кому, зачем нужно менять это совершенство, что изобретем, как будем жить среди измененного и изобретенного? Вот они, плавают «мутированные» существа неизвестного происхождения!

Глянул на ихтиологов: глаза воспалены, лица искуса-ны гнусом, темны от исхудалости и загара, у него руки трясутся, у нее левая бровка подергивается... Ждут вос-торженной оценки их труда. Да это же одержимые, большие, опасные для жизни люди!

Говорю осторожно: «Нам бы тут рыбоводный завод построить, нормальных лососей разводить, а не только вылавливать. Они и с костями хороши. Если б вы этим занялись?»

О, как они сердито защebetали своими слабыми голо-сами, как подступили ко мне с двух сторон — думал, в ручей сбросят. «Вы ретроград!» — кричит он. «Вы про-тив науки! — кричит она. — Культовик, абориген! Из-за таких мы от Запада на сто лет отстали!» Бежал я с Па-дуна, чтоб еще больше не разъярить научную чету, ведь могли и камнями закидать, творчески как раз созрели для этого, находясь в высшем, почти сумасшедшем нерв-ном расстройстве. Пусть себе выводят, другого они, по-жалуй, уже не умеют: сами «мутировались».

Вскоре, однако, и развязка этой маленькой трагедии припела: из района прибыл милиционер с официальной бумагой, арестовал Гилевичей как тунеядцев (оказывает-ся, самовольно сбежали из научно-исследовательского ин-ститута, их по всей стране разыскивают), чтобы водво-рить заблудших в родное научное учреждение, и наше Село пережило волнующий день: ребятишки, старики, все, кто был свободен от работы, собрались на аэродром-ной площадке проводить «чудных кандидатов». Перед по-садкой в самолет Гилевичи устроили небольшой митинг, выкрикивали что-то о свободе личности, тайнах творчест-ва, грозились расправиться с ретроgrадами, обещали не-пременно вернуться, продолжить научную работу. «Бу-дем, товарищи, будем есть рыбу без костей! — крикнул на прощанье Иван Гилевич. — Мой дед подавился костью и умер молодым. Избавим человечество от векового рыбьекостного зла!» Помянули, конечно, они и меня, не-добро, с намеком: мол, это он, ваш эскулап одичалый, выдал нас милиции.

А было все проще. Неутомимый, всевидящий селькор Константин Севкан напечатал в областной газете заметку под заголовком: «Дерзкий эксперимент Гилевичей». По ней-то и разыскали их.

Ученая чета, понятно, не вернулась к нам, но память о ней до сих пор жива. Поймает мальчишка какого-нибудь уродца непонятной рыбьей породы, кричит: «Гилевич попался!» Спросишь его, почему Гилевич? Помотает головой — не знаю, так все говорят.

Удивительно, Аверьян, как непостижимо наше мышление, какие необъяснимые сопоставления в нем возникают: рассказанная тебе история «научного поиска» как-то постепенно стала для меня прообразом пятидесятих годов, когда почти ни в чем не была соблюдена разумная мера, и многие хорошие начинания были загублены абсурдным проектёрством.

16

Вот мы и приблизились еще к одному нелегкому периоду жизни Николая Степановича Яропольцева. Помнишь, Аверьян, когда-то ты сказал: в твоей фамилии, Коля, есть что-то от ярости, наверное, предки твои были яростными... О своих предках я мало что знаю, как, впрочем, и многие другие (не модно было, а то и небезопасно копаться в родословных), в себе же я никакой ярости не ощущал и не ношу. Некое упрямство всегда было, простое, мужицкое, от тех хлебопашцев смоленских, в прошлом веке пошедших на Восток искать необжитых земель, вольной мужичьей страны: чтоб по справедливости все, без обману большого, чтоб почести человеку — за труд и совестливое поведение (по чести, значит), а не по чину только или силе кулачной, палочной... Смолоду мне горячо думалось: это ведь так просто — за труд и совесть. И мы, исполняя твои желания, Аверьян, превратим наше Село в очаг культуры и справедливости, чтобы затем свет нашей любви, человечности распространился по всей планете. Ведь люди жаждут этого, поговори с любимым и каждым — кто против? Но прошли годы, прежде чем я сказал себе: милый ты мой, веками человечество бьется за простые идеалы любви и справедливости и не намного приблизилось к ним на ис-

ходе второго тысячелетия от рождения Христова. Можешь отстаивать их, однако не берись исправлять все человечество сразу, а лишь у себя в селе, городе, на армейской службе, в космосе... — отстаивай их каждодневно, каждодневно и только своим примером: раз обманул, раз соврал, раз схитрил — и нет тебе веры, ты растворился среди себе подобных, разве что легко проживешь, сладко раскормишься и угодишь после смерти гробовым червям. Почти как по анекдоту невеселому.

Думал я обо всем этом, направляясь к Мосину на деловую беседу. А войдя в громоздкий куб его кабинета, сразу и заговорил:

«Иннокентий Уварович, ваш тарный комбинат ведет себя, как персонаж одного анекдота — спрашивают его: почему так растолстел? А как же, отвечает, надо и о тех побеспокоиться, червяках, которые там дожидаются, — и указал этак вот пальцем в землю. На древоточцев комбинат работает!»

Мосин как-то невольно, в минутной растерянности глянул вниз, но сразу же вздернулся, поднял над головой руку с вытянутым пальцем и твердо указал в потолок:

«Там решают».

«А мы здесь для чего — одобрять и приветствовать?»

«Давать вал».

«И вы думаете, Иннокентий Уварович, я буду молча взирать на ваш вал, при котором добро переводится на дерьмо, извините? Для этого народ избрал меня председателем сельсовета?»

«Народ не поблагодарит тебя, когда оставишь его без работы, когда придется бросать родное Село».

«Да какой же это народ, если ему все равно, что производить, на кого работать? Он же не Макса-дурачок, который напевает: «Мне бы седни пообедать, завтра боженька подаст». Спрошу у народа. Если ему все равно, потребую освободить меня от должности слуги такого народа».

Мосин вышел из-за стола, пронес до двери кабинета и обратно туго обтянутый жилетом живот, легонько положив на него руки и вроде прислушиваясь к происходящему внутри (думая?), остановился против меня (в его кабинете я никогда не садился в кресло, проседающее едва ли не до пола), протер надушенным платком багровый загривок, спокойно заговорил, ибо вывести его из терпения удавалось немногим:

«Твой отец здесь родился, его могила здесь. Ты здесь родился, наш уважаемый Николай Степанович, тебя давно пора избрать почетным гражданином Села. А ты не любишь свое место рождения. Или газеты, литературу не читаешь? Какая чуткая забота сейчас проявляется о малой родине каждого нашего человека, чтоб где родился, там пригодился. А ты земляков хочешь по миру пустить... Что тебе эта тара? Не ворованная, на законном основании все. Сегодня не берут — завтра спасибо скажут. Человек дороже какой-то бочки или ящика».

«Человек без разума и совести — не человек».

«Понимаю, понимаю, умеешь говорить красиво, тебе в писатели надо, романы критические сочинять, «Царь-рыбу» читал? Остро этот, как его... ставит вопросы. Поучительно. В романах можно, это для чтения в свободное время. Жизнь потруднее строит загадки. Писатели — мастера слова, мы — мастера дела. Давай, значит, поделовому. Обещаю, буду тревожить инстанции, просить, требовать — вывезут нашу тару!»

«Не верю. И предлагаю то, что уже предлагал, — перевести комбинат на другую продукцию. Можно выпускать для начала древесно-стружечные плиты — вон из тех холмов опилок и стружек».

Мосин молча и угрожающе поднял палец вверх:

«Там сидят не глупее тебя».

«Хорошо, буду писать тем, кто не глупее меня. Поймут, прекратят наше валовое безобразия».

«Пиши. Только вся твоя писанина вернется к нам. Привлечем за клевету. Тебе что, мало той, сталашкинской науки? Недавно ведь выговор с тебя сняли. Не учел, не перевоспитался? Учти, в лучшем случае придется тебе бежать из Села. В худшем — сам нарисуй себе картину будущей жизни, высшее образование все-таки имеешь».

Он прошел за письменный стол, прочно уселся, широко расставил локти и не мигая уставился на меня. Его черно-карие, всегда влажные глаза сделались сухими, будто перегретые внутренним жаром: значит, озлобился. Не спуская с меня глаз, по-удавьи гипнотизируя ими, он нажал кнопку в правой стенке стола — за двумя дверьми тамбура слабо запел зуммер: вызывался следующий посетитель.

Что было делать — смотреть и молчать? А что бы подумал, сказал обо мне ты, Аверьян?.. Помнишь, еще в

начале своего рассказа я спросил тебя об этом, удивив сперва своим председательством сельсоветским? И вот сейчас мне услышался твой ответ: «Работать!» Значит, не сдаваться, действовать, добиваться справедливости. Все вмещало в себя это твое «работать»: учиться, ловить рыбу, лететь на Северный Полюс, рубить уголь в шахте, писать стихи, дружить, ибо и к самой жизни ты относился как к непрестанной работе.

Я стал обдумывать свою дальнейшую работу. С чего начать?.. Объединить интеллигентов Села, сторонников, так сказать, непререкаемой истины — «экономика должна быть экономной»? Таковые найдутся и не побоятся выступить вместе со мной. Но тут же нас обвинят в групповщине, склочничестве, отрыве от трудового коллектива, посягательстве на заслуженные авторитеты. И осудят. Действовать одному — пробьешь ли глухую стену, возведенную Мосиным и мосинцами вокруг неостановимо грохочущего тарного комбината? Писать бумаги в область и край — вернуться по месту жительства «писателя», тут директор совершенно прав.

И ничего лучшего я не придумал, как собрать сход, народное вече, если по-старому, тем более что сходы — собрания сельчан — мне несколько раз удавались: выходили скопом благоустраивать Село, большинством поднятых рук решили сократить продажу вина и водки до одного раза в неделю, добились кое-каких средств на строительство новой бани — послали в райисполком просьбу с подписями всех совершеннолетних сельчан, — и строили ее сообща, в свободное время.

Собрал я народ как обычно у сельсовета, без какой-либо подготовки, но о сходе все заранее были извещены, и мосинские активисты успели провести «работу в массах», одних припугнули директорским гневом, других — гибелью Села, третьих просто подпоили (хотя был четверг, и спиртное в магазине не продавалось), чтобы орали, толкались, создавали сумятицу и неразбериху.

Сорвался сход. Я ничего толком сказать не смог, другим буквально рот затыкали. И самое горькое — на следующий же день мне позвонил домой председатель райисполкома и категорически запретил сходы, эту стихийную вандею древности, как он выразился, вносящую раздор в трудовую жизнь Села, и вообще велел запомнить, самодеятельность хороша музыкально-танцевальная, а не общественно-политическая: «Вы слуга народа, товарищ Яропольцев. Так служите, а не бандитствуйте. Народ не

потерпит самоуправства. Думаю, ошибку допустили, разрешив избрать такого неподготовленного товарища. Я был против, вы это помните. Советую наладить отношения с Иннокентием Уваровичем. Мы его представляем к ордену». Мне не было разрешено произнести и нескольких слов, только я заикнулся: «Выслушайте, пожалуйста...», как последовало раздражительное: «Слушали. Все знаем. Думаем о выводах». И в трубке зазуммерили короткие сигналы, разговор окончился, точнее — со мной не стали говорить.

Помнится, минуту или две я стоял у телефона, вслух спрашивая кого-то: «Орден? Какой орден? Кому орден? За что орден?..» Подошла жена, сокрушенно оглядела меня, покачала головой: мол, свихнулся как есть, заговорила, стараясь по-бабьи высказаться до последнего слова, не скрывая своих страхов, опасений, нехороших предчувствий: «Чего ты добился своей справедливостью? Подожди, хуже будет... исключат из партии, прогонят из сельсовета. Подумай о детях, просись обратно в больницу... по селу пройти нельзя, чтоб не окликнули: «Привет твоему воителю! Когда двинемся на последний, решительный?..» Опять про Зеленко того вспомнили, который от перитонита умер, зарезал, говорят, Яропольцев единственного сына у матери. Зеленчиху подбивают, чтоб на расследование подавала, в крайнем случае, мол, будет тебе Яропольцев алименты выплачивать...» Ну и так далее.

Алевтина Афанасьевна осудила мою распрю со Сталашко. Теперь против Мосина что-то непонятное ей замышляю. Вот и наговорила обидного после скандального схода сельчан и звонка предрика. Но страхи ее, опасения какие-то заклинательные, насторожили меня: в самом деле, зачем я прую напролом? Не лучше ли остановиться, поразмыслить спокойно? «Горячая голова страшит, холодная побеждает». Ведь Мосин — в крепости, его обороняет войско из верных мосинцев. У них власть, сила, сытое благополучие. Кто и когда отдавал все это без сопротивления, по призыву к совести: вы делаете не то, не так, вас осудит народ. Они знают одно: будет власть — будет послушен народ. Заставят. Уговорят. Подкупят. Усыпят. Средств множество. И самое первейшее — вовремя разоблачай смутьянов, отдавай их на посмеяние и расправу народу: враги ваши!.. Что, Яропольцев восстал, не захотел разделить с нами народную власть? А кто он такой, этот Яропольцев? Хирург бывший, говорите? Человека зарезал? Вот они, правдолюбцы теперешние!

А человека «зарезанного», Зеленко Алексея, привезли с запущенным аппендицитом. Везли его из бригады лесозаготовителей трое суток, по холоду и сугробам, на санях, простудили вдобавок. Вертолет бы вызвать — рации в бригаде не оказалось. Температура под сорок, снизить ее не удавалось — из антибиотиков только пенициллин был, да и того маловато. Звоню в район — немедленно стрептомицина пришлите, сколько можно просить, заявок писать, человек умирает! Пообещали в самое короткое время рейсовым самолетом доставить. Как быть? Разве делают больным с такой температурой операции? Решил все-таки вскрывать. Вижу: перитонит сильнейший, так называемый — разлитой. Промыл брюшную полость фурацилином (пенициллин берег), вставил трубку для оттока гноя и промывки полости, все как полагается сделал, назначил усиленные дозы пенициллина. И парень вроде пошел на поправку, медленно, а все же стала падать температура. Жду: вот-вот будет у меня стрептомицин. И тут запуржило, беда ведь, как известно, горе окликает. День, другой, третий... Кончился у меня пенициллин. Температура остановилась на тридцати восьми. Сутки удерживалась, кажется, только моей напряженной волей. Потом пополз столбик термометра вверх. Но... тот не врач, кто и после исчезновения пульса у больного не верит в его спасение. И я верил: парню всего тридцать, он крепок телом, стоически переносит боли и, главное, настроил себя — одолеть болезнь.

Несколько раз звонил в районную больницу, советовался. Главный хирург отвечал: сделано все правильно, нужны антибиотики, если еще не поздно, лично ему не известны какие-либо иные средства, способные воскрешать таких вот больных, однако, видите, погода какая... «Погода, погода! — кричал я в трубку. — Все списываем на погоду — от пьянства, неурожаев до таких вот случаев... Надо заранее обо всем думать, тогда и погода ни при чем будет!» Там соглашались: правильно говорю (хирург был человеком пожилым, из фронтовых военврачей, и терпел эти мои «аполитичные» выкрики), только не надо думать, что в районной больнице какие-то излишки ценных препаратов имеются.

А тут мать Алексея неусыпной тенью бродит под окнами палат или подлавливает врачей, сестер и меня, конечно: «Чует мое сердце, умирает мой сыночек единственный!» — и в ноги бросается с рыданиями. Как ее к больному пустишь?

И все-таки не это было самым тяжким — глаза Алексея, уже понявшего, что он умрет: до краев залитые слезами, немигающие, чистейшей синевы, устремленные в пространство жизни — сквозь потолок, стены палаты, — и уже там, а не во мне, ищущие спасения: если они не упустят свет, если они удержат всю необъятность бытия, то смерть отступит, испугавшись столь неборимой жизненной силы.

Но жизнь наша земная — в теле, а оно у Алексея все больше отравлялось инфекцией; и от нестерпимых мук избавлял его только морфий.

Наладилась, конечно, погода, прибыли антибиотики. Зачем они теперь? А вдруг, вдруг... Назначаю сразу пенициллин со стрептомицином. Вижу: не лечат они Алексея — глушат, замедляют пульс, дыхание, обарывая бактерии гниения, надрывают ослабевший организм. Подобно тому как войско, изгоняющее врага, не щадит и своей территории.

Большую часть суток он спал. Я и надеялся — он умрет во сне, в тех безбольных, легчайших, возвышенных видениях наркотического бреда, который, может быть, и необходим (и существует в природе) лишь для таких случаев — как милость, лишаящая человека трезвого разума. Но в час смерти Алексей очнулся, глянул на меня вполне осознанно, спросил: «Все?..» Я не шелохнулся — ни да, ни нет. А какое было желание сказать: «Все, Алексей, и прощай!» Или просто кивнуть, то есть сказать человеку правду хоть перед смертью, правду конечную — о его смерти. Это запрещено врачебной этикой и, кажется, мало кого утешает и обманывает: умирающий обычно чувствует свою последнюю минуту. Осознал ее и Алексей Зеленко. Более тихим голосом, как бы соглашаясь со мной, он выговорил: «Все». Голова его опустилась на подушку, лицо младенчески расслабилось — ни морщинки, ни малейшего напряжения. Я понял: боли покинули его. Спросил: «Пригласить мать?» Он неожиданно забеспокоился, попытался поднять голову, но лишь покачал ею, глаза его начали замутняться, стекленеть, и сквозь подступающую темень, теряя сознание, он выговорил еле слышно последнее: «Не говорите маме, что я умер...»

Много ли я видел смертей, Аверьян? Как не увидишь их, проработав хуругом более двадцати лет? Умирали старики, отжив свое, алкоголики с перепоя — «сгорали», как говорят в народе, от инфарктов, настигающих теперь

и сельских жителей; одного привезли с проломленным в драке черепом — не успел на операционный стол положить, другой полгода прожил после операции — рак поджелудочной железы, скончался охотник, по нетрезвой оплошности разрядивший в себя ружье, отравилась женщина в отместку возлюбленному за измену... Все как везде, и сельскому лекарю работы хватает.

Но смерть Алексея Зеленко для меня — единственная. Тут я увидел ее воочию: безжалостную, слепую... Там были какие-то причины, следствия, тут — смерть. И впервые вздрогнул, ощутив сердцем и всем своим хребтом вечный холод ее, будто враз, неизбежно промерз до костей (вот сейчас шевельнул лопатками — и ощутил зябель спиной). И вину с тех пор ношу в себе. Не виноват? Да. Но не почувствовал ли и ты вины, Аверьян, узнав об этой смерти? То-то же. Человек либо виновен всегда и за все, либо непричастен ни к чему — и тогда, как говорится, бог ему судья, а люди называют такого просто: вертухай.

Мать Алексея уехала сразу после похорон, но не прошло года — вернулась: нигде не обрела покоя. Она и сейчас здесь. Редкого характера женщина: муж ее погиб в последние дни войны, она любила его и не смогла во второй раз выйти замуж; умер любимый сын — и доживает свои дни рядом с его могилой.

И вот, оказывается, мосинцы не пожалели старуху, ее выстраданного покоя.

Неужели им подсказывает какое-то инстинктивное чутье: он же, то есть я, чувствует себя виноватым?

17

Моя группа антитарников — учитель математики Сергей Гулаков, бондарь Богатиков, завклубом Константин Севкан, он же селькор, — решила, как сказал острый на слово Гулаков, «уйти в подполье», но «вести работу в массах», внушать думающим, совестливым: мосинская таромания вредна, опасна не только экономически. Человек превращается в робота, которому все равно, что строгать, пилить, клепать. Не оттого ли больше стало пьянства, прогулов? Надо перейти на выпуск другой продукции. И так далее. Самый молодой из нас, Сергей Гулаков, этакий современный интеллектуал-верзила, с чубом на глаза, русой разночинской бородкой, с косоватым чутьем, а потому вроде бы ироничным взглядом, придумал

свои особенные тесты — притчи. Остановит посреди улицы мужика, спросит, указывая на штабеля тары:

«Как думаете, когда нас это полностью задавит?»

«Задавит, говорите?..» — удивляется мужик.

«Ну да. То, что имеет тенденцию к неуклонному нарастанию, занимает все большее жизненное пространство при отсутствии тенденции обратной — потребления наращиваемого, может... Словом, я прикинул на компьютере в КБТ своего тезки Поливанова: через восемь — десять лет на месте нашего поселка вырастет огромная гора тары, и от дома к дому будут пробиты тоннели для общения и сообщения между жильцами таргорода. Мы станем слепыми, как кроты, научимся бегать на четвереньках — так удобнее, и тоннели высокие не понадобятся. Представьте, среди тайги — высоченная гора испиленного, изрубленного дерева, похожая сверху на муравейник. Нас только бомбой и можно будет вызволить на свет божий и разметать по свету».

«Что вы говорите!» — искренне поражается мужик.

«Успокою, до такой жизни мы не дойдем: нас пожрут жуки и червяки-древоеды. Сколько их теперь в таре? Будет еще больше, если такими ударными темпами будем увеличивать вал. Сперва источат деревянные тротуары, по ним подберутся к нашим домам, пожрут их (представьте, ваш дом превратится в кучку трухи!) и несметными полчищами двинутся уничтожать леса... Как считаете, что останется от нашего Села?»

Мужик крутит головой, озадаченно мыслит.

«Помогу: дирекция комбината, она из стекла и бетона».

Догадавшись наконец, что учитель Гулаков шутит — он ведь известный шутник! — мужик идет дальше, похохатывая и изумляясь неслыханной выдумке, но его голове уже не освободиться от образов — огромной горы искромсанного дерева и кучки деревянной трухи на месте его собственного дома. Если мужик не совсем глуп и не пьянь беспросветная, он вскоре спросит себя: «Что же мы творим-то?..»

Мосину, конечно, все докладывалось, и ему не могли нравиться такие «беседы» с народом Сергея Гулакова, но и запретить их остряку учителю — слишком уж на самодурство будет похоже, и Мосин решил самолично и как бы невзначай побеседовать с Гулаковым. Увидев однажды его шагающим по тротуару, он остановил «Волг», вышел, поманил:

«Сергей, на минуточку!»

Гулаков подошел. Мосин руки ему не подал, что означало: учти, не совсем доволен тобой! Это не огорчило Гулакова, напротив, он всегда старался увильнуть от рукопожатия директорской длани: пожмешь, говорил, и выслуживаться хочется.

«На тебя показывают, Сергей... — вымолвил Мосин нарочито неспешно (умел по случаю припугнуть!) и животом прижал Гулакова к боку машины. — Люди видят, слышат».

«Пальцем показывают, Иннокентий Уварович?»

«Пока словом».

«Понятно: сначала было слово...»

«Оно же будет в конце. Но за нами».

«Возможно. А что показывают, Иннокентий Уварович?»

«Шутишь много».

«А, эти мои выдумки!.. Роман пишу, Иннокентий Уварович, отдельные главы на будущих читателях проверяю, советуюсь: чтоб народ знал, что о нем сочиняют. А то, понимаешь ты, расползутся по дачам и домам творчества инженеры человеческих душ и клеветают втихую на действительность. Повытаскивать бы их да физиономиями — в жизнь, в жизнь...»

«Ну, бывает, и правду пишут. Недавно я роман прочитал одного... фамилию запомнил... какие-то фамилии пошли пустяковые, не то что у классиков, раз прочитал — и на всю сознательную жизнь польза большая... Про Сибирь там у него — ну, размах, ну, перспективы, ну, прогресс технический!.. Воображаешь, город — как единый организм. Людей почти нет, их не видно... Механизация полная, роботизация тоже. И всем управляет Хозяин, мыслитель новой формации, сверхголова экономически-техническая».

«А что производит этот город?»

«Сибирь осваивает».

«Сам для себя, значит?»

«Для прогресса».

«А кому он нужен, такой прогресс, если в нем человека не видно?»

«Демагогия, Сергей, демагогия... И откуда вы, молодые, нахватываетесь ее? Ведь только начинаешь приносить пользу обществу — и уже заражен пустозвонством. Человек может быть счастливым только в коллективе, только когда равный со всеми».

«Если коллектив счастлив...»

«Коллектив не имеет права быть несчастливым».

«Если им руководит сверхголова?..»

«Намекаешь, значит?.. — Мосин теснее прижал Гулакова к лакированному боку машины. — А между прочим, у тебя в работе невыполнение. Недоделки. Отстающих по математике много. Заслушивали директора школы на парткоме, недоволен тобой. Этими твоими новаторствами в преподавании. А нам что нужно? Чтоб человек подрос, на конвейер стал, к станку, нормы перевыполнял. На труд для общества надо ориентировать. Зачем ему твоя высшая математика, если он уже девок щупает? Тянем, понимаешь ли, всех в академики! Мы одного гения в Москву поставили. Слышал небось про Супруна? Затмил там, затмил... Считай, на сто лет вперед выполнили план поставок докторов наук. Пусть другие по доктору... А ты намекаешь. Значит, против установок, линии, решений. Так?»

«Извините, Иннокентий Уварович, вы широко, можно сказать, государственно мыслите, запутали меня обществом, коллективом, наукой, решениями... Я и сказал что-то невпопад. Не уловил. Недопонял. Исправлюсь!»

«Ну, это другое дело, самокритика — всегда полезна. Скромность украшает молодого человека, как невинность девушку. Ха-ха!.. Так о чем мы говорили?»

«О моей работе».

«Подтянись, значит. У нас переходящее знамя по отрасли. Вписывайся в коллектив. Поддержим. Выдвинем. Вон Буракову, завучу, скоро на пенсию. А там и директор школы более прогрессивно мыслящий потребует. Учти!»

Мосин привычно покачивается для разминки, тяжело морщит лоб: чего-то вроде не договорил, вроде бы уклонился от главной важной мысли, но вспомнить никак не может, по всегдашнему тугодумию, прочно усаживается в машину, кивает шоферу и лихо пылит к сияющему кубу дирекции комбината.

Перемирие длилось, мосинцы полагали, что навсегда утомили антитарников, и тара шла прежним потоком. Порой мне казалось: может, она нужна, и не для каких-то там утилитарных человеческих потребностей — все-ленских, пока еще не понятых простыми смертными?

Может, Мосиным управляют высшие силы?.. Я встряхивал головой, натирал виски вьетнамским бальзамом, просветляя сознание (завезли бальзама крупную партию, лет на десять вперед), но эти абсурдные мысли не оставляли меня.

Так и с ума можно сойти, серьезно задумывался я, к мосинцам в пособия перекинуться! Надо что-то делать. Немедленно!

И тут — о, везение, порой выручающее нас! — прилетает в Село корреспондент краевой газеты. Молоденький, весь вельветово-джинсовый, обвешанный фото—и прочими камерами, только что с факультета журналистики МГУ, сразу видно — талантливый, раскрепощенно-столичный, матерьяльцы выдает хлесткие, ну и, конечно, дуралей порядочный — жизни-то, кроме улично-московской да южно-курортной, не ведает, не знает. Лихо махнул на Дальний Восток, чтобы с головой окунуться в будни строек и трудностей (такие на БАМ едут, посещают горячие точки планеты, идут на лыжах многие сутки под вертолетным надзором к полюсам планеты, в космос просятся..), словом, зелененький шелкопер, жаждущий вырасти в газетного льва, одним своим видом пугающий бюрократов, нерадивых хозяйственников, хапуг и прочую общественно-социальную нечисть, мешающую нашему стремительному продвижению вперед и вверх, а потому — охотник до острых материалов на злободневные, животрепещущие темы: вынь да положь ему все такое, не то сам вникнет, вынюхает, выявит негатив, а уж когда напечатает его, не жалуйся на ретушь и другие художественные приемы, усиливающие портрет «героя» или грани назревшей проблемы: журналистика — тоже искусство, да еще и древнейшее.

Не знаю, Аверьян, были в твое молодое время такие журналисты? Теперь ими мир полнится и задыхается от информативного бума, они делают политику, навязывают избирателям президентов, участвуют в свержении правительств, они всюду, профессиональные и самодеятельные информаторы, их много, как туристов, они превратили мир в одну огромную коммунальную квартиру, где в каждой двери глазок все видящий и за всем следящий. Они завладевают миром. Хорошо это или плохо? Время покажет.

Ну, а наш Андрей Кондратюк, заглянув в сельмаг и не обнаружив на полках ничего винно-водочного, незамедлительно явился ко мне, представился, заговорил:

«Погода — дрянь, товарищ председатель, хмарь и хо-

лод, продрог в «Аннушке» дыряво-дюралевой, надо бы рюмкой-другой согреться, говорят, в сельсовет иди, у нас полусухой закон — раз в неделю разговляемся. Спрашиваю, откуда же пьяные среди недели, троих видел, на мотоциклах к самолету подлихачили? Так это, говорят, ягодой объедаются, осень, ягода в тайге перекисла, забродила... Розыгрыш, думаю, товарищ председатель, или у вас тут особый экологический микрокосм? Хотя об этом потом, прошу дать распоряжение на бутылку коньяка, я не пьяница, как видите, но для тонуса и в такую вот морось и морочь — принимаю. Естественно, с профилактической целью и свою норму».

Я ему сказал, что дать такого распоряжения (или записки написать) я не могу, наши работницы прилавка пока еще не роботы, все хорошо делающие и помалкивающие, и легко вообразить, как мы будем выглядеть, предсельсовета и сотрудник краевой газеты, сделавшие для себя лично винно-водочное исключение. Но посоветовать могу: идите к учителю Сергею Гулакову, он примерно одного с вами возраста, у него и квартировать будете — гостиниц у нас пока нет, ну и, если уж вам так необходимо для профилактики, Сергей чего-нибудь найдет.

Этот мой совет, данный, кстати, без какого-либо расчета (возможно, и было что-то не очень явное: авось?.. — теперь не помню), нежданно-негаданно послужил сдружению корреспондента с учителем, людей, так сказать, одного поколения, уровня, эстетических запросов, и в тот же вечер из распахнутого в осеннюю стынь окошка комнаты Сергея Гулакова в доме для учителей завывали, застонали импортные ансамбли вперемешку с Пугачевой, Высоцким и прочими отечественными «звездами». Наши девушки, принарядившись, стайками прохаживались мимо жарко светящегося, будто другой мир открывающего окна. Смелые входили сами, робких приглашали. К полночи вечеринка с танцами, роками, попами, романсами и песнями советских композиторов достигла такого накала, что соседям пришлось стучать в стены комнаты Гулакова, угрожать жалобами, устыжать: «А еще корреспондент с педагогом, интеллигенты называется!»

Дня через два Андрей Кондратюк был, кажется, знаком лично со всеми сельчанами, мальчишек называл по именам, Макса-дурачок ходил за ним следом, упрашивая «сфотать» и взять у него «интервью» для газеты «Нью-Йорк таймс» (почему приглянулся ему именно этот зарубежный печатный орган, Макса объяснить не мог; вероятно, хотелось ему, по

примеру популярных артистов, спортсменов, поэтов, получить сразу и громкую мировую известность), а на третий день Село буквально потрясла новость: у Кондратюка и медсестры Анюты — любовь! Видели их на лодке вдвоем, в кино сидели рядом, а старик Потейкин, собирая грибы по ближним лесным опушкам, самолично наблюдал, как они бегали друг за дружкой в березнике, целовались, и Кондратюк со смехом погрозил ему, Потейкину, пальцем: мол, помалкивай, старый! Наиболее приметно и на долгие времена отметили это событие в жизни своего кумира наши мальчишки: рискуя сорваться, вскарабкались к самой вершине отвесной скалы у Реки и на черном граните вывели белой эмалью: « $A + A = 2A$ ». Ну, разговоров пошло, ну, пересудов! Давно у нас ничего такого, возбуждающего, не было. Женщины стали наряднее одеваться, кудрявить волосы, подкрашиваться. Мужчины насторожились, принялись за своими женами послеживать, будто каждую мог соблазнить наезжий корреспондент; подражая ему в интеллигентности, водили своих нареченных под ручку, а иные до невероятной крайности дошли — галстуками повязались!

Ничего этого Андрей Кондратюк, конечно же, не замечал. Был он истинным отпрыском, как уже говорилось, коммуникабельного времени и любую среду обитания делал пригодной для личного процветания, полагая, что так оно и быть должно: раз молодым принадлежит будущее, то настоящее бери голыми руками и не стесняйся. Но трудись в меру сил и способностей, общество тунеядства не простит. И Андрей погрузился в разнообразную жизнь Села.

Подвижности его можно было удивляться: вот он на тарном комбинате у конвейера беседует с рабочими, вот в сопровождении Мосина озабоченно обходит тарные награждения, вот он в КБТ дружески и понимающе выслушивает главного конструктора Поливанова, вот, деловито попивая чаек в кабинете директора комбината, записывает цифры и факты достижений, поражается высоким обязательствам встречных бригадных и личных планов тарников... и опять куда-то едет вместе с Мосиным в «Волге», потешая директора (в недолгие минуты отдыха) свежими анекдотами. Нет, не отказался он пообедать у Хозяина, поужинать в семье главного инженера комбината, личности малоприметной, но агрессивно разговорчивой, из тех, кто, начав говорить, тут же забывают — о чем, зачем и почему говорят, а заканчивают свою авторитетную болтовню со вздохом серьезнейшей озабоченности: «Ну вот, вы меня хорошо понимаете,

международная обстановка ответственная...» Едет он и на охоту в мосинской свите, хотя не умеет стрелять, ему помогают держать ружье, целиться, его пальцем жмут на спусковой крючок новенького «Штайер-Манлихера» и — о, удача! — он убивает влет кряковую, что приветствуется общими аплодисментами, криками восторга. Его под конец везут на остров в Избу охотника, куда дозволено явиться и Анюте, он обыгрывает там всю мосинскую свиту на бильярде, приказывает пить за самую голубоглазую девушку нашей планеты — Анюту и читает стихи Игоря Северянина «Ананасы в шампанском...»

Минула неделя, срок командировки Андрея Кондратюка закончился, он собрался улетать. Об этом сельчане узнали накануне, и все, свободные от работы, празднично приодетые, явились на самолетную площадку. С комбината были отпущены передовики, школьницы преподнесли дорогому корреспонденту красные букетики домашней герани — все лесное и цветущее завяло от осенних холодов, — и сельчане видели, как, вежливо оттеснив Анюту, подступил к Андрею сам Мосин, пожал руку, трижды, по-родственному, расцеловался и хозяйски, легонькими похлопываниями направил слегка смущенного Кондратюка — не ожидал он таких министерских проводов! — в дверь самолета. Клубный самодеятельный ансамбль исполнил песню местного композитора «Нам до космоса рукой подать». Самолет взревел, публика закричала «Ура!», замахала платками, шляпами, прочими головными уборами, а старушки даже всплакнули.

Я тоже пришел глянуть на провода и очень усомнился в полезности наезда к нам (в кои веки!) сотрудника краевой газеты, но суетившийся тут же Сергей Гулаков — то школьниц с букетами выстраивал, то Максудурачка от корреспондента отрывал, то провожающих просил не лезть на самолет... — все подмигивал, кивал мне: мол, не надрывай нервы, старина, ты ведь всякое видел! А раз, явно любуясь осанкой, дипломатической вышколенностью Кондратюка, сказал мне негромко: «Артист! Но парень свирепый. Увидишь, Степаныч!»

Увидел. И не я один..

О, Аверьян, да мы, оказывается, присели на скамейку в скверике сельсоветском? Шли мимо и подвернули.

Это я по привычке. Случается такое со мной — старые места проведываю, чтоб в прошлом побыть какое-то время.

Смотри, домишко цел, ставни я досками заколотил, на дверь замок повесил. И флагшток наш в порядке, мачта вон та листвяжная. По праздникам флаг вздергиваю на самую макушку: мол, живы мы тут, не сгнули, потому что живем, а не функционируем! Вроде бы оповещаю человечество о нашем существовании.

Сижу я как-то в сельсовете, Аверьян (было это недели через три после отбытия корреспондента Кондратюка), в печке дрова потрескивают, за окном первая большая метель разгуливается; самое скучное у нас время — между потемной от дождей осенью и ожидаемой белой зимой; зверь притихает, птицы не слышно, и человека в сон клонит — так бы и залег в спячку до весны, до высокого солнца; утомляется все живое; вот-вот настоятся звонкие морозы, взиграет кровь в жилах... А пока сижу и замечаю: зданьце наше почти не вздрагивает, значит, думаю, выветрился, истончился флаг над ним, менять нужно, не то тревожить нас тут перестанет... И в это самое время врывается ко мне «без доклада» и стука в дверь Сергей Гулаков, кричит от порога, размахивая газетой:

«Видели, читали?!»

«Не видел, не читал, — говорю. — Почту пока не принесли. Но самолет был, значит, и почта есть: чего горланишь, как перед стихийным бедствием?»

«Вот, вот, гляньте. Действительно бедствие кое для кого!»

Наконец вижу на газетной странице статейку под заголовком: «Кому нужна эта бочко-ящикотара?» Быстро читаю и, как говорится, не верю ни своим, ни чужим глазам: в ней кратко, жестко, даже с некоторым фельетонным запалом изложена суть нашего бессмысленного тарного рвення, названы имена директора, других руководителей комбината, приведены убийственные цифры затоваривания, сделан намек на разгульную охотничье-рыбацкую жизнь Мосина и его приближенных, а в конце сказано, что предсельсовета Яропольцев Н. С. пытался провести поселковый сход и общинно, всем народом, разобратся в работе комбината, позаботиться о дальней-

шей жизни Села (кстати, он же предлагает перевести комбинат на выпуск стройматериалов из накопившихся отходов тарного производства), но сход был сорван, людям не давали говорить пьяные личности, на что спокойно смотрели дружинники и немногие ответработники комбината; директор же не соизволил выйти к людям, «что бы ответить на главный, волнующий их вопрос: зачем производить эту бочко-ящикотару, если она никому не нужна?»

Я вскочил и какое-то время расхаживал по своему узенькому кабинету, успокаиваясь. Невероятно! Потрясающе! Неужели это напечатано?! Разве можно было ожидать такого геройства от юного Кондратюка, говоруна и позера? Не обработал ли его более опытный Гулаков, скромно притихший сейчас на стульчике в углу и хитровато усмехающийся? Пожалуй, я не понимаю теперешних молодых, они иные, у них своя мораль, своя философия жизни. Ну ладно, всегда было так: новые времена — новые стрессы, как шутят те же молодые. Главное вот — статейка в краевой газете! Нужная, серьезная, спасительная и...

«Не говорите, что убийственная, — домыслил за меня Сергей Гулаков. — Если б такие статейки сразу исправляли и перевоспитывали, мы бы уже в бесклассовом обществе процветали».

Я поостыл несколько, но все-таки сказал:

«Печать же».

«Пишите нам, пишите, а мы прочтем, прочтем...»

«Да ведь ты только что радовался?»

«Печать же!»

Мы рассмеялись, как-никак, а довольные: о нас заговорили, и громко. Но не могли хотя бы предположительно угадать, что преподнесет нам ближайшая жизнь.

А она, жизнь, как-то нехорошо затихла у нас в Селе. Нет, внешне все шло своим чередом, и о газетной публикации люди помнили — одни посмеивались хитровато: мол, не нашего ума сие дело, другие, кто робко, кто смело, высказывались за перестройку комбината, но молчаливое большинство, как всегда, выжидало, терпеливо любопытствуя: чья возьмет?.. Внутренне затихла, словно насторожилась жизнь.

Потом уже, некоторое время спустя, я понял, отчего тогда онемело наше Село: недели две-три Хозяин пребы-

вал в шоке, и мосинцы, не получая прямых указаний, растерянно бездействовали. Не ожидал Иннокентий Уварович такого удара от обласканного им корреспондента (Проглядели? Недоработали? Недоласкали?) и впервые за годы своего волевого руководства выпустил из рук бразды правления, решив, вероятно: все! Будут окрики сверху, комиссии, экспертзаклучения, оргвыводы... Но главный телефон не тревожил его, циркуляры поступали обычные, строго требовательные. Мосин, поднимая от бумаг на столе голову, подозрительно, а то и придирчиво озирался: не посмеивается ли кто из ближайшего окружения?..

Дирекция, однако, функционировала по давно заведенному порядку: в положенное время на стол поступали сводки, ни минутой позже или раньше под рукой оказывался крепко заваренный чай, в отведенные часы с докладом являлись начальники участков... И лишь секретарша Анна Самойловна, угадывавшая не только малейшие нюансы в настроении начальника, но и потаенные мысли его, все уговаривала шефа с догадливой находчивостью: «К нам завезли грипп, Иннокентий Уварович, гонконгский, говорят, дающий осложнения... Прошу вас, с этим шутить нельзя... Буду держать в курсе всех дел». Мосин слушал своего верного цербера в юбке, молча кивал, что, мол, да, лучше бы это смутное время перемочь дома, и все-таки допоздна засиживался в кабинете: нет, в нужный момент, хороший или трагический, директор должен оказаться на месте, на посту, на службе, — он даже помыслить не смел, что можно как-то иначе относиться к доверенной ему работе, да еще такой ответственной. И когда наконец зазвенел телефон, тот, красный, по правую руку, и Мосин дрожащими пальцами снял трубку и услышал вдруг невероятное, умопомрачающе спокойное: «Как у тебя с валом?» — он упруго вскинул голову, собрал в энергичный ком свое тело, безвольно заполнявшее обширное кресло, и немо рассмеялся от вернувшегося к нему блаженства уверенности... О, это устрашающее, как грозный морской вал, возносящее к чинам и низвергающее в пропасть оргвыводов, лишаящее покоя, инфарктное и окрыляющее душу слово — в а л! Будет нужен вал — будет нужен он, Мосин. И с вдохновенным рокотком голоса, в самую глубину трубки, в тайную и живительную силу ее, почтительно склонившись, он вымолвил: «К концу месяца дадим перевыполнение». — «Молодец!» — выстрелило из трубки, и она

твердо клацнула на том конце провода, подтвердив ранее сказанное: «Так держать!»

Мосин потихоньку выбрался из кресла, постоял в легкой задумчивости у стола и вдруг трусцой побежал по кабинету вдоль стен, описывая большой круг, — не то вытряхивая из себя недавнюю робость, не то совершая победный круг, как спортсмен на стадионе. Освежив движением кровь, обретя прежнюю деловитость, он вернулся к столу, нажал кнопку. Немедленно возникшей и без слов все понявшей Анне Самойловне было приказано — собрать узкий номенклатурный круг. Немедленно!

Не думай, Аверьян, что сцена в кабинете Мосина мною присочинена. Ее видел не кто иной, как завклубом Севкан, прорвавшийся к директору с неотложным делом: в Село прилетела, вернее будет сказать — с неба свалилась, по причине нелетной погоды в других местах, эстрадная группа тяжелого рока «Берлога будущего»; надо где-то ее размещать (гостиница у нас пятый год строилась), ну и вручить лично руководству (и семейству его, конечно) билетки на первый концерт, ибо через кассу будет не достать — рыжегривого главу группы наша молодежь от самолета до клуба несла на руках... Надо отметить, кстати, Мосин, будучи человеком современным, к исходу семидесятых полюбил эстрадную музыку, вник в поп, рок и прочие стили, выделил три тысячи рублей на аппаратуру для сельской дискотеки и заходил иногда на минуту-другую посмотреть, как развлекаются молодые люди.

Ну, прорваться-то прорвался Севкан, а обратить внимание директора на свою персону, тем более подозреваемую во всяческих антитарных вольнодумствах, никак не мог: в шоке тот находился, как уже говорилось, был слеп, глух, нем в окружающей действительности. И не уйдешь — «Берлога будущего» ждет у клуба дальнейших проявлений добрых чувств, ласки и всего такого прочего, согласно громкой и скандальной (в меру дозволенности) славы ансамбля. Высидел Севкан в жутковатом безмолвии кабинета не менее часа, зато и увидел воскрешение Мосина, ощутил чудотворную мощь красного телефона, сам неожиданно для себя возбудился, осмелел, и только вновь воспаренная в секретарском рвении Анна Самойловна выметнулась из кабинета, он подбежал к столу и

доложил Мосину о прибывшей в поселок знаменитой эстрадной группе.

«Что ты говоришь? — искренне удивился директор. — Так это же хорошо, прекрасно и замечательно! Отпразднуем... вернее, повеселимся немножко, народ заслужил, напряженно трудимся. Ты, это, подключи к мастерам наших «Детей природы», для выучки, чтоб, знаешь, через год-два мы в Сопоте прогремели... Разместить, спрашиваешь, где? Давай их на остров, в Избу охотника, и условия чтоб по высшему разряду. Ха-ха! Им эти Парижи потом африканскими джунглями покажут!»

Мосин облапил, притянул к себе сухонького, растроганного дружеским общением с ним, директором, Севкана и трижды звучно расцеловал.

Прибежал ко мне антитарник, заикается от всего пережитого в мосинском кабинете, рассказывает, едва веря самому себе. Дня три потом Севкан вспоминал поцелуи Мосина, задумывался и осторожно спрашивал: «Может, мы чего-то недопонимаем?..» Но явился, как всегда неожиданно-напористо, Сергей Гулаков, поиздевался над «лирическими» сомнениями Севкана, сообщил: битая, застарелая, подгнившая тара, а с нею и пригодная, вывозится баржами на песчаные косы километров за семь ниже по течению Реки и сжигается. Легкий нервный Севкан аж подпрыгнул на стуле, привычно поддернув брючный пояс: «Да что же они творят? Сталашко бочки с песком топил, сперва оприходовав их рыбой, этот...»

20

Встанем, Аверьян, пойдем потихоньку. Так мне легче будет, пожалуй, рассказать о самом нелегком, может, в моей жизни, да и наверняка короче получится: на ходу не особенно-то разговоришься.

Как ты сам небось догадываешься, воспрянувший духом и взбодрившийся телом Мосин решил покончить с антитарниками. В первую очередь со мной, конечно. Так и сказал своему управленческому активу: «Отрубим гидре главную голову — маленькие сами отсохнут». И начал «рубить».

Прошло не более недели после этого его изречения, исторического, можно сказать, для нашего Села, как из уст в уста, из дома в дом пошла гулять сплетня о моей любовной связи с секретарем сельсовета Настей Туренко, была размножена фотография, на которой я и Настя вроде бы целуемся в кустах у Реки — явно подмонтированная, к тому же неумело, но Макса-дурачок вполне серьезно ходил по Селу и предлагал «открыточку на память», хвастаясь шепотом тем, кого особенно уважал: «Когда все раздам, Анна Самойловна выйдет за меня замуж, мы тоже сфотографируемся, и про нас напишут в газете». Макса и мне вручил открыточку. Я спросил его, кто на ней снят, он хитренько и трусовато захихикал, шмыгнул затем многозначительно носом и погрозил мне грязным скрюченным пальцем: не считай за дурачка!

Моя жена Алевтина Афанасьевна будто бы этого только и ждала. Пожалуй, так оно и было: со времени моего ухода из больницы она не уставала предрекать мне всяческие беды, не забывая и в своих неудачах обвинять меня. Снял новый главврач с должности старшей операционной сестры — я виноват: «При тебе же работала, хорошей была!» И попробуй объяснить ей, что половину ее сестерской работы я делал сам, помогая своей благоверной: дети, дом, какое-никакое хозяйство — куры, поросенка всегда держали, без этого у нас трудно. Разругалась с сестрой-хозяйкой — тоже я плохой: перестали уважать ее в коллективе, потому что я в постоянном раздоре с Мосиным, а новый главврач Байстрюков хвалит его. И много всего прочего мелкого (кому-то раньше, чем нам, огород трактором вспахали, поварихе Сниткиной путевку на курорт без очереди выделили, дочь такого-то едет с отличниками в Москву, хотя учится ничуть не лучше наших...), мелкого, но как тот вирус СПИДа в человеке, медленно, неотвратимо лишаящего семью иммунитета — защиты от житейской скверны.

Как мы женимся, выходим замуж? Чаще всего сводят нас общежития, работа, так сказать, близкие интересы. Где, когда искать нам «суженых» в теперешней спешке житейской?..

Вернулся я после института в Село, взвалили на меня, свеженького специалиста, больницу с престарелым персоналом — терапевтом-дедком, еще до революции окончившим фельдшерские курсы, двумя фельдшерицами

более позднего выпуска, медсестрой с военной двухмесячной подготовкой... Наш великий лекарь Гординис, никому никогда не делавший операций, однако лечивший чуть ли не от всех болезней — куда до него филиппинским хилерам! — к этому времени умер, оставив нам свою бессмертную премудрость: «У нас нет болезней, к нам их привозят» и: «Болезнь надо — кто не болеет, тот не живет». Был он одиноким, всегда покашливал, с годами все легчал, как бы иссушаясь на воздухе и свете, прожил почти девяносто лет и умер спокойно — лег спать и не проснулся, будто сказав этим: «Праведная жизнь награждается легкой смертью».

Словом, застал невеселую больничную обстановку начала пятидесятых годов. Было ли где лучше, особенно в сельской местности? Начал я хлопотать о замене, пополнении медицинского персонала. И первой приехала медсестра Алевтина, из края, по распределению. Тогда еще строго выполнялось: куда распределили — туда и поезжай укреплять медицину, школу или что там еще.

Планы у нее были простые: отработать три года, вернуться домой, поступить в медицинский, жотом устроиться в лучшую ведомственную поликлинику (больницы она едва терпела), выйти замуж... Кто себе не намечал чего-то подобного на ближайшее и отдаленное будущее, другое дело — у многих ли все сбывалось?

Наладил я кое-как операционное отделение и — о, невероятное! — оказалось, столько больных нуждаются в операциях: аппендиксы, грыжи, опухоли, костные переломы... Не сделай — помрут! Спрашиваю, бывало: «Как же при Гординисе вы не умирали?» — «А мы тогда вроде и не болели», — отвечают. Поистине: открой на болоте лечебницу — комары прилетят оперироваться! Втянулся я в больничную крутоверть, понеслось мое время сплошным потоком, почти без различия дней и ночей. Не зря у нас учат: боритесь, одолевайте трудности. Я и боролся в основном, а не работал. Пенициллина, скажем, нет — борюсь, чтобы выделили, привезли; за бинт, вату, аппаратуру — тоже; добивался, борясь, пристройки к старой больнице; боролся с Мосиным и Сталашко против спецотделения; ну и, само собой, за жизнь каждого попавшего ко мне на операционный стол, тут уж не жалея сил, ибо только борьбой и можно было иного спасти, «нахальным энтузиазмом», как я это называл, при недостатках тех временных (тогда, впрочем, еще понятных):

антибиотики приходилось заменять чуть ли не аспирином, которого тоже не всегда было в достатке, переливания крови делать «по-фронтовому», тут же беря ее у донора... Бывало, голова трещит — думаешь, что и чем заменить, какими подручными, а то и народными средствами помочь больному?

Настои из трав по рецептам бабок делал: кора ольхи шла при дизентерии, клопогон даурский от повышенного давления, горец почечуйный — как слабительное, сок домашнего алоэ — для заживления ран, мак масличный (его выращивал я на своем огороде) — как болеутоляющее, и так далее. Мои фитотерапевтические упражнения дивили даже самую старую у нас Авдотью Севкан, которая не признавала ни уколов, ни таблеток. «Дак ты,— говорила она,— ведун пошти што. Мотри, заарестуют».

В то время у меня мысль зародилась, да такая упрямая: лечить сельчан только народными средствами, завести свою небольшую фармакологию, делать лекарства из наших луговых и таежных растений (где живем — там и лечимся!), доказать цивилизованному миру, что человек может обойтись без их синтетических препаратов — они в городах, в искусственной среде нужны, но не нам, живущим среди природы. Перестану выпрашивать в райздравотделе самые современные, самые сильные, самые целебные ампулы и таблетки — мои подопечные без них будут веселы и здоровы!

Борюсь, значит, за все это не жалея молодых сил, а рядом — она, Алевтина: и у стола операционного, и в ординаторской днем ли, ночью по срочному вызову; чай заварит в минуту отдыха, бутерброд сделает, а то и поест приготовит — домой-то не всякий раз вырвешься; все сельские новости — от нее, и собеседница, советчица какая-никакая опять же она... Словом, сошлись по работе, общему делу. В войну таких жен называли фронтовыми, в мирное время стали называть «из коллектива», то есть из самого близкого окружения, как бы даже судьбой нареченными. Тут ведь так: или все для работы, и жена тоже, или ищи любовь — ту, возвышенную, единственную, ради которой, может, и работу любимую бросить придется. Впервые, кажется, я и подумал тогда: любовь была у меня, поэтическая, студенческая, ее не вернуть, пусть навсегда останется в моей памяти. А жена для жизни нужна. Такая, как Алевтина.

Моя мама прочила мне в невесты одну нашу сельскую, которую знал я еще по школе, да ведь она не медичка и знакома мне до мельчайших конопушек на носу и следа от царапины у правого локотка — как сестренка родная, и называет меня до сих пор по-школьному Коляком... Маме не нравилась Алевтина, худа, ростом мала и: «Шибко угодливая, а характером, вижу, сердитая». Ладно, думаю, и угодливая — хорошо, и сердитая — неплохо. Вон как помогает, у старух столько забытых лечебных средств вызнала, травы собирает, сушит, лечебник по ним составила. Да мы с ней такое здесь сотворим, развернем, внедрим — лечиться к нам из Москвы будут приезжать!

Это потом уже, спустя годы, я понял: редко фронтовые жены годятся для мирной жизни, из коллектива — для сердечной. Главное, главное — не пробились мы с Алевтиной друг к другу, остались в собственных оболочках; порой эти оболочки истончались, казалось, еще одно слово, поступок — и вовсе их не станет, но всякий раз не то говорилось, не то делалось, мы более и более отчуждались: соединяет, роднит только любовь.

Ты уже догадался, Аверьян, что не без твоей мечты о нашем очаге культуры и справедливости зародилось во мне стремление обособиться. Самообслуживание лечебное я считал лишь началом, далее намеревался убедить сельчан (собственным примером, конечно) все необходимое для пропитания добывать, выращивать самим: тайга, Река, озера не иссякнут, если быть разумными, и огороды — чтоб в каждой семье. Здесь старательская артель когда-то хорошие урожаи ржи брала. Кто нас научил все выпрашивать? Хватаем привезенный джем из пустой клубники, а наши ягоды — клюква, брусника, жимолость, голубика, морошка почти нетронутыми осыпаются. Дикий лук и черемшу перестали впрок заготавливать. Нет, не тому учили нас первые поселенцы. Они бы просто вымерли, ожидая городского снабжения, и детей не успели народить, нас то есть.

Такую агитацию я и вел помаленьку среди сельчан, когда приехал неожиданно инспектор облздравотдела — молодой, в костюме-тройке и шляпе клинышком, весь чистенький, с ноготками подрумяненными, будто служил по совместительству манекеном в витрине лучшего городского универмага, и при первой встрече со мной прямо, не чинясь, сказал: «Жалуются на тебя, замучил больных травками, знахарствуешь!» Намекнул вполне доходчиво,

что сейчас, мол, у нас время демократическое, разоблачаем культ личности, случись же со мною такое пятью-шестью годками раньше — не позавидовал бы он мне... Фамилию его хорошо запомнил — Апшеронов. Вскоре он резко пошел вверх, заведовал крайздравотделом, потом перелетел в Москву. Жутко подумать до каких высоких чинов наверняка дослужился! Потому что смолоду безоговорочным, метким на прицел, стремительным в действиях был. Выступил тогда у нас в клубе с лекцией, рассказал о передовых методах лечения, достижениях мировой медицинской науки, новых сильнейших препаратах, кстати, поведал и о первой в истории человечества пересадке сердца некому Вашканскому, жителю ЮАР, нарисовал радужные перспективы («Вашканский умер, но мы на пороге величайших открытий, которые сделают человека всесильным и бессмертным!»), высмеял, не ссылаясь на лица, знахарские замашки в середине двадцатого, атомного и космического (уже летали первые спутники) века, а мне, когда мы вышли из клуба, сказал: «Я сам не прочь травками полечиться, но, старик, улавливать надо смысл момента. Прекрати! Люди стремятся к прогрессу, зачем мешать?.. Держи вот, бутылку «бренди» прихватил, такого нежного коньячка ты не пробовал! Скажи жинке — пусть закусь спроворит, посидим, обменяемся мнениями о современности животрепещущей». Он звал меня в город, обещал «схлопотать» должность главврача областной больницы, мол, такие «оригиналы» ему нравятся, и вообще думающим, ищущим нужно объединяться, ибо им принадлежит ближайшее будущее: «Взять его — наша задача!» Когда же у нас тут началась распря из-за профилактория, ставшего Избой охотника, и я написал ему в крайздравотдел, — он не ответил, высоко уже был.

Да что там говорить, и гораздо позже, в семидесятые уже, приходилось самим придумывать всяческие лечебные средства. Кому не известно, как снабжаются сельские больницы? Копейки, рублики на медикаменты, питание, белье, да хотя бы положенное поставлялось... Кто не знает больничных «арестантских» халатов? И на них приходилось мне выпрашивать у Мосина финансы. Теперь вот оказалось, что в городах тоже не особенно-то роскошествовали. Читаю газеты, потрясаюсь фактами: из тридцати трех родильных домов столицы современным требованиям, санитарным нормам отвечают лишь двенадцать, москвички бегут рожать на периферию, «в глушь,

в Саратов»; в системе здравоохранения работают триста тридцать три института, но качественную научную продукцию выдают только пятьдесят или шестьдесят из них (пока не выяснено точно!); заявки на сердечно-сосудистые препараты и антибиотики удовлетворялись всего на сорок — шестьдесят процентов (так сколько же граждан их недополучили, кроме моего Алексея Зеленко?) и так далее. Читая такое, я непременно вспоминаю Апшеронова: его работа! Думаю: а ведь он уже перестроился, вернее «мутировался» — живуч невероятно. Или ушел на «заслуженную» высокую пенсию? Но такие совсем и бесследно не уходят — апшероновцев оставляют. Еще более стойко микробистых. Иной раз я прямо-таки чувствую их в теле государства, будто в своем собственном, — жизнерадостных, юрких, в крепчайших должностных оболочках, не поддающихся никаким антисептическим средствам.

21

Отклонился я опять, как видишь, да ты уже и привык наверняка к моему обрывочному рассказу. Это в книгах хороших все по порядку — вот тебе завязка, вот кульминация, вот логический конец: обдуманная то есть жизнь, упорядоченная для высшей идеи писателем, художественная, словом. А в этой нашей, которой каждодневно живем, попробуй разберись, что из чего вытекает, что и чем управляется.

Вот сейчас мы идем с тобой потихонечку, ветерок от Реки поднимается, солнце к дальним хребтам клонится, к тем снежным вершинам (иной раз коснется их, розово расплавит, и кажется — горячие воды заливают земное пространство), дома поселка по обе стороны улицы Таежной смотрят на нас редкими окнами — все другие заколочены, и мирно нам, немножко грустно, но разве знаем мы, что случится с нами через минуту, час, день, хотя бы вон там, за ближним поворотом улицы? Вдруг сотряснется земля, разверзнется бездна, налетит черный смерч с радиоактивным ливнем или... выйдет человек из какого-нибудь заброшенного двора, вскинет к плечу ружье, вымолвит: «А, эти, которые всегда мыслят...» — и спокойно, прицельными выстрелами уложит нас. Нет, этого, конечно, не будет. А почему бы и не быть? Раз-

ве все это не в логике (если угодно — нелогике) жизни?

Наша психика так удобно устроена, или мы ее перестроили в себе так, что мало верим в неприятное и несчастное. Не потому ли беды почти всегда застают нас врасплох? Но скажите, кто не чувствует в себе, не улавливает извне некое мифисто — предчувствие недоброго, звучащее, как в музыке, отдаленно, настойчиво? Это мифисто может вдруг разрастись, оглушить громом великого несчастья, может мирно прозвучать в нас всю жизнь, мало настораживая. Но никогда оно не исчезает вовсе. Особенно для тех, кто хочет его слышать.

Ты согласен со мной?

Я ведь не ради приятной беседы рассуждаю, все к смыслу, к сути своей жизни подбираюсь.

Так вот, мифисто в душе моей вроде бы никогда не гложло, я, кажется, готов был в любую минуту к любому несчастью, и все-таки жена моя, Алевтина Афанасьевна, совершенно неожиданно сокрушила меня своим поступком... Прихожу вечером с работы домой и вижу свои личные вещи выставленными на крыльце: чемодан дерматиновый, еще студенческий, матрац, перевязанный веревкой, ружье... Моя попытка начать переговоры еще больше разъярила Алевтину Афанасьевну, и ею было устроено представление (словно бы заранее отрепетированное). Швыряя с крыльца вещи неверного мужа, она кричала дружно собравшимся соседкам (точно заранее оповещенным): «Чтоб твоей ноги в доме не было, изменник! Детей осиротил, семью опозорил! Иди к своей потаскухе Наське Туренко! Нагуляла безотцовского ребенка, теперь старика в мужья тащит! Люди, посмотрите на него! А еще председатель сельсовета!» И так далее, с причитаниями надрывными, при сочувственных вздохах и платочках у глаз многоопытных, притворно сердобольных соседак: представление должно проходить по всем устоявшимся правилам, чтоб было потом о чем поговорить, посплетничать.

А ведь Алевтина Афанасьевна горожанка, и родители ее, тихие конторские служащие, городские по рождению. Откуда ей было знать этот ритуал изгнания неверного мужа, в общем-то недавний на селе: какая жена прежде гнала со двора хозяина, главу семейства?.. Эмансипированные соседки научили?

По-разному поступают в таких непредвиденных слу-

чаях мужья (чаще всего изгоняемые для острастки, на время), одни лезут в драку, дабы не уронить своего мужского престижа, другие угрожают разводом и бегут в загс подавать заявление, третьи... Ну, третьим, особенно при видных должностях, надо мирно забирать свои вещишки и поскорее убираться: подобные представления быстро разрастаются, вон уже бегут женщины с улицы Речной, дети из школы пришли, скоро явится единственный у нас милиционер Стрижнов, мужик не злой, добровольно излечившийся от алкоголя и потому резонно считающий, что почти все скандалы затеваются в нетрезвом состоянии; схватив нарушающего порядок мужика, он перво-наперво спрашивал: «Сколько принял?» Любил еще составлять протоколы по всякому поводу — происшествий в Селе было не так уж много, и протоколы вещественно закрепляли его деятельность. Стрижнов подчинился мне, председателю сельсовета, и эта скандальная сцена могла сильно озадачить его: какие меры применить — воспитательные или сразу административные, чтоб народ не подумал, будто он, участковый инспектор, попустительствует начальству?

Словом, убрался я в сельсовет под теперь уже громкое звучание мефисто, в комнатушку свою служебную; был там кожаный диван с откидными валиками, довоенного изготовления, электроплитка, чайник... Не проситься же было к кому-либо квартировать — мне, коренному здешнему, да и не представлял я, как можно жить в чужом доме, в чужой семье. Ну и, конечно, надеялся — образумится моя супруга, позволит вернуться в родные хоромы, унаследованные от родителей.

А что рядом будет Настя Туренко, меня не очень смущало: днем станет бдительно следить за нами по собственной инициативе старушка Водовозова, счетовод сельсовета (узнав от баб о любовной связи между мной и Настей, она до слез расстроилась: «Какая же я дура старая, под носом не заметила такого аморального разврата!»), и люди постоянно в сельсовете толкуются; ночью сторож дед Матвеев не допустит порока — он и молодых-то, припозднившихся на сельсоветской скамейке, своей партизанской берданкой распугивает.

Вижу, ты хочешь спросить, Аверьян, было ли что у меня с Настей Туренко? Значит, не веришь в своего ученика, точнее, не до конца веришь? Ты прав, жизнь ведь из мужчин и женщин, кого она не затягивала в свой круговорот, и если не хватает духу на полное оди-

ночество ради дела, идеи, то барахтаешься в ней, как головастик в болоте, стараясь стать лягушкой и больше других наметать всяческой икры. И я чуть было не метал, но об этом позже. А сейчас пора сказать несколько слов о Насте Туренко.

Есть такие женщины — вечные вдовушки. И не потому, что они некрасивы, неумны, недушевы, а просто — невезучи. В первой любви обманулись, на второй, третьей обожглись и живут себе вроде безунывно, по удобной морали: все мужики сволочи, им одно от баб нужно, когда понадобится — позову, а чтоб обстирывать, обслуживать, в пьяном кураже потакать — пусть других дур поищут. Конечно, у каждой такой вдовушки теплится мечта о серьезном мужчине, пусть и не особо любимом, пожилom, но любящем — чтоб ее обласкал, ребенка помог вырастить.

Вот и говорила мне Настя: «Николай Степанович, ну неужели у вас нет нигде одинокого солидного приятеля или знакомого, в годах пускай, как вы. Ведь пропадаю. Приехала к вам сюда, слыхала, мужиков здесь много, вижу — как везде: хорошие в семьях, узаконены бабами, а ухажеров с бутылочкой я навидалась и у себя на Харьковщине». — «Кроме себя, — отшучивался я, — никого предложить не могу». — «Да я бы рада, — охотно принимала шутку, — и Алевтины вашей сердитой не испугалась бы, да вы серьезный, детей не бросите, и правильно — безотцовских-то сколько, у самой вон такой же... А то давайте, Николай Степанович, соединим моего с вашими, я согласна воспитывать». — «Куда же Алевтину денем?» — «В город отправим, ей там больше нравится, может, за полковника замуж выйдет», — отвечала и смеялась, а глаза иной раз слезами полны, и хоть она старалась показать, что от веселия это, видел, отчаивается Настя в своем одиночестве: Село наше чужое ей, возвращаться домой — там мать еще не старая и тоже одинокая, переезжать в другое место — как узнаешь, что ждет тебя там?

Настя была зачинщицей сельсоветских простеньких, но веселых застолий — перед всеми праздниками, на Новый год и Пасху, по случаю дней рождения наших сотрудников, не забывала приглашать добровольного рассыльного Максу-дурачка, а на его день рождения пекла большой пирог из сушеных яблок: Макса очень любил сладкое и не терпел даже слабенького вина. И ежедневно в обеденный перерыв объявляла общие чаепития: «Ребя-

та! Кто что принес вареного, печеного, домашнего, казенного, вали на стол, гостями у меня будете!»

Подает и мне чай, заваренный с травками украински-ми — мятой, чабрецом, а то и сухой малиной; присядет, о стол облокотится, в глаза заглянет, ладошкой мне волосы пригладит; не потому, мне казалось, что как-то особо меня выделяла — просто мужчина какой-никакой рядом, можно вообразить, что неухоженный, и обласкать хотя бы так; случится нам по улице вместе идти, непременно под руку возьмет, смеется, о чем-нибудь рассказывает, сияет вся: ведь ничего зазорного нет — пройти под ручку со своим начальником на виду Села?

Раза три мать присылала ей торт «Киевский»; бизе с орехами, он прекрасно долетал к нам, и тогда уж Настя устраивала «банкет» с шампанским и кусочками торта угощала всех, кто заглядывал в сельсовет; подает засмущавшемуся парню, да еще скажет: «Женись на мне, сладеньким кормить буду, и выпивать разучишься!»

Женщины не ревновали своих мужей к Насте Туренко, какой вздумается — засмеют: нужен ей твой медведь из нашей берлоги, ее вон бывший законный обратно вызывает, директор треста. Слух этот Настя, пожалуй, сама распустила: мол, рассорились, проучить захотела. Так что не лепите ко мне своих ненаглядных.

И старушка Водовозова не могла даже втайне для себя вообразить Настю и меня влюбленными. А тут на тебе, будто оскорбили нецензурными словами: они давно сожительствоуют! Водовозова работала при двух бывших председателях, считала как раз себя истинной сельсоветчицей и немедленно, в меру своих возможностей, отреагировала на новость — перестала замечать меня и Настю. Она еще больше похудела и пожелтела, и, вероятно, от какого-то внутреннего надрыва на нее напала икота, ничем не остановимая: сидит весь день, щелкает костяшками счетов, дико озирается по сторонам и непрерывно «кукует», будто отмеривает кому-то бессмертному долгие годы жизни или внушает сама себе: бди, следи...

Настя прибежала на работу, по ее же выражению, «как психически сдвинутая», и сразу ко мне, задыхаясь словами:

«Что же это такое, Николай Степанович? Какой ужасный наговор! Это все против вас, из-за той проклятой бочко-ящикотары мстят вам, я все понимаю. А что меня оклеветали, так я для них кто — одинокая приблудная бабенка, которая все стерпит: сейчас бегу в

сельсовет, а бабы вслед головами качают, хоть бы одна на «здравствуй» откликнулась. Знаю, у женщины один враг — женщина. А как же ваши мужчины, Николай Степанович, как они такое допустили? И помалкивать будут?.. Ой, да вас и вправду Алевтина прогнала? Мне хозяйка говорит — с вещами выставила. Не поверила я. Господи, какая же дура, как с такой можно жить?.. Нет, надо что-то делать, жаловаться, в суд подавать. Я ведь знаю, кто эту сплетню пустил, хозяйка проговорила: секретарша Мосина, дылда эта, Анна Самойловна, дурачка Максу настропила: мол, если любишь меня, говори всем так-то и так-то, фото показывай. Сам Макса и проболтался моей хозяйке: жалко Настю, ласковая, угощает сладеньким, но Анну Самойловну больше люблю, жентиться пора мне... Больного человека не пожалели, Николай Степанович, подумать только, и хитро все у них: что взять с дурачка? В случае чего — сам выдумал. Но как же, как же люди поверили? Понимаю, не все. Вас тут многие уважают. Но эти, которые поверили, разве они люди?..»

Я успокаивал Настю как мог, просил не горячиться уж слишком, надо подождать немного, спокойно оценить все. И, видно, недоубедил ее, ибо в тот же день вечером она ворвалась вместе с прихваченным на улице Максом в дом Анны Самойловны, желая учинить им очную ставку, но, по своей запальчивости, устроила настоящий погром: обзывала Анну Самойловну стервой, мосинской подстилкой, что было явной неправдой, а потом решила проверить — «баба она или сухожилый мужик в юбке» и принялась сдирать с нее одежды; Макса метался между ними, рыдал, наконец вырвался из дома, привел милиционера Стрижнова.

Нашлись свидетели, был составлен протокол, и потерпевшая Анна Самойловна подала заявление в районный суд с просьбой строго наказать хулиганку Настасью Туренко.

Рассказываю тебе, Аверьян, а сердце щемит — заново переживаю все это. Значит, все и навсегда откладывается в нас, частью души делается, чуть тронь — свежая рана... Ведь что получилось? Хлопотал я о большом, значительном, нужном не только мне одному — и все опустилось до грязной склоки, «бытовухи», как говорят. По спокойному размышлению, однако, и это я себе уяснил: кто, когда гнушался сплетней, наветом, доносом,

желая опорочить неудобного? В Америке вон сенаторы из борьбы за президентское кресло выбывают, всего лишь заподозренные прессой в супружеской неверности. Называется это у них «убийство репутации». Хоть и нет у нас таких строгостей, но строптивому не миновать персонального дела, если он замечен в особой приветливости к женщинам. О ловеласах и говорить нечего, эти — рабы своей слабости, а потому послушны и покорны начальникам. Как же было мосинцам не использовать мое женское окружение и, прямо-таки подарок им, — «нежные отношения» между мной и Настей Туренко?

Обстановочка создалась, как говорится, надо бы хуже, да не придумаешь. Сельсовет разваливался: председатель изгнан из дому, на секретаря подано в суд. Нужно было что-то предпринимать. А что? Может, хоть сейчас подскажешь, Аверьян?.. Звонить в райисполком? Кому? Там наверняка все решено: я пишу заявление с просьбой освободить по собственному желанию, и они назначают досрочные перевыборы. Предрайсовета так и не простил мне того «стихийного» избрания: «Мало ли как поведет себя неорганизованная масса — ты-то зачем пошел на поводу, герой наш народный?»

Угадываю, Аверьян, ты хочешь спросить, почему я ничего не говорю о секретаре партийной организации, словно бы его вовсе не было. Как же, был. И все тот же Терехин бессменный. С меньшим рвением служил он Мосину, чем некогда Сталашко. Годы, правда, прибавили ему солидности, даже важности: нежный румянец щек превратился в багровость отяжелевшего холеного мужика, давно перешедшего на легкое и сытное харчевание. Он и помидорами теперь не занимался. Появилась у Терехина особая привычка: идет по Селу, останавливает любого встречного, спрашивает: «Хорошо живешь? — И, не дожидаясь ответа, одобряет: — Правильно, так и живи!» Подсознательно, он, пожалуй, все-таки стыдился своего благополучия.

Меня к себе Терехин не приглашал (подозреваю, что побаивался разговора наедине и опасался, как бы не подумал чего нехорошего о наших беседах Мосин), я тоже к нему не шел. При случайных встречах на улице ловил мою руку, долго держал в своих влажных оладушках, уговаривая: «Одумайся, а? Чего тебе не хватает? Может, на курорт хочешь поехать? Не разваливай хорошую

жизнь, не самый умный небось в государстве, помирись с Иннокентием Уваровичем, а? Такие вы оба замечательные люди... А то не ручаюсь, плохо тебе будет». Терехин огорченно улыбался, смигивая с ласковых водянисто-голубых глаз голубенькие слезы.

Мог ли хоть как-то помочь мне такой партсекретарь?

Пришли в сельсовет Гулаков, Севкан, Богатиков, еще несколько антитарников. Посочувствовали. Повозмущались. Стали думать, как защищаться. Кто-то спросил: не поможет ли нам корреспондент Кондратюк?

Оказалось, Сергей Гулаков звонил уже в край своему тезке, уговаривал приехать, разобраться — мол, травят мосинцы, совсем обнаглели... Кондратюк или не понял всего по легкости характера, или не пожелал влипнуть в склочную историю («Шерше ля фам — так и есть, во всем ищи женщину и всегда найдешь!») — более важных проблем у него достаточно, и многоопытно рассмеялся в трубку: «С амурными делами, старик, утрясайтесь сами, я тут в своих запутался, и таежная красавица Анюта любовной корреспонденцией замучила...» Несколько посерьезнел он, когда Гулаков напомнил ему о бочко-ящикотаре. «На потоке, говоришь? Нарастивается вал?.. Это нонсенс, старик, экономика абсурда, но узаконенная. Бороться непросто. Беру на заметку. Позванивай... и это, никогда не путай амурные дела с работой. Ты же педагог — кого мне учить?.. Привет старику Яропольцеву, как же, помню его секретаря, симпатичная особа, с ласковой одинокостью в глазах... Бывает, бывает! Процветайте там, в местах благословенных... и поцелуй эфирный Анюте, как-нибудь наведаюсь, довыясним наши запутанные отношения».

Выслушав Гулакова, сердитый Богатиков только руками, всегда решительными, беспомощно развел: мол, к кому обращаться, он же на уровне «берлоги будущего» (после громких концертов тяжелого рока все шумное, непонятное, бестолковое стало для него «берлогой будущего») сказал, глядя на свои сведенные, сцепленные руки:

«Надо собирать народ».

«Собирали, не помнишь, что ли?» — усомнился его сын Петр, бондарь-поточник, так сказать, один из главных поставщиков продукции, и чуть пренебрежительно сквозь сощуренные, по-девичьи заносистые ресницы оглядел отца: чего тебе-то страдать особенно — на

образцах сидишь. Это мы горы рукотворные громоздим.

«По-другому надо. Самых сознательных подготовить. Не все же охламоны — лишь бы деньгу урвать».

«Ну, ты, отец, как вроде на стачку против царизма призываешь. А мы на праздничные демонстрации призывали ходить».

Все засмеялись, и обычно сонновато невозмутимый старший Богатиков вскипел:

«Стачку не стачку, а терпеть дальше этого нельзя. Мы что — нелюди вовсе? Приучают работать на свалку — совесть теряем, а молчим. Приучат расправы над неудобными им терпеть — душу отнимут. В Японии вон робот взбунтовался, когда ему электронные помехи стали устраивать, насмерть прибил оператора. Предлагаю сход. В основном рабочий. С резолюцией. И чтоб делегацию потом в область направить. Сам поеду».

Так и решили: собрать людей у сельсовета. Но открыто, пусть придут все желающие. Сегодня же вывесить объявления с повесткой: «О моральном облике председателя сельсовета Н. С. Яропольцева». На этом настоял я сам — пусть каждый скажет, что он обо мне думает, и если большинство сомневается в моей порядочности, я попрошу отставки.

22

Объявления вывесить успели, но собрать сход нам не удалось.

Утром следующего дня ко мне в сельсовет явился главврач больницы Байстрюков и принялся уговаривать меня лечь в больницу, на обследование: он следит, видите ли, за моим здоровьем, нервным я стал, что вполне объяснимо — в семье и на работе неблагополучно, недельки две полечусь, все поутихнет за это время, одумается жена, и тогда спокойно вернусь к исполнению своих обязанностей. Так, себе думаю, неужели решили упрятать меня? Спрашиваю: «В какое отделение положите?» — «К Сердюковой», — отвечает. Понятно, в невралгическое, как психа. «И она согласна?» — «Не возражает», — говорит нагло и прямо глядя мне в глаза чистенько выбритый, попахивающий хорошим одеколоном рослый красавец Байстрюков (из тех молодых специалистов, конечно, которые ненадолго осчастливливают собой сельские больницы, но зато всю жизнь потом рассказывают: «Вот когда я трудился в таежной местности,

ну, доложу вам, условия: оперируешь, а в окошко медведь смотрит...») Скажи я ему сейчас, мол, хочу видеть лично Сердюкову. Сходит, приведет, и она, невропатолог и психиатр по совместительству, так же невозмутимо будет сидеть напротив, уговаривать меня лечь в больницу, для моей же пользы, зная, что я совершенно здоров.

Каких же мы работничков вырастили, воспитали себе на смену и великую беду?! Они не видят людей в себе подобных, за блага житейские, успех, положение готовы поступиться всем сколько-нибудь духовным в себе, по воле сильных скрепляют своими подписями любые бумаги, любые несправедливости, лишь бы выбиться вверх, стать рядом с влиятельными и сильными, а то и превзойти их! Один речи зажигательные произносит, не различая в людской массе ни лиц, ни личностей, другой с помощью компьютера конструирует никому не нужную бочко-ящикотару, третьи спокойноенько агитируют здорового человека считать себя психически ненормальным... И такая злость во мне вскипела — тут я и взаправду на минуту-другую стал психопатом, — поднялся из-за стола, молча подошел к Байстрюкову, кивком поднял его со стула, повернул лицом в сторону двери и, задыхаясь, выговорил одно слово: «Вон!» Оторопело выскочив в общую сельсоветовскую комнату, главврач сразу же приосанился — вспомнил, кто он есть, и заговорил, четко произнося слова, будто декламируя (наверняка и эта возможная ситуация была им заранее продумана): «Видели, Яропольцев выгнал меня, угрожал, он больной, опасный для общения. Подтвердите!»

К концу дня мои работницы и не такое увидели. Меня пришли забирать, чтобы изолировать от сельчан как психически опасного. Группа была внушительная: Байстрюков, официально одетый во все белое больничное (для смелости?), пухлая леноватая Сердюкова, все отстававшая, три рослых дружинника с красными повязками на рукавах и милиционер Стрижнов, шагавший впереди, как и положено лицу «при исполнении», и чуть обособленно. Я увидел их издали, в окно. Все понял, решил не сопротивляться — кое-кто будет рад бесплатному представлению, — запер сейф и ящики стола, ключи отдал секретарю Насте Туренко (суд пока не тревожил ее), вышел и встретил у крыльца «оперативную» группу... так и хочется сказать сейчас «захвата», но тогда было не до веселого юмора. Спросил, будут ли вязать руки? Обошлось. Стрижнов выступил вперед, меня пристроили

за ним, остальные этаким полукольцом позади (чтоб не стрельнул в сторону?).

Поместили меня не в нервное отделение больницы, как ранее вежливо предлагалось, а в пустующую старую церковь. Решили, вероятно, что в общей палате я буду нехорошо влиять на нормальных нервных больных.

Передохнем, Аверьян? Я почти точно рассчитал — мы к церкви как раз подходим. Посмотри на нее. Хоть это строение мало чем напоминает свое бывшее культовое назначение, но вон обрушенная колоколенка осталась, и основания куполов, так называемые барабаны, видны. Церковь построена старательской артелью, в середине прошлого века, на богатом тогда золоте, и надежно построена: подклеть выложена диким камнем — смотри, какие глыбищи, на чем только их возили! — нижние венцы из мореной лиственницы; крыша — лиственничные доски в два слоя, купола, шатер над колокольной были покрыты отполированной лиственничной же плашкой. У старателей почитался святой Никола Угодник — защитник всех добытчиков, в его честь и была названа церковь «Никола на Реке». Николу славил в престольные праздники, к нему обращались с молитвами, уходя в тайгу на поиски форта.

Рассказывали старухи: «По ночам светилась церква, в дожди сухая стояла». Ее разгромили в тридцатом свои воинствующие безбожники. Деревянный резной иконостас, всю утварь переломали, сожгли на костре, батюшку седобородого водили по селу с плакатом на груди: «Служитель мрака и мировой буржуазии!» Пытались сжечь церковь, но закаменелые стены не горели, лишь прокалились, делаясь еще крепче. Долгие годы потом церковное строение использовалось под амбар — для хранения муки, и хорошо сохранялась мука: всегда был сух пол на высокой каменной кладке, стены не пропускали наружной сырости. Когда наконец прохудилась крыша, мешки с мукой перевезли в другое место, и наши старушки завладели бесхозным храмом (чуть было не превратившимся в «гостиницу» для туристов-рюкзачников): выгребли мусор, помыли внутри стены, заставили мужиков из своей родни починить крышу, принесли иконки и развесили на месте иконостаса; выбрали самую старую бабушку Авдотью Севкан как бы старостой церкви; затеяли было хлопотать, чтоб прислали им попа, но ничего не получи-

лось: приход давно снят со всех участков (в патриархии тоже), и это все равно что открывать его заново, потакая религиозному дурману.

Вот сюда, в воскрешенную старушками церковь «Николы на Реке», и поместили меня, безбожника.

Ага, на паперть вышла Авдотья Никандровна Севкан. Давай-ка поговорим с нею немного.

— Добрый день, Авдотья Никандровна!

Старушка морщит в любопытном оживлении свое и без того изморщенное, с неожиданным младенческим румянцем лицо, чуть подается вперед, грудью припадая на палку, наконец как бы выдавливает из водянистых припухлых глазниц каренькие, слезливые и потому кажущиеся недобро острыми зенки, направляет их в сторону голоса, однако мало что видит и спрашивает раздраженно, сердясь на свою немощность:

— Ты, Николай? Вроде вечереет уже...

— Я, Авдотья Никандровна. И со мной Аверьян. Вы его должны знать. Тот учитель, что перед войной у нас жил. Постников по фамилии. А время — да, к вечеру клонится.

— Так он погиб, сказывали?

— Без вести пропал, а потом вот...

— Скажи, какие дела. Прямо как с того свету... Да где же он, тебя вижу как-никак, а возле-то тебя вроде никого?.. Или совсем слепну, своих только и различаю? А может, помню своих и думаю, что вижу?.. А того-то, молоденького, как же, знаю: он у меня молоко не то три, не то четыре зимы брал. По литру в день, помню. Раз приходит, я дою. Вынул кусок хлеба из кармана и давай корову кормить. Зачем, спрашиваю? А чтоб забыла, что ее доят, больше молока даст. И вправду, на цельный литр Милка тогда прибавила. Я ему и говорю: бери, Аверьянка... — во, вспомнила имя!.. — бери, говорю, бесплатно, тебе за ласку корова выдала. Смеется: я с ними умею... В другой раз я пасла Милку, он идет мимо, говорит: «Авдотья Никандровна, разрешите я попасу». Зачем тебе, антиллигенту, такая работа, спрашиваю. Хочу, отвечает, с животным побыть, чтой-то настроение плохое. Да вы не бойтесь, не сглажу, и Милка напасется, и молока полное вымя принесет. И вправду, коровка пришла тихая, добрая и молочка аж цельное эмалированное ведро дала. Ты не ведун, спрашиваю. Нет, отве-

чает, я пастырь. Так иди в пастухи, раз такой ласковый со скотинкой. Рад бы, говорит, да кто ваших детишек пасти будет? И смеется опять же. А как-то про веру с ним разговорились. Я его не боялась, знала, не ошельмует. Жалуюсь ему: Аверьянка, верующим плохо стало: церкву разорили, иконки свои попрятала, где, кому молиться? Чудные вы люди, отвечает, будто Бог ваш в иконке сидит или в церкви вас дожидается, он же везде, так? Ну и подойдите к окошку, помолитесь на свет божий. Грех-то какой, думала, говорит. А после привыкла, на окошко и молилась. Когда потом, в последнее время, церква опять наша стала, а попа нам не дали, я не шибко и расстроилась: церква, чтоб собираться вместе, а Бог везде, хоть дереву молись — услышит, если истинно веруешь. Меня одно время старухи язычницей даже прозывали. Из-за тебя, Аверьянка... Ага, вроде вижу кого-то рядом с тобой, Николай. И то правда, без вести пропавшие иной раз являются. Ну, здравствуй тогда, Аверьян... как тебя по батюшке?.. ага, Иванович. Чего приехал-то, на кого смотреть? Села не стало, людей нету...

— Как же, Авдотья Никандровна, а строители на Падуне?

— Так те разве останутся?

— Ваших два правнука, сыновья Богатикова, мой Василий...

— Хорошо б — не разбежались. А ты и Аверьяна Ивановича приглашай. Небось давно на пенсии. Чего мучиться в городах? Коровку заведем, а, Аверьян Иванович? Тут ведь в каждом окошке свет божий. Помнишь, учил меня?

— Он помнит, все помнит, Авдотья Никандровна, и благодарен вам за памяти!

— А чего молчит? Или я только своих слышать могу? Глохну вот тоже. А то вроде слышу Аверьяна Ивановича, вроде тем молодым голосом говорит... Ну, пойду потихоньку, надо к ужину что-то придумать, мужиков аж трое в дому, а баба одна да такая старая. Так вы заходите, повспоминаем, наливочкой угощу.

— Спасибо, Авдотья Никандровна, мы в церковь хотим заглянуть, можно?

— А чего ж. Она не запирается. Покажь, покажь гостю, где ты заместо святого обитал. Господи, чего не увидишь, не услышишь, когда долго живешь!

Старуха довольно твердо спускается по ступенькам с

паперти, мелкими шажками, будто плывя, удаляется по улице в сторону своего дома, и Яропольцев говорит:

— Представь себе, ей девяносто с лишним лет. Пережила сыновей и дочек, кто на войне погиб, кто так умер. Константин Севкан — внук ее. Нет, долголетие от предков, его никакой обеспеченной жизнью не купишь. А такое ясное — от души праведной. Согласен?

23

Входи, Аверьян, смотри, Аверьян, дыши, Аверьян... Удивительное дерево лиственница, не зря ты про нее стихи сочинил, когда приехал к нам и увидел тайгу лиственничную. Там у тебя так, помнишь... «Вижу: светится лиственница... и легче дышится, легче мыслится...» Более ста лет этой церкви, этим стенам, потемнели бревнышки, а запах, слышишь, как в сухом бору, и точно, светится дерево. Окошки узкие, высоко, как бойницы, а будто бы светло здесь, будто тот еще свет из стволов исходит, взятый ими при жизни от солнца. Читать и писать можно, каждая икона ясно видна, ну, как в белые ночи, думаю, хоть я их и не видел. Смотри, сколько иконописи понесли старухи, целый иконостас. И главная их икона здесь, не ахти какая старинная, видно, местного богомаза, но выразительная: Никола Угодник в золоченых ризах и с кожаным старательским мешочком золота в руке. По легенде вроде бы святой Никола спас кроткую страждущую вдовицу с дочерьми от долгов и нищеты, дав ей такой вот мешочек с золотом. Это уж прямо относилось к артельной жизни старателей: помни о Боге, не будь жаден... Кое-что из церковного обихода сохранилось, вон Библия в кожаном переплете с серебряными застежками, бронзовые подсвечники, крест святительный... Не все, значит, пошло в костер и над тайгой дымом развеялось: спасли, приберегли, что было рискованно тогда.

Представляешь, к нам тоже эти рюкзачные коллекционеры икон, волосатые и немые, наведались было, выманивали, уговаривали стариков продать, воровато сунуть мятые десятки, но почти никогда не отдавая, подпаивали слабых и пустыми, думаю, не уехали. Неожиданно как-то они нагрянули, многие у нас иконы старой мазней считали, позже, правда, прозрели, узнав, какую валюту платит за эту «мазню» за граница. А вот Авдотья Никан-

дровна не пустила в церковь настырных ценителей, как они ни просились: мол, определим древность икон по-научному, стоимость тоже. Потому самое ценное, полагаю, осталось здесь, старые люди в древностях тоже разбираются. Моя бабушка молилась такой темной иконке на деревянной плашке, что там и видно-то ничего не было — глаза беловатые сквозь мглу. Смеялся я: «Ты, бабушка, вон тому, новенькому Богу молись, он как сфотографированный!» — «В том силы нету», — отвечала она серьезно.

Сюда меня и заперла, Аверьян, мосинская гвардия, лишив старушек на время прихода.

Подумать только: коммуниста — в церковь, Николая безбожника — к Николе Святому! В том углу железную кровать поставили, тумбочку больничную. И ни бумаги, ни карандаша, ни книг каких-либо, даже Библию приказали Авдотье Никандровне унести, — сумасшедшему, решили небось, все это вредно, пусть умственными размышлениями в тишине и покое поправляет свою свихнувшуюся психику. Кормили больничной едой, за счет государства, значит, в уборную меня водил сам Стрижнов, в общественную, около клуба, и это было мне прогулкой, а заодно и общественным зрелищем для сельчан: все, кто оказывался на улице, могли видеть председателя сельсовета без поясного ремня, в рубахе навыпуск, без шнурков в полуботинках (все-таки боялись, что могу удавиться), небритого, так как лезвия тоже не полагались, придерживающего локтями брюки. Видок у меня был арестантский, но я не вешал головы, здоровался с ребятней и взрослыми (сына, правда, только раз заметил, прятался за спинами мальчишек, наверняка мать запретила подходить ближе); Стрижнов приказывал мне молчать, покрикивал на публику, чтоб давала дорогу, руку держал у расстегнутой кобуры, словом, все было как полагается в таких случаях, разве что статус мой не был четко определен: не то опасный душевнобольной, не то уголовник... Стрижнов почему-то решил — двух прогулок в сутки мне вполне достаточно, и все остальное время держал меня в одиночестве, запертым на амбарный замок: оно и верно, пожалуй, наша больничная да еще диетическая пища не очень-то утруждает желудок.

Времени для умственных размышлений у меня было предостаточно. Я и размышлял. Неожиданно для себя уразумел вот что: ведь мосинцы правы, посчитав меня ненормальным. Ну, кто здравомыслящий напишет объав-

ление, призывая сограждан обсудить его же моральный облик? Думаю, и в капиталистических обществах таких героев не отыскать. А если нашелся какой, да еще при должности общественной — психически сдвинутый, конечно Мало того, что себя позорит, — власть подрывает! Четко виделась мне и будущие действия мосинцев: провести психиатрическую экспертизу, вызвав специалистов из района, лишить затем депутатского мандата, убрать с должности

Расхаживая вот по этим гулким, широким и неизносимым половицам, я думал, спрашивая себя то с интересом, то закипая гневом, то посмеиваясь над собой (мол, так тебе и надо!): неужели им все это удастся? А где же правда? Люди? Неужто они поверят такой наглой и неумной клевете?.. И тут же упрекал себя в романтической горячности (выступаю, как молоденький актер перед публикой!) если целые народы бывают обманутыми, что же могут люди, тем более — твои сельчане, замордованные мосинцами? Едва заперли меня — и водку начали свободно продавать, благодетели, видите ли! Макса-дурачок выкрикнул мне на «выводке»: «А твой сухой закон, Степаныч, тью-тью и трали-вали!» Под общий смех. Видать, и людям подозрителен я своей неуживчивостью, тем же приглашением на сход, в конце концов в их бытии ничего не переменилось без меня, напротив, и винцо когда угодно теперь, и Мосин заявил на производственном собрании, что скоро будет заложен Дворец культуры со спортивным комплексом, бассейном, баней-сауной.

И знаешь, Аверьян, в тишине вот этой, в полусвете призрачном — сюда и звуки-то снаружи не проникают, прислушайся, — временами погружался я в никогда ранее не испытанное отрешение: все суета, правильно древними сказано; какое мне дело до прошлого, если оно ничему не учит людей, и тем более — до будущего, которое вряд ли сделает их намного умнее?.. Индийцы признают «карму», некую первооснову человеческого существования, ею все предопределено, все и для каждого, — так чего же терзать себя возвышенными идеалами, если в жизни нет иного смысла, кроме радостей и печалей обыденного бытия? Доброе и злое равно в природе, это две неразлучные части «кармы» (а в каких верованиях и религиях зло — извечное мефисто — отрицалось?), оно вовне и в каждом из нас, и значит, Мосин — брат мне по данной нам общей жизни; он вовсе не виноват, что создан таким, не будь мосиных, мы превратили бы пла-

нету в рай благоухающий, с людьми-ангелами, кушающими нектар хоботками, а кому нужна такая скучная эфирная жизнь?..

Почему я суюсь исправлять, облагораживать — тот не так живет, тот не то делает? В своей семье, как говорится, ни ладу ни складу. Производит Мосин бочко-ящикотару — и пусть себе, руководству вышестоящему виднее; значит, это нужно для чего-то, предопределено «кармой», неведомым нам смыслом существования. Попропись из церковного полумрака на свет, пожми директору таркомбината руку, извинись за глупые нападки, садись в кресло предсельсовета — и возликует народ, радуясь примирению отцов и благодетелей своих, миру на Селе среди редкостной по красоте природы.

Часто меня усыпляла полная апатия, но случилось, я так раскалял себя радужными картинками примирения с мосинцами, что кидался к двери стучать Стрижнову, зная: скажу два-три нужных им, покаянных слова — и буду выпущен, прощен, возвеличен; и пусть посмеет кто-нибудь, те же антитарники, хотя бы недобро усмехнуться мне вслед, горько пожалеют о своем легкомыслии. Вот сейчас грохну кулаком в дверь... И не грохал, даже не стучал, чтобы лишний раз попроситься в уборную: немедля оживала душа моя, а в ней запрет — до спазм в горле, до слез и сердечной боли: «Нельзя!» И шел этот запрет не из души только, которая все-таки, пусть и по-разному, всеми ощущается, — из всего моего существа и извне откуда-то. Не это ли мы называем привычными словами — совесть заговорила? И не потому ли она почти неуправляема: или пробуждается, или спит (чаще последнее)? А может, она приходит и уходит? Тогда откуда и куда?..

И вот, Аверьян, в такой час умственного и душевного брожения, ночью, ко мне пробралась, неслышно открыв дверной замок, Настя Туренко. Первое, что я уловил, был негромкий ее смех, от испуга, пожалуй. Протянув в темноте руки, она безошибочно пошла в мой угол. Я не спал, слегка подремывал лишь и все же усомнился: реально ли то, что смутно видится, слышится мне?.. Однако поднялся со своей скрипучей кровати, накинул больничный халат и тут же был схвачен, да... вот и сейчас живо помню... именно схвачен в сильные, с теплом дыхания и уличным холодком объятия. Пригнув мою голову, Настя целовала меня, небритого, дурацки растерянного, с отвисшими, будто парализованными, руками, и

смеялась, задыхаясь, и что-то невнятно наговаривала... Я попятился, и мы с нею рухнули на мою ржавую железную кровать — та развалилась со страшным грохотом, скрежетом и звоном пружин. Минуту или две мы недвижно сидели на полу, однако церковь, погудев всей надежно замкнутой сферой, не выпустила наружу, пожалуй, и единого звука даже в ближних дворах не проснулись собаки

Найдя мои руки крепко стиснув их, Настя опять засмеялась, потом разом посерьезнела, заговорила быстро, дыша в лицо мне, а то припадая губами к щеке, уху, как бы прибавляя убедительности своим словам. Оказывается, она пришла за мной, нам надо вместе бежать из Села У старой рыбозаводской пристани моторная лодка приготовлена надежный человек, нет, не местный, из поселка Уликан, берется везти нас, а там на пароход пересядем Она и документы мои взяла — не позволила мосинским умникам в сейфе копать, а то бы изъяли их, и сынок ее Витя в лодке дожидается.

«Николай Степанович, миленький, они же все рады будут и я люблю вас. Ну, кому мы... вы здесь нужны, подумайте? Замордуют, в психичку отправят. И это еще, политику вам пришивают порочит нашу систему, говорят, издевается над нашими достижениями, молодое поколение идейно разлагает Максу глупостям учат, бродит он, наборматывает всем подряд: «Диссидента разоблачили, шпиона скоро судить будем...» Ходила я к Гулакову, успокаивал, вызволим, мол, Николая Степановича, действуем Ну вызволят ну, вернетесь вы в сельсовет как жить здесь, как работать? Меня вон каждая собака стала облаивать как прокаженную, животные, а чувствуют на кого все нападают. Уеду одна, допустим, вам-то намного легче станет? Неужто вы сможете вернуться к Алевтине какая же она вам жена, подумайте? Жена на смерть с мужем должна идти, а эта... ведь знает, знает — все наговоры, просто покорного работничка хочет сделать из вас для себя А мосинцы разве простят вам когда? Да мы их со стороны скорее достанем. Хотите, здесь, в вашем крае место найдем — где наша работа понадобится? Хотите, на Харьковщину уедем, у мамы дом свой, сад, огород. Решайтесь, Николай Степанович, ведь по душе я вам Понимаю, детей жалеете, такие своих детей трудно оставляют, да что же они все с вами сделали подумайте! Умные дети поймут вас, и мы их всегда примем к себе Ну не молчите, Николай Степа-

нович. Может, разница в возрасте вас пугает? Да не вижу я разницы. Вижу только вас, и все. Вставайте!»

Настя вскочила, потянула меня за руки, я покорно, как заговоренный, поднялся и, представляешь, Аверьян, пошел к двери, а она — боже мой, вот истинная женщина! — похватила мою одежку, сказала, что в лодке я переоденусь, надо быстро уходить, и осторожно приоткрыла дверь. Пахнуло на меня сыростью ночи, разглядел я смутные очертания домов, белое свечение Реки за ними, и дальше во мгле настороженно притихшую, едва различимую тайгу, чуть вскинул голову — горы под звездами, те, в белизне вершин, знаемые мною с детства... И была минута: вот женщина, нежная, любящая, единственная... вот село, родина, люди... Там, с нею, куда мы уедем, мне будет хорошо. Здесь, с этими людьми, едва ли. Но могу ли я бросить их, отдав им столько своей души? Кого обману? И рванул мое сердце все тот же запрет: «Нельзя!»

О, любящая женщина даже слабое твое сомнение, еще и тобой не осознанное, угадывает, — куда до нее самым знаменитым экстрасенсам! Настя мгновенно насторожилась, все поняла, прильнула ко мне: не отступлюсь, возьми меня здесь, сейчас, поверь в меня, стань мне обязанным хоть этим, и тебе легче будет решиться.. И выказала столько нежности, самоотреченности, так налились слезами ее глаза, что проступили сквозь темноту двумя мерцающими зеркальцами. Но я-то мог уже здраво мыслить и сказал привычным для нее голосом, тем, почти председательским:

«Уезжай, Настя. Тебе надо уехать. Напиши мне. У нас будет время подумать. Бежать я не могу».

Повторять дважды мне не пришлось: разумные разумеют даже в любви. Она припала губами к моей руке, как это делают верующие, испрашивая благословения у своих пастырей. Я стиснул ей плечи, легонько повернул к двери. Уже из сумеречности за дверью она сказала:

«Помните меня, Николай Степанович!»

Настя Туренко уехала, и не на моторной лодке, конечно, собралась спокойно, сдала секретарские дела Водозовой, ставшей единственной сельсоветской властью, никто ее не удерживал и судом не угрожали — ведь всего-то и желалось мосинским деятелям — избавиться от строптивой союзницы Яропольцева, — даже провожаю-

щих выделили, и букет цветов Гулаков вручил Насте, хоть так отблагодарив ее за пятилетнее, честное и чистое проживание в нашем Селе.

Ты спрашиваешь, написала ли она мне? Ни слова. И правильно поступила Поняла таким, как мы, либо сразу надо сходитьсь, либо уже не встречаться. Она просила помнить ее, и я помню Тебе вот рассказал. Мы помним друг друга, и ты теперь с нами Разве этого мало? Разве не этим живы люди, все мы?

24

Никогда, Аверьян, я столько не думал, как в этих церковных стенах, потом говорил даже человеку полезно побыть взаперти. Без книг, бумаги, пера, газет — наедине со своей совестью. Нет, верующим я не стал, но толстовские слова: обратитесь к Богу или к своей совести, что одно и то же, — понял наконец совесть и есть высшее божество в нас.

Здесь же я обратился к тебе, Аверьян, — помнить всегда помнил, вернее, чувство тебя носил в себе, — обдумал твою жизнь впервые. Прожитую у нас, конечно. Вник в каждое твое слово, запавшее в душу, каждый твой поступок. Увидел тебя всего, «объемно», так сказать. И уверовал, что ты жив.

Что еще было? Да, вот это. Сын Василий, смастерив с друзьями лестницу, влез по церковной стене до открытого окна, бросил мне сверток с едой и записку от Сергея Гулакова «Отдыхай, Николай Степанович, у Бога за пазухой, ты это заслужил, а мы тут в грешном миру неусыпно молимся за тебя и, с божьей помощью, постараемся кое-кого уличить в грехах тяжких. Так что — аминь, и обнимаем тебя!» В друзьях-антитарниках я не сомневался, они не запугаются, не смирятся. А вот что. Василий сам, по собственной воле меня навестил да еще просился «Папа, можно я с тобой буду сидеть?» — ошастливило меня несказанно. Не удалось, значит, Алевтине, другим недругам восстановить сына против отца. А дочь, что же, ее жаль, но она всегда была ближе к матери, и зачем их ссорить? Дитя без матери сирота, мать без дитя — вдвое. Поделим по справедливости. Вернее, по выбору самих детей.

Была осень восьмидесятого года.

Далее события развивались, «как в кино», скажет позже Сергей Гулаков, то есть замелькали ускоренными кадрами. Устав бороться с мосинцами на месте, в тесном общении, рассылать жалобы по инстанциям, он полетел в краевой центр и лично встретился с тезкой Кондратюком. Разговор был хоть и дружеский, но резкий. Сергей-учитель обвинил Сергея-журналиста в самых обидных для человека конца двадцатого столетия грехах: нечуткости, высокоглядстве, эгоизме, наплевательском отношении к судьбам других людей («Ни разу по телефону толком не выслушал, все шуточки, анекдотики, отговорки, а там человек погибает!..») и вручил ему статью, написанную собственноручно, со всеми последними фактами из жизни тарного комбината и Села, потребовал напечатать, иначе он, Гулаков то есть, не вернется вообще в эту мосинскую вотчину, или, напротив, поедет и застрелит Мосина, как зверя, в его кабинете-берлоге... Вечером за столиком ресторана «Дальний Восток» опечаленный Кондратюк расчувствовался, всплакнул даже, вспомнив свой блестящий наезд в наше Село, милую Анюту, с которой он обошелся не совсем по-джентльменски, и пообещал обговорить статейку где надо, продвинуть. («Старик! У тебя великий талант убеждения, образно так, емко... педагог, Ушинский!») И как в кино, опять же, на шестой день пребывания Гулакова в городе краевая газета напечатала... нет, не статью, всего лишь небольшую заметку, но в ней было сказано главное: что тарный комбинат продолжает затовариваться; что есть отдельные случаи уничтожения излишней тары; что противник затоваривания, председатель сельсовета, подвергается гонениям, его считают чуть ли не сумасшедшим... и несколько общих обязательных слов об успехах тружеников села, области, края, на фоне которых вышеизложенное выглядит хоть и единичным, однако досадным фактом самоуправства кое-каких местных руководителей.

Закупив десятка три экземпляров газеты с этой заметкой, Гулаков через несколько часов, сделав две удачных пересадки по авиамаршруту, утренней «Аннушкой» прибыл в Село и сразу же ринулся к антитарникам; вскоре они раздавали газету «сочувствующим» сельчанам, а Богатиков взялся распространить ее на комбинате.

В обеденный перерыв почти все Село собралось у церкви. Перепуганный Стрижнов бегал перед толпой, придерживая расстегнутую кобуру, отказывался выпустить «больного», угрожая последствиями, требовал пред-

писания вышестоящих органов, но его все-таки принудили открыть церковь, вручив тут же составленную и многими подписанную бумагу, в которой говорилось, что с него, милиционера Стрижнова, снимается ответственность за вверенный ему пост. Более всего, пожалуй, удивили и обескуражили милиционера мосинцы: их виделось немало в толпе, однако они молча наблюдали это стихийное насилие.

Ну, и было явление, Аверьян... председателя сельсовета народу. Трогательное до умопомрачения. Рукописания, музыка ансамбля «Таежные ребята» — выходной марш и туш, приветственные возгласы... И меня — это уж было ни к чему — подхватили на руки, понесли по главной улице Села к сельсовету, усадили за председательский стол — обросшего трехнедельной щетиной, нечесаного, без брючного ремня и шнурков в полуботинках... До крайности растерянного, конечно.

Вызволение это бурное я трудно пережил. С того дня, думаю, у меня и начало побаливать сердце. Радость большими дозами тоже вредна. Особенно с примесью обиды: а если бы не появилась заметка в газете, дорогие сельчане? Сколько бы я еще отсиживал «у Бога за пазухой»? Ведь мои избиратели Байстрюков и Сердюкова принуждали меня потреблять транквилизаторы, те самые таблетки, которыми умирят душевнобольных, и поддайся я им, через некоторое время вы получили бы еще одного Максудурачка, только с другим именем.

Неужели вы поверили в мое сумасшествие? Очень сомневаюсь. Почему же молчали? Так спокойнее? Начальство знает, что делает? Против силы не попрешь? Наша хата с краю? Время рассудит? Сколько такой удобной на любой житейский случай мудрости накоплено в народе! Но народом ли? Не вернее ли думать — трусливыми обывателями из народа?..

Ладно, это, как говорится, философия, в ней просто заблудиться. Но вот живая жизнь: не с вашего ли молчаливого согласия, дорогие сограждане, мосинцы громоздят горы ненужного товара, изводя леса, отравляя воздух, убивая землю, на которой вы живете?

Извини, опять на лозунговость потянуло, сельсоветская работа меня подпортила — столько выступать приходилось и все с призывами! Бывало, читаешь речь по бумаге (в твоё время, Аверьян, кажется, без бумажек обходились? Может, грамотных мало было? Или бумага дорого стоила?), озвучиваешь речь и сам не смыслишь,

есть ли в ней что полезное, о людях и говорить нечего — научились слушать не слыша. Изумляюсь теперь, хоть бы один встал, выматерился: мать вашу перетак. мухи дохнут от такого пустобрехства! Как же, нельзя, мероприятие, оно само по себе, не от меня лично, не от другого, третьего, оно... И молчаливо поднимался палец вверх. Говорильня эта считалась делом, производительной силой даже. Профессиональные выступальщики были и среди пионеров, и среди самых высоких чинов. А ведь еще Петр Первый запрещал боярам говорить по бумажке, «дабы глупость каждого видна была»

Хорошо, если б только глупые за бумажки прятались, умных приучили зачитывать свои речи. Прошу однажды Дмитрия Богатикова, это уж в начале восьмидесятых было, выступи на депутатской сессии, ты за благоустройство Села отвечаешь, что сделано, что предстоит сделать. Ладно, соглашается, напиши мне речь. Зачем, ты же все наизусть знаешь, выйди и расскажи, как мне сейчас. Напугался: разве можно не по бумаге? С этим испугом и на заседание явился, встал за трибуну, выговорил гоненько, будто прокукарекал «Уважаемые товарищи депутаты!..» — и замолк. Из зала его подбадривают: «Говори, Дмитрий, говори, мы тут все свои» (А многие ли «свои» могли выйти на трибуну и говорить своими словами?) Искраснелся Дмитрий, испотелся, махнул рукой, ушел на свое место.

И это Богатиков, ты помнишь, Аверьян, как он, Митька-бондарь, бойко выступал на твоём часе «Мы говорим»?

Доскажу церковноприходскую историю, как я называю свою отсидку, чтобы уж покончить с этим. Я подал в суд на главврача Байстрюкова и психиатра Сердюкову. Понимаю твоё скептическое покашливание: надо бы на тех, кто повелел им объявить здорового больным, но попробуй назвать кого-либо по фамилии — таковых не найдется, делала это вся мосинская свита, а точнее — оголтелая мосиновщина. Достаточно было самому Мосину, так, походя, сказать: «Ненормальный этот Яропольцев!» — и Байстрюков начал действовать, правильно поняв желание Хозяина. Сила эта многолика и потому безлика. Исполнители же — вот они: главврач и психиатр, мои собратья по профессии, дававшие клятву Гиппократу, в которой главное «не навреди». Никому, нигде, никогда. Пусть, думаю, хоть они ответят

Не ответили, Байстрюкова и Сердюкову быстренько убрали — «по собственному желанию» перевели в другие места, а прибывший на беседу со мной следователь районной прокуратуры посоветовал мне взять заявление обратно. Чего добьюсь? Неужели хочу подвергнуться судебно-психиатрическому обследованию? Ведь не они (тут следователь неопределенно, скупо усмехнулся), а я подзревался в психических отклонениях... Кто в наше стрессовое время — от него, как видим, нигде не спрятаться — может поручиться за свои нервы и психику? Следователь и сочувствовал дружески, и намекал доверительно: пойми, нам не хочется заниматься этим склочным «местного масштаба» делом — никто ничего не выиграет, а жалобщика допросами замучают.

Следователь был пенсионного возраста, из тех простоватых, поуставших от жизни законников, которые вполне серьезно мудрствуют: не судись да не судим будешь. Обидели, грубо обошлись?.. Так ты что же, жизнь собрался прожить в ласке и холе? Тогда не в том месте на свет появился, и есть ли такое место, подумай? Жив, вроде здоров, на работе восстановлен... А что проучили — умнее будешь. Хочешь правдолюбцем быть и за правду не пострадать?.. И прибавил с хитроватым смешком: за нее ведь не только стоят, но и сидят.

Я, конечно, внял многоопытности следователя. К тому же стало известно: со дня на день из области должна припожаловать наконец специальная комиссия — проверить работу тарного комбината.

До личных ли тут обид, когда многое и скоро может перемениться в жизни нашего Села?

25

Что ж, Аверьян, пошагаем дальше. В этих деревянных хоромаш хороша — на воле лучше. Чувствуешь, как похолодало? Ветерком засквозило со стороны гор. От них осень к нам приходит, а из-за них, с северных тундр, — зима. Вон запоздалая гагара в заводь на реке плюхнулась, будто камень упал; комарики потихоньку зудят, тоже запоздалые, зябко им; и воздух, смотри, зарозовел, как бы подзеркаленный снежными вершинами. А вон, вон глянь, туда, на ближний лес — тропинки, посыпанные лиственничной хвоей, прямо-таки светятся желтизной (художники называют такой цвет солнечно-охря-

ным), ручьями утекают тропинки в таежную сумеречь: они — к зимовьям, на рыбалки и охоты, к болотам клюквенным... Еще немного, подморозит стужа землю — и можно будет брать клюкву, подсластится, соком набрякнет, раздавишь во рту — так тебя, кажется, пронзит бодрительная влага.

Самое печальное время в нашем пустом Селе. Зимой завалит снегом дома, их вроде и вовсе нет, а сейчас, в осенней оголенности, — каждый сирота.

Но есть, есть у нас люди, и ты, Аверьян, кое-кого уже видел. И вот, взгляни на этот домишко — неказист, а живой. Стекла чисты, дымок из трубы, поленица дров на зиму заготовлена. И живут здесь... нет, тебе не угадать хозяев этого подворья... живут Екатерина Кузьминична Зеленко, мать Алексея, старая уж совсем, и Макса-дурачок, как бы в сыновьях у нее, прикутила, когда Макса осиротел, — мать его умерла года как три назад... Да, к слову: как ни наговаривали мосинцы Екатерине Кузьминичне, что сын ее «зарезан» и нужно требовать судебно-медицинской экспертизы, не поддалась она и заготовленной жалобы не подписала. «Суют бумагу, — после рассказывала, — а сердце мне не велит подписывать нашу фамилию, вроде сам Алеша запрещает: мама, ты же грех на душу возьмешь!..» Видишь, Аверьян, если человек не зарится на какие-либо особые выгоды, если в нем жива совесть, его не так-то просто совратить на нечестное пособничество. А сколько сами ищут такого пособничества?

Нет, нет, Максу я не обвиняю, это больное, теперь уже состарившееся дитя... Ага, увидел нас в окно, вышел, озирается строго, будто мы хотим что-либо украсть с его подворья. Позвать?.. Хорошо, позову. А ты взглядишь в его глаза — узнаешь, припомнишь своего ученика Максимку Маркелкина, того, давнего, с непомутившимся еще сознанием, не острого на ум, но силящегося узнать правду о жизни; увидишь и теперешнюю его мольбу к себе: ну, ты же учитель, ты самый сильный, умный, ты все можешь, просветли мою голову, в ней так смутно, горячо, душно...

— Макса, подойди к нам.

— Зачем эта?

— Поговорим.

— Зачем мне с тобой говорить, хто ты такой отвештвенный?

— Я не один.

— Кто там ш тобой?

— Аверьян Иванович Постников, наш учитель. Помнишь своего учителя?

Макса усиленно морщит низенький лоб, глубокие поперечные складки как бы стягивают воедино коричнево-загорелую лысину и еще более темное личико с провальцами ноздрей на месте носа, и из этой одутловатой бесформенности неподвижно, зеленовато-ясно светятся маленькие острые глаза Максы: не обмануться бы в чем, не сделаться смешным... Наконец он идет к Яропольцеву и с каждым по-утиному развалистым шагом все более суровеет, точнее — свирепеет, приоткрыв губы и как бы устрояя двумя крупными белыми резцами в совершенно пустом рту.

Выйдя за калитку, Макса сразу же расхохотался и, кашляя и сморкаясь в большой чистый платок, сильно пахнущий дешевым одеколоном, принялся выкрикивать:

— Врун! Врун! Я жнал, што ты обманщик! Говоришь, ш тобой хто-то ешь, а никого нету. Хе-хе!

— А ты успокойся и приглядишься. Вот он, Аверьян Иванович. Изменился, правда, ему теперь за семьдесят. Но взгляд, улыбка... Ты у него со второго по четвертый класс учился, он тебя жалел, ты же без отца рос, и вообще... Говорил тебе, помнишь: «Миленький, у тебя добрая душа и слабая, ты не гонись за всеми, выбирай что-нибудь тихое для себя, понятное»? И опускал тебе на голову ладонь. Ты успокаивался, забывал дразнилки мальчишек, молча улыбался и понимал все-все. Иной раз сам просил: «Аверьян Иванович, положите мне руку на голову». Припомни, он еще в очаг культуры и справедливости поселок наш хотел превратить, потом меня Очагом называли, ты тоже дразнил.

Макса нахмуренно оглядывает Яропольцева, переводит взгляд в пустоту слева от него, потом вправо, и на какое-то короткое время глаза его останавливаются, расширяются, будто в испуге, вспухают красными прожилками белки, губы Максы мелко вздрагивают, руки потерянно обвисают, невероятным усилием своего замутненного разума он старается что-то понять, прозреть, увидеть и, кажется, видит уже нечто вполне осязаемое, может удержать это видение, глаза Максы наполняются разумной осмысленностью, на минуту просветляется его сознание, и он шепчет, почти не шепелявя, не искажая слов:

— Помню... вижу... он хороший, он меня жалел... Зачем ты уехал, Аверьян Иванович?.. Ты уехал, и я заболел... Они, они мне голову испортили... Они плохие... Положи мне руку на головку...

Макса пригибает шею, подставляя под руку голову, но смотрит прямо перед собой, не упуская видение, глаза его постепенно заливаются слезами, стекленеют, он ждет прохлады, свежести, успокоения от положенной на голову руки, понимает наконец, что руки нет и не будет, медленно переводит взгляд на Яропольцева, лицо его мгновенно искажается гримасой страха и безумия, и он кричит, подступая к Яропольцеву со сжатыми кулаками:

— Ты убил Аверьяна Ивановича, ты послал его на войну! Ты Село погубил, людей прогнал! Ты черт, дьявол, лешак!.. — Он вздергивает руку кверху, тычет пальцем в небо. — Тебя Бог накажет, тебя Христос в церкву посадит и молнией церкву пожжет. — И Макса заливается вдруг визгливыми рыданиями. — Зашем ты прогнал Анну Самойловну, я любил, любил Аньку... Тебя Мосин накажет, он там, высоко, все видит. Он придет, жди. В тюрьму тебя пошадит!

Плюнув в ноги Яропольцеву накипевшей во рту слюной, рыдающий Макса бежит к дому, взбирается по ступенькам на крыльцо и оттуда грозит поднятыми вверх кулаками.

На крыльце появляется Екатерина Кузьминична, издали кивает Яропольцеву, чуть разводит руками, извините, мол, больное дитя, гладит Максу по голове, наговаривает ему что-то ласковое, целует в лоб и, успокоенно, уводит в дом.

Пока мы шли дальше и какое-то время молчали, Аверьян, я вот о чем думал: ведь прав Макса — мы тебя убили, твои ученики. Не словом, понятно, и тем более не оружием. Но все-таки — мы. Как тебе объяснить? Это чувствовать только можно. Если так: люби мы тебя все сразу, всей силой своих душ, думай о тебе, будь всегда с тобой своими мыслями, чувствами — и та пуля, тот осколок снаряда, бомбы пролетели бы мимо тебя, ну, ранили несмертельно... Мы же тебя сразу забыли, как только ты уехал — по-детски невинно и жестоко. Потом, с годами, ты вновь вошел в нас. И воскрес. А того, молодого, живого, нами любимого, предали. Остави-

ли одного среди людей, среди войны. Ослабленного: ведь ты так много себя отдал нам!.. Потому и думаю, что прав Макса.

И о Мосине он точно сказал: жив Мосин. Силен Мосин. И может вернуться Мосин. Да он пока и не уходил. Переместился всего лишь. Устами юродивого, как и младенца, должно быть, тоже глаголет истина.

А какова любовь Максы к Анне Самойловне? Одна и на всю жизнь. Слабое существо — и гренадер в юбке. В этой особе воли больше, чем женского тела. И все-таки, кто знает, может, и теплилось в Анне Самойловне жалостливое чувство к влюбленному Максе?

Но и Макса годился, когда являлась нужда спасти мосинское дело. Воистину Анна Самойловна — великая служительница у врат кабинета своего начальника!

В западных странах проводят конкурсы секретарш. Боссы считают, что секретарше, скажем, не обязательно быть красавицей, куда ценнее в ней сообразительность, предприимчивость, аккуратность и точность; секретарши обижаются на боссов обычно за нечуткость, отчужденность, нежелание признаваться в своих ошибках, за то, что часто сваливают все на секретарш.

Не знаю, выдержала бы тот конкурс Анна Самойловна, но среди секретарш наших боссов-бюрократов едва ли найдутся ей равные: такого единения с начальником, такого гибрида человеческой природы «секретарша — начальник», пожалуй, свет не видывал.

Гляжу я на мрачные горы бочко-, ящикотары и думаю: а ведь в них много энергии Анны Самойловны вложено! Иной раз кажется, без нее вообще не было бы этих завалов или было бы их наполовину меньше.

Не эта ли редкостность натуры Анны Самойловны потрясла больное воображение Максы? Что перед нею все другие, нормальные женщины? Но любовь свята. Она, как дух, живет где хочет. А потому и в несчастье своем Макса жив душой: в ней теплится свет любви.

Свет любви. Свет надежды... Пока живем — надемся. Вот я и надеялся: придет экспертная комиссия, спокойно изучит наши производственно-экономические дела, запретит наконец выпуск ненужной тары, порекомендует

перевести комбинат на изготовление, скажем, тех же древесно-стружечных плит, дабы сохранить в целости производство, не лишит работы сельчан... Комиссии, однако, пришлось ждать год, и когда она припожаловала (будто нарочито задерживалась), мосинцы успели навести кое-какой порядок в тарном безобразии: подгнившие бочки и ящики уничтожили, более пригодные в срочном порядке, по какой-то особой директиве, отправили на отдаленные рыбозаводы Охотского побережья. Конечно, комбинат шумел, гремел, штабеля бочко-, ящикотары все так же возвышались над Селом, но не были столь угрожающими.

И все-таки комиссия — был в ней представитель из края — довольно категорично постановила: рекомендовать плановым и производственным органам в кратчайший срок свернуть выпуск тары, не находящей сбыта в пределах региона.

Мои предложения о переводе комбината на стройматериалы были отвергнуты, эксперт из края сказал: «Вспомните пословицу: за морем телушка — полушка да рубль перевоз. Дороговатыми станут ваши древесно-стружечные плиты». Мне подумалось тогда, что, пожалуй, он прав: одно дело сколачивать тару и отправлять в ней рыбу и совсем другое — везти за тридевять земель строительные материалы. Но вышло так: специалист оказался правым только на то время. Сейчас бы понадобились наши плиты, плахи, доски и все прочее — речного флота прибавилось, строек стало больше, БАМ не так уж далеко от нас — туда тоже всего строительного прорва нужна. Однако теперь я помалкиваю, говоря про себя: «Спасибо вам, уважаемые экономисты, за ваше, извините, узкомыслие!» Гремел бы здесь — вообрази, Аверьян, — стройкомбинат, возобновился бы повал и сплав леса, Село быстро бы переросло в рабочий поселок... А места эти редкостной красоты, заповедные — заповеданные самой природой хранить их. Но, признаюсь честно, не знал и я тогда, как иначе сохранить, возродить Село. Теперь знаю. Теперь оно скоро оживет.

Эх, Аверьян Иванович, милый учитель мой! Не ошибся ли ты, назначив мне быть эскулапом? У меня практическая голова, мне достались руки отца-плотника, мне бы строить, проекты чертить, умом по земной поверхности раскидывать! Я бы и компьютерную технику

изучил, но не для изобретения бочек без обручей, чем, помнишь, забавлялся начальник КБТ Поливанов, а чтоб разумнее ставить дома, строить заводы, быть в ладу с природой, которая начинает уже шибко сердиться на нас. Я радуюсь, что сын мой Василий по собственной воле закончил строительный техникум. Видно, у нас, Яропольцевых, в крови это — не только мыслить, но и видеть произведения рук своих.

После лирического отступления вернемся, как говорится, к житейской прозе. Комиссия, значит, уехала, увезла в край, область, район свои авторитетные заключения, а тарный комбинат работал — не поверишь! — еще два года. Закрываясь, с прежним разгоном производил продукцию. Мосин высиживал дни, недели, месяцы. Он знал: пока будет сидеть в кабинете — комбинат не остановится. Он ждал перерешений: мосинцы были и сверху. Они действовали. И наверняка дождался бы Мосин звонка: «Гонишь вал? Молодец!» Но время менялось.

В один из тех дней я и сказал Мосину о тебе, Аверьян. Как-то само сказалось. И по такому обыденному делу: доски в тротуаре подгнили, мост через ручей Падун провалился... Я ему и: «Нет на вас Аверьяна, товарищ Мосин!»

Понятно, не до мелких ремонтных пустикав тогда ему было, но как-то разом у меня все накипело. Сидит вот глыба человеческая, поглядывает сонновато из абсурдно огромного куба кабинета в широченное окно (для всеохватного обзора!), видит, слышит изобретенное и сооруженное им, мощно работающее предприятие — и ничто больше его не интересует. Село, быт, люди?.. Все это постольку, поскольку необходимо для производства. Досок не выпросишь, а они вон штабелями вокруг комбината гниют. Имей сельсовет хоть мало-мальски достаточные средства, разве выстаивал бы я по нескольку раз в месяц перед этой «бонзой», как очень точно называл Мосина бондарь Богатиков? Чего тут не скажешь! И Мосин насторожился, услышав твое имя, Аверьян, разомкнул жгучие запятые глаз, спросил: «Кто такой?..» По наитию какому-то непонятному я вспомнил тебя, по наитию же и промолчал. «Пугаешь вроде?» — еще более напрягся Мосин и распорядился по телефону починить тротуары, отремонтировать мост. Не раз потом я припугивал его

твоим именем, Аверьян, — бюрократ всесилен, но и труслив: над ним-то тоже сила! Жаль, что поздновато сказалось твое имя.

Но близились, все-таки близились перемены. В ноябре восемьдесят второго умер Брежнев. Чтили его как выдающегося государственного деятеля, большого друга развивающихся стран, верного ленинца, величали многими другими высокими словами. Был и у нас всесельский траурный митинг, Мосин зачитал речь, в которой пообещал умершему генсеку продолжить его великое дело строительства коммунизма, поднять производительность труда, досрочно выполнить пятилетку по выпуску качественной бочко-, ящикотары. Выступил и я. И представь себе, Аверьян, с искренней печалью говорил о кончине Леонида Ильича. У нас ведь так повелось (не с царей ли еще?): сидящий на самом верху — чист и непорочен, а все беды в стране — от нерадивых, неумных начальников. Ну, там, в Москве, скажем, что-то могут знать, слышать непечатное о кремлевских руководителях, в нашей же глубинке — новости из прессы, радио да телевидения, и слухам, анекдотам мы обычно мало верим.

Особенно мне запомнились похороны Брежнева, медленные, с надрывной музыкой. Речами на Мавзолее. И был момент, когда я вздрогнул: опускали солдаты на белых полотнищах тяжелый гроб в могилу и под конец не удержали его — послышался гулкий удар о дно ямы. И вроде бы гул этот прошел по Красной площади, содрогнул всю страну. Кто не подумал в эту минуту: каким оно будет, наше завтра?.. И все-таки хорошо помню, звук оброненного гроба не надорвал моей души, напротив, вроде спала с нее многолетняя тяжесть: кончилась «брежневская» эпоха!..

Дня через два Мосин остановил меня на улице, пожал руку, повздыхал задумчиво и сказал, отведя взгляд: «Как думаешь, новый генсек продолжит линию Леонида Ильича?» И сам ответил (себе в подкрепление, мне в наидание): «Там знают, кого избрать, будет достойным продолжателем!»

Наступил восемьдесят третий, начали понемногу прижимать взяточников, приписчиков, кое-кто в центре и на местах лишился своих постов. Покинул наконец и наш Мосин кабинет тарного комбината, срочно переместившись в область.

Помнится, я уже рассказывал, как выглядел его уход. Ни малейшей суеты. Поручив заместителю консервиро-

вать производство, брезгливо подписав три-четыре ответственные бумаги, будто его тошнило от всего, что могло как-то повредить родному комбинату, радушно простился с работниками дирекции, показав им напоследок борцовские плечи, стриженный под бобрик квадрат головы, вздернутую кверху руку с вытянутым пальцем, несокрушимую твердую походку: мол, уйду, но помните: остаюсь в номенклатуре.

Пожалуй, к месту будет вот о чем поразмышлять. Что же, наш Мосин, его начальники, другие так ругаемые теперь управленцы не понимали, что они вредят обществу, производя бракованное, а то и вовсе ненужное? Думаю, догадывались. Но они всего лишь — гайки, болты, винтики одной бюрократической машины и потому или исправно функционировали, или заменялись другими. Мелочь — один комбинат, один колхоз, завод, одна контора... Есть высшие цели, и с тех высот все приемлемо, что работает, производит, лепит, штампует. Сегодня не нужно — завтра пригодится. Нарастали бы мощности, воспитывались бы кадры. Но отдай, скажем, тот же тарный комбинат лично Мосину, кому-либо другому из могущественного управленческого аппарата — немедленно закрыли бы или перепрофилировали, дабы иметь сбыт и доход. Тут же — не мое, вверху смотрят глубже, видят дальше. Те, вверху, показывают еще выше. А самым верхним ничего не остается, как показывать вниз: мол, так утвердилось, устоялось, не все хорошо, конечно, в такой системе, но на нее можно опереться. И работает, исправно функционирует, процветает огромная бюрократическая машина. Сама для себя. Подбирая нужные ей гайки, болты, винтики... Так и высколились в управленчестве мосины разных рангов и им подобные потребители инструкций и вышестоящих указаний. Ладно бы только отчитывались, посиживая в своих огромных кабинетах, — нет, им не терпелось влиять, утверждаться. И поражалось бюрократической психологией все и вся: вот крестьянин с восьмичасовым рабочим днем (есть у него на личное пропитание, а там хоть трава не расти!), вот рабочий у станка, что тебе конторщик, на постоянном окладе (с тринадцатой зарплатой в конце года), вот ученый, изобретающий, умствующий исключительно ради диссертации... Старательные работники содержали лентяев, доходные колхозы — убыточные, преуспевающие за-

воды — отстающие... Все усреднялось, подравнивалось. Главное, были бы впечатляющими общие показатели. А это ли не благодать для всеохватного воровства, приписок, погони за почестями и орденами: кто и кому может сказать — ты непорядочный человек, занимаешь не свое место, получаешь незаработанные деньги?

Одно не учитывалось. И главное. Homo sapiens — человек разумный все-таки. А ему запрещали мыслить. Он превращался постепенно в Homo primitivus — человека примитивного. Разве можно от такого требовать сознательности, совестливости, производительности? И как идти с ним в третье тысячелетие?

Но вернемся к нашему повествованию. Отбыл Мосин, и в тот же день — о, невероятное! — комбинат затих.

Остановилось сердце Села? Нет. Перестал переваривать древесную пищу не в меру раздувшийся желудок его. Без питания же, как известно, не может существовать и какая-нибудь инфузория. Село начало умирать. А так как оно прежде всего — люди, то им, людям, пришлось вынужденно искать новые места для проживания и пропитания.

С антитарниками расстался я, конечно, дружески. Гулаков шутил: «Очаг остается. А это главное. Значит, мы снова можем собраться вокруг яропольцевского огонька. Жди нас, Николай Степанович. И позови, когда будем нужны!» Мосинцы, да и не только они, многие из молчаливого большинства, не подали мне руки на прощание. Начальник КБТ, известный тебе Поливанов, со своей всегдашней ироничной полусерьезностью и привычкой смотреть в пространство, сказал: «Зря, зря, старикан, ты прикрыл это могучее производство. Я хотел расшириться, двух друзей головастых пригласить — создать очаг мировой конструкторской мысли среди девственной природы. Твой очаг, мой очаг... Такой бы пожар тут раздули!» А один, бригадир-ударник с конвейера бочкотары, в подпитии угрожал прикончить меня из ружья: «Народ по миру пустил!» В том же восемьдесят третьем уехала и моя супруга Алевтина Афанасьевна, с которой я примирился после отсидки в церкви.

И стало Село таким, каким ты его видишь сейчас, Аверьян.

Медленно, но неуклонно мы приближаемся, как и было нами намечено, к ручью Падуно уже слышится рокот его вод, вон за тем густым ивняком он и откроется нам. А пока... о чем-то я еще хотел поговорить с тобой, Аверьян? Важном. Сейчас вспомню. Ага, вот — о своей поездке в Москву. Последней, три года назад, как раз после закрытия тарного комбината, когда с должности председателя сельсовета я перешел в сторожа Села.

Решил навестить столицу по очень важному делу отыскать наконец тебя, Аверьян. Вернее, найти гвою могилу. Еще точнее, прочесть гвою фамилию на одной из подмосковных братских могил. Да, ты пропал без вести, но ведь за сорок послевоенных лет столько неизвестных удалось назвать по именам. Найду тебя, поклонюсь, положу цветы тебе. В крайнем случае — всем Постниковым с твоими инициалами. А не окажется таковых, стану искать тебя живого.

Москва, однако, для провинциала — место не шибко приветливое. Суетиться он начинает еще на подлете к аэропорту, а дальше и того пуще: где остановиться, примет ли тот, не откажет ли этот, кому писал — не ответил, этому звонил — не дозвонился; в гостиницу попасть — мечта несбыточная, если не имеешь солидного командировочного удостоверения. Хочешь Красную площадь увидеть, в Кремле у Царь-Колокола сфотографироваться — ночуй на вокзале; и ночуют с детьми, стариками, ничуть не обижаясь и тем более не геряя патриотических чувств; так, иногда лишь разговаряются, поудивляются: почему бы в родной столице не настроить столько недорогих гостиниц, чтобы любой обыкновенный гражданин мог приехать и погостить с пользой для духовного обогащения?..

Я и намеревался три-четыре ночи скоротать на скамейке какого-либо вокзала, полагая, что этого времени мне хватит навести о тебе справки, съездить на гвою могилу. Но только отсюда, из нашей гишины и неспешности, многое кажется простым, ясным, доступным. Уже в Домодедове, выстаивая очередь на такси, я запаниковал куда ехать, к кому обратиться — в горвоенкомат в Министерство обороны?.. И когда сел рядом с московским таксистом, профессором своего дела — нена начальственных

провинциалов такие узнают, едва глянув, да по деликатной суетливости еще: «Здравствуйте, товарищ... Вы уж меня довозите как покороче... Какая у вас трудная работа» и так далее, — когда, значит, я сел рядом с холёным, усатым, не повернувшим ко мне «головой кочан» таксистом (этот был куда выше, из «академиков!»), я быстро и без запинки назвал московский адрес Игоря Супруна... Да, того Игорька лобастенького, Аверьян, которому ты прочил большую математическую карьеру; помнится, я мельком говорил тебе о нем; сбьлись твои предположения: физико-математический факультет МГУ закончил, в Москве оставили, теперь доктор наук, в престижном НИИ работает. Раза три-четыре мы обменялись письмами, раза два-три я звонил ему, бывая проездом в столице, но не заставал его дома, жена отвечала — то на даче он, то на симпозиуме за границей... Словом, по какому-то наитию я назвал адрес Игоря Супруна, со мной такое случается, я тебе уже говорил, — вдруг толчок изнутри, и что лишь едва теплилось в подсознании моем — превращается в мысль, четко выговаривается словами.

Еду, поругиваю себя: вот потешится «академик», если не застану кого-либо из Супрунов дома! Да и почему я решил, что Игорь непременно обрадуется мне? Но у громоздкого здания на Ломоносовском проспекте я не стал задерживать таксиста, спокойно, копейка в копейку, рассчитался, отчего вяло-брезгливо передернулись усы хозяина московских улиц (не поверил все-таки в мою столичность!), и твердо направился к подъезду с высокой дубовой дверью. Такой наглости я не ожидал от себя. Что со мной? Или все правильно, на селе ты — селянин, в городе — будь горожанином, если не хочешь, чтобы тебе ноги оттаптывали, твое сельское величество унижали? Хотя видишь, как я все это истинно по-аборигенски разыграл!

И тут, Аверьян, мне редкостно посчастливилось: дверь открыл сам Игорь и обрадовался мне. Сперва, конечно, мы не узнали друг друга, но заговорили — и бросились обниматься. Голос, свое, особое произношение слов, вероятно, мало меняются с годами. А так, внешне, что же, два мальчика превратились в двух пожилых, крепенько потрепанных мужчин, если не стариков. Глаза вот остались, хоть и повыцвели, голоса тоже, хоть и поохрипли; ну, улыбки, кое-какие жесты еще... и это подмигивание Игоря, будто заговорщицкое. Он облысел, я по-

седел. А не виделись мы с сорок шестого года, когда окончили нашу сельскую десятилетку.

Я рассказал Игорю, как непредвиденно попал к нему, он с подмигиванием пошутил: «Скажи спасибо «академику», это он тебя ко мне направил. Попадись за рулем родственная душа с нашей деревенской моралью, на вокзале бы ночевал!» Оказалось, и жена Игоря приезжая москвичка, из сельско-рязанских, назвала себя «москвачкой» и сразу пожаловалась, что не любит своей профессии химика, и хоть она доктор и ценится в институте, а все равно понимает: в науку попала по моде времени, когда лирики были «в загоне», погубила свои музыкальные способности и мечтает теперь об одном — сделаться пенсионеркой, жить на даче, ухаживать за грядками и играть, играть на пианино: напитать звуками душу, высушенную химическими формулами. А мне подумалось, что еще и природой надо ей напитаться: в городе она жила своими деревенскими силами, и вот они кончились, она стала утомляться, тускнеть, и ей захотелось вырваться из тесноты камня и бетона на воздух, к садам и грядкам. Не утрата ли всего этого и начала казаться ей потерянной, вечно зовущей к себе музыкой?.. Детей, сына и дочь, как сказал Игорь, «вытолкнули в жизнь», отделили, женив и выдав замуж, радовались тишине и пустоте квартиры, «будто в молодость вернулись!»

Вот и засели мы втроем под сухое вино (крепкое всем было уже противопоказано) вспоминать прожитые годы. К полуночи я остался наедине с Игорем, и тогда он спросил вдруг:

«Ты помнишь нашего Аверьяна Ивановича Постникова?»

Я от стола отпрянул, руками растерянно развел:

«А как же? В одном письме, кажется, спрашивал тебя — помнишь ли ты?»

Игорь досадливо потер лысину ладошкой (он и мальчишкой так же натирал свою круглую, тогда уже лысоватенькую головку).

«Может быть... Запомятовал. В суете, работе. А лет уж как пять не расстанусь с нашим учителем: то слова его припомнятся из «проповеди» о культуре и справедливости: «Самое, самое главное что? Правильно: быть человеком», то взгляд чуть грустный, что-то спрашивающий, то промелькнет в толпе его улыбка, быстрая и нестареющая...»

Я сказал обрадованно:

«Это хорошо, Игорь, хоть к старости мы...»

«Нет, нет, — остановил он меня, придавив ладонью мою руку на столе, — я не понимал, теперь понимаю: он всегда был во мне, Аверьян Иванович, просто чувством неосознанным, что ли... Что творилось в науке, ты слышал. Та же мосиновщина, та же затоваренная бочко-ящикотара, только из никому не нужных, кроме как для ученых, званий и отчетов, диссертаций, проектов. Поддаки сильному, объединись с влиятельным — и выбьешься, что-то возглавишь, кого-то придавишь, не всегда, впрочем, полезного и одаренного, будешь вхож в верха, а оттуда и до академии рукой подать — опять же, если знаешь, кому и как ее подавать... Не смог, короче говоря, чем больше было суеты, победных речей, возни и грызни вокруг чинов, кабинетов, престижных связей, тем упрямее я уходил в свою работу, чтобы меньше знать, слышать, чтобы считали меня «не от мира сего». Это удалось. Я был прозван «чистым мыслителем», и мне даже редко предлагали соавторство: таких чудаков и закоснелые бюрократы ухитряются уважать — по той причине, наверное, что хоть кому-то что-то надо делать. Я и выжил, как видишь. Чинов высоких не имею, зато совестью... нет, скажем так — принципами не поступился. С совестью труднее, ты это сам хорошо знаешь. Совесть настаивала: не мирись, говори... Жаль было работы, дела — кто бы мне, обличителю, позволил тогда быть «чистым мыслителем»? А вот ты, Никола, говорил, не молчали другие, пусть и немногие. Так что со своей совестью мне придется еще выяснять отношения. И все-таки, все-таки я выжил как человек, личность какая-никакая. Теперь вот думаю: не помог ли мне наш учитель?..»

Игорь замолчал, глядя мимо меня в темное окно, за которым стихал и все более пустел провал Ломоносовского проспекта, потом принес из кухни давно кипевший чайник, насыпал заварки прямо в чашки — по-нашему, таежному! — и мы молча ждали, пока настоится коричневый чаек, затем и принялись отхлебывать его, не подсластив, по-нашему же.

Что мне было ответить Игорю Супруну? Помог ты ему, Аверьян, не помог?.. Ты был в нем чувством, потом и образ твой явился его сознанию. Отними тебя, другого... Не станет прошлого, памяти — не будет и человека. Я был уверен, Аверьян, что именно ты помог ему и еще во многом поможешь, но пусть он сам

уверует в это. Потому-то я и сказал совсем другое: «Игорь, а ведь приехал я найти могилу нашего учителя».

Мой друг передернул плечами, будто чего-то слегка испугался, а затем, невесело глядя мне в глаза, спросил:

«Ты думаешь, такая мысль не тревожила моей головы? Сколько раз поднимал телефонную трубку — узнать, навести справки, сделать запрос... и не набирал нужного номера. Они, номера эти, все выписаны, даже пионерского штаба «Красных следопытов», можешь посмотреть в телефонной книжке! Ну и догадайся, попробуй понять, почему не звонил, не узнавал?»

Я минуту повременил, и меня осенило — до легкой дрожи, озноба: так просто, так согласно с моими мыслями, чувствами! Я сказал:

«Понимаю».

Мы опять молчали. Настенные часы пробили три часа ночи.

Игорь негромко, уставившись в темноту совсем уже притихшего окна, заговорил:

«Найдем, будем знать, где покоится его прах, — и как бы еще раз захороним. А разве он там? И похвалил бы он нас за цветы, за обязанность поклоняться его праху? Не есть ли это, и часто: поклонился — откупился от памяти? Он жив в нас, жив в других, зачем же его хоронить? Понятно, с непохороненным учителем труднее, и все-таки пусть живет, а, Никола?»

Я пожал ему руку.

Он говорил, прислушиваясь к своим словам, и было ясно: все это им давно и хорошо продумано.

«Делать добро, желая остаться в памяти потомков, непредосудительно, всякому понятно. Но высшее служение добру — не заботиться о личной известности ни при жизни, ни после смерти, ибо это уже искание платы: «быть притчей во языцех». Благо сотворено, оставлено людям — и разве захотел бы слышать даже простое «спасибо» Аверьян? И сознавал ли он, что делает добро? Награда каждого в нем самом. Так умели поступать иные монахи. Все другое — протягивание руки за подачкой. Может, слишком резко говорю, зато честно, как думаю. Безымянное благо не умирает, напротив, как раз оно-то и творит ту высшую духовность, без которой дышать было бы нечем. Потому и вечен наш учитель. Не знаю, слышал ли ты это его четверостишие:

Милые, милый, милая, —
Сколько улыбок, печалей, глаз... —
Даже вас мысленно милоя,
Я умираю за вас.

«Не о том же ли оно?»

Я ответил.

«Не знал этих стихов, но и без них был согласен с тобой. Теперь — тем более. От кого ты услышал эти строчки?»

«Ясно, нам бы Аверьян не прочел их, слишком малы были сестра старшая запомнила и мне передала... Рукописи все-таки горят. Нетленно то, что в памяти не умирает. Жаль, это моей математикой нельзя подтвердить... А теперь спать, мой друг Никола».

Утром мы съездили на Центральный рынок, купили большой букет цветов и положили его у могилы Неизвестного солдата

Через несколько дней Игорь Супрун провожал меня. Минут за десять—пятнадцать до посадки в самолет мы как-то вместе, неожиданно заговорили вот о чем: была ли у тебя любовь, Аверьян? Вспомнили молоденькую учительницу Лилию Сонину, приехавшую к нам в поселок перед самой войной, твои с ней прогулки, катания на лодке. и решили: была!

Потом уже, дома, я припомнил все, что осталось в моей памяти о твоём последнем времени у нас, с зимы до середины лета сорок первого года, — времени твоей любви, так назовем его. Светлом, думаю, для тебя, потому что и нам, детям, оно запомнилось особенно солнечным, звонким, беззаботным (как бывает, вероятно, перед великими бедствиями). И в этом свете — она, Лилия Сонина, учительница литературы в старших классах. Мы, младшие, почти не знали ее и вдруг увидели: Лилия Сергеевна дивно белокура, удивительно синеглаза, худенькая, но спортивная (у нее какой-то разряд был по лыжам), смешливая, но может и за нос больно ущипнуть, если при встрече не понравишься ей, скажем, немой физиономией или просто букой посмотришь на нее. У Лилии Сергеевны была привычка любому и каждому первой говорить: «доброе утро», «добрый день»... —

по времени суток. Никогда она не говорила «здравствуйте», и, наверное, поэтому сельские женщины прозвали ее Добрынюшкой.

Стали мы замечать Лилию Сергеевну как ты уже понял, с тех самых дней, когда вы подружились. Вот ты у нас на каком-то уроке, что-то говоришь и внезапно за молкаешь; поставив ногу на стул, повернувшись к окну немо, невидяще смотришь в зимнюю сумеречь леса. И мы молчим, мы знаем: ты думаешь о ней! Вот ты собираешь быстро и озабоченно наши тетради, ждешь звонка, потом вынимаешь карманные часы — о, у тебя были такие тяжеленькие, старые, редкие по тем годам, с римским циферблатом часы, ты давал их нам подержать на ладони, — смотришь время и смеешься над своей суетливостью. . А мы знаем: ты рад, что не опаздываешь на свидание... Вот ты грустен, говоришь нам, что сегодня вместо тебя кто-то другой проведет занятие в кружке «Сделай сам». и мы знаем: ты поссорился с ней. Вот вы идете в тайгу, у тебя ружье на плече, она подпоясана патронташем... потом ты учишь ее во дворе интерната ощипывать рябчиков — она смеется, над нею облачко пуха... А мы знаем: это вроде бы ваша семейная жизнь... Вот ты, раздевшись до пояса, швыряешь лопатой мокрый снег — значит, весна, субботник, и она здесь, учителя и директриса Охлопкова шутят, подсмеиваются над вами... И мы знаем: все любят вас, кроме зоолингиста Корякиной, и нам известно почему: она хотела дружить с тобой, но приехала Лилия Сониная, и ты перестал замечать ее; интернатские ученики видели, как придиралась Корякина к Лилии Сергеевне, называла ее нехорошими словами, а та лишь смеялась. Потом сразу — лето, ты переплыл туда и обратно нашу Реку, а вода была еще холодная, будто кому-то что-то хотел доказать, вышел на берег и шага не мог ступить — ноги свело судорогой, и она сердито отчитывала тебя — Добрынюшка бывала и строгой! — а ты говорил ей, как напавший школьник: больше никогда, никогда не буду. И последнее: всем селом провожаем тебя на войну Баржа у пристани с призывниками. Их много — баржа шла сверху, в каждом селе брала призывников и добровольцев. Музыка, застолье прямо на палубе баржи, для всех. Вы стоите за будкой шкипера у борта, и ты держишь в своих руках ее руки. Лица ее не видно, оно наклонено, и его закрывают длинно упавшие волосы. Много шума, суеты пьяных песен, говора. И точно

вспышкой: баржа посередине реки, катерок, стуча громким мотором, подхваченный струей фарватера, быстро уводит ее, с трепещущим красным флагом, за крутую излучину... и в какой-то пустоте — она, Лилия Сониная, у края пристани... белое платье, спутанные ветром волосы...

Проводы долго шумели на берегу, пелись песни, лилось вино. Никогда прежде, говорили потом мужики, не было такого шального гуляния, в подпитии выкрикивал речи непьющий начальник рыбной базы Фэнь, фельдшера Гардиниса, неустанного борца за трезвый образ жизни, под руку увели домой, и многие мальчишки, оставленные без присмотра, напильсь браги.

Лилия Сергеевна Сониная уехала сразу, как только в Село пришло извещение, что ты пропал без вести в осенне-зимних боях под Москвой.

Искать тебя?

Не ищет ли она тебя до сих пор?

Как думаешь, Аверьян, ищет? Тебе семьдесят, и ей под семьдесят уже. Старенькая, заслуженная учительница на пенсии, нянчит внуков, а то и правнуков. И любит тебя и, вспоминая, забывает о своем возрасте: вот зазвонит телефон, ты позовешь на свидание — и она побежит, полетит к тебе... прямо в свою молодость предвоенную, в тот свет, простор, в ту высокую музыку жизни... Или она нашла твою могилу и в День Победы приносит тебе цветы?..

28

Ты молчишь, задумчиво и так знакомо потирая кончиками пальцев левой руки переносицу. И ты прав. Не все словами выразимо. К тому же и разговор у нас переменится через минуту-две. Еще несколько шагов по этой тропе, за те крайние ивы... и — стоп! Вот он, перед нами ручей Падун.

Помнишь, конечно, ты его, Аверьян. Он быстроводен, холоден, с чистейшей влагой тех поднебесных, нетронутых пока еще гор. Таковым, как видишь, и остался: прохладой ледниковой нас опахнул. Можно сказать, Падун сам себя сохранил. По его руслу множество водопадов, и значит — для сплава леса непригоден, любые бревна в

щепку расхлещет. Потому и Падуном назван. Реку в несколько слоев топляком устелили, я тебе уже говорил об этом, — Падун по камешкам да желтому песочку течет. И форель в нем водится. Ты любил с удочкой здесь походить, особенно хорош был клев на свежую кетовую икру: красная нажива в зеленой стремительной воде... Лов здесь особенный. Закинешь лесу, быстро идешь по берегу за течением... толчок где-то в глубине, взмах удилицем — блеск живого трепета над головой... Не столько, правда, теперь форели, и крупная редко попадает, но есть, в последние три года размножилась, когда Село опустело. Да мы поудим с тобой, если тебе захочется.

Я все твержу — ручей, ручей... А ты, помнишь, удивился, впервые увидев Падун: «Какой ручей — река могучая! В России бы знаменитой была!» Может, это и хорошо, что такие малые реки у нас ручьями считаются, многие вообще безымянны, охотники называют их — Первый, Второй, Третий... По порядку от населенного места или от зимовья.

Ты слушаешь меня, Аверьян, а смотришь на наше строительство. Великое, скажу тебе, и не ошибусь. Приглядись внимательней. Широкий плот на бетонном основании, на нем два просторных помещения с высокими окнами. Плотина через Падун. А правее — особый, длинный, приземистый цех, с маленькими продолговатыми окошками под самой крышей, как бы прижатый к земле, упрятанный в растительность и даже окрашенный в зеленый цвет; туда из Падуна отведен канал, и поток воды пронизывает цех насквозь, втекая в один торец его и вытекая из другого. Все это вместе — единое сооружение, компактное, разумно спланированное и, пожалуй, красивое. Не то завод, не то фабрика, не то экспериментальное предприятие загадочного назначения, не правда ли? Вот и угадай, Аверьян, что ты видишь перед собой?

Не угадаешь, понимаю. В твое довоенное время подобные сооружения не воздвигали и не планировали даже на отдаленное будущее (может, только вечно неугомонные «прозорливцы» что-то подобное предрекали?), будучи уверенными — природа неиссякаема, и «мы не можем ждать милостей...» Хоть Мичурин понимал эти «милости» совсем по-другому, но нам-то внушалось просто: «Взять их — наша задача!» Быстро взяли, и кое-что до предела, за которым уже — ни природы, ни человека разумного... Ты знаешь, с какой напористостью мы здесь

выловили лососей, пришлось и рыбозавод закрыть: природа такая-сякая оказалась не скатертью самобранкой и не волшебным мешком без дна и крышки. Подвела, словом. И не только нас. Все человечество, считай, в том числе и прогрессивное. Вот и стоим теперь перед грустной дилеммой: или поможем ей, или вымрем все поголовно на родной планете, не успев перебраться в благодатные космические миры, если таковые приготовлены для нас.

Словом, видишь ты, Аверьян, самый обыкновенный рыбоводный завод. Здесь мы будем выводить из икринок кету и горбушу, подращивать мальков и выпускать их в Реку, по которой они уйдут в океан, чтобы три-четыре года спустя вернуться к нам взрослыми лососями

Ты удивлен: неужто рыбу стали разводить? Привыкай к жизни конца второго тысячелетия от рождества Христова. В ней все в соответствии с научно-технической революцией берешь — отдавай хоть что-то...

Я вижу, чувствую, ты многое уже понимаешь. Вошел в нашу жизнь. И между молодым тобой и тобой теперешним нет пустого временного пространства, оно наполнилось днями, годами твоей жизни вместе со всеми нами. Соединились наконец в тебе одном два Аверьяна, и ты стал единым, цельным Аверьяном Ивановичем Постниковым — с душевной открытостью молодости, с умудренной молчаливостью старости. Седой, рослый, неспешный. У тебя глаза с юной голубизной, у тебя осанка прямая, прирожденная, но ты бледен, конечно, притомлен, и губы немеют в осторожной улыбке, и пальцы вздрагивают, когда ты задумчиво притрагиваешься ими к переносице... Годы-то какие одолены! Таким ты мне и мыслился, к такому я буду приближаться своей каждочасной жизнью... Ага, нас заметили строители. Пойдем к ним? Нет, на сегодня, пожалуй, довольно. В другой раз познакомимся с ними, посмотрим их работу.

Приглядись, Аверьян, этот, что зовет нас на плот, и есть начальник стройки, Петр Иваков. Он же бригадир тут и главный ихтиолог — специалист по рыбозабиванию. Прорабом у него мой Василий, два сына Богатикова плотниками трудятся... Всего двадцать человек. Ребята в основном молодые, начальнику только, Ивакову, под сок. Да это и хорошо — опытен, терт жизнью, второй

рыбоводный строит. «Теперь для себя, — говорит, — здесь осяду, прилепился к этим местам, семью вызову».

Работают вроде неплохо, к лету будущего года все-таки пустим рыбоводный. Но, сам понимаешь, не скоро разведенной рыбкой оживим нашу Реку.

Кстати, строители все о тебе знают, Аверьян, не раз я им рассказывал. И вот о чем заговорил Иваков... Был я у него дня три назад, также под вечер, чай пили, строительные дела обсуждали. Он из неунывающих, этот Иваков, с улыбкой к любому делу приступает, без прибаутки за стол не садится. А тут посерьезнел как-то сразу, нахмурился даже. Помните, говорит, когда я приехал сюда, вы мне показали вон те горы белоголовые? Замотаюсь, бывает, заработаюсь, а гляну на их сияние — точно иного воздуха вдохну: все суета, и только красота вечна. И доброе дело — тоже. В Индии на месте кремации Махатмы Ганди лежит камень с одной фразой: «Есть справедливости!» Древние славяне высекали на камнях вещице слова боянов. Вот мы и хотим, говорит, поставить такой камень Аверьяну Ивановичу Постникову, если вы, конечно, не против. Место выберите сами, можно на пустыре, где была раньше школа. И стихи вроде бы Аверьян Иванович сочинял. Принимается предложение?

Я пожал Ивакову руку, сказал: спасибо.

От нас обоих. Ты не против?

Отсюда, с возвышения, хорошо видно все вокруг. Перед нами Падун — белая, бегучая, живая сила, пронзающая тайгу; позади — пустое Село с черными, какими-то древними холмами тары; вокруг — засыпающее, в холодных туманах пространство. Прислушайся. На плоту — голоса, смех. Там люди, работа. И чтобы никогда здесь не угасла жизнь и была разумной, давай вспомним твои стихи, точнее, мысли зарифмованные (ты ведь не причислял себя к поэтам), нужные им, пусть они высекут их на камне себе в поучение, детям своим в назидание.

Какие?

Понимаю, вспомнить надо мне. Ты говорить не обязан. Тебя я пригласил смотреть, слушать, знать, что ты не забыт, не напрасно прожил свою короткую жизнь. Надеюсь, ты хоть сколько-то, а доволен своими учениками? И особенно, думаю, тебе интересны будут эти, молодые, совсем из нового поколения — граждане третьего тысячелетия.

Вот и стихи припомнились. Вернее, две строчки, сказанные тобой после урока кому-то из наших школьников

Выше голову, выше —
поверх потолка и крыши!..

Пусть их увековечат на камне.

1982 1986 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Повести

ВОЙДИТЕ, СТРАЖДУЩИЕ!	3
В ПОИСКАХ СИНЕКУРЫ	109
БУРКАЛО	141
БОЛОТО	207
ВОИТЕЛЬ. <i>Роман</i>	285

Литературно-художественное издание

ТКАЧЕНКО Анатолий Сергеевич

ВОИТЕЛЬ

Роман и повести

Редактор О. В. КУГУК

Художник Е. М. УЛЬЯНОВА

Художественный редактор Е. В. АНДРЕЕВА

Технический редактор Е. А. ВАСИЛЬЕВА

Корректоры Г. П. ПАНОВА, Т. Г. ЛЮБОРЕЦ

ИБ № 5575

Сдано в набор 12.02.90. Подписано к печати 3.12.90. Формат 84x108 3/4

Гарнитура Таймс. Печать высокая. Бумага газетная. Усл. печ. л. 23,52.

Усл. краск.-отт. 23,52. Уч.-изд. л. 25,54. Тираж 50 000 экз. Заказ 56

Цена 1 р. 90 к.

Издательство «Современник» Министерства печати и массовой информации
РСФСР и Союза писателей РСФСР

123007 Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Министерства печати и
массовой информации РСФСР

445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30